Хаджи-Мурат Мугуев

Господин из Стамбула

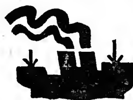




Хаджи-Мурат Мугуев



Господин из Стамбула



ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МОСКВА 1972

Р 2
М 89

В книгу Хаджи-Мурата Мугуева входят три повести: «Господин из Стамбула», «Градоначальник», «В тихом городке» и рассказы: «Налет», «Измена», «Пустыня», «Эскадронная любовь», «Дружба».

Повести «Господин из Стамбула» и «Градоначальник» близки друг другу и по материалу и по теме. Первая из них рассказывает о тех днях, когда в Крыму господствовал «черный барон» Врангель. Действие второй относится к 1918 году, когда генерал Краснов и его подручные вроде «градоначальника» Грекова хозяйничали в Ростове-на-Дону, грабя его население и чиня безнаказанно произвол и насилие.

Обе повести написаны в подчеркнуто гротесковом плане, с острокомедийными ситуациями.

Действие повести «В тихом городке» происходит в немецком городке Шагарте, недавно освобожденном советскими войсками. Фронт ушел вперед. Но в Шагарте идет своя тихая, скрытая от глаз война. Нити этой войны тянутся к Герингу и американской разведке: фашисты пытаются вывезти архив, содержащий важные документы о переговорах с американскими и английскими промышленниками и сенаторами.

Рассказы «Пустыня», «Измена», «Налет», «Эскадронная любовь» посвящены героическим дням гражданской войны, участником которой был писатель.

Художник Э. Б. АРОНОВ

7-3-2
93—73



ГОСПОДИН ИЗ СТАМБУЛА

Повесть

Белый двухпалубный теплоход «Аджария» подходил к главной пристани Стамбула Хайдарпаша.

«Аджария» был новенький, комфортабельный теплоход, дважды в год совершавший туристический обход вокруг Европы — из Одессы до Ленинграда и обратно через Дарданеллы и Босфор.

Босфор, как всегда, был полон судов, шаланд, барок, ботов, лодок. Эсминец турецкого флота стоял неподвижно у особой пристани, как бы молча наблюдая за бесконечным движением на воде. Таможенные и полицейские катера уже подошли к борту осторожно швартовавшейся «Аджарии», на высокие палубы которой высыпало все ее туристское население.

Шум, крики каюкчи, возгласы встречающих на берегу, голоса полицейских, гудки каботажных судов — все слилось в один общий гам.

Трое друзей-москвичей, инженер Маслов, врач Конов и писатель Савин, дождавшись своей очереди, спустились по трапу мимо проверявших документы полицейских, мимо глазевших на них турок и греков, мимо торговцев-лоточников, отчаянно и зазывно расхваливавших свои товары. Тут было все, начиная от мороженого и пончиков вплоть до белья, носков, французской пудры и порнографических открыток. Невдалеке от трапа, вперив взор в спускавшуюся толпу туристов, стоял хорошо одетый, бла-

гообразный старик. Он внимательно и молча разглядывал туристов, не двигаясь со своего места.

— Вот продолжение нашего разговора и возможность проверить твою теорию, доктор. Взгляни на этого почтенного джентльмена и, согласно твоей теории, определи, кто он,— сказал Савин.

Все трое внимательно оглядели не обращавшего на них внимания старого господина.

— Легче легкого,— сказал Конов.— Убежден, что это итальянский или французский коммерсант, возможно, рантье или закончивший дела, почивающий на лаврах финансист.

— А по-моему, актер или хозяин какого-нибудь бара, случайно забредший на пристань в момент прихода нашей «Аджарии».

— Ни то, ни другое, просто старый человек, вероятно грек или левантинец, совершающий моцион перед обедом, состоятельный человек...— начал было доктор.

— Ни то, ни другое и не третье,— приподнимая соломенную шляпу, вдруг заговорил старик.— Я русский и вышел к вашему пароходу лишь для того, чтобы увидеть русских людей, услышать русскую речь, спросить о дорогой моему сердцу Москве. Как видите — все очень просто. Что же касается остального, то я действительно старый житель этого города, вот скоро минет сорок пять лет, как я проживаю в нем, хотя часто наезжаю в разные города Европы.

— Вы эмигрант? — поинтересовался Конов.

— Нет, не эмигрант и не белогвардеец, так как никогда не занимался политикой и не служил ни в каких армиях. Я просто,— помните у Лермонтова? — «Дубовый листок оторвался от ветки родимой...». Ну, если мы так разговорились, то разрешите представиться: Базилевский Евгений Александрович, инженер, в свое время окончивший Политехнический в старом Санкт-Петербурге.

— Савин, писатель.

— Конов, врач.

— Маслов, инженер,— в свою очередь представились друзья.

— Какие у вас планы, молодые люди? — спросил старик.

— Походить по городу, познакомиться с его достопримечательностями, пообедать где-нибудь на турецкий манер — и обратно на пароход.

— Если вас не шокирует неожиданное знакомство с человеком, который хочет увидеть своих, поговорить на родном языке и просто побыть час-другой среди русских, позвольте стать вашим гидом на это время,— закончил старик.

Друзья переглянулись.

— А почему бы нет,— сказал врач.

Они пошли по проспекту Ататюрка. Все было ново, интересно и необычайно для трех москвичей.

— Площадь султана Селима, а вот и улица Афиюн-Карагиссар, названная в честь великой победы турок над греками в тысяча девятьсот двадцать втором году,— пояснял старик.

Они ходили по Пера, Галате, заглядывали в магазины, на такси подъехали к Ильдыз-Киоску — мрачному дворцу Абдул-Гамида, превращенному ныне в национальный музей.

— Тысячи фантастических легенд, таинственных приключений, мрачных кровавых историй окружают этот дворец,— сказал Базилевский.

Он рассказал о султанских приемах, пятничном Селямлике и о гаремах ушедших в небытие османских султанов. Расспрашивал собеседников о Москве, о новой жизни.

Сначала москвичи настороженно ждали, что старик в разговоре, как бы между прочим, задаст какой-нибудь каверзный, ехидный или провокационный вопрос о Советском Союзе, но ничего подобного не было. Базилевский охотно говорил им о достопримечательностях Стамбула, ни разу не затронув никаких других тем. Один только раз он как бы невзначай спросил:

— А что, господа, случайно никто из вас не знаком в Москве с Анной Александровной Кантемир?

Друзья пожали плечами.

— А кто она? — поинтересовался Савин.

— Мой давний, старый друг, оставивший в моей жиз-

ни неизгладимый след,— ответил Базилевский.— Господа, уже время обеда. В этом благословенном городе сейчас все садятся за стол, не сделать ли и нам это? Тут, у пристани, в тени гранатов и старых чинар, есть великолепный ресторан со старотурецкой кухней. Я прошу вас быть моими гостями и отведать турецкие блюда, каких не найдете и в Анкаре.

Они сели за столик под густым, тенистым покровом плюща и винограда. Старик что-то заказал подошедшему официанту-турку, и в ожидании обеда все четверо стали пить ледяное пиво.

— Евгений Александрович, теперь нам хотелось бы, чтоб вы рассказали о себе, о своем прошлом... Как «дубовый листок оторвался от ветки родимой»...— полушутя начал Савин.

— Охотно. Мне самому хочется поведать вам это, и я только ждал ваших слов. Повесть моей жизни необычайна,— отпивая глоток пива, сказал Базилевский.

Официант принес заказанные Базилевским блюда, острые, пряные, с обилием трав и легким запахом чеснока.

— Рекомендую, это нечто вроде супа, то, что на Кавказе называют шурпа и пити.— Он помолчал.— Это было и давно и словно только вчера. А была осень тысяча девятьсот двадцатого года, в благословенном Крыму, занятом тогда Врангелем. Я, как вам уже сказал, окончил в одиннадцатом году Петербургский политехнический институт... и даже с отличием, но работать, или, как тогда говорили, «служить», не хотел. Этому содействовали два немаловажных обстоятельства. Во-первых, еще в десятом году, в течение одного месяца, умерли мои родители, люди состоятельные, не чаявшие во мне души. Я остался один. А второе заключалось в том, что, будучи довольно обеспеченным человеком, я махнул рукой на карьеру, связался с некоторыми веселыми молодыми людьми, позже оказавшимися международными аферистами и шулерами. Съездил с ними в Париж и Брюссель и втянулся в их махинации. Благодаря отличной памяти, внешности и апломбу, а главное — одаренности в области механики и математики, очень скоро стал одним из видных специалистов по взлому сейфов и,— старик улыбнулся,— очи-

щению карманов у неудачливых игроков. Конечно, уже скоро я стал приметен как в международном преступном мире, так и у полиции Европы. Раза два я был задержан во Франции, выслан из Англии и отсидел два месяца в Брюсселе. Мировая война четырнадцатого года заставила меня вернуться на родину. Но уже в семнадцатом году, во времена Керенского, я снова очутился за границей, откуда через год попал в Румынию и, спасаясь от ее полиции, прибыл с румынским паспортом в Крым. Паспорт у меня был на имя румынского барона Думитреску, причем паспорт не подложный, настоящий, выданный полицией Бухареста. Языки я знал, деньги имел и хотел отсидеться в Крыму три-четыре месяца, после чего снова совершить турне через Константинополь «по заграницам».

Надо вам сказать, что у меня был помесячно снят отличный лихач, Гасанка, известный на весь Крым. Уж и шельма же был, доложу вам, бестия! Сам — красавец, кони — львы, экипаж — лучший в городе, на дутых шинах, рессоры — мечта. Едешь — словно в люльке тебя несут! Бывало, гикнет мой Гасан, подберет вожжи, засвистит, зальется соловьем,— кони как рванут, только пыль столбом да люди шарахаются. Автомобилю и то не угнаться. И платил же я ему! Тысячи, вероятно, полторы франков стоила мне эта колесница в месяц!..

Да-а, так вот с Гасанки и его колесницы и начинается мой рассказ. Было это, вероятно, в сентябре двадцатого года. Проводил я эти дни дело со взломом сейфа у одного табачного капиталиста,— может, слышали, Агроканаки... Ему половина сухумских табаков принадлежала. Пароходами крымские табаки в Египет на выделку посылал. Бога-атый был! Узнал я от верного человека, наводчика, что скопилось у моего Агроканальи (это я его так называл) много денег в валюте и что собирается он их в Стамбул переводить. А такого хамства я, по тем временам, допустить не мог, ну и с помощью отмычек да гусиной лапы вскрыл как-то ночью сейф. Сорок минут трудился, никогда так аккуратно и расчетливо не работал, а в этом сейфе паршивом нашел всего-навсего четыреста долларов да сотни полторы итальянских лир. Курам на смех! Перевел, оказывается, мой табачник свои деньги, успел-таки. Первый раз подобная неудача приключилась со мной... Даже расстроился я от такого

афронта... Забрал эту мелочишку, плюнул в растерзанный сейф и ушел домой отсыпаться.

Утром принял ванну, позавтракал, вызвал Гасана, решил проехать за город, рассеяться.

Понес, помчал меня Гасанка на своей колеснице, только слышно «бер-ре-гись!» да свистки полицейских. Вынеслись мы на Главную улицу, разворот хотели сделать, вдруг навстречу маленький открытый автомобиль с дамою.

Придержал мой Гасан коней, чтобы пропустить мимо машину. Взглянул я рассеянно и... обмер, а рука сама собой приподняла цилиндр.

Никогда ничего подобного со мною не было! И все это потому, что против меня в машине сидела молодая дама со строгими серыми глазами и удивительно красивым лицом. Ее сосед, пожилой полковник, покосился на меня и не спеша ответил на мой поклон. Экипажи разъехались. Гасан приподнялся на козлах, подобрал вожжи. Кони, ожидавшие его гика, рванули вперед.

— Кто такая? — спросил я, указывая тростью вслед автомобилю.

— Не знаю, князь! — ответил Гасан, выжидательно глядя на меня.

— Поворачивай назад!

Татарин не удивился. Целый час мы бесцельно колесили по всему Севастополю. Целый час я не терял надежду, что встречу незнакомку.

Первый раз в жизни я почувствовал пустоту. Кони шли шагом. Я молчал, погруженный в свои думы, чувствуя на себе испытующий взгляд Гасана. У самого дома он вдруг тихо сказал:

— Князь, не скучай! Я тебе завтра скажу, кто этот баба.

Но «кто этот баба» я узнал сам и не дальше как в ту же ночь. Под вечер я отправился в Дворянский клуб,— был такой на Миллионной улице.

Седой, внушительный швейцар с булавой, толстые дубовые двери, мягкий, пушистый ковер, медвежьи чучела на площадке — словом, такой клуб, каких было много в свое время на Руси. И старшина, как полагается, с лен-

той через брюшко и благообразной улыбкой на розовом лице.

Расписался я в книге «барон Думитреску», сунул небрежно швейцару цилиндр, трость, перчатки и пошел в залу. Иду, а на душе сумрачно. Нет, во мне уже прежней легкости. Ску-учно! И понимаю, что всему причиной сегодняшняя встреча...

Официант-турок убрал пустые тарелки и принес второе — на огромном блюде дымящийся плов, политый яичным желтком, и отдельно в причудливых сосудах мелко нарубленные кусочки дичи, баранины, плавающие в кисло-сладком, пряном соусе.

— Рекомендую, это — оттоманский[1] плов, знаменитое турецкое блюдо, без которого не обходится ни одно торжество.

Официант наполнил бокалы итальянским кианти и удалился.

— Прошелся я по комнатам. Народу не много. Коекого из знакомых встретил. Одессита одного, мануфактурщика с певичкой из шантана, турка-брильянтщика из Стамбула да капитана греческой фелюги, на которой год назад в Пирей с краденым шевиотом ехал. «Ну, думаю, самые дворяне, лучше не надо». Раскланялся с ними, поговорил минуты три с певичкой... Еле зевоту удерживаю.

А нужно вам сказать, что по своей уголовной линии я изучил несколько точных профессий. Я работал взломщиком и с самыми сложными современными сейфами, я и чеки делал, я же и отличным шулером был. Что отличным, прямо скажу, не скромничая, блестящим считался, королем слыл в этих сферах. И правда, очень уж тонко и смело работал, а это самое главное. Ведь что салонному шулеру надо! Представительность, осанка, а этим, как видите, меня бывший бог не обидел. Затем голос — спокойный, бархатный, с этакими оттенками и вибрациями. И, конечно, выдержка, характер, воля. Ну, а этого во мне на нескольких людей хватало.

Поверите ли, когда еще гимназистом был, обучал меня этому «искусству» один клубный арап, великий знаток своего дела, но, увы, неудачник: фигуры у него, внешно-

[1] Старотурецкий.

сти соответствующей, ие было. Так вот, учитель мой, бывало, с завистью и почтением говорил: «Да-алеко пойдешь, Жеия, если ие свихиешься. Не ходи в честиые люди. Все у тебя есть, всем тебя природа одарила. Смотри не загуби талаит, учись «маиерам», избегай женщии, треиируй волю, а главное — будь всегда весел, смел и элегаитеи!»

На всю жизиь запомиил я заповедь моего руководителя. Уже в Политехиическом институте поражал я всех своей блестящей, точной и всегда безукоризиеииой игрой. На меня, как на диво, собирались смотреть, когда я играл в клубе. Никому невдомек было, что перед иими ие столько студеит-математик, сколько геииальный шулер играет. Да еще как играет! В те времеиа тысячами ворочал, ио потом страсть к точной механике, сейфам и математические мои наклоииости отвлекли меия от зелеиого поля. Почти оставил я это дело, редко когда позволял себе сесть за стол и обыграть каких-нибудь идиотов, разве уж если карманы у них были очеиь оттопырены.

Поболтал я с певичкою и ее маиуфактурщиком и хотел ехать домой, как вдруг вздумалось иашей даме испытать свое счастье и бросить иесколько сотен иа карту. А игра, иадо вам сказать, в клубе шла зверская, иа любые деиьги, иачииая от деникииских «колокольчиков» и вплоть до испаиских пезет. Доллары, фуиты, фраики, лиры — все летело, кружилось иа столах этого притона. А по углам за столиками с крюшоиом сидели разиые «светлые личиости», которые тут же меияли любую валюту иа любые деиьги. Груды серебра, пачки баикнотов, кипы ассигиаций, столбики золота, военные облигации разных стран мелькали иа столиках и в руках этих страиных людей, превративших важиый Дворяиский клуб в меняльную лавку Стамбула. Нередко здесь же происходил и торг: проиграется какой-либо ферт до иитки, деиег уже нет, а играть охота, снимает с руки браслет или часы, а «светлые личиости» иачииают на свет, иа зубы пробовать качество продаваемых вещей. Портсигары, кольца, цепочки, серьги, цеииые иабалдашники, ордеиа, имеиные кубки — все шло иа этом удивительиом рыике, все имело свою цеиу. И делалось это совершеиио открыто. Без лишних слов и аффектации. Страшио оргаиизованно. Обдерут как липку иеудачливого игрока, купят вещь за одиу

десятую стоимости и снова молчат, словно пауки в своих углах. Всю городскую полицию на откупе держали, контрразведку шампанским поили — и все-таки процентов восемьсот на рубль имели.

Бросила наша певичка тысячу рублей на карту — проиграла, снова поставил на нее мануфактурщик — опять уплыла его тысяча. Хотел и я от скуки вмазаться в игру, вдруг, слышим, из соседней комнаты шум и почтительные «ахи». Взглянул я туда, а там звон золота, шелест валюты и такие азартные лики светятся, что я, как эскадронный конь при звуках трубы, вдруг забыл и о своих соседях и утреннюю встречу с незнакомкой.

Я снова стал собою. Король шулеров Евгений Василевский вытеснил из меня румынского барона Думитреску. Я вошел в залу, раздвигая зачарованных звоном золота, неподвижных людей.

Главный стол был золотой, или, как его называли, «стол Антанты». Это значило, что здесь играли только на валюту победивших стран, высоко державших курс своих ценных бумаг. Доллар, лира, фунт и франк царили в нем. Сюда не допускались австрийские кроны или обесцененные бумаги побежденной Германии. Стол окружала толпа. Здесь были купцы, офицеры, интенданты, английские матросы, итальянские стрелки, дорогие проститутки, греческие эвзоны, контрразведчики. Они вились вокруг крупье, умильно, жадно, влюбленно, похотливо и страстно глядя на шуршащие кипы долларов, на золотые ручейки, переливавшиеся по столу. Здесь играли избранные, воротилы спекулятивного мира, законодатели курсов,— всего восемь — десять человек. Остальные жадными взорами смотрели на них и пересохшими губами повторяли выкрики крупье. Чужие деньги и чужой банк волновали их. Кое-кто из толпы держал мазу на карты основных игроков. На зелени сукна горели кружки золотых монет.

Несколько минут я молча глядел на играющих, оценивая игроков, изучая их манеры, характер крупье, внимание толпы и возможности игры. На столе шевелились разноцветные деньги.

— В банке полторы тысячи долларов! — крикнул крупье.

Как раз этой суммы не хватало мне для того, чтобы

успокоиться после вчерашней неудачи. Но вступать в игру было еще рано. Нужны были выдержка и расчет, и только сделав ряд «психологических» номеров, разъярив игроков близостью к выигрышу, дав понюхать толпе аромат игры, заразив ее азартом, загипнотизировав, подавив ее волю, напугав удачей или спокойным проигрышем крупной суммы, решил я развернуть свой гений и обобрать как липку партнеров.

Я знал, что все эти деньги будут моими, потому что на меня нашло вдохновение игрока, благодетельный, непередаваемый творческий подъем. По манере держать карты, по бледным лицам игроков, по нервно вздрагивающим губам и деланно спокойной маске я легко читал карты моих партнеров. Я был артистом, художником, мастером своего дела, и в этой огромной толпе, в горящих глазах игроков, в блеске золота, в бесстрастном голосе крупье, в шелесте валют, в судорожных движениях зрителей, в бледных лицах проигравшихся неудачников видел начало и конец моих вдохновенных замыслов. Еще не взяв в руки карт, я уже дирижировал этими людьми, направляя их мысли по своему желанному руслу.

Небрежно, почти не глядя, я кинул пачку долларов крупье, он пригреб серебряной лопаточкой к себе и, быстро просчитав, сказал:

— В банке две тысячи пятьсот долларов!

Глаза — узкие, сощуренные, горящие, влажные, испуганные, красивые, молодые, старые — смотрели на меня отовсюду. Я видел, что королю шулеров уже пора надеть на себя корону и покорить эту глупую, послушную толпу.

Руки толстяка, прикупившего карту, дрожали. Его жирные пальцы с большим перстнем на мизинце прыгали, хотя лицо было почти спокойно. У моряка подергивалась губа. Он покраснел, поминутно отирая платком пот, и, быстро оглядев кучку золота и фунты, лежавшие перед ним, хрипло, срывающимся голосом сказал: «Восемьсот долларов!» Это были его последние деньги.

Крупье вежливо опустил голову и посмотрел вокруг. Это был вызов. Кто-то вздохнул и тихо сказал: «Сто...» Крупье взял у него пачку мелких купюр.

— В банке две тысячи пятьсот долларов. Банк покрыт пока на девятьсот. Кто желает добавить?

— Даю тысячу,— коротко сказал инженер, бросая на стол пачку зеленых бумажек.

По толпе прошло движение. Словно ветер пробежал по ней. Меня уже не видел никто, все глаза были устремлены на бледное, выхоленное лицо инженера.

— В банке тысяча девятьсот долларов. Остается всего шестьсот. Кто желает покрыть недостающую сумму? — снова спросил крупье.

— Вот деньги! — произнес человек, стоявший рядом со мною. Он отвернулся в сторону. Его лица я не мог видеть, но голос, слегка глуховатый, надтреснутый и, несомненно, измененный, показался мне знакомым.

Я чуть передвинулся с места, чтобы как будто мельком заглянуть в лицо этого человека, но он упорно не поворачивался ко мне. Странно.

Где я слышал этот голос?

— Банк покрыт полностью! — солидно сказал крупье и стал метать карты.

Я поднял карты и заглянул в них. У меня было восемь. Я посмотрел на партнера, поднимавшего карты медленно, словно это были не карты, а пудовые гири. Моряк побагровел. Вены на его шее вздулись, он сильно закусил губу и, опуская лодочкой карты, выкрикнул:

— Своя!

Я молча открыл восьмерку. Толпа ахнула. Инженер, теряя спокойствие, визгливо крикнул моряку, все еще державшему, словно в оцепенении, свои карты закрытыми:

— Да открывайте же!! Сколько у вас? — И почти вырвал карты, роняя их на стол.

Там было семь очков.

Крупье сгреб кипу долларов и золотых монет и любезным, бесстрастным голосом сказал:

— Получите, месье, ваши деньги!

Среди тишины, чувствуя на себе сотни глаз, окруженный завистью и почтительным шепотом толпы, я медленно положил в карман выигранные деньги и, не отходя от стола, обвел толпу взором.

Удача не веселила. В моей профессии шулера и кассиста каждая невыясненная деталь, каждое неразгаданное движение и всякий неузнанный человек были опасны.

Крупье, думая, что я хочу продолжать игру, прокричал:

— Месье и медам! Банк сорван, но банк живет. Игра продолжается. Месье и медам, делайте вашу игру!

И вдруг я увидел два устремленных на меня спокойных глаза, и сразу узнал их, и вспомнил голос человека, стоявшего недавно рядом со мной.

Это был сыщик Литовцев, один из девяти ищеек, второй год безуспешно охотившихся за мной.

Я поглядел в глаза Литовцева и рассмеялся. Парень был слишком глуп, чтоб его опасаться. А среди выигранных денег находились и его шестьсот долларов, и это еще больше развеселило меня.

Похлопывая себя по боковому карману, я подошел к нему:

— Что, брат пинкертон, проиграл свои доллары?

Сыщик улыбнулся и, дружески обняв меня за талию, сказал:

— Ничего! Я их еще сегодня отыграю обратно!

Его голос звучал нагло и двусмысленно.

Бросив золотой швейцару, я вышел на улицу, натягивая на руки перчатки. Блестящий шелковый цилиндр, белый галстук, лимонные перчатки и лакированные туфли делали меня похожим на оперного певца, выступавшего на великосветском концерте. К подъезду подкатил экипаж, и при свете фонарей я узнал физиономию Гасана.

«Вот шельма, всегда пронюхает, где пахнет жареным». Я был доволен таким услужливым рвением хитрого Гасана.

— До-мой! — откинувшись на подушки, приказал я.

Но Гасанка медлил. Я сердито взглянул на него. В ту же минуту из-за экипажа выскочили двое людей.

«Бандиты!» — подумал я, удивленный появлением грабителей среди освещенной площади, в центре города, у самого подъезда клуба, где стоял полицейский наряд. Но городовой с любопытством глядел на нас, даже не думая сдвинуться с места.

— Тише! — сказал один из нападавших.— Не шумите, а то наденем наручники.

Из дверей подъезда вышел Литовцев, за ним виднелась голова старого швейцара.

— Вот и отыгрался! — сказал веселый сыщик и, ме-

няя тон, сухо добавил: — В сыскное! Да не двигайся, а то морду расквасим!

Предатель Гасан, словно ничего не случилось, подобрал вожжи, гикнул, свистнул. Кони рванулись, увозя меня вместе с тремя пинкертонами в сыскное отделение, находившееся при контрразведке.

У каждых дверей контрразведки стояло по часовому, по коридорам прохаживались офицеры с черепами на погонах. На площадках тускло горел свет: полуосвещенный вход, мрачные лестницы с тяжелыми коврами, поглощавшими звук, были рассчитаны на внушение страха жертве, попавшей сюда.

Тишина, блеск штыков, пулеметы, смотревшие во двор, безмолвные офицеры, робкие люди, которых иногда проводили через залу,— все это могло навести кое на кого страх. Но мне, международному королю шулеров, не были страшны эти насупленные, безмолвные офицеры. Что мне могло угрожать? Политикой я не занимался, пропаганды никакой не вел. Ни большевики, ни монархисты не интересовали меня. Мне нужны были деньги, и я добывал их так, как умел. Но за последние два месяца я был чист, как поцелуй младенца, если, конечно, не считать ночного посещения греческого сейфа. Улики? Их не могло быть. В худшем случае я мог потерять деньги, вот эти самые доллары, которые находились в моем кармане, но, вопервых, они мне достались очень легко, и, во-вторых, без особых оснований отдавать их сыщикам я не хотел.

Надо было ждать событий. Я молча присел на деревянный диван около неподвижного часового и задремал.

Проснулся от крика. Кричали, вероятно, во дворе. Страх, отчаяние и невыносимая физическая боль слышались в этом сразу же смолкшем вопле. Часовой зябко подернул плечами, переложил из одной руки в другую ружье и искоса взглянул на меня.

— Видно, здорово у вас лупцуют? — сказал я, потягиваясь и зевая.

Часовой не ответил и молча отвернулся.

Сон уже прошел. «Как глупо! Привели, бросили у каких-то дурацких дверей, под надзор безгласного болвана!»

Из двери выглянул Литовцев и коротко бросил:

— Войдите!

Я вошел в довольно большую комнату с облупившейся краской на стенах. Сквозь открытые, схваченные железной решеткой окна доносились шумы Севастополя. Под нами сверкал город. Горели-перемигивались огни, и заглушенно доносились далекие паровозные гудки.

У большого, залитого чернилами стола сидел усатый полицейский офицер с капитанскими погонами на плечах. Возле него стоял поручик с аксельбантами на щегольском военном сюртуке. Офицер сонно поглядел на меня и, ковыряя спичкой в зубах, спросил:

— Он?

— Он самый! — Литовцев, разводя руками, сказал: — Король, можно сказать, жуликов, чемпион шулеров, магический хозяин чужих сейфов, и так глупо попался!

И все трое засмеялись, оглядывая меня.

— В чем, господа, дело? По всей вероятности, вы принимаете меня за кого-то другого...

— ...и тут вышло досадное недоразумение, хотите вы сказать,— перебивая меня, заговорил поручик.— Не трудитесь, все рассчитано и сделано совершенно точно и по плану.

— Но тогда почему вы задержали меня? — Я достал свой румынский паспорт.

Все трое снова расхохотались.

— Не трудитесь, господин барон Думитреску,— весело скаля зубы, сказал капитан.

— ...он же греческий подданный Михалидис, он же румын Ионель Фатулеску,— подсказал Литовцев.

— ...он же, три месяца назад, стамбульский меняла Алекпер Наги-оглы,— вытаскивая спичку изо рта, добавил поручик.

— ...он же одесский купец Розензон, арестованный в Праге за сбыт фальшивых лей,— снова вмешался капитан.

— ...и он же, наконец, бакинский рыбопромышленник Самуил Поляков, вскрывший весною прошлого года сейф Лионского коммерческого банка,— ласково проворковал Литовцев, глядя мне в глаза.

— Ну и что из всего этого, господа? Вы так можете говорить до самого утра, оставаясь абсолютно правыми в

ваших определениях, тем не менее не сможете инкриминировать мне ни одного преступления, совершенного мною на территории, занимаемой войсками генерала Врангеля.

— Можем, голубчик, можем, милый, можем, липовый барон Шуккерт, все можем,— захихикал, потирая руки, капитан.— Разве сейф, который вы, сладкий мой, вскрыли вчера ночью во время посещения без визитной карточки дачи табачного владельца Агроканаки, находился не на нашей территории?

Хотя я и не ожидал, что мой ночной визит будет обнаружен полицией, но тем не менее сбить меня с толку подобным образом было невозможно.

— Вы что-то путаете, друзья,— сухо сказал я.— Несете какую-то чушь. Этого дела я и не знаю. Повторяю вам: я здесь, в Крыму, отдыхаю от интересных и больших операций, совершенных за границей. Ничего и никого не знаю и на вашей добровольческой территории никаких дел с сейфами не имел, а что я делал на иностранных землях, вас не касается.

— Ой, так ли? — горестно вздохнул капитан и, воздымая руки горе, проговорил елейным голоском: — Вы ошибаетесь, дорогой барон, нас все касается, хотя, правда, иностранные сейфы интересуют меньше, чем здешние. Итак, вы чисты, как голубь? Не правда ли?

Черт его знает, что еще знал и готовил мне за этим вопросом этот человек!

— Абсолютно! Требую, чтобы меня освободили, как иностранного подданного и как невинно задержанного человека. У меня сердце обливается кровью, слушая ваши возмутительные обвинения.

— Сейчас у тебя и морда обольется кровью! — внезапно закричал капитан и вскочил на ноги.— Ну! Сознавайся сейчас же, сукин сын, а то всю морду разворотим!

— Фу, господин капитан, как неприлично, как нехорошо! — смеясь одними глазками, заговорил сыщик.— Ну разве же так можно: иностранец, господин купец, вдобавок барон, почти его сиятельство,— и вдруг по морде! Их сиятельство привыкло к другому, европейскому обхождению. Не так ли, господин барон?

— Пошел к черту, легавый! А вы, господа, ответите за подобное отношение к невинному человеку.

— Вот видите, как нехорошо ругаться,— снова захи-

хикал Литовцев,— заругались и господин-барона на то же вызвали. И их сиятельство осквернили свой ротик словом «легавый». Напрасно, напрасно, а надо ведь по-хорошему, по-деловому,— перелистывая большое дело, лежавшее перед ним, невозмутимо продолжал он.— Вот как надо по-нашему, по-православному! — И вывалил на стол кипу денег, отобранную при аресте у меня.— Ваши денежки?

— Мои!

— Все ваши?

— Все!

— Та-ак-с! А которые выигранные и которые собственные? Ваши?

Надо было быть настороже, хитрая ищейка что-то задумала и, видимо, ловила меня на этих деньгах.

— Да вы, барон, не стесняйтесь, не думайте, что каверзу какую строю. Дело не в них, не в деньгах. Допрос дальше будет.

Дело было именно в них, в этих деньгах, особенно остро почувствовал я, слушая его успокоительные слова.

— Не помню! Деньги перемешались, которые мои и которые выигранные, я затрудняюсь ответить.

— А я не затрудняюсь, я помню,— очень дружелюбно сказал Литовцев и, вытягивая из кипы ряд банкнотов, откладывал их в особую стопку.— Вот эти двадцать фунтов — ваши, твердо помню, ваши фунты,— вы их сами бросили на стол крупье. И вот эти лиры, двести пятьдесят — тоже ваши, не спорьте, дорогой барон, ваши, ваши деньжата!

— Это выигранные! У меня не было ни фунтов, ни лир.

— Как не было? Были-с! Я сам видел, как вы их из кармана вынимали, я за вами, господин румынский купец, все время следил.

— И все-таки деньги не мои. У меня были только доллары!

— Как доллары? Вот это уж, извините, ваше сиятельство, ошибочка ма-а-люсенькая, вот такусенькая, но все-таки ложь! Долларов у вас было не больше сотни.

— Неправда! Вы, господа хорошие, что-то напутали и хотите во что бы то ни стало соединить меня с какими-то деньгами. Эти деньги мои, я их выиграл честно, на гла-

зах у всех, но пришел я в клуб только с долларами и бросил на стол одни доллары. Можете справиться у крупье.

— Мо-о-лчать! Будешь еще учить, кого спрашивать! — снова рассвирепел капитан.

Но сыщик замахал на него руками:

— Тихо, тихо, Сергей Иваныч, зачем кричать, к чему волноваться, все равно господин невинно оклеветанный нами барон через пять минут сознается и без крика. Вам угодно на крупье сослаться, будто бы крупье лучше, чем я, видел, какими деньгами вы швырялись,— пож-жалуйста! Я все предвидел,— за дверью крупье! Я знал, что вы, барон, человек демократический и без очной ставки с вами не обойдешься. Сердюков, позвать свидетеля! — кивнул он головою надзирателю, стоявшему у двери.

Мозг мой напряженно работал. Я понимал, что улика моя связана с этими деньгами. Сначала я хотел было отказаться от долларов, выкраденных из сейфа Агроканаки, заявив, будто в перепутанной куче американской валюты никак невозможно отличить мои от выигранных денег. Но сейчас, когда и Литовцев, и капитан стремились связать дело с другой валютой, действительно выигранной мною, я понял: бояться надо именно выигранных денег. Но что угрожало мне? Деньги эти были, конечно, потеряны для меня, я не был настолько наивен, чтобы думать, будто этот растрепанный капитан и проигравшийся сыщик отдадут их обратно. Меня, конечно, в эту же ночь обдерут как липку, кинут в клоповник, где я проведу несколько голодных и скучных дней, может быть и неделю, после чего вышлют в любую из стран, подданным которой по своим паспортам я захочу быть. Я хорошо знал, что ничего большего мне не угрожает, ибо вешали и расстреливали только за политику. Но превратиться в обобранного дурака, да еще с изрядно побитыми боками, мне не хотелось.

В двери просунулся испуганный крупье. Он сгорбился и искательно смотрел на сидевших. Один раз он взглянул на меня и сейчас же отвернулся.

— Крупье? — спросил капитан.

— Так точно! Крупье! — по-солдатски ответил спрошенный и еще больше пригнулся.

— Этого знаешь? — ткнув в меня пальцем, спросил капитан.

— Так точно-с, знаю-с, они у нас бывали-с. Сегодня весь банк сорвали.

— Стой,— перебил его капитан.— Сегодня во время игры он ставку в банк клал?

— Клали-с. Две тысячи пятьсот...

— Какими?

— Долларами. Американской валютой-с... Пачечкой, сто штук по двадцать пять долларов...

— Неправда! — перебил его сыщик.— Не было долларов.

Крупье растерялся и, переминаясь с ноги на ногу, забормотал:

— Может быть-с, я ошибся. Народу много, возможно, что и так.

— А я утверждаю, что крупье сказал правду, а теперь, испугавшись вас, путает. Вот эта пачка,— вытягивая свою, перевязанную ниточкой, пачку из общей кипы, решительно сказал я.— Вот они, мои деньги, остальные — выигранные!

— Что значит крупье убоялся, что значит путает? А? Я вас спрашиваю: что это значит, что мы, нарочно, что ли, его стращаем? — вскипятился капитан и сердито крикнул крупье: — Ну, ты! Говори коротко и толком. Правду он говорит, что это его пачка и что остальные, выигранные, чужие, да только пр-равду, а то закачу...

Растерявшийся крупье дрожащим, срывающимся голосом подтвердил:

— Истинный крест, правду говорю, их денежки — вот эта пачка, остальные — других гостей, а доллары — их.

Я твердо посмотрел на Литовцева. Сыщик неожиданно смутился. По его лицу прошла досада. Он неуверенно взглянул на капитана, недовольно воззрившегося на него, и смиренно пробормотал:

— Сергей Иваныч, я сам видел обратное!

Но капитан жестом остановил его:

— Видел, видел, а люди говорят другое!

Он поднялся.

— Ну-с, заканчивайте, и хватит. А вам...— насмешливо протянул он,— ба-арон, советую вообще убираться из Крыма, и не позже как завтра же. В другой раз не все сойдет так благополучно. Подпишите протокол да убирайтесь отсюда!

Я молча протянул руку за своими деньгами.

— А расписку взять? — упавшим голосом спросил Литовцев.

— Расписку? Какую? О долларах?.. Конечно! Прежде распишитесь, что свои деньги сполна получили и что претензий к нам не имеете, вы, господин иностранец,— с нескрываемой злостью закончил он и отвернулся к молчавшему поручику.

Я набросал расписку в получении своих двух с половиною тысяч долларов.

— Вот и все! Разыграли маленькую комедию чисто и благородно, обошлись без побоев по воспитанному, дворянскому личику и дело сделали,— пряча в стол расписку, вдруг рассмеялся Литовцев, глядя в глаза захохотавшему капитану.

Молчавший поручик также покатился от хохота. Стоявший у двери надзиратель услужливо хихикал, для виду отворачиваясь в сторону.

Я только сейчас понял, что эти два отъявленных негодяя провели меня. Смех душил их. Капитан приподнялся со стула и, тыча мне в глаза сложенными в шиш пальцами, захлебываясь от смеха, закричал:

— Эх ты, неуловимый ко-ро-оль жуликов! Дерьмо ты, а не король! — И, застонав от невыносимых судорог смеха, снова повалился на диван.

— Попались, голубь мой ясный, попались, птичка райская, и так просто, как даже простой, уважающий себя трамвайный воришка не позволит обмануть.

— Во-от расписочка... а вот и денежки ваши...— помахивая бумажкой, сказал сыщик,— а вот и номера серий банкнотов. Видали, как просто? Пожалуйста, пускай сунется румынский консул защищать своего подданного господина барона Думитреску, а мы ему под нос вот эту самую расписочку. Мало этого покажется — протокольчик покажем с собственноручной подписью господина Думитреску, удостоверяющий, что пачка американских долларов в сумме две тысячи пятьсот принадлежит ему. А буде и это покажется консулу недостаточным, мы предъявим заявление табачного торговца Агрокаnаки, где черным по белому сказано, что пачка американских денег по двадцать пять долларов в каждой купюре, суммою в две с половиной тысячи долларов, номера серий

такие-то, принадлежат ему и украдены неизвестным джентльменом в ночь под двадцать восьмое августа из вскрытого сейфа. Понятно?

Он захлебнулся тихим радостным смешком, потом внезапно поднялся.

— А самое главное, барон, впереди. Оно начинается только сейчас.

Я молчал, но в груди все клокотало.

«Действительно, так глупо и просто попасться на удочку этих прохвостов! Дать обойти себя двум средним полицейским ищейкам! Дурак! Ид-диот! Сопляк!» — думал я, хотя глаза сонно и безразлично смотрели на Литовцева.

— Самообладание есть, что и говорить-то, но что вы скажете сейчас, ба-р-рон?.. Деньги-то ведь, почтеннейший, фальшивые. Понимаете, фальшивые деньги,— повторил сыщик,— фаль-ши-вые!

— Неправда, мои деньги настоящие!

— Нет, правда, голубчик, липовые, абсолютно фальшивые, с острова Крита, только выделки довольно чистой,— ну, да для таких болванов, как вы, дорогой барон, они сойдут за настоящие. Хе-хе-хекс! Вот, видите под Вашингтоном коричневую линию, да и бумажка несколько груба-с! Липа, липа, барон! Но дело не в этом, вы, пожалуйста, не огорчайтесь, а слушайте дальше. Итак, по законам бывшей Российской империи, имеющим силу на всей территории Добровольческой армии, вы, дорогой мой, будете преданы суду по двум статьям. Первая статья Уголовного кодекса... и статья сто семнадцатая того же кодекса о вооруженном налете и краже со взломом, что по российским императорским законам наказуется заключением преступника не менее восемнадцати лет каторжных работ. Второе. Хранение и распространение заведомо фальшивых денег, да еще в исключительное, военное время, наказуется, как известно, десятью годами тех же работ и в совокупности даст вам, дорогой барон, не менее двадцати восьми лет заключения.

— Ложь! Деньги эти настоящие, ведь вы же сами уверяете, будто бы всего два дня назад они принадлежали купцу Агрокanаки. Не думаете ли вы, что почтенный греческий подданный купец — фальшивомонетчик?

Сыщик засмеялся, а капитан даже хрюкнул.

— Все в свое время, все по порядку, голубчик.

Повернувшись к стоявшему в сторone крупье, капитан вдруг сухо сказал:

— Ты больше не нужен, можешь идти, но...— И поднял угрожающе палец над головою: — Понимаешь?!

Крупье согнулся почти до пояса и забормотал:

— Ни звука... Что я... разве ж не понимаю! Могила!

— То-то! — нахмурился капитан и приказал надзирателю: — Отпусти его, да, пока не позову, не входить!

— Слушаю-сь! — рявкнул полицейский и вышел, уводя из комнаты крупье.

Минута прошла в молчании. Я чувствовал на себе издевательские глаза победителей.

— Ну-с, продолжим,— когда в коридоре затихли шаги, снова заговорил сыщик.— Итак, вас, дорогой барон, интересует все та же проклятая пачка долларов и как могли фальшивые деньги очутиться в сейфе у купца Агроканаки? — Он потер руки, хлопнул себя по коленкам и снова засмеялся.— А очень просто. Не было там фальшивых, дорогой сэр! Настоящие были, американского казначейства, и у вас в кармане они такими же были, но только до сегодняшнего вечера, понимаете?

— Понимаю, мерзавцы!

— Ну зачем же такие непарламентские выражения, милорд! Без химии и отнюдь без участия магии мы с уважаемым Сергеем Иванычем,— он ласково указал на заливавшегося смехом капитана,— одним прикосновением рук превращаем пачку настоящих, агроканаковских... виноват, ваших долларов в фальшивую пачку ровно в две тысячи пятьсот критских, весьма грубошерстных, поддельных долларов. А для чего, как вы думаете, барон, мы это делаем? Небось думаете, из каких-либо низменных, грязных побуждений? Ошибаетесь, милорд, из одной только чистой идеи. Во-первых, накрыть, арестовать и ликвидировать опаснейшего международного преступника, то есть вас, и тем оказать обществу огромную пользу. Во-вторых, вознаградить себя за труды и хлопоты, понесенные в состязании с вами. В-третьих, показать завтра же вызванному сюда через полицию греческому купцу доллары и объявить капиталисту, что деньги, выкраденные у него из сейфа господином Думитреску, оказались фальшивыми. В устрашение же сего буржуя показать

вашу расписку, протокол и прочее. Зная трусливую натуру господина Агроканаки, мы с капитаном надеемся получить с него не менее тысячи золотых рублишек. Не так ли, Сергей Иваныч?

— Натурально! — подтвердил капитан.

— Мошенники! Ловко работаете, подлецы! Восхищаюсь вашей работой!

— Погодите, это еще не все! Еще следует два пунктика, после чего вы прямо-таки влюбитесь в нас.

И, вытягивая из кармана мой портсигар, Литовцев щелкнул им и любезно протянул мне.

— Курите, дорогой барон, хорошая папироса в подобные минуты помогает настроению, прочищает мозги.

Я закурил свою же собственную папиросу и приготовился слушать заключительные «пунктики» работы этих прохвостов.

— Итак, продолжаю. Четвертый пунктик — те деньги, которые вы выиграли в клубе. Они также пойдут в нашу пользу,— вы помните, конечно, мое обещание отыграться сегодня же? Человек слова и джентльмен, я не мог поступить иначе и, как видите, сдержал обещание! Вернул шестьсот и кое-что еще выиграл!

— Детишкам на молочишко! — загоготал капитан.

— Именно! На молочишко! А теперь последний и самый радостный для вас пункт, уважаемый милорд. Надеюсь, вы же понимаете, как умный и опытный человек, что после столь откровенного разговора по душам, который мы вели, нам с Сергеем Иванычем никак невозможно оставлять вас в заключении или, паче чаяния, на свободе при помощи там порук, бегства,— нам это неудобно. Словом, любезный друг, можете себя считать усопшим, а мы с капитаном примем для этого все зависящие от нас меры.

— Натурально! — подтвердил капитан и, не давая мне говорить, закричал: — Заха-аренко!

В двери заглянул надзиратель.

— Взять его в отдельную!

— В тую, что под полом?

— В ту самую, да смотри, чтобы ни один человек не знал и не видел этого сук-киного сына! Адью, барон! — делая ручкой и поворачиваясь ко мне спиною, закончил капитан.

Два дюжих полицейских и неестественно хмурый, с вытаращенными, навыкат глазами Захаренко повели меня по коридору и затем через двор.

«Воображаю, что это за прелесть»,— подумал я, подгоняемый сердитым Захаренко.

Выйдя из дверей сыскного, мы по черному ходу спустились во двор. Темный, неуютный, грязный, он лежал передо мною. Конвоиры повернули к дальнему флигелю. Два крохотных оконца со слабым, мерцающим огоньком едва прорезали глухую каменную громаду здания.

«Гроб! Отсюда не вырваться!»

Справа, чуть в стороне, тянулся ярко озаренный огнями особняк контрразведки. У освещенного подъезда стояли парные часовые. В открытых окнах второго этажа мелькали люди.

У подъезда стоял шикарный автомобиль с откинутым назад фордеком. Около машины, похлопывая себя стеком по крагам, прогуливался щеголеватый молоденький шофер. Он скучающим взором поглядел на меня и ухмыльнулся.

— Куда вы этого франта, ребята? — спросил он моих конвоиров.

Захаренко холодно взглянул на любопытного и мрачно засопел.

В подъезде послышались шаги, раздались голоса и дружный смех. В дверях показались три офицера; разговаривая, они подошли к машине. Захаренко, вытянувшись в струнку, отдал честь.

Мы остановились, пропуская офицеров. Шедший впереди, полный, выхоленный, гвардейский полковник рассеянно козырнул моим конвоирам и грузно опустился на сиденье. Шофер забежал с другой стороны и стал заводить мотор. В этом полковнике я узнал начальника объединенной морской и сухопутной контрразведки всего севастопольского района, графа Татищева. Позевывая и прикрывая рот белой перчаткой, он что-то говорил сопровождавшим его офицерам, как вдруг его рассеянный взгляд остановился на мне. Изумление и любопытство отразились в нем. Да и действительно, картина была столь необычна, что любой из людей так же изумленно

воззрился бы на щегольски одетого молодого человека, в белоснежной сорочке с крахмальной грудью, белом галстуке, в прекрасном английском смокинге, лакированных туфлях и шелковом шапокляке, окруженного тремя грязными небритыми полицейскими.

— Кто это? — спросил он, щурясь и разглядывая меня.

— Жертва произвола, ваше превосходительство, румынский подданный барон Думитреску, имевший несчастье быть богатым человеком, что и не понравилось господину начальнику сыскного отделения.

— Политический?

— О нет! Избави бог, наш румынский купец никогда не занимается политикой, наша политика — делать дела и доллары!

Пока я говорил, полковник в упор глядел на меня каким-то странным, но отнюдь не враждебным взглядом. Казалось, он не то что-то обдумывал, не то припоминал.

— Так, значит, не политический? — снова переспросил он, как видно думая совсем о другом.

— Абсолютно нет, ваше превосходительство. Этим совсем не интересуюсь! — ответил я.

— Давно румынский подданный?

— Второй год. До этого был и греческим, и итальянским, но свое основное, русское подданство ношу, ваше превосходительство, всегда с собой в сердце!

Я понимал, что создается какая-то новая комбинация и что только в ней может быть мое спасение.

— Вы жулик?

— Никак нет. Я шулер, и весьма высокого класса.

— Языки знаете?

— Четыре европейских, пятый турецкий.

— Do you speak English?

— Jes, I do and even perfectly as a real diplomat[1].

Рука в белой перчатке медленно, словно в раздумье, забарабанила по борту машины. Шофер, изумленно открыв рот, повернувшись от уже гудевшей, заведенной машины, глядел на нас. Один из офицеров, почтительно наклонившись к полковнику, что-то прошептал в самое ухо.

[1] — Говорите вы по-аиглийски?
— Говорю, и даже отлично, как настоящий дипломат *(англ.)*.

— Вот именно! Я как раз думал об этом,— произнес полковник. И вдруг властно обратился к застывшему, замершему в солдатской стойке Захаренко: — Ты старший?

— Так точно, ваше при-ст-во! — рявкнул Захаренко, вжимая голову в плечи и тараща на начальство глаза.

— Так вот, арестованный передается в контрразведку и будет числиться за ней... Или вот что... налево кругом марш — и бегом, зови сюда капитана Голоскухина. Жи-в-во!

Захаренко сорвался с места и понесся через двор.

— А вы, ребята, можете идти обратно.

Конвоиры ушли.

— Что у вас отобрали в сыскном? Только говорить правду! — сказал полковник, поднимая на меня свои тяжелые, заплывшие глаза.

— Пять тысяч долларов, не считая золотого портсигара и часов!

Оба офицера весело рассмеялись. Полковник спросил:

— Кто?

— Капитан Голоскухин и сыщик Литовцев.

Офицеры снова засмеялись, а шофер, видимо бывший своим в этой среде, завистливо вставил:

— Губа не дура!

Из дверей сыскного отделения стремительно выбежал капитан, оглянулся по сторонам и, увидя автомобиль и нашу группу, большими скачками побежал к нам. Капитан был без шапки, в одном форменном сюртуке. Запыхавшись, он остановился возле молча глядевшего на него Татищева. Лицо Голоскухина было бледно, по нему ходила судорога. Он мотнул полковнику головой:

— Звали, ваше сиятельство?

Татищев несколько секунд молча и насмешливо смотрел на капитана, затем спросил:

— За что арестован этот господин?

Капитан со злобою глянул на меня и быстро зашептал, пригибаясь к голове сидевшего в машине Татищева:

— Опасный преступник, международный вор и аферист. Попался с поличным, обстоятельства военного времени требуют скорейшей ликвидации.

— Не так энергично! — отодвигаясь от склонившегося к нему капитана, сказал Татищев.— Значит, вор и аферист?

— Так точно!

— А может быть, еще и большевик? — насмешливо протянул полковник.

— Все может... быть... имеются и на то данные,— озадаченно произнес Голоскухин.

— А-а! Ну, а раз имеются на то данные, то политические дела должна вести контрразведка, надеюсь, вы с этим согласны, капитан? Будьте добры сейчас же дело и показания этого боль-ше-ви-ка переслать в мой кабинет в отдельном пакете, а также и пять тысяч долларов, несомненно принадлежащие Коминтерну! — совсем издевательски закончил Татищев.

Шофер, улыбаясь, отвернул в сторону свое сияющее лицо, офицеры смеялись.

— А также и золотые часы с портсигаром,— напомнил я, глядя на помрачневшего капитана.

— Но... ваше сиятельство... осмелюсь заявить: это же уголовник, шулер, вскрыватель сейфов... Его действия подлежат ведению сыскной полиции.

— Позвольте, капитан, вы только что заявили, будто человек этот, помимо всего, подозревается и в большевизме и что у вас есть веские основания утверждать это? Надеюсь, вы так говорили и я не ослышался, господа? — корректно обратился полковник к своим офицерам.

— Так точно, господин полковник, мы ясно слышали эти слова! — давясь от смеха, подтвердили офицеры.

— И я тоже слышал,— заявил шофер.

— Я... я... буду жаловаться... я... я... генералу Врангелю заявление сделаю.

— Что? Жаловаться будешь? Молчать, кислая шерсть, взяточник, сук-кин сын, а то я тебя самого в холодную упрячу! — очень тихо и очень выразительно пообещал полковник и внезапно закричал: — Через пять минут чтобы все было в моем кабинете! Да руки по швам, когда с вами говорит начальство!

Голоскухин что-то невнятно пробормотал, вытягиваясь перед Татищевым, словно рекрут перед грозным капралом.

— А его держать до моего распоряжения в контрразведке! — И, сделав жест шоферу, Татищев отвернулся. Машина мягко взяла с места и исчезла в темноте двора.

— Идемте, милостивый государь, в помещение,— вежливо обратился один из офицеров.

— До свидания, папа Голоскухин! Тю-тю, брат, деньги!.. Что теперь остается детишкам на молочишко! — издевательски сказал я и расхохотался, глядя, как капитан, даже не слышавший моих слов, изо всей силы ударил по лицу Захаренко, так неудачно отводившего меня в каземат.

Мое положение, черт побери, если и не осложнялось, то, во всяком случае, становилось своеобразным. Зачем, по какой причине этот откормленный гвардейский полковник отобрал меня у сыскного капитана? Мои доллары? Положим, они заинтересовали его, но ведь еще до этого он зачем-то внимательно оглядывал меня? Но зачем? Политикой я не занимался,— значит, для контрразведчика ценности не представлял. Судя по его тону и довольно дружелюбному отношению ко мне, вредить не собирался, скорее можно было предположить, что я был нужен ему. Но для чего? Какое отношение имел я к крымской контрразведке и ее сиятельному начальнику?

Офицер отвел меня в небольшую комнату и положил передо мной несколько крымских и константинопольских газет. На мой вопрос, зачем я здесь, он пожал плечами и удалился. Отодвинув в сторону газеты, я припоминал все детали сегодняшнего дня. День был очень богат приключениями, но, как видно, они еще не кончились, что-то еще ждало меня впереди. Утренняя прогулка, встреча с незнакомкой, утро, полное впечатлений от встречи, клуб, игра, деньги, потом сыскное отделение и ловкий трюк ищейки, на который я так глупо попался. Я вспоминал разъяренное лицо обескураженного Голоскухина, когда он, матерясь и хрипя, в бессильной злобе колотил по глупой морде Захаренко. Вспомнил и расхохотался.

— Вот это хорошо! Хороший смех говорит о спокойной совести. Не правда ли? — услышал я за собою.

За столом, опершись о него руками, стоял полковник Татищев. Когда он вошел, я не заметил.

— Не вставайте, не вставайте,— сказал он, опускаясь в кресло и закуривая папиросу.— Приступим к делу. Оно заключается в следующем. Я знаю, кто и что вы, но ваши

международные уголовные подвиги нас интересуют менее всего, сейчас дело в другом. В городе вас знают как важного и солидного господина, купца и интеллигента, имеющего деньги и вес. Таким я и принимаю вас. Вы вместе с одним из моих офицеров поедете в здание Дворянского клуба. Будут господа офицеры союзных армий, будут адмиралы, будут представители иностранных держав, будут дамы, преосвященный Вениамин и будут, наконец, делегаты европейских парламентов и либеральных организаций, но не будет, черт побери, так называемой городской интеллигенции, всей этой штатской де-мо-кратической публики, которая так необходима республиканским французишкам и благонамеренным англичанам! Кое-кого мы, положим, найдем, но это будут жалкие, запуганные деятели различных копеечных ведомств в обшарпанных штанах и кургузых пиджачишках. Вы же понимаете, что подобная шушера, голодная и задрипанная, никак не сможет представить собою демо-кратию свободной России! В другое время я прекрасно обошелся бы своими офицерами и дамами из общества, но ведь с этой союзной комиссией прибыли и представители ра-бо-чей английской партии, черт бы ее побрал, члены парламента, разные там независимые и либералы. Ну-с, вы понимаете, в чем дело? — спросил полковник.

— Как будто бы да!

— Ну и отлично! Если оправдаете наши надежды, то после банкета будете аб-со-лютно свободны и никакой Голоскухин уже не осмелится задержать вас.

— Благодарю вас, полковник!

— Я, батенька, человек военный и разные там фигли-мигли не знаю, да и знать не хочу! Презираю этих самых парламентаришек, приезжающих сюда. В другое время я наплевал бы на все их демократии и гуманности, от них до большевиков один только шаг. Но сейчас приказано с ними нянчиться, ублаготворять, обхаживать их. Всякие там рабочие газеты кричат о том, что мы изверги, палачи,— так вот вам, пожалуйста, городское самоуправление, свобода слова, прессы и т. д. Понимаете? Вы должны будете изображать собой нечто вроде местного Керенского, что ли... такого, знаете ли, общественника, говоруна, так сказать, демократию Севастополя.

— А не рискованно ли будет, ваше сиятельство?

— Это — как удастся! Повторяю: мне вас жалеть нечего. Сами себя пожалейте. Сумеете быть одну ночь этаким русским меньшевиком-демократом — ваше счастье... Если же выбор наш окажется неудачен, к утру от вас останется прекрасно сшитый фрак, тело же будет купаться в море.

Я снова вежливо поклонился полковнику. В комнату тихо постучали. Вошел один из офицеров.

— Принесли,— доложил он, передавая полковнику большой пакет.

Татищев небрежно вскрыл его костяным ножом и высыпал из него кучу самой разнообразной валюты.

— Ваши деньги,— с очаровательной улыбкой сказал он и, отделив от всей пятитысячной кучи сто долларов мелкими купюрами, протянул их мне.— Берите! Джентльмен должен всегда быть при деньгах,— проговорил он, засовывая остальные доллары себе в карман.

— ... и при часах,— добавил вошедший офицер, передавая мне мои часы, отобранные Голоскухиным. Отдав часы, он спокойно закурил папиросу из лежавшего на столе моего портсигара и, разглядывая его на свет, определил: — Восемьдесят шестой пробы. Вероятно, весит не менее фунта?

— Четыреста сорок граммов,— ответил я.

— Вес отличный! — похвалил он и опустил его в свой карман.

— Итак, ваша свобода зависит от вас самих,— сказал полковник.— Серж, садитесь с месье... месье...

— Базилевский,— подсказал я.

— ... с месье Базилевским в автомобиль и представьте его обществу.

Машина вынесла нас на шумную улицу. Тяжелые, железные ворота контрразведки остались позади. Я поглядел по сторонам. Город жил своей шумной ночной жизнью, такой же смешной и нелепой, как нелеп был весь сегодняшний день.

— Как в кинематографе! — засмеялся я, закуривая отличную папиросу, предложенную мне моим соседом, из портсигара, дважды украденного у меня за этот день.

Забыв свои опасения, Конов, Савин и Маслов с интересом слушали удивительную повесть старого господина, такую необычайную и неожиданную.

От вод Босфора потянуло легкой прохладой, воздух стал чуточку свежее, и ветерок пробежал по зеленым листьям винограда.

Турок-слуга унес остатки прославленного оттоманского плова. Старик что-то сказал по-турецки другому, и тот внес в беседку вазу с фруктами, виноградом и нарезанными ломтями дыни.

— А теперь, друзья, шербет по-константинопольски и черный турецкий кофе.

Базилевский взглянул иа часы.

— Если я вас не утомил и вы не спешите к пароходу, то у нас есть еще достаточно времени.

— Прошу вас, продолжайте вашу удивительную историю, — попросил Савин.

— Спасибо. Продолжаю...

— Мы сейчас поедем в Коммерческий клуб. Там уже собираются господа интеллигенты, цвет и краса местной демократии,— чуть улыбаясь, говорил офицер.— Вам, как возглавляющему эту команду, надо знать хотя бы в лицо своих единомышленников. Ну и чтоб они узнали вас — это наша первая задача. Вторая — поговорите кое с кем из них. Говорите все, что вздумается, о любых конституциях и свободах, на любые темы, конечно кроме большевистских разговорчиков. За это мы не погладим по головке ни вас, ни их...

— А мне это ни к чему.

— Вы должны быть представителем русской либеральной демократии и выразителем чаяний бежавшей в Севастополь прогрессивной интеллигенции. Может быть, вы — профессор, литератор.— Мой собеседник оживился.— Хотите быть литератором, представителем левого крыла литературы? Вы вообще в ней что-нибудь понимаете?

Русскую современную и классическую литературу я знал сравнительно неплохо,— все-таки гимназия, политехникум, студенческие землячества, журналы «Знание», «Пробуждение», «Альциона», «Нива», петербургские ве-

чера в клубах, вернисажи и т. д., то есть вся моя студенческая молодость дала мне в этом отношении известные знания и лоск.

— Хорошо. Я могу сойти за столичного юриста, любителя литературы и искусств,— ответил я.

— Пусть будет так,— ухмыльнулся мой спутник.— Я не знаю, насколько вы сильны в литературе, но в области процессуальных и уголовных кодексов, несомненно, мастак.

Мы оба рассмеялись его шутке так дружно и весело, что со стороны можно было подумать, хохочут два старых закадычных друга.

— А как вас представить этому почтенному обществу, барон? — осведомился офицер.

— Дворянин Базилевский, Евгений Александрович, русский, спасшийся из подвалов петроградской Чека. О баронстве, румынском или каком ином подданстве — ни звука. Это мне пригодится позже, когда...

— Когда? — очень живо заинтересовался офицер.

— Когда я выполню возложенную на меня господином полковником миссию и иностранные гости разъедутся по домам.

Экипаж свернул к Александровскому проспекту, и освещенное огнями здание Коммерческого клуба предстало перед нами. Фаэтон остановился, и мы вышли на блестевший под электрическими огнями асфальт.

— Господин ротмистр, заглянем на секунду в зеркало, осмотрим себя, опрыснем слегка костюм духами,— поправляя галстук, предложил я.

— Это хорошо. Джентльмен в вас угадывается во всем,— то ли искренне, то ли издевательски согласился офицер, тоже задерживаясь у зеркала.

Дежурный у входа принес пульверизатор и, вежливо улыбаясь, протянул его мне.

— Вас тут, видимо, знают все? — поднимая бровь, спросил офицер, охорашиваясь у зеркала.

— Только служащие и двое-трое из дежурных старшин, да и те в лицо... Их интересует не фамилия, а деньги и щедрость посетителя.— И, сунув швейцару доллар, я пошел дальше.

— Вы мне начинаете нравиться, Евгений Александрович! В вас действительно есть что-то от подлинно русско-

го барина и мота,— с невольным уважением сказал офицер.

— Скорее от Расплюева,— вставил я.

— От кого? Не знаю такого.

— Персонаж из пьесы Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского».

— Не видел... Я обычно в столице на балет и забавные фарсы хаживал. Терпеть не могу русских назидательных пьес.

Мы вошли в залу. Это была большая нарядная комната с шестью высокими окнами, выходившими на улицу. Огромная люстра заливала зал ярким светом. На полу был толстый, видавший виды, потертый ковер, по стенам расставлены старомодные резные полукресла с высокими спинками, а посреди залы — длинный овальный стол, покрытый цветной скатертью со свисающей бахромой.

У стен сидело пять-шесть человек, сразу же поднявшихся при нашем появлении. За столом было еще несколько одетых кто во фрак, а кто и в пиджаки весьма старого покроя и фасона.

Нам навстречу через всю залу поспешил благообразный господин с приколотым к груди голубым бантом, в середине которого виднелся миниатюрный трехцветный российский флаг. Это был старшина сегодняшнего собрания, чуть лысоватый, пожилой мужчина с небольшой бородкой и аккуратно подстриженными усами.

— Здравствуйте, господа! — делая общий поклон и небрежно пожимая руку склонившегося перед ним старшины, произнес офицер.— Прошу познакомиться. Меня вы, возможно, и не знаете, я ротмистр Токарский, Сергей Сергеевич, прикомандированный к вам для встречи наших славных заморских друзей. Я говорю об англичанах, французах, бельгийцах и прочей с...— он запнулся, и я понял, что он с трудом сдержался, и продолжал: — с-социалистической, парламентской и рабочей делегаций, которые соблаговолили посетить нас. Теперь представлю вам моего доброго друга, верного и непреклонного борца за правопорядок в России, блюстителя высоких нравственных начал в человеке и самое главное,— ротмистр поднял вверх палец,— человека исключительной нравственности, светлых идеалов, носителя подлинно гуманных качеств современного цивилизованного общества.

Все поклонились в мою сторону.

— И к тому ж непримиримый враг большевиков, коммунистов и прочих тому подобных...

Я опять испугался, чтоб ротмистр в своем конногвардейском рвении залихватски не обругал бы всех инакомыслящих, но, вовремя спохватившись, офицер закончил:

— ...мятежников и бунтовщиков.— Он отпил глоток вина, услужливо поднесенного ему, и продолжал: — Что же касается господина...

— Базилевского,— шепотом подсказал я.

— ...Евгения Александровича Базилевского, то он, я думаю, вам всем известен. Он будет во главе вашей группы представляющих крымскую общественность при ставке его высокопревосходительства генерала Врангеля. Всем понятно это? — металлическим голосом, откидывая назад голову, многозначительно спросил ротмистр.

— Всем... абсолютно всем! — послышались вокруг голоса.

— Ну, а если так, то я, господа, умываю руки, становлюсь нем и только присутствую при вашем свободно протекающем, демократическом собрании.— И Токарский скромно удалился в угол залы, придвинул к себе бутылку токая, принесенную услужливым старшиной.

— Прежде всего познакомимся, господа. Затем обсудим нашу предстоящую встречу с представителями культурного мира Антанты и совместно выработаем план нашей беседы с ними.— Я стал обходить стол, пожимая каждому руку.

— Снегирев, присяжный поверенный.

— Акопянц, купец первой гильдии и фабрикант.

— Кокошнин, доктор-гинеколог.

— Кравцов, директор московской седьмой гимназии, ныне преподаватель словесности.

— Попандопуло, коммерсант.

Всего я пожал шестнадцать рук. Все они принадлежали людям, которые под моим началом через час-полтора должны будут изображать либеральное общество крымских областей и свободную политическую мысль Крыма.

Все они были растерянны, напуганы, неуверенно держались со мной, бросая косые тревожные взгляды на сидевшего в углу и молча попивавшего токай ротмистра.

Было ясно: боятся и его и меня, предполагая и во мне сотрудника контрразведки.

— Итак, господа, начнем. Но один лишь вопрос. Почему с нами нет женщин? Дамы, по-моему, необходимы и как приятный фон делегации и как эмансипированные женщины добровольческого Крыма.

— Женщины будут,— коротко бросил ротмистр.

— В таком случае переходим к делу. Кто из вас, господа, знает языки и какие?

Небольшое движение, шум, и затем некоторые из интеллигентов ответили — французский.

— Поднимите, пожалуйста, руки те, кто владеет французским языком.

Поднялось пять рук, затем неуверенно поднялась и опустилась шестая.

— Почему опустили руку? — спросил я.— Вы говорите по-французски или только понимаете?

Доктор-гинеколог, к которому обратился я, смущенно сказал:

— Понимаю, но говорить боюсь...

— И отлично. Пусть беседуют только те, кто свободно говорит по-французски,— навел корректив ротмистр.

— А кто знает английский?

Таких оказалось трое.

— А греческий или армянский не надо? — осведомился коммерсант Попандопуло, черноусый толстяк с восточными масляными глазами.

— Отчего ж, это тоже неплохо. Среди гостей, возможно, будут и греки. Только вы без знака господина Базилевского в разговор не пускайтесь. Бог вас знает, о чем вы там будете вести свои беседы,— бесцеремонно предупредил ротмистр.

— Вы кто по убеждениям? — Я посмотрел на присяжного поверенного.

Он растерянно оглянулся.

— Ну-ну, надо же мне знать, кто окружает меня и как я должен буду представить вас лейбористским гостям из Англии и демократам-рантье из Парижа.

— Я... я — независимый беспартийный,— робко пробормотал адвокат, бросая тревожный взгляд на офицера.

— Значит, будете у меня эс-эр, понимаете, социалист-революционер...

— Избави бог. Ведь я же никогда...

— На этот вечер — будете,— спокойно бросил ротмистр.

— Вы, господин Попандопуло, будете у нас идейным анархистом,— определил я роль греку-коммерсанту.

Как ни натянуты были минуты нашего знакомства друг с другом, но эти слова вызвали общий неудержимый смех присутствующих, и даже ротмистр рассмеялся, глядя на оторопевшего грека.

— Ничего, ничего,— успокоил я его,— запомните две-три фамилии ваших идейных учителей. Например...— Тут я запнулся, не помня имен апостолов анархизма.

— Князь Кропоткин, Михаил Бакунин и Нестор Махно. Для одного вечера хватит. Вы, почтенный мой, запишите у себя на манжете эти фамилии и раза два назовите их, когда будете беседовать с гостями,— посоветовал контрразведчик.

В пять минут я распределил роли среди согласных на все интеллигентов. Тут были и меньшевики-бундовцы, и беспартийные прогрессисты, и монархисты.

Прошло минут тридцать, пока наконец я расшевелил этих запуганных людей, рассказал им, как следует держаться с иностранцами.

— Беседуйте с ними поодиночке и все вместе. Держитесь свободно, непринужденно, так, чтоб они видели, что у нас нет запрета свободы суждения и слова, нет хамства и полицейского порядка,— объяснял им покончивший со своей бутылкой ротмистр,— все свободно, благородно и чинно. Понятно?

— Так точно... Ясно... все понятно,— вразнобой заговорили они.

— На вас, господа, надеется генерал Врангель, и вы не подведете его? — еще раз спросил ротмистр.

Мне тоже было все понятно. Ответственность за встречу нес один я, так как все эти люди являлись лишь фоном, декорацией, главным же актером предстояло быть мне. Что ж! Судьба оставила мне один шанс из ста. Мое прошлое давало мне основание выиграть свою свободу, деньги и жизнь в схватке с сыскным отделением и контрразведкой.

Я наскоро высказал моей запуганной банде свою точку зрения на политику, будущее России, на консти-

туцию (в этом месте ротмистр повернулся ко мне и удивленно хмыкнул). Словом, спустя еще сорок минут наша делегация была готова встретить свободных представителей свободной Европы.

И вдруг что-то осенило ротмистра.

— А ведь одного-двух евреев неплохо было бы иметь в вашей команде... извиняюсь, компании. Среди этой европейской шушеры будут, наверное, и евреи, так надо б и нам найти подходящего...— он помолчал и с трудом произнес: — иудея... А как вы думаете, господин Базилевский?

— Гениальная мысль! Но есть ли подходящий? — спросил я.

— Найдем,— уверенно сказал ротмистр и вышел к телефону.

Все как-то разом посмелели и стали со вниманием оглядывать друг друга.

— А надолго мы будем нужны вам, месье Базилевский?

— Дня на два, не больше.

— Вот и хорошо... Два — это отлично, слава богу, а то мы думали — это надолго,— послышались облегченные вздохи и голоса.

В залу бодрым шагом вошел ротмистр.

— Есть и евреи, будут и два караима. Словом, господа, все идет отлично, и я,— он взглянул на часы,— прошу всех поодиночке и группами не свыше двух-трех человек пожаловать через час в Дворянский клуб — угол Екатерининской и Нахимовского проспекта. Вот по этим пригласительным билетам.

Ротмистр роздал пригласительные карточки на толстом картоне с золотым обрезом, с двуглавым орлом в правом углу, с русским и французским текстом приглашения. Они были величественны и внушали уважение. Я видел, с каким трепетом и плохо скрытой радостью принимали от контрразведчика мои интеллигенты эти импозантно выглядевшие приглашения.

— В таком случае, господа, вперед! — скомандовал ротмистр, скептическим взглядом окидывая «представителей культуры» и «цвет интеллигенции» Крыма.

Действительно, люди, как и их костюмы, были разно-

роды, начиная от опереточного Попандопуло и вплоть до массивного, малоподвижного гинеколога.

— Чистая оперетка! — пропуская вперед всю эту компанию, шепнул я ротмистру.

— Сойдут,— уверенно сказал он.— Те тоже из лавочников да рабочих представителей собраны, лейбористы чертовы!

— Итак, отправляйтесь, господа, приведите себя в порядок, а через час чтобы все были в малой зале Дворянского клуба. Да держитесь там не кучками, не сбивайтесь в группы, а знакомьтесь, ходите, беседуйте с иностранцами свободно,— напутствовал их ротмистр и, поглядев вслед ушедшим, махнул рукой.— Архаровцы, босая команда! Один вы, барон, действительно выглядите великосветским львом. Вот что значит хорошая петербургская школа и европейские салоны!

Кажется, он уже забыл о том, что я был шулером.

Была ночь, южная, морская, севастопольская ночь, когда мы подъехали к Дворянскому клубу. Еще издали его подъезд светился огнями. Яркие, ложившиеся на асфальт полосы света, фонари улицы, зажженные фары отходивших и подъезжавших фаэтонов и авто, полицейские, наряд юнкеров, патрулировавший взад и вперед,— все это придавало улице торжественный, праздничный вид.

Десятка два французских моряков с характерными шапочками на головах, конные городовые, несколько топтавшихся в нерешительности горожан и взвод английских солдат усугубляли важность вечера в Дворянском клубе.

Ротмистр учтиво пригласил меня выйти из экипажа, я сошел под освещенные окна дома.

— Бре-г-гись! — услышал я знакомый голос.

Это Гасанка подкатил на своих дутых шинах к подъезду. Из его фаэтона вышли две дамы и полный, приземистый офицер.

— А-а, книаз, издравствуй да! — расплываясь во весь рот в улыбку, приветствовал меня Гасан.

Из-за спины ротмистра я показал ему кулак. Лицо татарина расплылось еще шире.

— Ой, чок якши, книаз!.. Когда завтра подавать нада?

— В десять! — ответил я, и Гасан отъехал, уступая место подкатившему авто.

Раскланиваясь налево и направо, мы поднялись по широкой лестнице, ведшей из вестибюля на второй этаж. Мой ротмистр стушевался и потух, видя, как много отлично одетых людей дружески и по-свойски раскланивались со мной.

— Э, да вы здесь не только свой, но и уважаемый человек,— с удивлением проговорил он, и в его голосе промелькнуло почтение.

«Погоди, то ли еще будет»,— подумал я, ступая по мягкому ковру в залу второго этажа.

Эту большую залу с антресолями и хорами для оркестра завсегдатаи называли «банкетной», хотя официально она именовалась «андреевской». По стенам были установлены пять национальных флагов — старый русский, английский, итальянский, бельгийский, французский, а у входа развевался белый с голубым крестом морской андреевский флаг царского флота.

Среди собравшихся людей находилось немало военных, дам разного возраста и вида, три-четыре священника, возможно даже, что какие-нибудь высокопоставленные духовные лица, так как у них был весьма величественный вид, спокойная походка, важная осанка. Один из них, в высоком, похожем на тиару клобуке, с золотым крестом на груди, по-видимому, являлся главным. К нему то и дело подходили под благословение разные военные и штатские господа.

— Кто это? — спросил я ротмистра.

— Преосвященный Вениамин, глава нашей крымской православной церкви,— с почтением ответил он.

Вдруг все пришло в движение. От дверей по зале пронесся офицер-распорядитель, встречавший нас у входа. Внизу заиграла музыка, зазвенели шпоры.

— Здравжамвашство!! — донеслось снизу.

Это прибыло какое-то высокое начальство, а с ним и иностранные гости.

Я взглянул на моего контрразведчика. Куда девалось его профессиональное спокойствие, нагловато-уверенное выражение лица, его апломб. Он, как и все военные, стоял навытяжку, руки по швам, упершись тупым взглядом в распахнутые двери, к которым приближались чьи-

то шаги и явственней раздавался звон шпор. Среди вытянувшихся в стойке «смирно» людей я увидел и одного из интеллигентов,— это был тот самый почтенного вида человек с дореволюционной сенаторской бородой, отрекомендовавшийся мне при знакомстве: «Коннозаводчик... бывший, теперь просто русский дворянин, чающий порядка».

Двое англичан, прохаживавшихся вдоль залы, тоже остановились и выжидательно смотрели на дверь. Застыл у входа хозяин офицерского собрания, капитан второго ранга Голубинский.

И вдруг все ожило.

В залу, неторопливо ступая по ковру, вошел генерал, за которым, теснясь, двигалась большая группа военных и двое-трое штатских с лентами через плечо.

Это не был Врангель. Я раза три видел крымского властителя, мне хорошо запомнилась его длинная фигура в черкеске. Зачем этот петербургский щеголь и кавалергард обряжался в так не шедшую к его худой, долговязой фигуре горскую черкеску, я не знаю, но все три раза я видел барона то в серой, то в коричневой, то в темной черкесках, с непомерно высокой белой папахой на голове.

Нет, это не был Врангель.

— Его превосходительство генерал Шатилов! — весь тая от казенного восхищения, шепнул мне ротмистр.

Генерал, кланяясь налево и направо, ровным солдатским шагом пошел под благословение епископа Вениамина. Преосвященный, подняв руки над головой склонившегося Шатилова, стал громко читать молитву. Но меня это не интересовало. Я забыл всех — и генерала, и епископа, и ротмистра, и откуда-то появившихся и разом заполнивших залу иностранных гостей. Возле Шатилова стояла та самая дама, которую я встретил на прогулке. Она находилась в окружении важных офицеров и разодетых дам.

Генерал поцеловал руку епископа, дьяконы или кто-то в этом роде пропели «многая лета», и церемония встречи закончилась.

В группе стоявших за Шатиловым людей я заметил и моего «шефа», полковника Татищева. Как был мил и

любезен с дамами и благообразным английским гостем этот выхоленный господин.

«Они даже и не подозревают, что перед ними контрразведчик»,— слегка продвигаясь в их сторону, подумал я.

Татищев сделал изумленное лицо.

— Ба...— искренне удивленным голосом сказал он,— кого я вижу! И вы здесь! Очень рад встрече.— Он тряхнул мою руку вверх, по английской манере, и, как бы спохватившись, произнес: — Господа, разрешите мне представить вам моего старого и очень приятного знакомого... еще по Петербургу,— добавил он, по-видимому отождествляя помещение контрразведки с пышной петровской столицей.

— Евгений Александрович Базилевский,— боясь, как бы Татищев не забыл моей фамилии, поспешил представиться я.

— Сэр, ю спик инглиш? — пожимая мне руку, спросил англичанин.

— О, ес... Ай спик инглиш...— свободно заговорил я, целуя ручки дамам.

Татищев благосклонно кивнул головой, но в его глазах я уловил чуть заметный насмешливый огонек.

Дамы и англичанин в свою очередь представили меня нескольким, то подходившим к нам, то прохаживавшимся по залу, лицам.

— Я где-то встречал вас, но, убей бог, не могу вспомнить,— широко улыбаясь, сказал мне высокий, плотный мужчина, с которым только что познакомили меня.

— Вероятно, в Москве, Питере, а может быть, и в Париже,— небрежно и неопределенно ответил я.

Уж этого-то господина я очень хорошо помнил. Это был Тарасов, директор Азовско-Донского банка в Ростове-на-Дону, который я еще пять лет назад преблагополучно очистил, забрав из сейфа около трехсот тысяч рублей.

Подошли трое офицеров, окруженных молодыми девицами, сбежавшими в Крым из Москвы и Петрограда. Двое пажей в довольно затрепанных парадных мундирах и круглолицый, розовощекий студент сопровождали их. Не знакомясь, мы легко заговорили друг с другом.

Французы были социалистами из какого-то левого крыла своей партии. Они шумно восторгались гостеприимством генерала Врангеля и «русского народа», хотя и удивлялись, почему их до сих пор не познакомили с русскими социалистами и представителями рабочего класса.

— Это несколько удивляет и настораживает нас,— вертя пуговицу на своем добротном сером костюме, говорил социалист.— Я сотрудник «Пепль», и мне поручено встретиться и поговорить с русской либеральной и независимой интеллигенцией...

— И с рабочим классом,— густым басом добавил второй француз.

Татищев мило и любезно рассмеялся и, чуть потрепав по плечу второго, судя по большим, натруженным рукам, истинного рабочего, сказал:

— Просто повезло вам. Как говорят у нас, на ловца и зверь бежит. Вот он, русский интеллигент, близко стоящий к социализму, но считающий себя независимым и беспартийным. Не так ли? — указывая на меня, добродушно спросил он.

Французы с любопытством воззрились на меня. Англичанин, видимо понимавший по-французски, процедил:

— Это любопытно.

— Да, господа, неожиданные встречи всегда бывают самыми ценными и искренними,— произнес я.— Ведь, идя сюда, я даже и не представлял, что встречу здесь настоящих, подлинных представителей рабочей Англии и всегда революционной, всегда передовой Франции,— я сделал корректный поклон.

Иностранцы дружно закивали головами. На их лицах было написано любопытство и удовлетворение.

— Когда я ехал сюда, я думал, что здесь будет обычный раут, прием, встреча с высокопоставленными европейцами из коммерческого и финансового мира, и я даже хотел отказаться от приглашения, но, господа...— я выдержал паузу и восхищенно продолжал: — оказывается, нам сделала честь свободная, демократическая и парламентская общественность Европы, послав к нам, людям труда и разума, своих самых демократичных и просвещенных людей. Да, я не ошибся, господа, и я не льщу вам, называя вас самыми передовыми и просве-

щенными представителями Запада. Разве это не так? В двадцатых годах нашего взбудораженного войнами и революциями века кто является самым передовым и неподкупным носителем чистой идеи всемирного единения и братства? Вы, господа социалисты и делегаты рабочего класса, которому суждено в будущем стать хозяином земли! — воскликнул я, на всякий случай краешком глаза глянув на Татищева.

Он еле заметно кивнул головой и одобрительно улыбнулся. Вокруг нас уже была большая толпа переставших кружить по зале гостей. Шатилов тоже стоял возле и одними пальцами аплодировал мне.

— Браво, браво! Вы, господин...

— Базилевский,— подсказал ему Татищев.

— ...Базилевский, очень верно и точно выразили то, что думает его высокопревосходительство генерал Врангель и мы,— после некоторой паузы, закончил Шатилов.

— Разрешите, господин генерал, перевести ваши слова этим господам? — предложил я.

— Прошу. Я не настолько хорошо знаю английский,— сказал генерал.

— Господа,— сначала по-французски, а затем и по-английски начал я,— господин генерал Шатилов, являющийся вторым лицом в Крыму после генерала Врангеля, просит передать вам: слова, произнесенные мною, являются программой и точкой зрения верховного командования русской Добровольческой армии в Крыму. Оно считает, что свободная Россия, которая вскоре придет на смену большевикам, будет страной разума, науки, прогресса и демократии. Поэтому ваш приезд сюда — это праздник всех сил правопорядка и гармонии между просвещеным капиталом и свободным трудом.

— Прекрасно сказано! — по-французски подтвердил Шатилов и пожал мне руку. То же сделали представители западной демократии и лейбористы парламента, восхищенные моим красноречием.

По правде говоря, я и сам понравился себе, и только профессиональное чутье и осторожность шулера взывали во мне: «Не трепись, хватит!»

Потом что-то говорил — я уже точно не помню — высокий, худой, с большим кадыком англичанин. Из всей его речи я запомнил лишь ее начало, так как дама-незна-

комка стояла возле нас и с интересом смотрела на меня. Я слегка поклонился ей. Она ответила легким наклоном головы.

Затем говорили французы, кто-то из окружавших Шатилова людей, но все это было как в полусне. Я видел только лицо моей незнакомки, ее большие серые глаза.

— Господа,— донесся до меня чей-то голос,— прошу в банкетную залу... Медам и месье, господа офицеры, прошу,— высокий, темноволосый человек во фраке сделал приглашающий жест.

На хорах заиграла музыка. Мы пошли в боковую дверь.

Я еще раз уловил на себе пристальный взгляд незнакомки.

В банкетной зале стояли длинные столы, накрытые, как любил выражаться один мой знакомый, «по первому разряду»,— хрусталь графинов, высокие бокалы на тонких ножках, сверкающие ножи и вилки, белоснежные скатерти и салфетки, цветы на столиках и большие букеты посреди столов... И застывшие официанты во фраках и белых нитяных перчатках.

Возле меня очутился неизвестно откуда появившийся ротмистр. За ним стояло трое моих архаровцев — Попандопуло, врач-гинеколог, массивный, с сенаторской бородой на тупом, равнодушном лице, и... я оторопел... актер симферопольского театра, рассказчик жанровых сценок и анекдотов из еврейского быта Саша Колычев-Шуйский, на самом же деле носивший под двумя звучными боярскими фамилиями обыкновенную, довольно распространенную — Рабинович.

Он отлично знал меня, так как все свои свободные вечера проводил в казино и в игорных домах, не сводя глаз с играющих и со стопок золотых монет. Его даже называли «Германном» за эти ежевечерние посещения казино. Сейчас он не узнавал меня, хотя видел за зеленым столом неоднократно. По-видимому, его прочно и основательно проинструктировал ротмистр, перед тем как привезти сюда в качестве интеллигентного еврея от крымской общественности.

Итак, это был тот самый «преуспевающий еврей», довольный жизнью, «добровольцами» и своим положением в Крыму, которого не хватало для нашей компании.

Ротмистр предусмотрительно, на всякий случай, посадил моих «интеллигентов» в дальний угол, за музыкантский стол.

Мы рассаживались согласно указаниям распорядителя. Я был посажен в середину стола.

— Господин Базилевский, прошу вас сюда,— раздался солидный баритон Шатилова,— сюда, сюда... Возле наших милых дам и вместе с нашими иностранными гостями.

И я очутился рядом с моей сероглазой дамой, в непосредственной близости от Шатилова и знатных гостей.

«О-го-го! — подумал я, видя, как Татищев, несколько важных генералов и штатских лиц остались за мной.— Берегись, не пришлось бы худо!»

— Господа! — поднимаясь с места и протягивая руки присутствующим, начал полный, плотно сбитый генерал, обращаясь сразу ко всем.— Мы, русские люди, находящиеся пока в самой южной части нашей империи, в благодатном Крыму, имеем честь и удовольствие принимать на священной земле России дорогих и близких нам гостей, представителей тех славных союзников, совместно с которыми наши доблестные армии громили немецкие орды Вильгельма. Я прошу поднять бокалы и выпить до дна за представителей Антанты, присутствующих здесь!

Оркестр на хорах торжественно заиграл сначала «Боже, храни короля», затем «Марсельезу», бельгийский гимн и закончил музыкой «Славься, славься» Глинки. Правда, как только раздались прекрасные звуки «Славься», из разных концов банкетной, а в особенности из залы, в которой находились не приглашенные к столу люди, сначала неуверенно, а затем все громче и громче понеслось «Боже, царя храни».

Шатилов, держа в поднятой руке бокал, повернулся в сторону иностранных гостей.

— Извините меня, мадам, что, не будучи представленным вам, я разрешил поклониться...

Моя соседка спокойно остановила меня:

— Сейчас подобные церемонии не обязательны. Разруха, революция и гражданская война нарушили их. Кроме того, я вас немного знаю.

— Каким образом? — несколько встревожившись, спросил я.

— Ну как же! Ведь совсем недавно мы встретились. Я возвращалась с прогулки, а вы в великолепном фаэтоне ехали по Александровской улице. Вы слегка, совсем по-джентльменски, поклонились мне и моему спутнику.

— О да, я это помню, но как вы запомнили?..

Она засмеялась.

— В Севастополе не так уж много элегантных штатских людей с хорошими манерами.

— Благодарю вас, благодарю за ваши добрые слова. Ваше здоровье! — Я чуть коснулся губами бокала.

Она кивнула головой.

А вокруг произносились речи. Говорили обо всем, но главным образом о демократическом Крыме, о добром, гуманном бароне Врангеле, о том, что отсюда, именно с этого клочка русской земли, начнется собирание России и ее будущее процветание под временной эгидой франко-англо-бельгийской демократии.

— Как некогда Иван Калита собирал Русь по кускам, так ныне просвещенный воитель и наш вождь болярин Петр,— оратор всхлипнул и, тыча пальцем в огромный портрет Врангеля, с дрожью в голосе закончил: — соберет нашу матушку-Россию... и сделает ее конституционной, парламентской и императорской...

Кто-то ткнул оратора под столом ногой, и он поспешно закончил:

— ...республикой...

— Гип-гип, ура! — кричали подвыпившие гости, которым наспех переводили слова усевшегося оратора.

Я с удивлением узнал в нем одного из моих «архаровцев». Это был присяжный поверенный, еще три часа назад испуганно просивший «установки» речи у ротмистра.

За ним поднялся какой-то студент, заговоривший от имени русской молодежи. Его возгласы тонули в общем шуме, звоне посуды и беспорядочном разговоре.

— Леди и джентльмены! — постучав вилкой по блюду, сказал, поднимаясь с места, высокий рыжебородый англичанин.— Прошу внимания!

— Господа, тише! Будет говорить мистер Том Джонс, руководитель рабочей делегации Великобритании! — крикнул кто-то из распорядителей.

Все смолкли.

— Я очень польщен тем, что мы, английские представители от рабочих организаций, делегаты профсоюзов, а также представители либералов,— он показал на двух мужчин и полную, в больших очках женщину,— встречаем здесь, на земле великолепного Крыма, таких замечательных и гостеприимных людей. У нас в Англии было много различных толков и неверных описаний вашей жизни. Злонамеренные люди писали в коммунистических и крайне левых газетах, что у вас здесь идут расстрелы, царит произвол и голод... что военные во главе с бароном Врангелем являются диктаторами типа южноамериканских президентов. Называли имена кровожадных вешателей — генералов Кутепова и Слащева. Мы и верили и не верили этому... но мы, лейбористы и либералы, независимые от капитала и власти люди, мы, как дети рабочего класса, должны были сами проверить все, что говорилось о вас...

— Я не знаю английского. Переведите потом мне вкратце, что говорит этот британец,— шепнула моя соседка.

— Охотно,— ответил я.

— ...И вот мы уже три дня находимся здесь. Где повешенные? Где расстрелы? Где погромы евреев? Мы не видим их...

— И не увидите, милорд. Все это агитация и пропаганда большевиков,— громко вставил я.

— Благодарю вас, сэр. Это именно так. И я, чтобы не утруждать внимания господ присутствующих, прошу всех поднять бокалы и выпить за ваше процветание, за гармоничное соединение прогресса и труда, за будущее демократической России.— Он поднял над головой бокал.

Все шумно приветствовали его речь, хотя вряд ли одна четверть из присутствующих понимала по-английски.

«Ну, Женечка (так я называл себя в особо ответственные моменты жизни), сейчас, или... будет поздно».

— Господа! — поднимаясь с места, сказал я.— Слова, которые только что произнес почтенный деятель Англии, мистер Том Джонс,— это слова умного, просвещенного, благожелательного друга. И мы рады, что общественность Англии, ее рабочая совесть и свободная пресса послали к нам именно господина Джонса. Он пытлив, на-

блюдателей и честен. Его чистая душа сразу же, за три дня пребывания на нашей земле, заметила бы все то, в чем клеветники обвиняют генерала Врангеля и русскую Добровольческую армию. «Но если ничего нет, ничего и не сделаешь»,— говорили древние греки. И господин Джонс подтверждает старинное изречение. Крым — благословенный край для всех, кто любит труд, свою страну, свой народ. Для всех честных, незапятнанных русских. И я, который, как мне кажется, имею честь считать себя таковым, говорю вам, посланцам рабочей Англии: «Добро пожаловать! Да здравствует наша дружба с вами!» —Я медленно, под аплодисменты, выпил свой бокал.

Но и сейчас краем глаза я наблюдал за Татищевым. Полковник был невозмутим, но его глаза и углы губ были полны еле сдерживаемого смеха.

— Несколько двусмысленная речь...— сказала соседка, чуть поднимая брови.

Англичане, которым перевели мою речь, поднялись с места и протянули ко мне руки с бокалами.

— Я рад,— по-английски обратился я к ним,— что моя искренняя, идущая от сердца речь понравилась вам.

— Мы были б рады, сэр, если б вы смогли эти несколько дней, что пробудем здесь, уделить нам. Просвещенный, знающий языки джентльмен и, главное, разделяющий наши взгляды нам нужен.

— С радостью, господа, только прошу сказать об этом его превосходительству генералу Шатилову,— и я снова глянул на вытянувшееся лицо Татищева. Иронического блеска в глазах уже не было.

Услышав свою фамилию, Шатилов спросил:

— Чем могу служить, господа? — Узнав о просьбе англичан, он подтвердил: — Это и моя просьба, господин...

— Базилевский,— подсказал я.

— Я вас очень об этом прошу. Кстати, скажите, предводитель дворянства Смоленской губернии, действительный статский советник Базилевский не в родстве ли с вами?

— Мой двоюродный дядя,— поклонился я, в первый раз слыша о таком родственнике.

— Очень этому рад. Это прекрасный человек. Что с ним, жив ли?

— Точно не знаю, ваше превосходительство... Война, большевики, революция,— я печально развел руками.— По слухам, умер от голода в Петербурге...

— Жаль, жаль. Очень был достойный человек ваш дядя. С этой минуты,— уже обычным тоном сказал он,— вы прикомандированы мною к господам иностранцам. Зайдите завтра к двенадцати часам ко мне в штаб.

— Счастлив, ваше превосходительство. Ровно в двенадцать буду,— ответил я, переводя англичанам наш разговор.

— Великолепно. Теперь вы наш язык и уши, глаза же остаются своими,— пошутил Джонс.

Лакеи меняли блюда, иногда подливая вино, но делали это не со всеми и не на всех столах. По-видимому, здесь существовала строгая иерархия. Меня не обносили, наоборот, внимание, оказываемое лакеями, мешало мне вести вполголоса разговор с дамой справа и господином в вицмундире слева.

Моя незнакомая знакомая переговаривалась и с Шатиловым, и с желчным итальянским майором, довольно дурно говорившим по-французски, и с сидевшей напротив нее красивой, с чуть ленивым взглядом дамой.

Моя незнакомка была как раз той женщиной, о каких французы говорят «умеет ловить мяч на лету» — то есть понять и продолжить любой разговор, любую шутку, полунамек.

— И все же я теперь имею некоторое право,— сказал я, чуть наклоняясь к ней,— спросить, кто вы, как ваше имя и отчество...

— Анна Александровна Кантемир. Вряд ли что-нибудь говорит вам это,— ответила она.— Я добрая знакомая семьи генерала Шатилова.— И, улыбнувшись, договорила: — Вот это уж, наверное, говорит больше.

— Евгений Александрович Базилевский, почти все в прошлом,— так же шутливо представился я.— Кроме дворянской чести, старейшей помещичьей фамилии и некоторых средств, уцелевших от большевиков.

— Что ж, в наше смутное и неопределенное время немало,— уже серьезнее сказала она.— Скажите, кто этот офицер, все время не спускающий с нас глаз?.. По-моему,

он особенно интересуется вами... Только взгляните вскользь, он за столиком возле самой двери.

Да, это был ротмистр Токарский, окруженный четырьмя или пятью усердно евшими и пившими соседями; он внимательно наблюдал за мной. Ему, по-видимому, как и Татищеву, не нравилось мое не входившее в их планы, столь неожиданное возвышение. Но Татищев, человек дальновидный, светский, держался умно, не показывая своей настороженности, ротмистр же был глуп, невоспитан и привык вести себя в манере тюремного надзирателя — его надо было возможно скорее убрать с моего пути.

— Господа! — снова заговорил полковник, выполнявший, по-видимому, роль распорядителя встречи.— Господа...— Он повернулся ко мне с самой любезной улыбкой: — Месье Базилевский, так как вы уже являетесь нашим связующим звеном между ставкой, общественностью и нашими дорогими гостями, я прошу вас перевести на английский и французский языки то, что сейчас скажет им делегат от еврейских общин Крыма, трудовой интеллигенции, раввин Рабинович.

Признаюсь, хотя я сам был здесь в роли, абсолютно не отвечающей моей профессии, и вся моя «группа передовых рабочих и интеллигентов» также была тем, что уголовные называют «липой», раввин Рабинович, час назад еще бывший эстрадно-шантанным актером Колычевым-Шуйским, удивил меня. Но назвался груздем — полезай в кузов, гласит мудрая пословица, тем более что впереди был Татищев, а позади, у самого выхода, ротмистр...

— С удовольствием,— сказал я и стал внимательно слушать выступление «раввина».

— Шма, Исроэл адонаи элегейну хот! — воздевая руки кверху, полупропел, полупростонал Шуйский.

Затем, отняв от лица ладони, он заговорил:

— Деятели союзных России стран, вы, посетившие нас в дни нашей борьбы с черными силами безбожия, неверия и отрицания бога, мы приветствуем вас. Евреи любят Европу, евреи любят и Россию, но какую? — Растопырив пальцы и тряся головой, он повторил: — Какую? — И тут же ответил: — Не ту, что отрицает веру наших отцов, презирает всякую религию, отнимает имущество,

нажитое трудами. Кто? Кто эти изверги? — завопил он так, что Анна Александровна, с комическим любопытством слушавшая его, вздрогнула и подалась в мою сторону. А Рабинович-Шуйский токовал, подобно глухарю, самозабвенно импровизируя и незаметно для себя переходя с непривычной ему роли духовного лица на профессиональный эстрадный манер.

Он размахивал руками, подмигивал, менял интонации и приплясывал на месте.

Не понимавшие его слов иностранцы, поначалу почтительно слушавшие духовное лицо, теперь переводили глаза с одного присутствующего на другого. А те, давясь от смеха, старались сохранить благопристойный вид.

— Уймите дурака! — шипящим шепотом сказал Татищев, делая мне рукой знак.

— Ваше благочестие, почтенный раввин,— глядя поверх головы Шуйского и боясь, что не выдержу этого балагана, прервал я его,— заканчивайте, я буду переводить вас.

Шуйский-Рабинович пришел в себя, смолк. И тут уж почти все весело рассмеялись, глядя, как он тщетно пытался сдержать свою жестикуляцию.

— Почему все смеются? — поднимая брови, спросил итальянец, в то время как англичане с каменным изумлением взирали на раввина.

— Господа! Почтенное духовное лицо крымских евреев приветствует вас. Он воссылает молитвы к небу за правительство Крыма, Англии, Италии и Франции, то есть стран и территорий, на которых нет и не может быть антисемитизма.

— Но почему все смеялись? — с подозрительным недоверием повторил итальянский офицер.

— Он просто оговорился. А теперь, господа, вас хочет приветствовать от имени свободного общества анархистов известный деятель всероссийского объединения «Анархия — мать порядка» господин Попандопуло,— важно сказал я, представляя моего грека.

— О-ля-ля! — в восторге произнес француз.— Я рад видеть среди нас такое разностороннее политическое сообщество.

— Какой толстый! Больше похож на армянского ду-

ханщика или на рантье из Марселя,— покачивая головой, сказала Анна Александровна.

— Иес! Иес! — одобрительно закивали англичане, когда я пояснил им, что их приезд приветствует свободная ассоциация анархистов, приславших для приветствия своего делегата.

— Они у вас легальны? — спросил Джоис.

— Конечно. Здесь представлены все партии, кроме большевиков,— указывая широким жестом на залу, ответил я.

— Господа, дамы... и девицы,— довольно робко, срывающимся, переходящим с баритона на альт голосом, начал «анархист»,— как учили нас наши знаменитые вожди,— Попандопуло поклонился в сторону ротмистра и скороговоркой продолжал: — «Анархия есть мать порядка».— Он помедлил, глянул на свою манжету и торопливо продолжал: — А кто говорит нет, если Бакунский,— сразу же наврал он,— князь Кропоткин,— он поднес манжету к глазам и торжественно выкрикнул: — Бланк и сам Махна пишут и говорят об этом!

Те, кто сидел возле Попандопуло, могли еще понять кое-что из его то плаксивой, то громоподобной речи, остальные же не разбирались в путаном высказывании грека, вообще не ладившего с русским языком, и терпеливо ждали конца.

Вино, сытный обед, музыка, то и дело раздававшаяся с хоров, и, самое главное, обилие выступавших «друзей Запада» и защитников крымских свобод утомили всех.

Попандопуло вздохнул, неожиданно икнул под общий смех оживших гостей, и уныло промямлил:

— Анархисты приветствуют...— он задумался и совсем уже вяло закончил: — представителей свободных профсоюзов Европы, а также парламенты и генерала Врангеля.

Шумок прошел по залу. Даже Татищев, слушавший всех с непроницаемым видом, прикрыл улыбку ладонью.

«Анархист» Попандопуло, облегченно вздохнув, сел на свое место.

Распорядитель, время от времени появлявшийся в зале и неизвестно куда исчезавший, пригнувшись к уху Шатилова, что-то шепнул ему. Генерал утвердительно кивнул головой и обратился к моей соседке:

— Анна, пригласи наших гостей в овальную комнату.

— Уважаемые гости, кофе будет подан в овальной комнате,— сказала Анна Александровна и, опершись на мою руку, встала с места.

Я перевел англичанам приглашение и тут же повторил его по-французски. Все шумно поднялись из-за стола, отодвигая стулья; кто-то торопливо допивал вино, слышались отдельные возгласы.

Иностранцы, следуя за Шатиловым, цепочкой двинулись к овальному кабинету, разговаривая на ходу, бросая реплики и обмениваясь впечатлениями.

У входа в овальную стояли распорядитель, двое дежурных членов собрания и подтянутый морской офицер.

Они поклонились шедшим впереди нас и распахнули перед ними тяжелую, дубовую, шоколадного цвета дверь. Неизвестно откуда появившийся ротмистр, полузагородив собой проход, сказал мне с самой любезной улыбкой:

— На одну минуту, господин Базилевский, тем более что вы вряд ли приглашены на кофе.

Наглость этого болвана, пытавшегося оторвать меня от Шатилова, была возмутительна. Я понимал, что ротмистр, считая мою миссию по одурачиванию иностранцев законченной, теперь постарается избавиться от меня.

— Не совсем, милейший,— без всякого к нему почтения ответил я.— Я как раз намереваюсь выпить кофе в овальном кабинете.

— Анна! Дай мне папиросу! — выглядывая из овальной, попросил Шатилов.

Не успел он еще закончить фразу, как ротмистр стремительно вынул из кармана мой портсигар и, почтительно изогнувшись, предложил:

— Прошу вас, ваше превосходительство, лучшие крымские...— и протянул его генералу.

Я спокойно, но очень уверенно взял из его руки портсигар и протянул Шатилову.

— Прошу вас, эти папиросы действительно лучшие в Крыму. Это фирмы Энфидусианца. Я всегда курю их.

Шатилов закурил. Я положил свой портсигар в карман и, видя недоумевающий взгляд генерала, как бы вскользь добавил:

— И портсигар этот мой, по странной случайности он вчера был похищен у меня и по еще более странной слу-

чайности возвратился сейчас ко мне. Благодарю вас, ротмистр, за находку моей вещи.

Анна Александровна рассмеялась, а Шатилов, едва не поперхнувшись дымом от папиросы, коротко спросил:

— Какой части, ротмистр?

— По особым делам прикомандированный к моему отделу,— появляясь за спиной Шатилова, тихо доложил Татищев.

— А-а,— неодобрительно протянул генерал и, не сводя взора с ротмистра, приказал: — Отправляйтесь немедленно домой. Будете до завтра под арестом... Прошу, месье Базилевский,— он взял меня под руку.

— Да познакомьте же меня, господа, с моим спутником,— входя в овальную, произнесла Анна Александровна.

— Как, разве вы не знакомы? — развел руками Шатилов.— А я был уверен, что вы старые и добрые друзья.

Чувствуя, что этот вариант мне выгоднее всего, я добродушно сказал:

— Анна Александровна шутит, мы действительно старые добрые знакомые, еще по Москве, друзьями же, я надеюсь, мы станем в Севастополе, не так ли? — обратился я к даме.

— О да, надеюсь,— неопределенно ответила она.

В овальном кабинете было не много народу, не больше шестнадцати — семнадцати человек. Конечно, ни «раввин» Шуйский, ни страшный «анархист» Попандопуло, ни даже многие из именитых гостей не были допущены сюда, но Татищев был и со свойственной ему спокойной вежливостью аристократа-гвардейца почти все время любезно молчал.

Французы, забыв о том, что они являются представителями демократии самой старой «р-революционной страны», налегали больше на коньяк, чем на кофе, пели фривольные песни.

Англичане молча пили, багровея от коньяка, но сохраняли типично британскую респектабельную флегму.

Итальянцы затеяли шумный спор, совсем не к месту упрекая союзников за то, что Италию обделили при заключении мира.

Моя дама, как видно, очень нравилась итальянцу.

Болтая о разном, я видел, что Татищев, прикрываясь деланно равнодушным видом, внимательно наблюдает за мной. Но что он думает, какие мысли роятся в его голове?

Итальянец, оставив своих все еще споривших компатриотов, подсел к нам. Я встретил иронический взгляд Татищева и чуть приподнял в его сторону рюмку с коньяком, он улыбнулся и сделал приглашающий жест.

— Извините, господа, я на одну только минуту,— сказал я.

Мы с Татищевым сидели на софе у окна, в стороне от остальных.

— Великолепно... Даже по самой строгой оценке я ставлю вам «пять»,— спокойным голосом сказал он.

— Благодарю вас, но я думаю, что балл будет не высок, не больше тройки.

— Почему вы так думаете?

— Из-за ротмистра и истории с моим портсигаром.

— Наоборот,— равнодушно протянул он, отпивая из высокой рюмки ликер,— за это я как раз ставлю вам еще и плюс.

— «Пять» с плюсом? — удивился я.

— Именно. Ротмистр дурак, он туп и, как все глупые люди, самонадеян. Вы просто помогли мне, господин Базилевский. Ваше здоровье,— он приподнял рюмку.

— И ваше,— сказал я, не очень радуясь его словам. Благорасположение контрразведки всегда пахнет кровью.

— Я не задерживаю вас. Ваша дама и обязанности джентльмена и переводчика ждут вас,— с самой любезной улыбкой отпустил меня он.

— Маркиз Октавиани, майор гвардейской пехоты его величества,— отрекомендовался итальянец, когда я возвратился на свое место.

— Базилевский, русский дворянин и литератор,— в свою очередь представился я.

Итальянец покивал головой и сейчас же занялся разговором на плохом французском языке с моей соседкой.

Раза два мне приходилось подниматься и переводить англичанам слова генерала.

— Передайте, пожалуйста, Евгений Александрович, господам парламентариям, что военное положение наше безупречно, что мы не повторим ошибок генерала Деникина: мы, в противовес ему, армия народа и видим буду-

щее России не в порках и расстрелах, а в свободном волеизъявлении всех народностей, входящих в нашу страну.

Я добросовестно переводил, а англичане согласно кивали головами, что-то занося в свои блокноты.

— Спросите, пожалуйста, сэр, генерала: будут национализированы фабрики, банки и железные дороги, когда барон Врангель войдет в Москву? — спросила журналистка из «Таймса».

— Это еще что за новости? — повел плечами Шатилов, но тут же, спохватившись, добавил: — Разумеется, после победы над большевиками все будет.

Тут я вспомнил чеховского грека Дымбу, который на все вопросы отвечал: «В Греции все есть... в Греции все будет».

Наконец кофе был допит, коньяк и ликеры испробованы, все застольные речи произнесены, и гости стали расходиться.

— Итак, завтра мы ждем, сэр,— глядя на меня особыми глазами, сказал Джонс.

Я попрощался со всеми и, лишь когда делегаты просвещенного Запада спустились по лестнице вниз, подошел к Анне Александровне.

— Ух! Я устала от этого сладчайшего маркиза. Вы проводите нас или отправитесь к себе?

— Если можно, почту счастьем...

Она перебила меня:

— Какой штиль, какой высокий, поистине дореволюционный штиль! Так говаривали наши бабушки в девятнадцатом веке. Кстати, почему вы сказали, будто мы старые знакомые, чуть ли еще не с Москвы? — вдруг спросила она.

— Так мне было надо, это удобнее, тем более что и вы не возразили.

— Удобнее? Для кого?

— Для нас.

— Евгений Александрович, вы не служили актером в Петрограде? — задала неожиданный вопрос Анна Александровна.

— Не-ет... А почему вы спросили меня об этом?

— Видите ли, уж очень мастерски и тонко провели вы сегодня роль светского человека и вивера[1] на этом

[1] Прожигатель жизни (*франц.*).

забавном банкете. Вы на две головы были выше всех этих придуманных контрразведкой греческих Попандопуло, опереточных еврейских раввинов и жалких сенаторов из Петербурга.

— А это потому, что за неуспех инсценировки один только я отвечаю своей головой, уважаемая Анна Александровна. Головой, за которой охотятся и контрразведка, и сыскное управление полиции, и еще ряд других подобных же организаций.

— Вот как! Чем же вы прогневили этих могущественных людей?

— Тем, что не похож на них, тем, что свободен от моральных, духовных и социальных уз, которыми опутали человека эти люди.

— О-о! Почти анархизм! — уже с любопытством протянула Анна Александровна.— К нам идут... Тема эта интересна, и мы еще вернемся к ней позже.

Шатилов и двое морских офицеров были уже возле.

— Анна, автомобиль ждет,— сказал генерал.

— Я готова.

Раскланявшись со мной, они пошли к выходу.

Переждав несколько минут, я тоже сошел в вестибюль, гости шумно расходились.

Я медленно пошел к себе, ожидая ежесекундно любой каверзы из-за угла. После столь необычного возвышения глупо было бы стать объектом мести посрамленного ротмистра или дальновидного Татищева.

Я перешел в тень деревьев и долго-долго кружил по Севастополю, пока не убедился, что никто не идет за мной. В начале четвертого часа ночи я пришел домой.

Утром, когда я, приняв ванну, одевался, разглядывая себя в зеркало, моя квартирная хозяйка, вдова капитана первого ранга, вошла ко мне.

— Доброго утра, Евгений Александрович.

Вдова капитана когда-то училась в Екатерининском институте для благородных девиц в Москве, поэтому навсегда сохранила жеманность, французский прононс и светские манеры.

— К вам уже трижды приходил какой-то человек... По-моему, не комильфо, но и не из простонародья.

Я предпочел бы, чтоб ко мне трижды наведался монтер или водопроводчик.

— Он и сейчас на площадке за дверью.

— Пусть войдет.

Чего мне было опасаться? До полудня я был персоной, которую ожидал прием у Шатилова, дальше я был назначен официальным спутником иностранцев. Что же «потом» — это уже будет результатом личных моих качеств и таланта.

— С добрым утречком, уважаемый Евгений Александрович,— услышал я из полуоткрывшихся дверей голос Литовцева.

Хозяйка величественно глянула и, отвечая наклоном головы на почтительное приветствие сыщика, произнесла:

— Кофе будет в гостиной,— и так же величественно вышла из комнаты.

— ...Я помню чудное мгновенье — передо мной явился ты, как мимолетное виденье, как гений сыска и...

— Куда там гений! — махнув рукой, сокрушенно сказал Литовцев.— Мне, дураку, в слесари или в архив идти надо.

— Зачем припожаловал, Шерлок Холмс, хотя из тебя и Путилова не вышло?

— К вам, душечка, Евгений Александрович, к вам, золотой мой, благодетель,— просительно улыбаясь, заговорил Литовцев.

«Опять какая-то каверза»,— подумал я, вспоминая, как только вчера этот самый человек, злорадствуя и паясничая, издевался надо мной в сыскном отделении.

— Евгений Александрович, будьте отцом родным, не губите старого человека,— собирая на лице морщины, плаксиво начал он.— Поистине ослом и тупицей я был, когда захотел единоборствовать с вами.

«Новый трюк. Готовит какой-то подвох»,— решил я, наблюдая в зеркало за кающимся Литовцевым.

— Говори короче, нет времени... Я приглашен в ставку,— продолжая возиться с запонками, перебил я.

— Знаю, знаю, дорогой, наслышан, драгоценнейший...

— Ты еще скажи «бриллиантовый» — и совсем станешь как цыганка на бульваре.

— И скажу... все скажу, только снизойдите к моей просьбе. Ведь я что, я маленький человек, мелкая сошка,

тьфу — и нету Литовцева... Меня погубить — все одно что комара или муху. Евгений Александрович, ну прошу вас, ну на коленях умолять буду...

— Говори, кислая шерсть, о чем просишь, да покороче,— поворачиваясь к нему, приказал я.

— Верните, голубчик, эти проклятые деньги... эти шестьсот долларов... Ведь кровные ж... других нету...

— Детишкам на молочишко? — насмешливо напомнил я.

— Так это ж Голоскухин говорил, это ж проклятый человек, дай ему бог постыдной смерти. Это он меня на вас посылал... Разве ж я сам...

Вид сыщика с перекошенной от жадности и лицемерного почтения физиономией был омерзителен.

— Как же ты, братец, о начальстве так? А где же присяга, солидарность товарищеская?

— Смеетесь надо мной, и верно. Сволочь я и дрянь, что с таким подлецом, как капитан, против вас пошел. Не учел силы, не понял разницы. Он что, тьфу,— Литовцев плюнул,— мошка, а вы ж орел, вон за ручку с высокими генералами здороваетесь, на приемы к ним ездите. Евгений Александрович, не губите, богом прошу, ни слова обо мне в высоких сферах, а доллары, шестьсот штук, верните. На что вам они? Вы их тысячами загребаете...

— Хорошо... дам,— глядя на подлую рожу сыщика, сказал я.

— Голубчик, благодетель, ручку вам поцелую, век бога молить буду...— расплываясь от радости, забормотал Литовцев.

— Сорок копеек!

— Чего сорок? — видимо не расслышав, озадаченно переспросил Литовцев.

— Дам сорок копеек — и то не царскими, а украинскими грошами, сукин ты сын,— разглядывая растерянное, с вытаращенными глазами лицо сыщика, издевательски рассмеялся я.

Секунду-другую он беззвучно шевелил губами, тараща на меня округлившиеся глаза, затем тихо, но уже серьезно произнес:

— Вот это уж напрасно, господин Базилевский. Литовцев, конечно, сволочь, Литовцев, конечно, мразь, и с ним можно так разговаривать. Однако Егор Литовцев

еще кое на что годится, и в особенности тем, кого взяли на мушку ротмистр Токарский и капитан Голоскухин.

Я понял, что он прав. Я допустил непозволительную в моем положении оплошность. Этот продажный сыщик мог быть и полезен и опасен для меня.

— Ну, пошутил, отвел на тебе душу, Егор... как тебя по батюшке?

— Яковлевич.

— ...Егор Яковлевич, за все то, что ты со своим капитаном позволил вчера по отношению ко мне,— напомнил я.

— Это естественно... Я б, может, сам то же бы сказал в сердцах,— с надеждой в голосе забормотал Литовцев.

— Но ты же понимаешь, Егор, что я не из тех людей, что верят слезам да причитаниям, особенно ж штатным пинкертонам, вроде тебя...

— Понимаю, ясное дело, Евгеиий Александрович. Я вам душой и телом служить буду.

— Ты ие дурак, Егор Яковлевич, понимаешь с полуслова, служи мне душой, телом не надо,— пошутил я,— и твои шестьсот долларов вернутся к тебе...

— Мне б их поскорей, Евгений Александрович,— вставил Литовцев.

— Скоро только блох ловят, а деньги, да еще такие, надо заработать.

— Это точно, но я их отслужу честью,— пообещал он.

— Тогда получишь, почтенный Егор Яковлевич, не только шестьсот, а и еще кое-что...

— ... детишкам на молочишко,— пошутил осмелевший сыщик.

— А теперь получи вот авансом, в счет будущего, сорок... нет,— поправился я,— пятьдесят долларов, а ночью, после двеиадцати, зайди сюда с докладом... А сейчас мие надо к его превосходительству генералу Шатилову,— важно объявил я.

— Слышал, слышал, Евгений Александрович. Важная это особа, используйте ее против ротмистра,— снизив до шепота голос, сказал Литовцев.— Этот самый Токарский зуб иа вас точит, ну, да, имея Шатилова и его родню за плечами, бояться вам нечего.

Он спрятал пятидесятидолларовую ассигнацию в бо-

ковой карман, вежливо улыбнулся и, сказав: «В двенадцать буду как из пушки»,— ушел.

Этот прохвост, по-видимому, уже все знал об иностранцах и о благосклонном ко мне отношении Шатилова.

— Непорядочная личность, сразу видно, что хам! — приоткрывая дверь, определила моего гостя хозяйка.— И уж напрасно,— это, конечно, не мое дело, Евгений Александрович,— но давать такому типу доллары...

— Дорогая Клеопатра Георгиевна, человек, которого вы называете «типом» и «хамом», принадлежит к царской фамилии.

Вдова капитана первого ранга раскрыла от изумления рот, ее маленький лоб покрылся пятнами.

— Как? К дому Романовых? — наконец произнесла она.

— Именно. Это незаконный сын почившего в бозе императора Александра Третьего.

— А мать? — подавшись вперед, с любопытством спросила офицерская вдова.

— Цыганка из хора. Знаменитая красавица Стеша... женщина редкой красоты... Царь был от нее без ума, и вот... в результате — ребенок...

— Ка-кая романтичная история... А я-то не поняла... Слышно ведь урывками... Вы, голубчик мой, Евгений Александрович, познакомите меня с ним?

— Как-нибудь, как-нибудь, только,— я поднес к губам палец,— тайна. Вы ж понимаете, он единственный претендент на всероссийский престол, остальных убили большевики, ему надо всего и всех опасаться.— Я снова поднял палец.— Пока опасаться, ну, а когда все кончится и он взойдет на престол...— я сделал торжественный жест рукой.— Но... ни-ко-му, понимаете, ни-ко-му...

Вдова усиленно заморгала глазами и перекрестилась.

— Клянусь!

— Дело в том, что и большевики и монархисты, сторонники Кирилла и Николая Николаевича, охотятся за ним... Нам надо сохранить наследника престола,— патетически закончил я.

— Господи, помоги ему! — еще раз перекрестилась вдова капитана первого ранга.— Ах, как это интересно, просто Рокамболь или Дюма! Пойдемте пить кофе...

— Салам, князь, здравствуй, пожалуйста,— приветствовал меня с козел Гасанка. Лицо его сияло свежестью, лоснилось от сытой жизни, глаза светились веселым лукавством.— Как здоров, князь? — откидывая полость, восхищенно спросил он.

— Ничего, жулик, хорошо живу, разбойник,— усаживаясь на мягкое сиденье, ответил я.

— Ах-пах-пах... Зачем говорил такой кислый слово... Нехорошо... Гасан тибе любит, князь... Куда будим поедит?

— Гасан мошенник, он деньги любит. Гасану не кислый слово, а палкой по башке надо дать. Ты зачем продал меня, разбойник?

— Начальник сказал: «Поезжай, молчи, башке секим будем, если князь скажешь...» И что сделаешь? Гасан — извозчик, его только лошадь боится.

— Ладно, поезжай прямо, а там разберемся.

— Якши, князь, это хорошо слово... Это Гасан любит.

Татарин присвистнул, причмокнул, и лошади понеслись.

— А я это русски баб сё знаю...— полуоборачиваясь ко мне с козел, подмигнул Гасан.

— Какой «баб»?

— Твой баб, который автомобил ехал. Ха-роший баб... Тыщу рублев стоит.

— И что ж ты узнал?

— Его муж нету, его деньги мало есть. Твое дело, князь, легкий!

— Чем легкий? — улыбнулся я.

— Легкий. Деньги, фаэтон поезжай, хороший ужин «Гранд-отель» корми. Тыща рублей дай, тебе спать пойдет.

— Ну и дурак ты, Гасан! — обозлился я.

— Гасан умный, Гасан верный слова говорит,— самодовольно изрек татарин и, подобрав вожжи, гикнул на лошадей.

Мы проехали площадь, спустились по Екатерининской к Нахимовскому проспекту.

— Он эта дом живет,— указывая кнутом на двухэтажное здание, сказал Гасан,— твой дамочка.— Он глупо рассмеялся.

Я взглянул на часы. Было пять минут двенадцатого. Скоро и к генералу.

— Откуда это знаешь?

— Гасан знает. Я его, твой баб,— пояснил он,— чира за город возил. Итальянски офицер вместе... Бельбек катал, обратно привез.

Эге-ге!.. Мой татарин не врал. Теперь я понимаю, почему так таял возле нее этот маркиз Октавиани.

— Вези к штабу,— приказал я, и Гасан повез меня в сторону Графской пристани, где находился штаб ставки барона.

Часовые у входа не шелохнулись, когда я вошел в вестибюль. Дальше было по-иному. Двое очень вежливых, с одинаковыми проборами офицеров-марковцев вопросительно посмотрели на меня.

— К кому следуете? — учтиво, наклоняя стриженную ежиком голову, спросил юнкер с золотым шевроном на локте.

— Аудиенция ровно в двенадцать часов у его превосходительства генерала Шатилова.

— С кем имеем честь? — одновременно вытягиваясь в струнку и звеня шпорами, осведомились двое драгун.

«Откуда они берутся так внезапно?» — удивился я. Действительно, в вестибюле, в передней и в полуоткрытых дверях было множество офицеров. Одни с шевронами на рукавах, другие с повязками и галунами, третьи с черепами и скрещенными костями, а еще человек пять в черкесках молча поглядывали из-за дверей. «Кто же на фронте, если здесь их столько?» — подумал я и с достоинством ответил:

— Базилевский, Евгений Александрович, по личному приглашению генерала.

Несколько голов опустилось над бумагой, где значились фамилии вызванных, несколько пар глаз воззрилось на меня.

Так в молчании мы провели две-три секунды.

— Прошу вас, второй этаж, там дежурный обер-офицер проводит к приемной,— передавая мне пропуск, сказал один из офицеров.

Я поднялся по лестнице на второй этаж. Вся эта церемония была немного опереточной и забавной. Из этих

разряженных бездельников и генеральских холуев легко можно было создать роту.

Шедший позади казак проводил меня до круглолицего, с лихими усами вахмистра. Тот, щелкнув каблуками, провел меня по коридору дальше. И тут, и на лестнице, и на площадке, стояли, прохаживались или посиживали на подоконниках офицеры, юнкера, казаки. Поистине рота могла уже стать батальоном, если б все эти бравые усачи были бы отправлены на фронт.

Удивило и большое количество женщин, преимущественно хорошеньких и молодых. Сестры милосердия, причудливо разодетые, в коротких юбках и нарядных кофточках, легко могли составить женский батальон. Позванивали шпоры, звучал приглушенный смех, пахло духами.

— Пра-ашу вас,— хорошо поставленным баритоном пригласил меня в приемную генерала полный, добродушного вида полковник, смахивавший на опереточного простака.— Не узнаете меня? — пожимая мою руку, спросил он.— Не помните? Это понятно. А я вас, почтенный Евгений Александрович, еще долго не забуду.

— Это почему ж так?

— А как же, ведь вы уже и не помните, а я потом целую ночь не спал, все переживал да ругался. Ведь это ж вы у меня на золотом столе сорвали куш в целых семьсот долларов.

— Ничего, полковник, отыграетесь... Карта ведь дура...

— Дай бог, дай бог! — вздохнул полковник.

Некстати встретился со мной у Шатилова этот болтливый человек. Я сел рядом с ним и принялся разглядывать свои ногти.

В приемной сидели важные офицеры, также ожидавшие аудиенции. Три-четыре чопорных дамы неопределенного возраста, хорошенькая блондинка со взбитым коком и мрачного вида штатский с георгиевской лентой в петлице.

А этот болтливый полковник все распинался о моих подвигах в казино.

— Вы, полковник, служите при штабе ставки? — спросил я, чтобы прекратить его болтовню.

— Нет, знаете ли, тут особое дело,— снижая голос, сказал он, отводя меня к окну.— Я ведь служу по интендантской части. В свое время Военно-интендантскую академию окончил, на Юго-Западном корпусным хозяйством ведал, и здесь...— Он еще дальше оттащил меня в угол и еле слышно прошептал: — Склады у меня кем-то разворованы... Английское обмундирование, запасы белья, ботинок, сапог, французское солдатское сукно пропало... и пудов так четыреста, а то и все шестьсот мясных консервов — корибефа, сгущенного молока тонны полторы разворовали, мерзавцы!

— Кто ж это постарался? — с комическим участием спросил я.

— Кабы знать, кто... В том-то и дело, что найти никого не можем, а генерал,— он кивнул головой на дверь в кабинет Шатилова,— бушует, рычит, как тигра лютая. «Если, говорит, в пять дней похищенного или виновников не найдете, под суд всех...» Под расстрел грозит... Помилуйте, а при чем я? Ведь меня тут в это время и не было, я в Бахчисарае находился...

— Господин Базилевский,— входя в приемную, произнес адъютант,— его превосходительство ожидает вас.

Застыв на полуслове, мой «невинный» интендант мотнул мне головой, и я вошел в кабинет Шатилова.

— Рад вас видеть, господин Базилевский,— поднимаясь и идя мне навстречу, сказал генерал. Это был очень воспитанный и вежливый человек, своей простотой и непринужденной манерой обращения сразу же располагавший к себе. Он пожал мне руку и, обращаясь к высокому, тоже поднявшемуся с места моложавому генерал-майору, представил нас: — Генерал Артифексов — Евгений Александрович Базилевский.

Мы церемонно раскланялись друг с другом.

— Теперь прошу садиться, и сразу же приступим к делу. Я охотно уделил бы вам и час и другой, но дела.— Он показал рукой на бумаги, лежавшие на столе.— И главное — люди. Вы видели, сколько их там, за дверью.

— Ваше превосходительство, говорите со мной столько, сколько в вашем распоряжении минут, я и понимаю и вижу, как беспредельно загружены вы.

— Да, да,— кивнул он.— А теперь к делу. Генерал Артифексов и вы будете как бы пестовать иностранных

гостей. Генерал — по военной, вы же — по гражданской, общественной и духовной линии.

Я молча поклонился генералу, Артифексов вежливо улыбнулся.

— Ваше знание многих европейских языков, светские манеры, независимое положение в обществе — это то, что особенно ценится нами. Генерал же один из наших лучших военных дипломатов, разносторонне образованный человек. Я рад, что познакомил вас. Алексис, теперь расскажите мне и господину Базилевскому план ближайших встреч с парламентариями наших союзников.

— Он очень прост. Сегодня и завтра господа социалисты и либеральствующие митрофанушки из европейских буржуа хотят повидаться с народом, то есть с рабочими и населением Севастополя.

— Ну, ну, Алексис, воздержитесь,— с укоризненной улыбкой погрозил ему пальцем Шатилов,— ведь это ж наши друзья, общественное мнение, опора за границей...

— Прошу прощения, ваше превосходительство, но для меня эти ограниченные люди, играющие в социализм и потакающие большевикам, честное слово, глупцы и невежды,— изрек генерал-дипломат из ставки,— ведь они ж рубят сук, на котором удобно и спокойно сидят... Не будь нас, завтра же большевистские орды бросятся на Запад, и красная зараза сметет как этих сытых социалистов, так и либеральных раитье.

— Это-то так, но сейчас они нужны, и надо с ними держаться по-иному,— посоветовал Шатилов.

— Что мы и делаем, иначе разве они бы показались в Крыму. Не беспокойтесь, ваше превосходительство, мы с господином Базилевским отлично справимся со своей задачей.

— Абсолютно согласен с вами, генерал,— сказал я.— Если говорить честно, то эти ограниченные и тупые представители рабочих и социалистических организаций Европы просто сытые мещане, нечто вроде откормленных гусаков, которых завтра отвезут на бойню.

— А вы заметили, что среди них есть и евреи...— начал Артифексов.

— И тем не менее их надо гостеприимно принять, повозить по городу, окрестностям Севастополя и выполнить указание ставки,— возвращаясь к своей неоконченной

фразе, продолжал Шатилов,— а оно заключается в следующем: вчера мы хорошо провели встречу с делегациями Запада.

«Именно — провели»,— подумал я, внимательно глядя на Шатилова.

— Иностранцы полны благожелательного впечатления от встречи с либеральной интеллигенцией Крыма, но сделать это было не трудно. Все эти купцы, адвокаты, раввины и подобная им публика — самая податливая и, я бы сказал...— подыскивал слово генерал.

— ...подлая,— подсказал Артифексов. Почему этого казачьего бурбона здесь считали дипломатом и разносторонне образованным человеком, я не понимал.

— Вообще-то да, но, выражаясь мягче, беспринципная. Иностранцы довольны — интеллигенция Крыма с Врангелем. Теперь их интересует настроение рабочих, мужиков и мещан занятых нами областей. На фронт мы их не пустим. Генерал Кутепов и я настращали их Буденным, красной конницей и латышскими стрелками. Любопытствующие европейцы благоразумно решили ограничиться окрестностями Севастополя не дальше Качи и Бельбека. Вы, Евгений Александрович, завтра повезите их на Сапун-гору, Малахов курган, даже в Качу... Не препятствуйте их желаниям. И маршрут поездки и на-селение,— протянул иронически Шатилов,— уже подготовлены нами. Все детали завтрашнего ознакомления гостей с пролетариатом Севастополя вам подробно расскажет генерал,— и он указал на молчавшего Артифексова.

— Благодарю за доверие, готов к беседе с вами,— поднялся я.

— Иностранцам понравились вы, особенно же английскому мопсу... как бишь его фамилия?

— Том Джонс?

— Да, да, ему, да и остальные очарованы вами. Кстати,— удерживая меня за локоть, спросил Шатилов,— что за инцидент произошел у вас с этим ротмистром из контрразведки?

Артифексов вышел, и мы были вдвоем.

— Просто маленький грабеж... Этот офицер, желая воспользоваться моим портсигаром и деньгами, пытался арестовать и запугать меня. Как видите, я не из пугливых, и шантаж не удался.

— Я так и думал,— поднимая бровь, сказал Шатилов.— Как его фамилия?

— Токарский.

— Обождите минутку,— подходя к телефону, остановил он меня.— Соедините меня с полковником Татищевым... Да, да, начальником контрразведки.

Дальше произошел разговор, навсегда оставшийся в моей памяти.

— Полковник Татищев?.. Здравствуйте, граф. Говорит Шатилов. Дайте мне краткую и самую точную аттестацию на вашего офицера ротмистра Токарского... Нет, нет, время не ждет, устную, только устную.

В трубке что-то пророкотало.

— Я этого ожидал. Вчера я был свидетелем неприятной сцены, когда господин Базилевский... Да, да, вы знаете его, он сейчас находится у меня,— должен был отобрать, представьте — публич-но, у этого офицера свой портсигар!.. А-а, вы это наблюдали? И что же скажете?

В трубке опять зарокотало, на этот раз довольно долго.

— Я рад, что наши взгляды совпадают. В маршевый батальон, с немедленной отправкой на фронт. Письменный приказ пришлю позже. Нам нужны честные люди, а не вымогатели и казнокрады.— И, вешая трубку на рычажок, генерал проговорил: — Благодарю вас за откровенность. Полковник граф Татищев просит поблагодарить вас за оказанную ему помощь. Его честной солдатской натуре давно претил этот взяточник и вор... а ваше вмешательство помогло ему. Итак, после беседы с генералом Артифексовым набросайте короткий план вашего завтрашнего вояжа — и с богом,— напутствовал меня Шатилов.

Кабинет Артифексова был в конце коридора. И здесь, как и по лестнице и в вестибюле, порхали миловидные дамы, кучками и в одиночку стояли или прохаживались молодые офицеры, стремительно проносились адъютанты и, стараясь сохранить бодрый, воинственный вид, шагали безработные пожилые и престарелые полковники и генералы, тщетно надеявшиеся получить какое-нибудь хлебное место и обеспеченное жалованье.

Находясь со мной наедине, Артифексов произвел совсем иное впечатление. Это был довольно образован-

ный, сравнительно молодой, воспитанный, кое-что понимавший в политике генерал. Я понял, что маска этакого рубаки и резкого в суждениях человека была создана им для начальства. Такая «прямота» и солдатская прямолинейность нравились и Врангелю и Шатилову, и Артифексов с успехом изображал при «дворе» барона белогвардейского Платова, врага салонных шаркунов и велеречивых генералов. К моему удивлению, он сразу же и откровенно признался:

— Вряд ли долго удержимся на этом крымском пятачке. Красные усиливают войска, за Перекопом их набралось очень много, лучший их командир Фрунзе и вся конная армия Буденного готовят удар... А у нас...— он развел руками,— вместо погибших на Дону и Кубани первопоходников сплошная юнкерская, кадетская и гимназическая молодежь, бездарные генералы и разложившиеся у Деникина казачьи полки, вроде шкуровцев и гусельщиковских молодцов. А надежды на Европу нет. Вы же видели вчера этих либеральствующих бездельников и болтунов. Сюда надо было прислать десять дивизий английских и французских войск, сотню танков «рено», авиацию и флот. Но Европа этого не может и не хочет... Значит, ликвидация Крыма — вопрос нескольких недель.

— Что вы, генерал... Русская армия... Ведь еще вчера газета «Таврический голос» писала...

Он насмешливо поглядел мне в глаза.

— Бросьте, Евгений Александрович, вы это знаете так же хорошо, как и я.— Он закурил.— Если власть опирается в своих делах на самозванных генералов, выживших из ума сенаторов царской империи, спекулирует и ведет сомнительные торговые операции с жульническими франко-турко-итало-греческими фирмами и аферистами,— он сильно затянулся,— если она обращается за помощью к шулерам, царским жандармам, титулованным дуракам и преступникам, то дни ее сочтены.

— Это интересно.

— А что интересного?.. Но перейдем к делу. Вы, конечно, догадываетесь, что мы знаем, кто вы, ваше социальное положение и прошлое. Не скрою, что в другое время я лично воздержался бы от знакомства с вами, но сейчас... Нас окружают сотни таких субъектов, в сравнении с которыми вы агнец и невинный ребенок... Значит,

нечего думать об условностях, надо извлекать пользу из обстановки. Сейчас вы нам нужны, и мы оберегаем вас. Делайте, что поручено...

— А потом? — осторожно спросил я.

— А потом — не знаю. Потом полагайтесь на себя и свои способности. Думаю,— Артифексов рассмеялся,— скоро мы все, каждый из нас будет надеяться только на себя, на свои быстрые ноги и на личные качества.

Мы оба помолчали.

— А генерал знает обо мне? — осведомился я.

— Очень мало. Он не интересуется вами больше, чем надо ему для спектакля с иностранцами. Вами в гораздо большей степени интересуется госпожа Кантемир, подруга дочери генерала.

— Анна Александровна?..

— Именно. Когда я сказал ей, кто вы, не утаив сведений, полученных от Татищева, она всплеснула руками. До этого ей и в голову не приходило, что вы король по взломам сейфов и признанный гений игорных домов.

Я подавленно молчал.

— Не сокрушайтесь. Вы для нее просто экзотическая фигура. Интересный, необычный экспонат среди десятков серых, стереотипных, как две капли воды похожих друг на друга крымских беглецов. Однако мы заговорились, оставим это и перейдем к делу,— закончил Артифексов.

Мы быстро договорились о маршруте, по которому повезем гостей.

— В Бельбеке недолгий завтрак у «совершенно случайно» приехавшего туда татарского князька Туганбека. С ним будет и мулла. Ну, там удивления, расспросы, охи и ахи. Затем короткий отдых-завтрак в районе Сапун-горы. И там встреча с народом, но уже русским. Церемония приблизительно та же, два-три протестующих голоса. Вариант, как видите, один и тот же.

— Кто будет протестовать и по какому поводу? — осведомился я.

— Двое из местного гарнизона, изображающие пейзан.

— Однако вы откровенны.

— А как же! На карту ставится все, нам необходимы признание и помощь Европы. Что же касается приемов, то — а ля гер ком а ля гер. Мы для этой цели мобилизо-

вали решительно все, от царскнх сановнннков до тнтулованных простнтуток н европейски известных проходнмцев.

Спустя десять мннут я попрощался с Артнфексовым. Он проводил меня до дверей и пожелал успеха. Этот человек мне был по душе, в нем было что-то, что роднило его со мной.

Я вышел иа улицу и посмотрел на часы. Было около двух — время обеда и размышлений о завтрашием дне. Я вошел в «Савой» и прошел в залу. Это был самый дорогой ресторан, здесь за обед из трех блюд и обязательной бутылки шампанского и ликера к кофе брали пять с половиной долларов или же кипу обесцененных крымских ассигнаций.

Пообедав, я вышел на улицу. Я был сыт, свеж и готов к посещению моих подопечиых иностранцев. Едва я отошел шагов на двадцать от ресторана, как из подъезда одного из домов вышел ротмистр, окликнул меня и, делая рукою знак остановиться, подошел ко мие. С другой стороны улицы к нам приблизился человек в штатском и остановился рядом со миой.

— Алло, почтенный сэр,— сказал ротмнстр.— Вы пообедали, выпили бокал-другой вина и теперь расположены поговорить со мной. Кстатн, н я жажду такой встречи... Куликов,— повернулся он к молча стоявшему штатскому,— фаэтон.

— Сию мннуту,— ответнл тот, махнул платком, и нзза угла показался Гасанка, важио сидящий на козлах. Татарии был великолепен, сиял улыбкой и блистал белыми зубами.

— Салам алейкум ищо раз, книаз! — веселым голосом крикиул он.

Мы сели в фаэтон, рядом с Гасанкой на козлах уместился Куликов, татарин взмахнул кнутом, и фаэтон рванулся с места.

— Как ваше драгоценное здоровье, мошеннни? — ротмнстр ласково улыбнулся.

— Неплохо, грабнтель,— еще учтивее ответил я.

— Вы что, давно не получалн по роже?.. Так получите. Даю слово благородного офицера,— свнрепея, заговорил ротмнстр.

Я промолчал, отвернувшнсь от него. Улнцы былн полны народу, шума, двнжения.

— На этот раз ваши иомера ие пройдут, господин липовый барон. Мы изобьем вас, как сидорову козу, в контрразведке, вышибем все зубы, а затем передадим обратио в сыскиое, капитаиу Голоскухиiну, который имеет с вами счеты... Вам понятно, барон, что ожидает вас у...

— Оба вы мошенники, и по обоим плачет веревка, и оба грабители, и оба просчитались.

— Интересио... Неужели вы думаете, что вчерашиий фарс с переодеваиием спасет вас? Помните, жулик, ваши статисты уже высланы из города, все эти Попандопулы и эстрадные раввины... Вы одиноки, вы в иаших руках.

— Приехали! — доложил с козел Куликов.

И я опять очутился в том самом доме, где находились сыскиое отделение, коитрразведка, тюремные казематы и закрытая забором площадка со стоящими у ворот и дверей часовыми.

— Видите, барон, как дорого может обойтись паршивый золотой портсигар, когда жадность затмевает рассудок? Надеюсь, он с вами, я получу обратно мою вещь? — с изысканной вежливостью поинтересовался ротмистр.— А сейчас я...— начал он, но замолк.

Дверь одиой из комнат распахнулась. В ней стоял полковник Татищев.

— А-а, милейший! — сказал он.— Я вас, ротмистр, по всему городу ищу, а вы, оказывается, здесь. Вы зачем тут, господин Базилевский?

Лицо ротмистра измеиилось. Я поиял, что в его планы не входила встреча с начальством.

— Да... видите ли, тут дело одио надо...

Я перебил его:

— Ротмистр арестовал меня, и, насколько я понял из его грубой ругани, имеино за то, что я взял вчера у него мой портсигар.

— Неужели? — удивился Татищев.— Это — правда? Войдите оба ко мне.

Он закрыл за нами дверь и вопросительио взгляиул на ротмистра.

— Это не так, господин полковник, портсигар ие играет здесь никакой роли. Дело в том, что...

— Что? — повторил Татищев.

— ...в том, что это опасный преступник, как я выяснил, связанный с подпольем крымских большевиков. Все эти

многочисленные мандаты и паспорта — румынский, греческий, итальянский и другие — прикрывают его личину. На самом же деле это агитатор и комиссар, поэтому я и арестовал его.

— Факты? Дайте факты, доказательства — и мы возблагодарим господа и вас за избавление Крыма от столь опасной личности.— Полковник иронизировал.

— Завтра к вечеру у вас будут все точные доказательства.

— Не извольте трудиться, ротмистр. Завтра к вечеру вы уже будете с маршевым батальоном на фронте. Арестовывать, вести следствие и добывать факты вам не придется. Вы уже не офицер контрразведки. Вот приказ,— беря со стола бумагу, произнес Татищев.

— Как так? — побледнев, спросил ошарашенный ротмистр.

— Очень просто. Слушайте, я прочту его вам. Кстати, вам надлежит расписаться на нем.— И он внятно прочел: — «Ротмистра Токарского С. С., прикомандированного к отделу контрразведки второго управления штаба Крымской Добровольческой русской армии, ввиду ряда неблаговидных поступков, порочащих честь и мундир офицера, исключить из списков военнослужащих штаба и второго отдела. Откомандировать с первой же отходящей на фронт маршевой ротой в качестве рядового, не лишая его офицерского чина. Доблестные подвиги и геройство на фронте помогут ротмистру Токарскому смыть позорящие его проступки, совершенные на службе во втором отделе. Генерал-лейтенант Шатилов»,— медленно и с ударением прочел подпись Татищев.— Из этого ясно, милейший, что вы уже не офицер контрразведки, что арестовывать, вести дознания, предавать суду или,— он поглядел на все еще не пришедшего в себя ротмистра,— добывать факты и до-ка-за-тельства не имеете права. Распишитесь на обороте этого приказа и готовьтесь к отбытию сего-дня же на фронт,— подавая онемевшему ротмистру бумагу, закончил полковник.

— То есть как это так? Как на фронт?

— Как все! Просто. Сел на поезд, в теплушку, или, еще проще, на грузовой автомобиль — и тютю!! Фронт недалеко, к вечеру уже будете в части,— с нескрываемой издевкой пояснил Татищев.

— Это интриги, это подвох с вашей стороны! — вскипел ротмистр.— Я буду жаловаться главнокомандующему.

— Хоть самому господу богу. Но жаловаться вам, ротмистр, придется с фронта. А сейчас распишитесь и уходите отсюда. Тут посторонним быть не разрешается.

— Ах, так? Отлично, запомним! Вы еще очень пожалеете об этом, липовый граф Коротков-Татищев,— осмелев от ярости, закричал ротмистр,— такой же титулованный, как вот этот мошенник барон!

— Ну, ты болван... потише, а то ведь я тебя до фронта в подвале сгною за отказ подчиниться приказу штаба и за поношение власти. Вы слышали, господин Базилевский, как он непозволительно ругался по адресу генералов Врангеля и Шатилова?

— Еще бы... Я до сих пор в ужасе. И как только у такого типа язык повернулся на таких важных особ! — сокрушенно сказал я.

— Вот именно! — подтвердил Татищев.

— Сволочи... проститутки, жулики! — чуть не плача от бессильной злости, завопил ротмистр. Он яростно рванул к себе бумагу и расписался.

— Вот это хорошо, вот это верно. А теперь,— пряча приказ в стол, спокойно продолжал Татищев,— пшел отсюда вон... И если до вечера ты не исчезнешь из города, я покажу тебе, кто такой граф Татищев.

— Я и так знаю, капитан Коротков, что вы полковник и граф собственного производства.

— Ничего, таких у нас здесь сотни, а теперь вон! — закуривая папиросу, указал на дверь полковник.

Ротмистр вышел. Минуту мы молча смотрели друг на друга, затем одновременно рассмеялись.

— Дураку, обуреваемому жадностью, нельзя работать в контрразведке. Здесь должны быть люди с чистыми руками, джентльмены кристальной души.

— Несомненно! — согласился я.

— И вот я рад, что могу подтвердить это. И не только словами, но и делом. Вы видели, что порок наказан. Почему изгнан этот болван? Потому, что он глуп, не ценит ни места, которое занимает, ни людей, с которыми служит.

— Кретин,— резюмировал я.

— Что же касается его болтовни о моем якобы самозванстве, то...

— Ваше сиятельство, господин полковник,— я сделал умоляющий жест,— в вас каждый дюйм — аристократ, как сказал какой-то из французских Людовиков.

Татищев улыбнулся.

— Не слыхал, но сказано хорошо. Так вот что, Евгений Александрович, мы с вами джентльмены, люди чести и слова.

— Абсольман!! — подтвердил я.

— Пять тысяч долларов, которые были временно задержаны мною до выяснения сути дела...

Я сделал скучающую гримасу, хотя слова Татищева показались мне музыкой.

— Эти пять тысяч принадлежат нам, то есть мне и вам, ровно по две с половиной тысячи на каждого. Сто долларов вы получили вчера, остальные две тысячи четыреста — вот они, в этой пачке... Прошу пересчитать.

Я опять сделал нечто вроде протестующего жеста.

— Нет, нет, среди джентльменов все должно быть точно и ясно. Проверьте свои деньги. Надеюсь, вас не ущемило отсутствие второй половины?

— Я поражен вашим великодушием, граф! Откровенно говоря, я считал эти деньги потерянными.

— Что вы, ведь я же Татищев, человек старорусского дворянского рода, а не этот мелкий хапуга и обирала.

— Разрешите пожать, граф, вашу благородную руку,— театрально произнес я.

— С превеликой радостью!

Мы обменялись рукопожатием и одновременно спрятали по карманам свои доллары.

— Да, любезный мой Евгений Александрович, если через генерала Шатилова вы, возможно, попадете на прием в ставку к самому барону...

— Все возможно! — скромно сказал я.

— Сомневаюсь в этом, но иногда случаются вещи и более фантастические... то помните, мой друг,— Татищев потрепал меня по плечу,— союз делового человека с карающей десницей контрразведки может принести выгоду обеим сторонам. Не так ли?

— Это самая счастливая минута моей жизни, граф,— почти искренне признался я.

— Будут еще более счастливые.— Он снова потрепал меня по плечу и конфиденциальным тоном сказал: — Рябчиков сейчас в Крыму немало, баранов тоже. Благословляю вас на охоту за ними.— И мы снова рассмеялись.

— С каждой охоты, граф, вам по перу жар-птицы.

— Вы великодушны, и я рад знакомству с вами.— Татищев проводил меня до двери.

«Тысяча и одна ночь» продолжалась. За двое суток прошло столько событий, своеобразных сюрпризов, неожиданностей и превращений, что я понимал лишь одно — фортуна повернулась ко мне лицом. Надолго ли и сколько еще времени я буду ее любимчиком?

— Киназ... фаэтун подан, какой место гуляем? — приветствовал меня с козел Гасан, лихо подкатывая к тротуару.

Я посмотрел в хитрые и вместе с тем наивно-простодушные глаза татарина.

— А где ротмистр?

— Фью-уу!! — пренебрежительно присвистнул Гасан.— Его начальник вигонял... Ротмистр теперь босяк будет... ротмистр теперь ракло будет... на фронт...

— Откуда ты это знаешь?

— Солдат сказал... На фронт гонял, там балшавик ему секим башка сделает.— И Гасан по-татарски выругал опального ротмистра.

Вечером я заехал на несколько минут к мистеру Джонсу. Это было нечто среднее между визитом и деловой встречей накануне поездки в Бельбек.

Иностранцы были радужно настроены. Народ повсюду дружелюбно встречал их.

— Мы не видели насилия и произвола — словом, тех беззаконий и зверств, о которых кричат наши ультралевые газеты,— сказала журналистка из газеты «Фигаро».

— Нет и вопиющей нищеты... Люди выглядят сытыми, одеты прилично, веселы,— согласился с нею мистер Джонс.

Еще бы! Я знал, что по пути следования гостей еще вчера были созданы группы «сытых, довольных жизнью горожан». «Подождите до завтра, голубчики... главный спектакль ожидает вас в Бельбеке»,— не без иронии подумал я и, утвердительно кивая головой, подтвердил:

— В этом маленьком, пока, к счастью, сохранившемся

уголке подлинной России царит мир, порядок и гармония классов... А в четырехстах километрах отсюда фронт...— И, горестно вздохнув, добавил вспоминая изгнанного из Севастополя ротмистра: — Лучшие сыны России каждый день добровольно идут туда. Только сегодня мой любимейший друг и патриот родины отправился сражаться за демократию.

Парламентарии довольно равнодушно выслушали мою тираду, и только журналистка оживилась:

— Я сегодня же сообщу об этом бравом воине в газету.

Выпив вместе с «европейскими демократами» по рюмке коньяка, я отправился в клуб, из которого так грубо изъял меня сыщик Литовцев. Играть я не хотел, но появиться там, где, конечно, уже знали о моем аресте, надо было «для пользы дела».

В клубе, среди звона золотых монет, шелеста ассигнаций, щелкающего, как бич, голоса крупье: «Карта бита», «Ставка сорвана», «Делайте вашу игру, дамы и господа»,— я был в своей тарелке.

Но никто из встретившихся завсегдатаев клуба даже и не спросил меня о причине исчезновения. Им не было дела до меня, их интересовало золото, франки и доллары. Поболтав с одним-другим, кивнув головой любезно раскланявшемуся крупье, я прошел в комнату старшин и, присев на диван, закурил папиросу.

— Месье Базилевский, не хотите ли посмотреть, как проигрывает свои лиры итальянец? — проходя мимо, предложил дежурный старшина клуба.— Прямо оперетка...

Мне было лень подняться с места, и я неохотно ответил:

— А что в этом интересного? Ведь в игорном доме всегда одни выигрывают, другие проигрывают...

— Да это не игра, а спектакль... Итальянский офицер, какой-то маркиз, а с ним чудесная женщина...

Я обрел дар речи:

— С женщиной? Маркиз?

— Именно! Он пытается быть хладным, как лед, и невозмутимым, как скала... Хотя, я-то это вижу, одна маска... Он вот-вот сорвется, сдадут нервы...

— А она?

— Вот она-то кипит, волнуется, не в силах скрыть свое смятение... Но красотка, скажу вам, первый сорт.

Я уже был на ногах.

— Как старый боевой конь, услышавший звуки полковой трубы,— засмеялся старшина, но я уже был в дверях «золотой комнаты».

Никто не заметил меня, взоры всех игроков и зрителей были устремлены на стол крупье, на котором сверкало золото и лежали кипы кредитных билетов.

Да, это был он, маркиз Октавиани, высокий, смуглый, изящный и в то же время — я чутьем понимал это — растерянный и жалкий. Внешне вряд ли кто-нибудь, кроме меня, крупье и двух-трех завсегдатаев игорного дома, понимал это, но нас, людей, видавших всякие виды на зеленом поле, встречавших разные характеры и манеры людей, эта деланная невозмутимость не обманывала. Маркиз, по-видимому, поставил на карту последние деньги, все, что еще оставалось у него. Анна Александровна, стоя за ним, внимательно наблюдала за игрой.

— В банке тысяча семьсот долларов. Месье и медам, делайте вашу игру.

Игроки и наблюдавшие молчали. Только что была бита карта итальянца и «мазавших» на него людей.

— Какая по кругу карта бита банком? — тихо спросил я знакомого шулера, лихорадочно следившего за игрой.

Он мельком взглянул на меня, узнал, улыбнулся и прошептал:

— Шестая... И вся за банком!

— Месье и медам, в банке тысяча семьсот долларов, делайте игру, иначе снимается банк,— еще любезней произнес крупье.

Итальянец вздохнул, и тут выдержка изменила ему. Несмотря на смуглый цвет лица, было видно, как он побледнел, провел рукой по волосам, посмотрел на свою даму и смущенно сказал:

— К сожалению, таких денег со мной нет.

— В таком случае, господа, банк...— начал было банкомет.

— Прошу, банк!

Все повернулись ко мне. Итальянец, по-видимому не узнав меня, спросил по-французски:

— Весь?

— Да, маркиз, с вашего позволения, я иду на весь банк.— И тут, делая вид, что только лишь сейчас увидел Анну Александровну, поклонился ей.

— Банк продолжается,— металлически ровным голосом проговорил крупье.— Мечу.— И, с треском вскрыв новую колоду карт, он вопросительно взглянул на перса, державшего банк.

Тот кивнул головой. Крупье проверил мои деньги, смешал их в кучу с остальными и профессионально ловко сдал карты персу и мне.

Перс медленно, еле-еле вытягивая карты, заглянул в них и коротко воскликнул:

— Восморка!

Зал замер. Крупье тихо, в ожидании дальнейшего, вопросительно смотрел на меня.

Перс опять, но на этот раз уже звонко и торжествующе, повторил:

— Восем... восморка!!

Я открыл свои карты.

— Девятка! — кладя их на стол, спокойно сказал я.

Перс даже привскочил с места.

Итальянец отступил на шаг, растерянно улыбаясь. Завсегдатаи шумно поздравляли меня. Крупье сгреб лопаточкой кучу золотых. Здесь были и царские десятки, и американские «игли»[1], и английские гинеи, и турецкие лиры. Я рассовал по карманам деньги, небрежно комкая в кучу бумажные фунты, зеленые доллары и коричневые пезеты.

Банк был сорван. Игроки обсуждали только что закончившуюся битву. Совершенно потерявший самообладание перс, горячась, что-то говорил старшинам, тыча пальцем в мою сторону, но его никто не слушал.

Доллары контрразведки оказались счастливыми, и я с улыбкой глядел на все еще шумно негодовавшего перса. Но сегодня он не являлся «рябчиком» или «бараном», как окрестил их Татищев. Нет, сегодня был только случай, всего-навсего случайность, я просто решил, что должен же после пяти или шести удачных карт выпасть на-

[1] Игли — золотые двадцатидолларовые монеты с изображением орла.

конец банкомету «жир», то есть проигрышная карта. Это и случилось.

Я поспешил в фойе, чтобы встретить Анну Александровну и маркиза. Швейцар сказал:

— Они минут десять как вышли из подъезда.

Было около одиннадцати часов. Зная нравы ночного Севастополя, я вернулся назад, поднялся по лестнице наверх и через черный ход вышел на противоположную сторону. Пройдя по плохо освещенной улице квартал, я сел в фаэтон и приехал домой.

У меня был свой ключ, но в передней меня встретила нарядно одетая хозяйка.

— А наследник престола? — вытягивая вперед голову, спросила она.

— Его высочество пожалует в полночь,— серьезно ответил я.

— Как интересно... Я еще институткой любила читать про таинственные приключения. Надеюсь, вы одобрите меня, я купила вина «абрау», паштет, скумбрию, сыр и сладкий пирог. Конечно, за ваш счет... Vous comprenez..., надо ж нам принять как следует такую особу.

— Все очень кстати, тем более что я не ужинал, а наследник престола, в силу известных обстоятельств, всегда голоден... Да, хорошо бы еще чаю... А вот это вам, уважаемая Клеопатра Георгиевна, за труды и инициативу,— я протянул ей десятидолларовую бумажку.

— Ах, вы щедры, мой друг, как набоб! — пряча за корсаж деньги, умилилась вдова капитана.— А чай будет с вареньем и сладким пирогом.

Сыщик пришел ровно в двенадцать. Он был сдержан, предупредителен и только недоумевающе косился на хозяйку, расточавшую в его сторону восторженные верноподданнические взгляды.

— Она что, нездорова? — поинтересовался он, когда вдова капитана, налив нам чаю, попрощалась.

Я постучал пальцем по лбу.

— Я так и думал.

Новостей у претендента на всероссийский престол было не много.

— Ротмистр наш,— прихлебывая чай, доложил он,— отправлен на фронт, но донос на вас и Татищева написал.

— Кому послал?

— Генералу Врангелю, в военный совет. Вот он, у меня,— н Лнтовцев вынул нз кармана пакет.
— Почему у вас? — беря конверт, спросил я.
— Господнн ротмнстр, считая меня вашим кровным врагом, доверил его мне, чтобы я самолично сдал его завтра в приемной барона.
— Что еще?
— Капнтан Голоскухин дрожит за свою шкуру. История с ротмнстром напугала его... Приказал мне день и ночь следить за вами.
— И что же?
— А я неотступно следовал за вамн, Евгенний Александрович, и когда вы у иностранцев былн, н когда шнкарный банк у персюка сорвали, и когда выбежали, искали кого-то...
— Ловко! — восхитился я.— А потом?
— А вот потом потерял вас... Виноват, но каким-то чудом вы раньше меня очутились дома. А я здорово поволновался.
— Почему?
— А как же? Человек вы нзвестный, с большими деньгами, с вынгрышем в кармане, один, ночью... А ведь городок-то у нас — слава богу, жулья да бандюг хватает... Еще боялся и потому, что капитан мне поручил следить за вамн, а кому другому — прнкончнть вас. А мне и жалко н невыгодно. Как-никак еще пятьсот пятьдесят долларов за вамн.
— Теперь будет только четыреста,— засмеялся я, отсчнтывая незаконному сыну Александра Третьего три пятидесятидолларовые бумажки.
За дверью завознлнсь, послышался еле слышный шорох.
— Клеопатра Георгиевна! — крнкнул я. В коридоре стихло.— Клеопатра Георгневна! — властно и громко повторил я.— Войдите! Мы ждем вас!
Через секунду в дверь просунулась голова хозяйки.
— Звали? — медовым голосом проворковала она.
— Так точно! Я хочу, чтобы вы, осколок империи, присутствовали прн возрожденнн царствующего дома и, как дворянка, воспитанница Московского института благородных девиц, виделн, что я, камергер Базилевский,

внес вклад этими долларами в фонд помощи для восшествия претендента на престол.

— Дай господи, помоги бог вашему высочеству,— кланяясь, прошептала вдова капитана первого ранга.

Сыщик стоял, вытянувшись во весь рост, с выпученными от недоумения глазами, держа в руке доллары.

— А теперь воздадим богу хвалу. Отправляйтесь спать, но с этой минуты вы,— я поднес палец к губам,— член тайного общества ревнителей императорского престола... А теперь — ни звука... никому... и спать.

Вдова, пятясь, вышла.

Мы перешли к деловой беседе. Теперь — я был в этом уверен — вдова капитана уже не подслушивала под дверью, а, лежа в своей постели, грезила о придворных балах и коронации ее таинственного гостя.

— Евгений Александрович, что я вам скажу,— вдруг начал Литовцев,— может, вы мне все деньги вернете... а? Я вам все равно верой-правдой служить буду.

— Не обольщайтесь чепухой, Литовцев, за «веру» я каждый раз вам буду платить по двадцать, за «правду» — по тридцать долларов. Чем больше вы будете это делать, тем вам же лучше — скорее получите свои деньги.

— Так-то оно так, Евгений Александрович, да только дело не ждет...— Он зашептал мне на ухо: — Дело в том, что красных туча тучей за Перекопом набралось... И пушек, и кавалерии, и сам Буденный... Словом, денежки надо иметь при себе... Мало ль что случится...

— Сведения откуда?

— Верные... Мне ли, сыщику, да еще имеющему везде уши и глаза, их не знать... Неважные дела на фронте, Евгений Александрович, вот потому я и беспокоюсь.

— Эта «вера-правда» стоит еще сто. Получите их, Литовцев,— и все... понимаете, все своевременно сообщайте мне. Мне тоже неохота знакомиться с большевиками.

— Вам первому!

Он ушел, а я еще с полчаса думал о его словах. Это было похоже на правду.

Румынский паспорт, виза и иностранное подданство у меня были, деньги имелись. Об Анне я просто забыл.

...К десяти часам утра я был у англичан. Позавтракав с ннми, мы дождались французов. Итальянцев и маркиза Октавиани не было. Они присоединились к нам позже, когда мы рассаживались по экипажам. По желанню гостей ехали не в автомобилях, а в фаэтонах — «забавных доисторических русских фиакрах», как назвал их один из гостей. Он не подозревал того, что эти экипажи были лучшими из всех фаэтонов Севастополя. Разместили по три-четыре человека в каждом. Конечно, Гасанка, сияющий белозубой улыбкой, черными усами и нагловатым взглядом, понравился всем.

Джоис, Анна Александровна, Октавиани и я разместились в его нарядном экипаже, остальные фаэтоны потяиулись следом, четверо конных полицейских сопровождали нас.

Мы выехали из Севастополя в одиннадцатом часу. Рассказывать о том, как гости ахали и охали, разглядывая достопримечательности города, панорамы Малахова кургана и Сапун-горы, не буду. Фотоаппараты щелкали иа каждой остановке, а останавливалнсь мы всюду, где только хотелось любому из иностранцев. Зная повадки полиции и коитрразведки, я был убеждеи, что не только сопровождающие нас всадники, но даже некоторые из извозчиков были соглядатаями и ушами Татищева. Но разговор шел на английском и французском языках, вряд ли эти мужланы понимали что-нибудь. Значнт, им было поручено «смотреть», «наблюдать», а «слушать» должеи был кто-то из молча коивоировавших нас всадников.

— Что это за странные люди? — не глядя на конных, спросила Анна Александровна.

— Остерегайтесь их! Глаза и уши контрразведки, прнставленные к нам.

Она пожала плечами.

— Слишком самоуверенно и глупо держатся они,— прогуливаясь вдоль шоссе, сказала моя спутиица.— А почему мне надо остерегаться их? Как вчера говорили вы, это вам надо опасаться такой публики.

— А я ни на минуту не забываю этого. Пока я с вами и нужен господам иностранцам, они мне не страшны, но... как долго продлится это?..

Анна Александровна ничего не ответила, отойдя за

каким-то полевым цветком еще дальше от дороги. Я нагнал ее.

— Безвыходных положений не бывает. В этом вы уже убедились вчера...

Я настороженно смотрел на нее.

— Да, да. Я знаю о метаморфозах, происшедших с вами всего за один только вечер, от фешенебля[1] до узника контрразведки и неожиданного перевоплощения из арестанта в распорядителя светского бала... Находите выход и теперь...

Она знала о моих злоключениях в сыскном отделении и фарсе, поставленном Татищевым в стенах Дворянского собрания. И все же я не ощущал с ее стороны враждебности к себе.

Пока наша поездка проходила совершенно в духе partie de plaisir. Но я знал, что, согласно плану, в Бельбеке, а возможно и у завода крымских вин нас «неожиданно» встретят жаждущие поговорить с социалистами, подготовленные штабом люди.

Разговоры «европейских демократов» были одинаковы: «Ах как это похоже на дорогу в итальянских Альпах...», «...или на шоссе в Вогезах...», «У меня просто не хватает слов описать все эти красоты...», «Нет, нет, встаньте ближе, выйдет превосходная фотография...» О крымском пролетариате и севастопольских рабочих забыли. Анна Александровна несколько раз обращалась ко мне с тем или иным вопросом. О посещении ею казино не было произнесено ни звука. Правда, итальянский маркиз еще в городе сказал мне:

— Превосходный был банк, не правда ли? Вы, месье Базилевский, король удачи...

— Желаю и вам стать таковым,— сухо ответил я, давая ему понять, что этот тон не нравится мне.

Прошло уже около двух часов, как мы выехали из Севастополя, а подготовленный властями фарс с «пролетариями» не начинался. И тут один из спешившихся всадников, воспользовавшись тем, что я был один, проходя мимо, шепнул:

— Пора в Бельбек... Предложите им ехать.

[1] **Фешенебль** — изысканный щеголь, франт *(франц.)*.

Я наклонил голову, выкурил папиросу и подошел к щелкавшим фотоаппаратами гостям.

— Господа! Вы видели только часть наших красот, но самое прекрасное покажу вам через полчаса.

И я стал рассказывать о татарском ауле Бельбек, расположенном невдалеке. Я говорил о виноградниках, в которых тонет этот аул, о чудесном винограде, который мы можем попробовать там прямо с лозы, о холодном айране — сыворотке на льду, особенно заинтересовавшем европейцев, о крестьянах, татарах и русских, в тесной дружбе работающих там.

— Вам, господа, представителям рабочей демократии Запада, свободных фермеров Англии, людям, знающим жизнь виноделов Италии, небезынтересно будет познакомиться с трудом и бытом этих неутомимых людей.

Говорил я по-французски, но видел, как тот самый полицейский, который как бы невзначай только что подходил ко мне, внимательно прислушивался к моим словам.

Мое предложение понравилось гостям. Еще бы — вино, айран, отдых в ауле, беседы с пейзанами «рюс»... И мы отправились в Бельбек.

— Евгений Александрович, где вы учились? — по-русски спросила меня Анна Александровна в тот момент, когда я помогал ей сесть в фаэтон. Это было неожиданно и сказано неспроста и, вероятно, имело отношение к вчерашнему посещению казино.

— Я инженер. Окончил Петербургский политехникум.

Ведь одно время я немного работал на Путиловском заводе.

— Это хорошо.— Она взглянула на меня и до самого Бельбека разговаривала лишь с итальянцем и Джонсом.

Зачем она спросила меня о профессии? И не все ли ей равно, кем я был в своей жизни?

Бельбек — село, расположенное невдалеке от шоссе. Конные свернули влево, фаэтоны покатили за ними и через десять минут въехали в аул. Нас окружили жители села. Но узнать среди них, кто являлся настоящим

бельбековцем, а кто опереточным пейзаном из фарса, поставленного контрразведкой, было нельзя.

Сначала большинство жались у стен, потом, осмелев, подошли ближе, показались дети и женщины... Заговорили разом все и по-татарски и по-русски. Появился какой-то «чин», но тут же исчез после энергичного жеста одного из наших охранителей.

Спектакль «пошел», как говорят актеры. Откуда-то появились «мужички», одетые в костюмы, которые носили крестьяне еще до освобождения от крепостного права, с бородами и в посконных рубахах, ходившие довольно неумело в лаптях. Они низко и степенно кланялись глазевшим на них иностранцам, то и дело крестясь и что-то молитвенно подвывая. Картина действительно была любопытная, глупая и не виданная никем, а тем более просвещенными «европейскими демократами».

— Что они поют? — поинтересовалась журналистка из «Пепль».

«А черт их знает, что!» — следовало бы ответить ей. Это было бы и правильно и честно.

Тут я заметил иронически-насмешливый взгляд Анны Александровны. И готовый ответ журналистке застрял у меня на языке.

Мне вдруг стало стыдно. Об этом чувстве неловкости и стыда я забыл давным-давно, и вдруг... в самое неподходящее время, когда события и люди поставили мою жизнь на опасную грань непредвиденных случайностей, я устыдился и покраснел. Да, да, по-крас-нел... Анна Александровна как-то странно смотрела на меня, а затем заговорила с кем-то из иностранцев.

А спектакль рос и разворачивался. Джонс, подняв левую руку вверх, говорил толпе о том, что английские рабочие — братья по классу крымским крестьянам, что демократия — это высшая форма гармонии между городом и деревней.

Я переводил кое-как. Насмешливый взгляд Анны Александровны вывел меня из равновесия.

Проходя мимо меня, она негромко сказала:

— Для этого водевиля не хватает только двух основных героев... Кутепова и Слащева.

Я продолжал переводить галиматью, которую, размахивая руками и бия себя в грудь, театрально изрека-

ли люди, представлявшие собой население Бельбека. Иногда они не в меру восхваляли крымскую власть, иногда же, наоборот, ругательски ругали ее, и мне трудно было разобрать, кто здесь поставлен штабом и кто действительно местный житель.

Особенно напугало нас неожиданное выступление пожилой женщины, вырвавшейся вперед.

— Что я вам скажу, господа иностранцы,— замучили они нас, задавили, а каких людей погубили, злодеи! — с ненавистью в глазах, тыча пальцем в наших охранителей, закричала она.— Убили мужа мово, Слащев, кровопийца этот, расстрелял. Этот самый Слащев гад, даром что в генеральской форме. У нас на Северной стороне человек семьдесят расстрелял.— И, видя, что ее не понимают, схватила за руку Джонса.— Все они кровопийцы... Пу! Пу! Пу!..— тыча пальцем себе в грудь, пояснила она.

— Что она говорит? Мы слышали об этом Слащеве... О нем и о Кутепове пишут в наших газетах как о палачах и садистах,— разом заговорили гости.

Кто-то из «пейзан» пытался было оттянуть женщину в толпу. Журналистка и один из французов остановили его:

— Это произвол! Вы не даете ей возможности говорить. Не трогайте ее!

— Ну что ж, господин Базилевский, переведите этим господам все, что говорила эта женщина,— сказала Анна Александровна.

Но как я мог перевести, за какими словами можно было скрыть правду, когда гости по плачу и жестам этой женщины поняли все, о чем говорила она? А рядом стояла Анна Александровна, выжидательно глядя на меня. И опять я впервые за много-много лет понял, что лгать я не могу и не буду.

— Эта женщина обвиняет генерала Кутепова и Слащева в убийстве мужа. Они расстреляли еще семьдесят человек рабочих и моряков лишь в одном районе Севастополя...

Сразу все смолкло. Все уставились на меня, одни с удивлением, другие со страхом, третьи со злобой.

— Что вы мелете? Не смейте переводить точно! — услышал я позади себя злой и быстрый шепот.

Я оглянулся. Возле с самым безмятежиным видом стоял начальник нашей конной охраны, глядя куда-то поверх меня. Негодяй, оказывается, понимал и по-английски. Меня охватила злость.

— Ступайте к черту с вашими советами, почтенная шкура! — тоже тихо, но очень отчетливо сказал я по-русски, продолжая медленно переводить Джонсу и столпившимся вокруг него англичанам горькие слова женщины.

Рядом с Джонсом была Анна Александровна, не сводившая с меня спокойного взгляда. Конечно, она слышала все — и торопливо-наглый шепот контрразведчика и мой ответ ему.

В эту минуту я даже и не подумал о том, чем грозит и во что может обойтись мне мое неподчинение наблюдателю, приставленному к нам Татищевым.

Я посмотрел на Анну Александровну. Лицо ее просветлело, суровое выражение глаз смягчилось.

— И она просит, господа, защитить ее, так как она не уверена в своей безопасности.— Этого женщина не говорила, но это надо было сказать,— иначе ее арестовали бы сейчас же после нашего ухода.

Журналистка обняла плачущую женщину. Джонс, вынув блокнот, записал ее фамилию и адрес. Затем, оторвав второй листок, сказал:

— Вот мой адрес. Я прошу вас, миссис, зайти завтра к нам в гостиницу.

Он повернулся к сопровождавшим нас полицейским и строго предупредил их:

— Я сегодня же расскажу о ней генералу Врангелю и надеюсь, что тот, кто не хочет иметь себе большие неприятности, воздержится от преследования этой дамы.

Я точно и отчетливо перевел его слова толпе, а блюстители порядка молча отвели в сторону глаза. Но тут еще одно непредвиденное событие нарушило сердечный контакт населения с делегатами Европы. Из-за деревьев вывалилась знакомая нам всем массивная фигура Попандопуло. Он был одет в длинный белый пиджак, клетчатые штаны и красные турецкие туфли с загнутыми вверх носками. На голове красовалась маленькая соломенная шляпа.

Неожиданно грек оступился и упал на одно колено возле Джонса. Англичанин в страхе отступил, но, пристально вглядевшись в тяжело поднимавшегося грека, недоуменно воскликнул:

— Вчерашний анархист?!

«Пейзане», отворачиваясь, посмеивались за спинами бельбекских обывателей. Полицейские неодобрительно молчали, исподлобья глядя на комическую фигуру Попандопуло, на его массивный живот и тройной подбородок. Члены делегации откровенно хохотали, и только недалекий, но честный Джонс, побагровев, сказал срывающимся голосом:

— Что это за фарс? Откуда здесь, в этом селе, появился господин, только вчера именовавший себя анархистом?

Но Попандопуло оказался не только коммерсантом и бывшим анархистом, но и ловким политиком — пыхтя и сопя, он шагнул вперед и снова, на этот раз уже намеренно, шлепнулся на колени перед Джонсом. Теперь англичанин перепугался не на шутку. Он отскочил в сторону и, стараясь спрятаться за мою спину, спросил, запинаясь:

— Это кто... сумасшедший... или...— Он со страхом взирал на «анархиста», по-видимому ожидая, что тот сейчас бросит в нас бомбу или станет стрелять в толпу.

— О нет,— залепетал с заискивающей улыбкой Попандопуло,— я нормальный... Я... прошу у вас всех защиты.— И он, как заводная кукла, стал кланяться присутствующим.

— Ничего не понимаю,— успокаиваясь, пробормотал Джонс.— От кого защиты, кто вам угрожает?

— Он! — завопил грек, поднимая вверх палец.— Слащев... генерал, о котором говорила эта женщина,— и он показал пальцем на вдову расстрелянного рабочего.

Опять все смолкло. Смех и шуточки, вызванные комическим появлением «анархиста», стихли.

— Он хочет расстрелять меня за мои анархические убеждения. Он приказал арестовать и повесить меня...— вопил Попандопуло.— Я идейный анархист. Меня сам...— он забыл, кто, и быстро заглянул в манжетку,— сам Кропоткин знает. Я, если желаете знать, с самим...—

он откровенно глянул в манжетку,— Блантом переписываюсь.

Делегаты не понимали по-русски, и ссылки грека на давным-давно умерших столпов анархизма не дошли до их мозгов.

— Этот генерал за то рассерчал на меня, что я вчера свободно говорил с вами,— продолжал Попандопуло.

Боясь откровений разболтавшегося Попандопуло, я остановил его.

— Мы защитим вас. Ничего не бойтесь. Вот и вам моя записка,— Джонс оторвал и ему листок из своего блокнота.

В душе я восторгался находчивостью Попандопуло, так здорово использовавшего имя опального снятого со всех постов Слащева. Врангель ненавидел Слащева, боясь его как возможного преемника на своем посту. Я знал о грызне обоих генералов, знал и о том, что Слащев снят с командования второй армией и по сути находится под домашним арестом. Я ничем не рисковал, называя Слащева, несомненного садиста и вешателя, но как рискнул сделать это Попандопуло?

Уже позже, в городе, я спросил его об этом. Хитрый Попандопуло лукаво засмеялся, сделал непонимающее лицо, но потом быстро проговорил:

— Ой, господин Базилевский! Вы ж умный человек, и Попандопуло не дурак. Я ж слышал, Слащев уже не «цар» (он так и сказал «цар») и не министер. Я и сказал так потому, что знал это. А лучше было, чтоб этот англичанин мене за жулика посчитал... да?

Это полушутовское, но психологически оправданное появление Попандопуло настроило всех на радужный, благожелательный лад. А когда все сели за подготовленные столы с холодными закусками, винами, фруктами и крымскими чебуреками, европейцы и «пейзане» забыли и Слащева, и фронт, и гражданскую войну...

Разнеженные, довольные приятной поездкой, сытые, подвыпившие возвращались мы в Севастополь.

Корреспондентка из «Пепль» напевала какую-то двусмысленную песенку, итальянский маркиз не сводил глаз с Анны Александровны и был так увлечен, что не заметил, как его сфотографировал корреспондент из «Таймс».

День для всех прошел отлично. Несколько десятков фотоснимков должны были подтвердить будущий доклад европейских социалистов и либералов о том, что народ Крыма восторженно встречает западную демократию, любит Врангеля и готов грудью защитить барона от большевиков.

Вдову расстрелянного рабочего давно забыли. О ней и о Слащеве не вспоминали. Вечер подходил такой ясный, умиротворяющий и тихий, что было бы просто неприличным вспоминать о мелочах крымской жизни.

Сопровождающие нас всадники, пьяненькие и тоже полакомившиеся яствами Бельбека, кое-как сидели в седлах. Словом, отчетная поездка к «пейзанам» удалась на славу. Но почему-то я все время избегал Анны Александровны, стараясь не встречаться с нею взглядами.

Я проводил иностранцев до гостиницы.

Только когда мы расставались, Анна Александровна в ответ на мой поклон сказала:

— Вы не безнадежны, Евгений Александрович, и это очень хорошо. Я слышала ваш разговор с начальником охраняющей нас команды. Он, конечно, сегодня же доложит начальству...

— Я уверен в этом, Анна Александровна.

— И вас могут ожидать неприятности... Вы верите мне?

— Очень.

— Тогда не выходите никуда из дома, ждите весточки от меня... обязательно ждите...— многозначительно подчеркнула Анна Александровна.

Я почтительно поцеловал ее руку и вышел на улицу.

В этот вечер никто не тревожил меня — ни генерал Артифексов, ни Татищев, ни Литовцев, жаждавший очередной порции своих проигранных долларов. Газеты сегодня были полны победных реляций и радужных, многообещающих прогнозов на близкий разгром красных. Мне надоело читать это, и я стал приводить в порядок свое «хозяйство». Что я имел? Долларов тысяч около семи, несколько ценных вещей, четыре иностранных паспорта с визами и правом выезда за границу, два из них — румынский, на имя барона Думитреску, и испан-

скнй, на нмя коммерсанта из Толедо дона Фернандо Хуана Мендоса, были «семейные», то есть и на жен. Я мог впнсать в прнложенный к ним блаик любую женщину, и она, становясь моей женой, имела право выезда из Крыма в страиы, выдавшне мне эти паспорта.

«Не удрать ли подобру-поздорову?» — подумал я. Пока дела обстоялн благополучно, но «пока». Я хорошо знал всю эту публику, которая окружала меня. Сегодня я еще был нужен им, а завтра?..

Мои деньгн, мое ремесло, прошлое, наконец, политическне комбииацин, в которые втянулн меня, не сулилн мне спокойной н долгой жизни. Если газеты не врут, Врангель выйдет из Крыма н двинется к Москве. Я буду не только не нужен, но н вреден всем этим генералам. Да и Слащев неожиданно может опять стать фнгурой в этом белом кавардаке. «Нет, Женечка, тебе надо сматывать удочки н махнуть в Стамбул...— решил я.— А как же Анна Александровна?» — вспомнил я госпожу Кантемир. И опять мне стало не по себе. Ннкогда ничья судьба не беспоконла меня. Живут н жнвут, какое мне до них дело,— было правилом моей жизнн, и вдруг... Я «не безнадежен». Я обозлился на себя, швырнул карандаш на пол, изорвал и сжег на свече подсчеты моих богатств.

В прихожей зазвонил звонок. Я слышал, как Клеопатра Георгиевна открыла кому-то дверь. Невнятно доноснлись обрывки слов.

— К вам пришли,— проговорила хозяйка.

Передо мной стоял Попандопуло. Грузный, масснвный, задыхающийся. Он вежливо поклоннлся, просительно глядя на меня. Я открыл шире дверь, и грек протиснулся в комнату.

Зачем пришел ко мне этот по сути малознакомый человек? Я усадил его в кресло. Отлично зная, что за дверью притаилась вдова капитана, решил изолнровать ее от нас.

— Дорогая Клеопатра Георгиевна! — позвал я.— Разрешнте представить вам адмнрала Попандопуло, командующего греческим военным флотом.

Вдова замерла, восхищенно хлопая глазами, сам же «греческий адмирал», всего сутки назад бывший анархнстом, другом Махно и Кропоткина, невозмутимо смотрел на нас. По-вндимому, его уже ннчто ие удивляло. Он,

не подиимаясь, кивиул головой почтительио взиравшей иа него вдове.

— Его высокопревосходительство тоже осведомлеиы о претеидеите иа престол? — робко выговорила она.

— Абсолютио! — подтвердил я.— Силы Греции иа стороне правого дела. С иами бог! — торжествеиио закончил я.

— Кирие элейсои![1]— перекрестившись, сказал иичего ие понимавший Попаидопуло.

— Теперь же, дорогая наша хозяюшка, как вы сами поиимаете, высокого гостя из Греции иадо угостить хорошим виием. Вот деиьги, и прошу вас купить иам самой лучшей закуски и самого доброго вина.

— Ах, какой восторг! — пряча деиьги в сумочку и закатывая глаза, простонала вдова.— Значит, вы тоже в заговоре?

Я запер за ией входную дверь. Попаидопуло сидел раскрыв рот.

— Какой заговор? — свистящим шепотом спросил ои.— Никакой заговор Попаидопуло не зиает... Я цесный грек. Я ие хоцу пуля иа свой башка...

— Успокойтесь! Она,— я постучал по лбу,— помешалась иа высокопоставлеииых лицах. У иее такая мания. Погиб муж и трое детей, оиа и того... спятила. Скажите, зачем вы пришли ко мие? Ведь вы всего час-полтора иазад были в Бельбеке.

Грек грузно задвигался на затрещавшем кресле, вздохиул и, показав глазами на стены, спросил:

— Еще кто тут?

— Никого! Я и эта сумасшедшая хозяйка. Можете спокойно говорить. В чем дело?

Попаидопуло вздохиул, тяжело подиялся с места, открыл дверь, загляиул в уборную и иа кухию. Осмотр квартиры успокоил его. Потом он полез в кармаи и выиул маленький салатиого цвета конвертик.

— «Бильеду»,— вспомиил я петербургские гостиные, когда молодые студеиты, таицуя с институтками, умудрялись передавать записочки друг другу.

— От кого? — разглядывая коиверт, спросил я грека.

---

[1] Господи помилуй! *(греческ.)*.

— От интересной дамы... Па-па-па! — вытягивая губы, восхищенно зачмокал он.

— Не стройте из меня дурочку, Попандопуло,— прервал я.— Ну?

— Слушайте мне, вы ж не Гектор, а я не Парис, чтоб из-за женщины воевать.— Он шнроко осклабился н доверительно шепнул: — От той дамочки, которая в фаэтоне с вами ехала.

— Интересно! А как же вы ее нашлн?

— Вы цитайте этот писмо, а я вам потом объясню.— Грек налил из графина воды н выпнл.

«Я ваш друг, несмотря ни на что. Не ночуйте сегодня дома. Прошу, умоляю, сделайте это. Не ночуйте дома!»

Я озадаченно посмотрел на грека. По-вндимому, «анархист» Попандопуло не знал содержания письма.

— Как оно попало к вам?

Мой тон удивил его.

— А что? Есть какая беда? — и улыбка самодовольства сползла с его лица.— Я же уценый, мене пять раз за ницто сажали: то валюта, то будто спекулянт... то продажа солдатских шинелей. А я их видал? Я их и не знаю, какне такие шинели...

— Где вы встретили эту даму? — перебил я.

— Так я ж говорю, я сего боюсь и в Бельбек со страху поехал... и англичанину про Слащева все со страху болтал... а как вы поехали обратно, я напужался. Бабу эту, что про убитого мужа говорила, городовые, ну, как теперь, стража, по морде... Я н в кусты, а потом на дрогах в город. Куда Попандопуло идти? Некуда. Я еще больше спужался — н к этой даме... Больше некуда... всех боюсь. И вас, и контрразведку, н солдат, н всех! Я к ней, а живет она...

— Знаю, знаю! Говорите дальше.

— ...На Морской, четыре, квартира девятнадцать. Я это еще вчера узнал, я к ней... Позвонил, а она...

Слушая его, я еще раз стал перечнтывать пнсьмо и с краю увидал крохотную приписку: «Не задерживайтесь и часа... Сожгите письмо».

— ...а она в дверях, увндала меня, даже рукой за сердце схватнлась. «Бог вас прнслал... Вы знаете, где живет господин Базилевский?» — «Знаю, только я к вам, барыня-сударыня, с просьбой». Она перебивает: «Садь-

те!» И только написала вот это. «Отдайте, говорит, сейчас же, найдите его, где хотите, но найдите...» — «Да он, говорю, дома».— «Сейчас же к нему... и отдайте это...» — «А когда я к вам с просьбой...» — «Завтра, завтра... с утра, а сейчас к нему — и в собственные, понимаете, в собственные руки». Я, конечно, понимаю, человек вы молодой, красивый, богатый, клад по нынешним временам.

— Вот что, Попандопуло,— перебил его я,— немедленно же исчезайте отсюда... и всю ночь не показывайтесь на улицу. И не ночуйте дома. У вас есть где переночевать?

Грек приподнялся с кресла, потом грузно осел в нем и тонким, жалобным голосом закричал:

— Ой-ёй-ёй! Опять прятаться, опять аресты! Вы шутите, господин Базилевский?!

— Не шучу. Я сам сейчас исчезаю отсюда. Через полчаса здесь будет контрразведка... И понимаете, и меня и вас за речи о Кутепове и Слащеве...— я провел пальцем по горлу.

С легкостью, непостижимой для такого толстяка, Попандопуло вскочил и ринулся к двери. Я поймал его за руку.

— Немедленно же исчезайте из города. И помните: я вам ничего не говорил, а эта женщина ничего мне не писала.— И я на его глазах сжег полученную записку.

Помертвевший от страха Попандопуло покорно кивнул головой и хрипло прошептал:

— Хорошо... Только заговор никакой я не знаю...— И исчез за дверью.

Я не спеша уложил костюмы и белье в два чемодана и вынес их из комнаты в чулан, прикрыв тряпками, грязным бельем и еще чем-то, что валялось в кладовой.

Вдова вряд ли будет сегодня копаться в ней, а те, от кого предостерегает меня Анна Александровна, не найдя меня и моих вещей, бросятся искать по городу. И, конечно, в первую очередь на вокзал и в порт...

Я быстро собрал все деньги, ценности, документы, паспорта, письма и вышел на улицу.

Перейдя ее, вошел в тень небольшого сквера с густо разросшимися акациями и каштаном. Было темно, эта сторона сквера не освещалась, и я, сидя в чаще кустов,

из темноты отлично видел мой дом, его подъезды, освещенные окна этажей, пролетки и людей, то и дело мелькавших на улице. Это место было давно найдено и облюбовано мною. Богатая неожиданностями и приключениями жизнь научила меня ценить такие удобные наблюдательные пункты и заранее подготавливать их.

Прошло минут пятнадцать, но пока все было попрежнему, только меньше и меньше становилось людей и движения. Улица пустела, погасли окна в доме.

Нагруженная покупками, просеменила и вошла в подъезд хозяйка. Она торопилась, ей, наверное, так хотелось выпить бокал вина с греческим адмиралом и, жеманясь, рассказать гостю, что она вдова морского офицера... Прошло еще несколько минут. Не было никого, но эта тишина не обманывала меня. Я знал, что Анна Александровна писала правду. Почему? — не знаю сам, но я верил, ни на йоту не сомневался в искренности ее предупреждения.

По тихой, замершей улице проскакали двое конных и спешились у моего дома. Подкатил автомобиль, за ним другой, закрытый, черный, с забранным решеткой окном. Из них высыпали люди. При довольно тусклом освещении редких уличных фонарей я все же без труда узнал кое-кого. Сыщик Литовцев, капитан Голоскухин, трое солдат с повязками на рукавах и... полковник Татищев, которого, почтительно поддерживая под руку, высадил из машины ротмистр Токарский.

Это была картина, достойная богов. Ротмистр, выгнанный из отдела контрразведки, оплеванный Татищевым, дружески что-то шептал ему, указывая на окно второго этажа — мое окно. И оба заговорщика, улыбаясь, вошли в подъезд. На улице остались солдаты, пролетка и автомобили.

Пробираясь сквозь чащу, я переулками направился в противоположную сторону, на Морскую, к дому номер четыре, где жила Анна Александровна. Я позвонил, дверь открылась.

— Я знала, что вы придете сюда,— сказала Анна Александровна, впуская меня в комнату.

— Почему?

— А куда же вы делись бы в такую ночь? — ответила она.— Вы пришли один?

— Один... Анна Александровна, простите, но я хочу спросить, откуда вы узнали...

— Ах, это потом, после...— Она погасила верхний свет, оставив только настольный ночничок, и подошла к окну.— Не заметили, за вами никто не следовал?

— Нет...— И я рассказал ей все, начиная от прихода Попандопуло и до момента, когда из кустов задворками направился к ней.

— А этот грек не знает, что вы у меня?

— О нет. Он страшно перепугался, узнав о том, что его и меня ищет контрразведка.

Она слабо улыбнулась.

— А его зачем?

— Я сказал это для того, чтоб он немедленно же скрылся из города. Но что случилось и откуда вы узнали о налете на...

Она жестом остановила меня.

— Не спрашивайте пока ничего. Это лишнее... Потом я сама расскажу все...— Она отошла от окна, из-за занавески которого наблюдала за безмолвной ночной улицей.— Дело вот в чем: Красная Армия ворвалась в Крым, Перекоп пал... Конная армия Буденного захватила Юшуньские позиции, Татарский вал, Армянский базар — в руках красных.

Я приподнялся с места.

— В городе еще не знают об этом... Завтра начинается эвакуация высших чинов, штаба, администрации, их семейств, ценностей и учреждений.

Она говорила это так спокойно, вернее, таким безразличным голосом, что я, несмотря на неожиданную новость, удивленно глядел на нее.

— Дни Врангеля сочтены... Через пять-шесть дней весь Крым будет красным...

— А как вы? — наконец выговорил я.

Она словно не слышала этого вопроса.

— Контрразведка и вся нечисть, облепившая ее, конечно, знает обо всем... И,— она подняла на меня глаза,— сейчас станет грабить, уничтожать неугодных ей людей, чтобы не оставить и следа своих преступлений. К тому же этим негодяям надо запастись долларами, валютой для безмятежного существования за границей.

Настал последний день их власти, и они хорошо используют его.

Только теперь я понял, почему эта свора кинулась на мою квартиру.

— Уходя, вы все бросили дома?

— Нет. Вот деньги, около семи-восьми тысяч долларов, вот иностранные паспорта с визами, вот ценности. Что же касается моих чемоданов, я надежно спрятал их в чулане. Возьмите деньги.

Анна Александровна испытующе смотрела на меня.

— Почему я должна взять их?

— Потому, что вы спасли и мою жизнь и деньги.

Она побарабанила пальцами по столу.

— Деньги пригодятся вам, если и вы отступите за границу. А что это за паспорта?

— Румынский, итальянский, испанский, эти два — турецкий и персидский...

— Вы запасливый, предусмотрительный человек. А почему эти два выданы на супругу? У вас есть таковая?

— Нет... Просто так иногда удобнее.

— Вы очень предусмотрительны.

Потом подошла ко мне и спросила:

— Как вы думаете, Евгений Александрович, почему я спасла... предупредила вас?

Признаюсь, я не ожидал такого вопроса. Она стояла возле меня, глядя мне в глаза прямым, немигающим взглядом.

И опять я был восхищен ее строгой, четкой, целомудренной красотой.

— Не знаю... Мне трудно ответить на ваш вопрос, Анна Александровна...— начал было я.

— Только не делайте глупых и ложных выводов. И спасла вас и ждала не потому, что вы молоды и элегантны... Я сделала это потому, что вы нужны мне.

— Ну-жен? — ничего не понимая, повторил я.

— Да! Именно нужны в одном деле... то есть, может быть, будете нужны... Это выяснится завтра. А пока выпейте стакан чаю,— она налила мне из термоса дымящийся чай,— и ложитесь спать вот на этом диване. Завтра все определится...

— А вы? — довольно глупо спросил я.

— А я лягу на том, что у двери. Спокойной ночи!

Она погасила ночничок и уже из темноты сказала:

— Без моего разрешения никуда не выходите.

Больше часа я лежал без сна в чужой комнате, на чужом диване, размышляя о том, как злодейка судьба продолжает надо мною свои эксперименты. Затем я заснул.

Когда я проснулся, было около восьми часов. Я был один. На столе лежала записка: «Никому не открывайте дверей, на звонки не отзывайтесь. На кухне вас ожидает завтрак. Буду в 10 ч. А.»

Я привел себя в порядок, осмотрел свои «богатства». Все — и золото и деньги — было цело. Я согрел кофе, съел яичницу, сжег записку Анны Александровны и стал дожидаться хозяйки.

А за окном был крымский осенний день. Яркое солнце ворвалось в комнату, как только я чуточку приоткрыл окно. И вместе с солнцем влетели шум, голоса, движение и ощущение какого-то беспокойства, охватившего город.

«Прорвались в Крым... Буденновцы атакуют и гонят белых»,— вспомнил я вчерашние слова Анны Александровны. Тогда я как-то не обратил внимания на тон, которым сказаны были эти слова, но сейчас он показался мне странным. Кого-кого, но ее, близкую подругу дочери Шатилова, даму, принятую в самом высоком обществе Севастополя, должны были напугать, ошеломить эти события... Хотя чего было бояться ей? Первое же отходящее на Константинополь судно взяло бы ее на борт.

Успокоенный этим выводом, я продолжал прислушиваться к все нараставшим шумам города.

Да, вся эта паническая сутолока, проносящиеся мимо автомобили, бестолково снующие люди, конные и пешие солдаты, казаки — все это ясно говорило, что слова Анны Александровны о конце барона были правдой. Я пожал плечами. Крымская белая эпопея была мне, в сущности, враждебна. Ведь мне еле удалось избежать тюрьмы, ограбления и даже смерти в этом милом белом Крыму. Нет, я, румынский барон Думитреску, не беспокоился о себе. «Вы можете быть мне нужны»,— вспомнились слова Анны Александровны. Нужны — где и чем? Доллары мои ей не были нужны, в ее манере держаться со мной просто и в то же время строго не было и намека на кокетство.

И имеино эта маиера деловой, независимой женщины нмпонировала мне.

В десять пришла Анна Александровна. Щелкиул ключ, и она, спокойная, чуть возбужденная, с приветливой улыбкой подошла ко мне.

— Завтракалн? Теперь слушайте меия вннмательио. Фронт прорваи, н массы кавалерни и пехоты большевнков ворвались в Крым. Везде идут бои. В Севастополе вечером начнется посадка на суда. Сейчас вы в безопасности. Татищев... и вся остальная...— оиа помолчала и вдруг резко сказала: — сволочь... да, да, именно сволочь... в панике. Им не до вас и вообще ни до кого. Оии, как крысы, ищут спасеиия в порту, мечутся по городу, вымаливая пропуска на суда. Вы можете отправнться к себе и...— тут она вплотную подошла ко мне,— и вечером иа пароходе... вместе со мной эвакунроваться в Стамбул...— Потом добавила: — Вы нмеиио там поиадобитесь мие... Понятио?

— Нет, ннчего не понимаю,— чнстосердечио признался я.

— Наивный вы человек. А ведь междуиародиый взломщнк, король шулеров н специалист по сейфам...

Я отступнл на шаг.

— Вы зиаете это? Откуда?

— Знаю... А откуда — не важио. Потом расскажу. Так как, едем?

— Едем.

— А теперь, Евгений Александрович, идите. Ровио в шесть вечера приходнте сюда, в восемь посадка, в десять отходит наш пароход. Пропуска туда,— она подчеркиула это слово,— достану я.

— «Туда», «Вы мне там будете иужны»... Ничего ие поиимаю,— разводя рукамн, сказал я.

— Поймете после, а сейчас идnте — и в шесть часов ко мне.

Город напомииал развороошеиный муравейник. Крики, нспуганные лнца, распахнутые окиа, иастежь раскрытые подъезды.

Где то самодовольное чванство, холодное равнодушие, которые еще вчера были на лнцах всех старых н молодых офицеров, чиновиых бар и потерявшнх величне полицейскнх?! Никто не обращал виимаиия иа них. На тротуаре

валялись сорванные в панике значки, петлички, погоны... К пристаням тащили тюки, катили тачки и детские коляски, нагруженные наспех собранным, еле увязанным скарбом. Казаки, нахлестывая коней, пронеслись по Морской, где-то в порту завыла сирена, и страх еще острей охватил мечущихся по улицам людей.

— Конница... Буденный... Махновцы... Пал Симферополь...— слышалось со всех сторон.

Но этот сумасшедший город с его воплями и бегством был мне безразличен. Какое мне было дело до краха белых, до Врангеля и его катастрофы! Я думал о ней, об Анне Александровне. О том, почему она связывает свои дела со мной, почему эта женщина спасла меня, зачем я ей нужен. Я так был захвачен этими мыслями, что даже не заметил, как подошел к своему дому. Я открыл ключом дверь. Из кухни высунулась голова хозяйки. Минуту она испуганно таращила на меня глаза, затем быстро-быстро заморгала и сдавленным голосом проговорила:

— Это... вы?

— Я... А что произошло?

— Живы? Одни? — еще не выходя из кухни, спросила вдова капитана.

— Абсолютно.

— Господи... Где же вы были вчера?.. Ведь только я пришла с покупками, как в квартиру,— зашептала она,— ворвалась целая банда.

— Сюда? Зачем?

— Искали вас, перерыли все, но когда увидели, что ни вас, ни чемоданов нет, стали ругаться, в чем-то корить друг друга. Чуть у них до мордобоя не дошло. Заглянули в кухню, потом опять стали между собой ссориться...

— Что спрашивали вас?

— Где вы. Когда я сказала, что у вас сидел в гостях греческий адмирал с тайным поручением короля Георга, они посмотрели на меня и разом захохотали, а вот тот, что больше всех искал вас да заглядывал под диваны, такой нахал... негодяй, невежа... сказал: «Дура... Набитая дура». И знаете, Евгений Александрович, кто еще с ними был? — Она сделала таинственное лицо.

— Понятия не имею! — развел я руками, втайне потешаясь над нею.

— Тот самый... наследник, который приходил к вам,—

нагибаясь ко мне, прошептала в ухо Клеопатра Георгиевна,— и, представьте себе, из всех этих негодяев он держался самым отъявленным хамом... Вот тебе и царская кровь,— покачала она головой.— А когда узнал, что у вас кто-то был, махнул рукой и сказал: «Идемте отсюда. Упустили птичку... Он теперь где-нибудь в порту прячется». А где вы прятались, Евгений Александрович?

— Именно в порту, на флагманском корабле командующего греческим флотом.

Клеопатра Георгиевна даже присела от восторга.

— Евгений Александрович! Все, что я купила, цело... Не хотите ли позавтракать?

— Очень хочу,— сказал я и, войдя в чулан в сопровождении хозяйки, извлек из-под хлама и тряпок свои чемоданы.

— Ба-тюш-ки! — взвизгнула вдова.— Значит, вещи ваши были здесь?

— Ну конечно... Зачем бы я брал их с собой? Кстати, вы, конечно, знаете, уважаемая Клеопатра Георгиевна, что белые разбиты вдребезги, фронта нет, Врангель собирается бежать в Турцию...

— Знаю, знаю, голубчик. Какой ужас... В городе говорят — вечером Махно с Буденным здесь будут.

— Все может быть. Только не к вечеру, а, вероятно, дня через три...

— А как же вы? — глядя на меня округленными глазами, спросила хозяйка.

— Еду в Афины, погостить у моего друга адмирала... А как вы, почтенная Клеопатра Георгиевна?

— А я что? Я не белая, я не воевала, я не монархистка...

— Ой ли? Вспомните претендента на престол, вспомните, как вы ухаживали за ним, как желали ему взойти на престол...

— Ничего подобного... Я всегда была в душе революционерка,— отпарировала Клеопатра Георгиевна.— Что же касается этого типа, так, во-первых, он приходил к вам, а я его и знать не знаю, а во-вторых, он жулик, хам, сукин сын и ворюга...

Я даже раскрыл рот от изумления, слушая, какими отборными ругательствами честит эта благовоспитанная институтка сыщика Литовцева.

— А что, скажете нет? Не жулик он? Раньше всех вашу постель вывернул, ящики стола просмотрел, половицы и плинтусы хотел поднимать, а на кухне даже в сорную корзину заглянул.

— А вот в чулане чемоданов-то и не приметил.

— Потому — дурак. Они думали, что вы здесь, а как увидели, что ни вас, ни чемоданов нету, растерялись и стали друг друга укорять в чем-то.

Я перенес чемоданы в свою комнату и стал завтракать, запивая великолепным крымским рислингом, который вчера купила Клеопатра для знатного «греческого адмирала». Я пригласил позавтракать со мною хозяйку, и она, поминутно меняя тему разговора, стала рассказывать о том, как взбудоражен весь Севастополь падением фронта.

— Страшно на улицу выйти: плач, ругань, все как бешеные, никто ни о ком, кроме себя, не думает, а простонародье, эта вонючая чернь, злорадствует. По рожам видно, что ждут не дождутся своих,— горячо рассказывала «тайная революционерка».— Уж-жас! Прямо безумие какое-то. И когда все это кончится?

— Вот теперь и кончится, придут большевики — и уж теперь навсегда...

— Вы думаете? — со страхом спросила Клеопатра Георгиевна.

— Конечно. Кто ж остался из белых? Никого. Колчак расстрелян, Юденич разбит, Деникин рассыпался, как пыльный столб, а теперь пришел конец Врангелю.

— Ну и слава богу,— перекрестилась вдова,— хоть бы уж красные, да кончилась эта проклятая война... А то всего боишься, стук в дверь, а ты дрожишь...

Сильный стук в двери остановил ее жалобные причитания.

Я взглянул на нее. Лицо хозяйки побелело, она круглыми, немигающими глазами смотрела на меня.

— Не открывайте, через цепочку взгляните, кто это. Никого не впускайте. У вас,— я многозначительно поднял палец,— никого нет...

— Я бо-юсь,— пролепетала хозяйка.

Стук повторился еще сильней и настойчивей. Кто-то дергал ручку запертой двери. Клеопатра Георгиевна готова была лишиться сознания.

— Смелей,— шепнул я, вынимая из кармана браунинг.— Только не открывайте, тогда все будет хорошо.— И подтолкнул вперед ослабевшую женщину.

— Ну, откроешь там, или двери сорву! — угрожающе раздалось с площадки. Это был голос сыщика Литовцева. Я встал сбоку от входа, у которого замерла Клеопатра Георгиевна.

— Кто это? Что вам угодно? — еле пролепетала она дрожащим голосом.

— Это я... Не приходил господин Базилевский? Да откройте, чертова кукла, двери...

— Не открою... Я одна, никакого Базилевского тут нет.

Литовцев перестал стучать.

— Нету? Куда ж он запропастился?.. Я его, подлеца, по всему городу ищу...

— Может быть, в порту,— предположила вдова.

— Кой черт в порту? — сердито оборвал ее сыщик.— Я там все перерыл, нет его в порту.

— Да сейчас разве ж можно найти кого... Весь город словно с ума посходил,— уже смелее сказала вдова.

— Вот что, тетка. Я пойду искать его, а тебе советую: если появится этот голубчик здесь,— ни сло-ва о том, что я вчера ночью с этими бандюгами вместе... понятно? Если скажешь, душа с тебя вон... Адью!

Вдова капитана облегченно вздохнула и со злобой сказала:

— «Тетка»! Мерзавец! Не нашел другого слова!

— Прекрасно справились с задачей, уважаемая Клеопатра Георгиевна. А что касается этого неуча и хама, я сам начинаю думать, что он просто самозванец.— И я сел за прерванный завтрак.

Уже позавтракав, я вдруг вспомнил, что все свои ценности, документы и валюту оставил на столе у Анны Александровны. Уходя, я просто забыл о них. Такое случилось со мною впервые в жизни. Деньги всегда были главным смыслом моего бытия. Из-за них я шел на любые мошенничества. Но это я оправдывал тем, что «без денег незачем жить» и «все так делают». И действительно, мир, в котором я жил, являлся таким. Человек без денег был ничем. Разве Татищевы, Литовцевы, Шатиловы и Артифексовы лучше меня?

Я пожал плечами, в душе крайне обеспокоенный своей дурацкой оплошностью... Ведь там, у почти незнакомой женщины, остались все мои капиталы. А если... с чем я эвакуируюсь за границу? Ни паспортов, ни денег.

— Евгений Александрович,— раздался вкрадчивый, ласковый голос хозяйки,— не соблаговолите оставить мне денег? Я бедная вдова, средств к жизни никаких... беззащитная...

И это в тот самый момент, когда я горестно размышлял о себе...

— Хотя бы на первое время, пока красная власть...

Я перебил ее, вынимая из кармана все, какие только были у меня, керенки и деникинские «колокольчики». Не считая, я положил скомканную кучку этих теперь уже не нужных мне денег на стол.

— Вот... тут, наверное, тысяч полтораста...

Вдова пригребла ладонью деньги, а затем с глупой надеждой попросила:

— А валюту?

— Валюта нужна мне. За границей без нее, милейшая Кле-Кле, как без воздуха...— И я прищелкнул пальцами перед носом вдовы капитана.

Но она не заметила ничего — ни моего грубого ответа, ни издевательского жеста.

— Хоть бы фунтик или два...— умоляла она.

Лицо ее светилось обезоруживающей глупостью. Наивная жадность и желание сорвать «хоть фунтик» у исчезающего навек квартиранта понравились мне. В конце концов, чем она была хуже всего этого мира, в котором прожила жизнь? Она была самым маленьким звеном в цепи, состоявшей из таких людей, как все эти правители Юга России, главнокомандующие, премьер-министры, сенаторы, начальники контрразведок и обыкновенные прощелыги-сыщики. Я с сожалением развел руками:

— Увы, вся валюта у моего адмирала... Так сейчас надежнее, уважаемая Клеопатра Георгиевна, но если мы не смоемся сегодня из этого благословенного города, то завтра я дам несколько долларов на память.

Я был искренен и в эту минуту жалел, что со мною нет этих денег, но вдова капитана, видимо не верившая

в добрые порывы людей, недоверчиво протянула уже совершенно другим тоном:

— Слышала такие разговоры — «завтра». А может,— загораясь новой надеждой, заговорила она,— может, на память какую-нибудь золотую вещичку оставите? А?

Такой жадной и бестактной дуры я не встречал.

— Оставлю, как же! — серьезно сказал я и очень ласково продолжал: — Вот что, тетка, если еще заикнешься о деньгах, я надаю тебе по крашеной морде, слышишь?

Оцепенев, она молча слушала меня.

— И отберу и керенки и «колокольчики»... Понятно?

Она кивнула головой, отступила назад и, закрыв ладонью кармашек с деньгами, вышла из комнаты.

Так закончился последний в моей жизни разговор с вдовой капитана.

Я просидел в комнате больше часа, вдова не подавала признаков жизни. Вероятно, она заперлась в своей комнате, негодуя и изливая на меня беззвучный поток ругани и проклятий. Но и я не был спокоен. С каждой минутой страх за утерянные «богатства» овладевал мною. А что, если Анна Александровна забрала свои вещи, мои деньги и документы и сейчас в компании белогвардейских офицеров или того же макаронного маркиза издевается надо мной? Меня все сильнее охватывало беспокойство. «Дурак,— клял себя я,— как ты мог оставить все это в комнате чужой женщины?» И чем больше я думал, тем явственней вставала картина моего разорения.

Зачем мне ждать до шести вечера,— тогда она уже будет на пароходе. Надо сейчас, именно сейчас идти к ней. Может быть, я еще застану ее дома. Я вскочил с места, схватил свои чемоданы и пошел к выходу.

Когда я спускался по лестнице, дверь вдовы капитана чуточку приоткрылась.

— Жулик, шаромыжник, сукин сын! — напутствовала меня Клеопатра Георгиевна.

На улице творилось нечто неописуемое. Конечно, ни о каком экипаже не приходилось и думать. И хотя улицы были запружены бегущими, горланящими, беспо-

рядочно мечущимися людьми, все же иногда резкие звуки автомашины или матерная брань конных казаков заставляли толпу потесниться и пропустить едущих вперед. Все искали спасения на судах. Я выбрался из толпы и прошел моим вчерашним путем через заросли сквера на Морскую. По пути встречались солдаты разных частей, потерявшие воинский вид. Так, среди хаоса и беспорядка, я добрался до дома Анны Александровны. Шел четвертый час дня, когда я постучал в ее дверь. Никто не отзывался. Я постучал снова и, найдя звонок, нажал кнопку. Все было тихо. Потом дверь разом открылась. На пороге стояла Анна Александровна.

— Вы пришли рано. Я ждала вас к шести,— спокойно сказала она.

— Я не мог оставаться дома, а идти мне некуда. Облавы, патрули, а к тому ж...— И я рассказал ей о неожиданном приходе Литовцева. На всякий случай я прибавил, что с сыщиком были еще два человека.

— Вы видели их?

— Нет. Квартирная хозяйка не впустила никого, сообщив, что меня со вчерашней ночи нет дома.

— Ну что ж, пойдемте в комнату. Только у меня гости,— сказала Анна Александровна.

В комнате было двое мужчин. Один в форме артиллерийского капитана, другой в штатском. Оба молча поклонились мне.

— Вы один? Чемоданы поставьте в угол.

— Один. Может быть, я помешал, тогда извините, я уйду...

— Нет, нет, уходить вам не нужно, наоборот, мы рады познакомиться с вами,— сказал человек в штатском, а капитан наклонил голову.

Анна Александровна молчала. Вся эта странная картина не нравилась мне. Кто эти люди и почему они хотят познакомиться со мной?

— Дело в следующем. Наша добрая и старая знакомая Анна Александровна Кантемир много и очень хорошо рассказывала о вас,— начал штатский.— И то, что вы талантливый, энергичный, очень знающий инженер, в свое время с отличием окончивший Петербургский политехнический институт...

Я удивленно слушал его. Странно,— откуда эти люди так подробно осведомлены обо мне? Ведь я ничего такого не рассказывал Анне Александровне.

— Знаем мы и о других ваших специальностях.

Я быстро глянул на Анну Александровну, но она молча слушала штатского.

— Вы, вероятно, думаете, что наша общая знакомая госпожа Кантемир, говоря мягко, вовлекла вас в историю, подобную той, которая произошла с вами у Татищева? Но вы ошибаетесь, Анна Александровна как раз хочет помочь.

— Кто вы, господа? Говорите какими-то загадками... Но я верю вам, и если чем-нибудь могу быть полезен, я сделаю это.

Все трое молчали.

— Тем более что я обязан жизнью вам, Анна Александровна, и пока ничем не заплатил за это.

— Ну, это впереди, а вот сейчас, Евгений Александрович, вы можете частично расплатиться с долгом.— Анна Александровна улыбнулась.— Могли бы вы пойти на некоторую жертву?

— На любую,— горячо сказал я.

Она встала, открыла шкаф и, достав оттуда перевязанную стопку моих документов, паспортов и валюты, молча положила их возле меня.

Признаюсь, у меня екнуло сердце.

— Нам нужны ваши иностранные паспорта, причем один из семейных, то есть на мужа и жену, вы оставьте себе... он вам еще пригодится... а остальные дайте нам.

И все трое молча взглянули на меня.

— Понимаете, нам сейчас в связи с эвакуацией очень нужны два-три иностранных паспорта. У вас их четыре, вам же нужен всего один. Оставьте себе любой семейный паспорт, остальные передайте нам,— тихо произнес молчавший все это время капитан.

Я обвел всех глазами. Стало ясно: затевалась какая-то непонятная мне игра, и паспорта действительно были им необходимы. Да и в самом деле, на кой черт нужны мне четыре паспорта...

— С радостью,— ответил я.— Вот уж и отпала часть моего долга вам, Анна Александровна. Только я

возьму себе одиночный, зачем мне семейный паспорт, когда я один...

— Нет, вы не один... По вашему паспорту поеду я, как ваша жена. Вам это безразлично, а мне в Стамбуле, в чужом городе, среди всей этой разнузданной, охваченной паникой и безумием толпы, спокойнее станет, если...

— Вы будете фиктивным мужем... всего на две-три недели,— закончил начатую Анной Александровной фразу артиллерист.

— Господа, я понимаю, что создается какая-то ситуация...— начал я.

— Скажите, только честно, Евгений Александрович: они фальшивые? Насколько опасно пользоваться ими? — не слушая меня, спросил штатский.

— Все паспорта настоящие. Выданы они законно, из генеральных консульств. Необходимо только знать языки и обычаи этих стран.

Штатский удовлетворенно кивнул головой.

— Все-таки я закончу мою мысль, господа. Берите эти паспорта, оставьте мне румынский, и мы с Анной Александровной превратимся в румынскую чету — барона и баронессу Думитреску.

Все трое встали, окружили меня и крепко пожали мне руку.

— Как думаешь, Андрей, я не ошиблась? — спросила артиллериста Анна Александровна.

— Нет, не ошиблась,— одновременно ответили оба ее гостя.

— Теперь мы уйдем,— забирая документы, сказал офицер.

— Подождите минутку. Надо быть уверенными, что за господином Базилевским не увязался какой-нибудь шпик. Необходимо проверить это.— Анна Александровна вышла из комнаты.

Минуту мы молчали, потом офицер-артиллерист тихо и очень дружелюбно обратился ко мне:

— Евгений Александрович, скажите нам по чести, что вас заставляет идти с нами, помогать нам, подвергая свою жизнь риску? Ведь не идея и не деньги же?

— Ни то и ни другое. Деньги у меня есть, идеи — никакой, да и откуда она могла взяться у Евгения

Базилевского? Просто вы первые в жизни люди, заинтересовавшие меня. Я никогда не встречал таких...

— Так в чем же все-таки дело?

Я молчал, не находя слов. Чувство неловкости и тоски охватило меня.

— Может быть, вы... влюбились?

— Не знаю...— ответил я и отвернулся к окну.

В комнате стало тихо, и только с улицы доносились неясные шумы.

В коридоре послышались торопливые шаги Анны.

— Все спокойно. Вы можете идти. Ни пуха ни пера!

Потом Анна Александровна подошла к окну и долго прислушивалась к шумам улицы. Затем села рядом и ровным спокойным голосом заговорила:

— Евгений Александрович, вы человек умный и, несомненно, кое-что поняли в том, что сейчас было.

— Очень мало, честное слово, мало. Только мне ясно: вы и ваши друзья — не те, с которыми мы позавчера обманывали иностранцев.

Она молча улыбнулась.

— Слушайте, Евгений Александрович, повторяю, вы человек умный. То, что вы в юности запутались, может быть объяснено молодостью, средой и... соблазнами социального круга, в котором вы выросли. А это, как многое другое, и излечимо и проходит. Надо только понять это самому. И найти свое место в жизни.

— А зачем это? Свое место в жизни я знал до встречи с вами...

Анна чуточку покраснела и отодвинулась от меня.

— ...и теперь знаю его. Куда поедете вы, Анна, туда и я. Первый раз в жизни меня пугает одиночество.

Она внимательно слушала меня.

— Вокруг много, сотни, может быть тысячи людей, а ты одинок... Один среди людей...

Она понимающе кивнула головой.

— Я еще не знаю, на что я вам нужен, но располагайте мною. До самой смерти я с вами и с теми, кто только что ушел отсюда. Самое для меня дорогое — что вы поверили мне.

Я низко поклонился и поцеловал ее руку.

— Но все же не могу понять, Анна Александровна,

какую ценность представляю я для вас и ваших друзей в Стамбуле.

Она ответила не сразу, занятая укладкой платьев в чемодан.

— Не берите ничего лишнего, Евгений Александрович, только необходимое,— посоветовала она.— Что же касается вас, возможно, узнаете в Стамбуле.

— Значит, возможно и нет? — удивился я.

— Не спрашивайте ни о чем. А что это такое? — спросила она, видя, как я в раздумье открыл ларец, в котором были «рак», ручная дрель и флакон с нитроглицерином.

— Набор для вскрытия сейфов,— и я внимательно посмотрел на нее.

— И вы хотите его оставить здесь?

— Конечно,— откладывая воровской инструмент в сторону, горячо сказал я.

— Нет, ни в коем случае! Берите его с собой. Он сделает вас верным другом хороших людей.

— Чудеса в решете...— засмеялся я.— Хотя мне, скажу правду, тяжело было расставаться с этим чудопроизведением Леблана, купленным мною в Брюсселе.

— Кто этот Леблан?

— Знаменитый мастер. Леблан из специальной стали по только ему известному рецепту и чертежам сделал восемнадцать вот таких чудес,— и я протянул ей «рак» тонкой работы, с накладной легированной сталью на острие.

— Воровской Амати,— улыбнулась она.

— Именно. А сделал он их только восемнадцать потому, что его убили...

— Кто? — возвращая мне инструмент, спросила Анна Александровна.

— Конкурировавшая с ним другая фирма — «Фрежессон». Сейчас такой инструмент редок и стоит по крайней мере тридцать пять — сорок фунтов,— с гордостью сказал я.

— Когда вы совершите первый в вашей жизни честный,— она подчеркнула,— честный взлом, мы бросим это «чудо» в Босфор. Идет? — и она протянула мне руку.

— Даю слово! — воскликнул я.

— У нас мало времени,— взглядывая на часы, сказала Анна Александровна.— Вы готовы? Второй чемодан ни к чему. Оставьте его здесь, рядом с моим, они не пропадут.

Я быстро переложил самое необходимое в чемодан, другой же придвинул к стене, рядом с большим, крутобоким кофром хозяйки.

Все было готово. Анна Александровна подошла ко мне и, глядя прямо в глаза, тихо и отчетливо произнесла:

— Евгений Александрович, есть еще время, и если вы в чем-то не уверены, откажитесь сейчас... Ни я и вообще никто в мире не будет на вас в обиде.

Я молчал. Анна Александровна выждала минуту.

— Так как же?

— Так же, как и вы. Пойдем и не будем больше говорить об этом.

Что делалось на улицах города — описывать не буду, все это уже давным-давно сказано в сотнях мемуаров. Кто только не писал об этом гомерическом крахе и бегстве белых?! Добавлю только, что паника, которую я видел днем, когда пробирался к Анне Александровне, удесятерилась. Ко всему этому прибавились нескончаемые гудки пароходов, вой сирен, рев моторов и гул кружившихся над портом гидросамолетов.

— «И кончился пир их бедой...» — пробормотал я.

Анна Александровна сурово глянула на меня.

— Барон, нам надо спешить, иначе мы опоздаем к посадке. Иностранной колонии строго отведен точный час.

Пробираясь между грудами вещей, связанных узлов и тюков, мимо плачущих детей, дико и отчужденно молчащих стариков, обезумевших юнкеров и гимназистов, мы наконец подошли к пристани. Здесь стояли четыре цепи вооруженных, еще сохранявших воинский вид людей. Первая, с которой нам пришлось встретиться, состояла из марковцев.

— Куда идете? Кто такие? Пропуск? — напирая грудью на нас, закричал худой, с небритыми щеками офицер.

— Je vous prie, monsieur colonel, de nous laisser passéz au bateau. Voisi nos permis. Je suis le baron

Dumitrescou, voici ma épouse, la baronesse. Voila nos documents[1].

Офицер переступил с ноги на ногу. По-видимому, он не понял ничего, кроме слов «лессе пассе» и «барон». Он еще раз оглядел нас, осмотрел со всех сторон пропуск, подписи, печати, штамп и, махнув рукой, сказал:

— Идите... Дальше разберут.— И еще громче заорал на кого-то: — Куда прешь? Осади назад, босявка...

Мы прошли первую цепь марковцев.

— Иностранцы в первую очередь, подлецы, драпают... Ишь рожи какие наели! И чемоданы и своих шлюх забирают...— слышались возгласы.

— Господа, вы офицеры и ведите себя прилично,— оборвал их командир роты.— Приказ главнокомандующего: «В первую очередь дипломатические агенты, иностранцы и делегации дружественных нам стран Европы. А эти господа как раз из этой делегации.— И, обращаясь к нам, вежливо сказал по-французски: — Je vous prie[2].

Вторая шеренга была из моряков. Эти молча пропустили нас, как только их лейтенант, рассмотрев пропуск и паспорта, четко козырнул нам.

Дальше стояли французские моряки, полупьяные, разбитные, все одинаково озорные и наглые молодцы. Они встретили нас смехом и остротами. Их офицеры мало чем отличались от матросов, разве только тем, что вместо острот они перемигивались между собой и долго, очень долго не пропускали нас, делая вид, что изучают пропуск и паспорта. Красивая баронесса Думитреску явно понравилась им, и они охотно пропустили бы ее одну на корабль, оставив меня «за бортом». Наконец, излив свое восхищение «прекрасной мадам», они проводили ее до последней, четвертой цепи англичан, не обращая на меня никакого внимания. Я покорно тащил оба чемодана, в душе посмеиваясь над пошловатыми излияниями любезных галльских моряков.

---

[1] Прошу пропустить нас на пароход, господин полковник. Вот наши пропуска. Я барон Думитреску, это моя супруга, баронесса. Вот наши документы *(франц.)*.

[2] Прошу вас.

Англичане спокойно и внимательно осмотрели нас. Проверили документы и без слов пропустили на трап.

Пароход «Вещий Олег» был уже наполовину заполнен иностранцами, богатыми дельцами с их семьями, растерянными, поникшими подагрическими стариками в генеральских отворотах, девицами в голубых и коричневых пелеринках.

— Каюта четвертая. Извините, барон, хотя она трехместная, но в ней будет размещено семь-восемь человек,— сказал сухопарый морской лейтенант.— Прошу вас с супругой за мной.

И мы, наталкиваясь на тюки, чемоданы, свернутые ковры, наступая на чьи-то ноги, прошли к каютам. Пароход и здесь был переполнен, но проходы все же были сравнительно свободны.

— Вот ваша каюта! — отмечая карандашом у себя в книжечке, показал лейтенант.

В каюте уже было четверо людей: греческий священник, две насмерть перепуганные пожилые турчанки, усатый француз с саквояжем в руке.

Мы поздоровались, и я кое-как усадил возле потеснившихся турчанок Анну Александровну. Чемоданы, положенные один на другой, заменили мне и кресло и лежанку.

А за окном каюты грохотали лебедки, неслись вопли и крики людей, резко завывали сирены.

— Не знаете ли, месье, когда выйдем в море? — спросил француз.

— Не знаю. Хорошо бы поскорей,— ответил я, и тогда все заговорили хором. И грек и турчанки свободно владели французским.

— Азиатчина... средние века... сплошные убийства и грабежи... И это страна, называющая себя христианской и просвещенной! — негодовал француз.

— Русские никогда не были христианами... Вся их история — сплошные войны и насилия,— вторил ему грек.

Турчанки боялись всего. Их не интересовали ни большевики, ни белые, ни история России, они просто хотели поскорее попасть в Стамбул.

— Ах, какой это город... Вы не бывали, баронесса, в Стамбуле? — спрашивала одна из них.— Не бывали? Ах, вам можно позавидовать! Вам, как иностранке, предоста-

вят все, чтобы вы узнали получше нашу великую столицу...

— Галата! — закатывая глаза, стонала другая.— Пера! А Ильдыз-Киоск! Вы побываете и в Айя-Софии... Какая красота... Увидите Селямлик султана...

— А магазины? Всего вдоволь, ломятся от товаров. А дешевизна? И все вежливые, все предупредительные. Я устала, я просто больна, баронесса, от этих гадких и грубых русских.

«Зачем же вы приехали сюда, милые господа, ненавидящие Россию?» — думал я, но мне, «румынскому барону», следовало только поддакивать и кивать головой.

— А займы? Мы им давали взаймы миллионы франков золотом, вносили культуру, европеизировали их, а они, эти проклятые большевики, отказались платить царские долги. Я потерял на этих облигациях около шестидесяти тысяч франков чистоганом, моих кровных франков,— француз негодующе замахал руками.— Видите ли, они говорят, будто эти деньги давались не России, а царю, чтобы он подавлял революцию... Какая чушь! Не все ли равно, кто их брал и для чего! Брали деньги русские? Русские! Царя нет, Россия и долги остались,— значит, плати их!!

Мне стало скучно слушать этого разбушевавшегося рантье.

— Моя дорогая! Не разрешишь ли мне выйти на палубу? Может быть, узнаю, когда, наконец, мы уйдем из этого ада,— обратился я к Анне Александровне.

Это было первое «ты», которое я сказал ей, и хотя оно было фиктивное, но порадовало меня.

— Пожалуйста. Только, прошу тебя, не задерживайся, я буду беспокоиться,— ответила «баронесса».

Я пошел наверх. На палубе все было заполнено людьми.

«Куда? Где еще можно разместить их?» — с ужасом думал я, глядя, как сотни людей осаждали воинские цепи, преграждавшие им путь.

Вой, крики, стенания, проклятья, плач слились в сплошной гул.

— Не знаете ли, господин офицер, когда отойдет наше судно? — вежливо спросил я какого-то матроса.

Он красными, воспаленными глазами на ходу глянул на меня:

— Возможно, скоро,— и, не останавливаясь, прошел дальше.

Я снова взглянул вниз. На наш пароход уже не сажали, трап был убран, английские солдаты поднялись на борт. По-видимому, «Олег» действительно должен был отойти.

Заработали машины, судно оторвалось от пристани и медленно, почти незаметно стало отходить. Блеснула полоска воды между ним и берегом, затем она увеличилась, стала шире, и под вопли, проклятья, ругань метавшихся на пристани людей «Вещий Олег», пробираясь между другими судами, медленно вышел на рейд. Я спустился в каюту.

В каюте сидели еще двое новых пассажиров — полковник с дочкой, девочкой лет двенадцати. Оба были в тревоге. На берегу осталась мать, в суматохе оторвавшаяся от них.

Девочка плакала, а отец неуверенно утешал ее:

— У мамы пропуск, она сядет на другой пароход, ее не бросят,— но по тоскливому взгляду, по срывающемуся голосу отца чувствовалось, что он и сам не верит в это.

Анна Александровна усадила девочку возле себя, я присел на свой чемодан, а тем временем «Вещий Олег», отойдя ближе к «чистой воде», стал на якорь. За стеклами иллюминаторов стало темнеть. Мы кое-как расположились на ночь.

Около десяти часов ночи, под сплошной рев гудков и сирен, наш пароход вышел в море. Стало покачивать. Берег то поднимался, блестя огнями пристаней, то уходил в глубокую тьму.

Как-то само собой случилось, что развязались баулы, свертки и все одновременно принялись за еду. Только полковник и его дочь сидели отвернувшись от ужинавших пассажиров. По-видимому, вся их еда была у жены полковника, оставшейся на берегу.

Если бы не Анна Александровна, как видно, своевременно позаботившаяся о провизии, я тоже голодал бы в пути. Анна Александровна достала салфеточку, расстелила, положила на нее сыр, нарезанные куски мяса, холод-

ную курицу, белый и черный хлеб, несколько яблок, янтарные грозди винограда.

«Когда она успела запастись всем?» — с удивлением подумал я.

— Друзья по несчастью, прошу вас разделить с нами скромный ужин,— предложила она полковнику.

Тот смутился и неуверенно отказался.

— Благодарю... Мы недавно обедали... Разве вот она... Сонечка,— показывая на дочь, сказал он.

— Спасибо, я сыта,— поспешно ответила девочка.

— Нет, нет, так не годится. Я случайно захватила всего так много, что нам с избытком хватит до Константинополя,— сказала Анна Александровна и, обняв девочку, притянула ее к себе.

Через минуту мы вчетвером ели вкусные яства моей «жены», а расчувствовавшийся француз рискнул даже предложить мне и полковнику по доброму глотку вина.

Все, решительно все начинало нравиться мне в Анне Александровне. И простота ее обращения с людьми, и сердечная, почти материнская забота о девочке, и разумная предусмотрительность во всем. После ужина, кое-как разместившись в каюте, мы заснули.

Проснувшись среди ночи, я с радостным волнением увидел, что Анна Александровна спит возле меня, положив голову на мое плечо.

Море спокойно... И чем дальше уходит караван судов на юг, тем теплее воздух, тише морская гладь, ярче солнце, а ведь уже конец осени. С палубы я смотрел на растянувшуюся по морю армаду спасавшихся в Турцию пароходов. Сколько их, и какие они все разные! Крейсеры, грузовые, торговые суда, серые миноносцы, тяжело ушедшие в воду, выше отметок ватерлинии корабли... пассажирские яхты, парусники, еле передвигающиеся старинные самотопы — броненосцы девятисотых годов, транспорты, пузатые «купцы»... По всему горизонту растянулись дымы труб. И повсюду люди, десятки тысяч людей, бегущих из своей страны в чужие края, в неизвестность, в нищету...

Анна Александровна тихо сказала:

— Запомните навсегда эту картину, Женя... Это конец контрреволюции.

...Спустя двое суток мы подошли к Стамбулу.

Наш «Вещий Олег», как пароход, отведенный под иностранцев, беспрепятственно вошел в стамбульский порт. Он подошел к причальной линии Северного берега Золотого Рога и остановился между Галатским мостом и пристанью Топ-Хане. Это была французская зона оккупации. К «Вещему Олегу» ринулись военно-полицейские катера с французскими флагами на корме и носу.

Разбитные французские сержанты, матросы с трубками в зубах, вертлявые «ажаны» быстро пробегали мимо нас, забрасывая десятками вопросов, и, не дожидаясь ответа, мчались дальше по пароходу. Что искали они? Зачем так стремительно и бестолково, на рысях, обшаривали каюты? Только спустя полчаса мы поняли суть этого стремительного обхода. Всех иностранцев очень вежливо и быстро спускали на берег, паспорта и визы консульств играли решающую роль. Русских задерживали на борту. На них кричали: «Allez, allez!»[1] — бесцеремонно и грубо осматривали их вещи, сгоняли на палубе в группы,— словом, держались с ними так, будто это были не беженцы, спасавшиеся у них, а военнопленные или задержанные в облавах преступники.

Мы прощаемся с полковником и его дочкой. Подавленные, одинокие, растерянные, они тоскливыми взглядами провожают нас.

Усатый француз, турчанки, греческий священник и мы сходим по трапу на берег. Француз-полицейский мельком просматривает наши паспорта, о чем-то шутит с нашим усатым рантье и, вежливо кланяясь, говорит:

— Со счастливым прибытием.

Турок-носильщик хватает чемоданы, и мы едем в город, в квартал Эминеню, в отель «Мон Репо», который нам рекомендовали на пароходе.

Отель был средней руки, на улице Селимие. Наш номер, большой и уютный, понравился Анне Александровне. Она что-то переставила в нем, попросила внести еще один

[1] Пошли, пошли!

столик и ковер, вынести ненужную тумбочку, перевесила на стене картину, переменила цветы, и комната неожиданно стала уютной, гостеприимной и обжитой.

И это тоже порадовало меня.

Приняв ваину, мы переоделись и вышли в город.

Портье на хорошем французском языке приветствовал «баронессу» и «барона».

Я и раньше бывал в Стамбуле, и тем не менее его мечети, минареты, старинные храмы, роскошные дворцы, шумный полуазиатский, полуевропейский ансамбль города захватили и меня. Анна же, впервые попавшая в этот экзотический, полный контрастов и красок город, была в восторге. Ее удивляло и радовало все: и прекрасные византийские памятники архитектуры, и кривые, узенькие улочки, и художественные творения резчиков по дереву и камню, и удивительный орнамент, украшавший стены мечетей и султанских дворцов.

Она долго неподвижно стояла, разглядывая голубые витражи и тончайшие узоры Голубой мечети.

— Не все сразу. Впереди еще древняя Айя-София с ее золотой мозаикой, а за ней огромная мечеть Сулеймание,— сказал я, беря ее под руку.

— Чудесные памятники... А теперь, Женя, обедать. Пока оставим памятники в покое. Нам нужно заняться делом...— закончила она.

Хотя Анна Александровна и сказала мне, что пора заняться делом, но проходили дни, а она ни словом не обмолвилась о том, что должен был делать я.

Мы гуляли по городу, побывали в порту Хайдарпаша, провели часа четыре в районе небольших пристаней между Бешикташем и Бебеком, где стояла часть прибывших пароходов с беженцами.

По настоянию Анны мы поехали к северу от города, в районы Тарабаня и Бейюкдере. Там были расположены итальянские, английские и греческие оккупационные власти, а также в великолепных особняках и виллах жили иностранные дипломаты и богатые буржуа.

Зачем ей надо было побывать в этих местах, я не знал, она молчала, а я не спрашивал ее.

И, хотя для всех мы были любящими мужем и женой, здесь, в Стамбуле, я еще острей чувствовал грань, разделявшую нас.

Анну Александровну теперь я видел редко, хотя мы и жили в одном номере, завтракали, а иногда даже и ужинали вместе. Порою моя «баронесса» исчезала на десять — двенадцать часов. Что она делала в это время, где бывала, с кем встречалась, я не ведал, хорошо зная, что нельзя вмешиваться в чужую жизнь. Чужую... Больно было сознавать, что это слово точно определяло наши отношения. Не раз я встречал на себе ее испытующий внимательно-настороженный взгляд. Было ясно — она изучает меня, что-то обдумывает и взвешивает, во что-то хочет посвятить и не решается сделать это.

Раза два-три я бывал в здании бывшего русского царского посольства, отведенного турецкими властями и союзным командованием Антанты под учреждения и общежитие белых беженцев.

Наконец я зашел к генералу, теперь уже с полным основанием можно было добавить — «бывшему генералу», Артифексову, который удачно лавировал между яхтой «Лукулл», являвшейся ставкой Врангеля, пароходом «Великий князь Александр Михайлович», на котором расположился Шатилов и штаб армии, и зданием царского посольства, в котором вместе с другими беженцами временно проживал сам Артифексов.

Сделал я это по настойчивой просьбе Анны Александровны, чтобы, так сказать, выразить ему свою симпатию и участие. Признаюсь, меня очень удивила эта настойчивая, похожая на требование просьба Анны Александровны, а особенно ее как бы вскользь брошенная фраза:

— Женя, в первой комнате перед спальней генерала, слева от двери, стоит несгораемый шкаф, черный, с медными полосами по краям. Возле дверей — часовой. Обратите внимание,— она повторила,— внимание специалиста на этот сейф...

Я молча кивнул головой. Но что находилось в сейфе, что интересовало ее? Конечно, не деньги. Теперь только я понял ее слова, сказанные в Крыму: «Возьмите с собой ваши инструменты... а потом, когда они уже не будут нужны, мы утопим их в Босфоре...»

— Хорошо, я сегодня же буду у генерала!

— Вы умница, Женя! А сейчас, дорогой муж, я ухожу по делам, буду поздно, очень, очень поздно... А вы внимательно ознакомьтесь с расположением квартиры Артифексова.

Она ушла, я молча курил одну сигарету за другой, стараясь понять истинную суть дела.

Перед бывшим российским посольством развернулась та же картина, какую я видел несколько дней назад на берегу Севастополя. Ступеньки широкой, слегка выщербленной лестницы парадного были запружены беженцами. Во дворе, на улице — всюду сидели, стояли, двигались, метались люди. Кого только не было здесь... Но главным образом — военные, все те, кто еще десять — двенадцать дней назад важно, величественно, с чувством своего превосходства и силы, заполнял улицы и бульвары Крыма от Севастополя и Качи до Симферополя и Джанкоя.

«Довоевались!! Спасители России!» — мелькнула у меня злорадная мысль. И тут же я подумал: что это? Ведь всего неделю назад такая мысль никогда не пришла бы мне в голову. Почему ж сейчас я с таким злорадством и презрением думал об этих унылых, разбитых и еле унесших ноги, чуждых мне людях?..

И опять передо мной возникла Анна Александровна, ее непонятные еще друзья, наше странное «супружество», совместное «бегство» в Стамбул.

Кое-что я уже понимал, но многое казалось не только неясным, но и просто необъяснимым.

Анфилада комнат с высокими старомодными потолками, с выцветшими от времени коврами и цветными дорожками. Было странно и забавно видеть огромные портреты Романовых, начиная от Павла I и кончая Николаем II, с геометрической точностью развешанные на стенах огромной залы. Цари в пышных гвардейских мундирах свысока взирали на угрюмых, обездоленных, потерявших родину людей. Беженцы, за исключением трехчетырех стариков, тоже не обращали внимания на августейших особ.

— И подумать только, что мы два с лишним года проливали свою и чужую кровь, чтоб восстановить эту угасшую династию,— не без горечи сказал один из старичков,

разглядывавших галерею царей, но ему никто не ответил.

Я кое-как протиснулся сквозь одичалые толпы мужчин и женщин и пошел по коридору, где стояли караульные юнкера. Юнкер, юноша с тупым взглядом и толстыми румяными щеками, важно спросил:

— Пропуск?

У меня его не было, вся моя надежда проникнуть к Артифексову строилась на моем румынском паспорте, титуле барона и отлично сшитом костюме. Я только что хотел по-французски заговорить с толстомордым юнцом, как дверь открылась и я увидел Артифексова. Он был в генерал-лейтенантских погонах, спокойный, упитанный, равнодушный. Увидя меня, он чуть задержался.

— Вы ко мне? Если по делам устройства или вспомоществования, я ничем не могу...

Я жестом остановил его.

— Милейший генерал, по-видимому, вы не узнаете меня. Мне абсолютно не нужны ни помощь, ни содействие и вообще никакие благодеяния ни с чьей стороны. Вспомните Севастополь и наши встречи на приемах иностранной делегации.

Артифексов внимательно всмотрелся, только теперь узнавая меня.

— Простите, я не узнал вас. Это и не мудрено в столь тяжелые и мучительные дни эвакуации. Чем могу служить, Евгений Александрович?

— Я иностранец, румынский барон Думитреску, человек обеспеченный, и мой приход к вам вызван только большим уважением и сочувствием к постигшему всех нас горю. Свидетельствуя вам свое почтение, я хочу внести через вас двести — триста долларов в фонд помощи гражданским беженцам Крыма. А также, пока я буду в Константинополе, хочу вносить время от времени таковую же сумму в помощь несчастным русским обездоленным людям.

При этих словах юнкер-часовой подтянулся и с глупым восторгом посмотрел на меня.

— Простите... простите, Евгений Александрович,— вдруг подобрел и оживился Артифексов.— Отовсюду мы только и слышим проклятья, вопли, крики о помощи, ругань, жалобы, недовольство... И вдруг такой жест, такой

благородный поступок... Войдите, пожалуйста,— делая знак юнкеру пропустить меня, продолжал он.

Я вошел в первую комнату, за нею виднелась вторая с полураскрытой дверью.

— Я, знаете...— замялся Артифексов.

— Барон Эжен Думитреску,— подсказал я.

Он широко и ласково улыбнулся.

— Я, добрейший барон, частично живу на яхте его высокопревосходительства «Лукулле», но большую часть времени провожу здесь. Итак, чем могу служить?

Пока он вел изысканный разговор, я быстро оглядел комнату. Стол, кожаный диван, на окне цветы в горшках, на полу светлый ковер. У дверей, влево от входа, несгораемый ящик, небольшой, черный, на низеньких чугунных лапах, с широкой медной обшивкой по углам.

Мы, «медвежатники», эту медную кайму называем «галунами».

Артифексов заметил, что я разглядываю комнату, но объяснил это по-своему.

— Здесь восемь комнат... Все это правое крыло занимал чиновник царского правительства Евдокимов. Сейчас он с семьей перебрался в пристройку, а я и генерал Кутепов временно живем здесь. Так вы, барон, когда и кому намереваетесь вручить ваш щедрый дар? — осторожно вернулся к первоначальной теме Артифексов.

— Двести сейчас, остальные сто долларов, если разрешите, завтра или послезавтра,— сказал я, подготавливая свои дальнейшие действия.

— Очень хорошо...— живо ответил генерал. Этой живости ему так не хватало в Крыму.

Я передал ему двести долларов.

— Сейчас я дам вам расписку...— начал было Артифексов, присаживаясь к столу.

— Вы обижаете меня, генерал.

— Все-таки это же деньги, и немалые!

— Порвите расписку, дорогой генерал. Завтра или послезавтра я приду с остальными деньгами. Чтобы меня пропустили ваши церберы, дайте мне временный пропуск.

— Ради бога! — протянул, почти просияв, Артифексов.— Зачем временный? Я напишу вам месячный... Вот он.— И Артифексов быстро набросал на своей визитной карточке:

«Барона Думитреску Е. А. пропускать в главную канцелярию штаба и ко мне лично беспрепятственно.

Дежурный генерал *Артифексов*».

Он вышел в другую комнату и, вернувшись через минуту, передал мне пропуск, на котором рядом с его подписью виднелся большой двуглавый орел, но без скипетра и барм.

— Только прошу вас, барон, не теряйте и никому не передавайте пропуска. Дело в том, что,— он нагнулся к моему уху,— существует самая подлая террористическая группа, шайка,— поправился он,— которая, по данным нашей контрразведки, готовит покушение на барона Врангеля, а также на Шатилова и меня.

— Большевики? — изумился я.— Да ведь они не признают индивидуального террора?

— Если бы большевики! Это было бы понятно. Нет, наши, наши же, белые офицеры, создали такую организацию...

— Зачем? — еще больше удивляясь, спросил я.

— Очень просто... В неудачах армии и в бегстве из Крыма они винят барона и, главным образом, генерала.

— Вот тебе и на! — развел я руками.

— Именно! Идиоты, дураки, трусы, но совершить подлое убийство они могут. Потому я и прошу вас, дорогой барон,— никому этот пропуск.

— Никому, слово джентльмена! — твердо сказал я и, быстро оглядев сейф еще раз, вышел из комнаты.

Я пообедал в ресторане «Беюк Адам» на Пера. Ресторан был типично турецкий, с низкими столиками, с глубокими полумягкими диванчиками, с цветными стеклами на окнах. Полумрак, прохлада, тишина, прерывавшаяся иногда возгласами игравших в нарды греков и турок.

Я предавался кейфу, до деталей представляя комнату, дверь, сейф у стены и вторую дверь, которая вела в глубь квартиры.

Жил ли там кто-нибудь? Если да, то как изолировать этих людей на время моей двух- или трехминутной операции с сейфом? Дурак часовой не пугал меня. Пропуск, личное знакомство с Артифексовым, мой европейский

вид, титул барона и деньги — все это было надежнее любого пропуска. Но я отлично знал, что в нашей опасной профессии самым страшным врагом является случай. То, что в обычной жизни никто не заметит, должно быть предугадано нами. Пустяк, секунда замедления, царапина на дверцах сейфа, лай собаки, неожиданное появление прислуги — все может провалить дело. И я снова и снова воспроизводил в памяти коридор, часового, дверь, комнату и т. д. Это был даже не сейф, а пустяковый, старой конструкции несгораемый ящик. Удивительно, что белые генералы прятали секретные документы в этой древней рухляди.

Потом я пошел по Стамбулу. Пестрый, смесь Востока с Западом, своеобразный, неповторимый город. Раньше, когда я на день-другой задерживался в нем, он казался мне скучным, шумным и неинтересным. Сейчас было иное. Стройные, огромные стальные красавцы дредноуты стояли на рейде, легкие суда союзников бороздили воды пролива, сотни моряков Антанты в самых разнообразных форменках и шапочках толклись на берегу. Греки, французы, итальянцы, англичане, американцы... Да кого только тут не было! И всюду растерянные, опустившиеся русские. На площадях и улицах Галаты и Пера звучала разноязычная речь, но русская слышалась всюду, везде.

— Барон, ваше сиятельство, Евгений Александрович, живы? Слава тебе, господи, вырвались из этого крымского ада... а я так печалился о вас... Не дай, думаю, боже, застрял, не попал на корабль,— услышал я воркующий голос Литовцева.

Бывший сыщик стоял возле меня. На левой его руке было переброшено несколько пар дамских чулок, два-три бюстгальтера, открытая коробочка, в которой блестели царские и деникинские ордена. Лицо сыщика выражало благостную радость.

— Уцелели... Спас Христос...

— Уцелел,— перебил я.

— А вот ротмистр-то, ваш враг, погиб. Его ночью кто-то прибил до смерти... с пулевой раной нашли...

— Не ты ли? — спросил я.

— Что вы, господь спаси и помилуй! Я такими делами не занимался. Это контрразведка,— он оглянулся,— душегубы проклятые, а я человек мирный.

— Чем же промышляешь, мирный человек? Торгуешь барахлом или по карманам лазишь?

— Шутник вы, Евгений Александрович! Разве ж порядочный человек будет таким гадким ремеслом заниматься? Торгую по мелочишкам, кормиться-то надо.

— А зачем надо?

Сыщик усмехнулся.

— Мышь, муха, собака, извините, и те промышляют себе пропитание, а как же человек...

— То человек, а то мерзавец, легавый. Предатель и шпион, как ты, Литовцев.

— Не понимаю,— делая изумленное лицо, развел руками сыщик,— будучи благородным человеком, скажу прямо — не понимаю... Я же ваш верный друг и союзник. Вы ж помните наш союз...

— Сволочь ты, Литовцев. Я же все знаю — и как ты с Татищевым, ротмистром и остальными бандитами ворвался ко мне ночью...

— Не врывался... Видать, вам неправильно сказали... И ничего не знаю об этом,— еще более изумляясь, просипел Литовцев.

— Не ври, легавый. Я ведь в садике напротив дома сидел, все из кустов видел...

— Должно, обознались! — твердо сказал Литовцев.

— И на другой день, когда ты к хозяйке моей ломился, я дома был...

— Ну-у! Ловкий же вы человек, Евгений Александрович! Недаром Татищев приказал найти вас живым или мертвым,— восхищенно сказал сыщик.

— Да уж, не олух, вроде твоих контрразведчиков. А где теперь Татищев?

— Черт его знает,— без всякого почтения к бывшему своему начальству ответил сыщик.— Он теперь тоже беженец, как и все. Разве только доллары имеет. Вы на меня, барон, не серчайте! Я человек маленький, подневольный. Там, в Крыму, они все были мне начальством. Ну, я и подчинялся... А здесь на них — тьфу! — Он сплюнул на землю, растер ногой и ласково сказал: — За вами должок имеется... Помните, Евгений Александрович?

— А как же! И заплачу сполна, чистой монетой,— выразительно пообещал я.

— Пока хоть половину дайте, остальные потом.

— Зачем потом? Сейчас и сполна! — сказал я и отвесил ему такую оплеуху, что он покачнулся. Чтобы поддержать его равновесие, я закатил ему другую, и он, как куль, брякнулся навзничь.

Я молча вытирал платком ладонь, когда к нам подошел важный турецкий полицейский.

— Что такое? Драка? В полицию,— по-турецки заговорил он.

Литовцев поднялся на ноги и, подбирая с земли раскиданные чулки, завопил:

— Убийство!.. Это жулик! Он украл мои деньги. Берите его в участок.

Турок-полицейский озадаченно смотрел то на него, то на меня.

— Вот что, солдат. Этот человек — русский. Он негодяй, вор и обманщик. Он пытался надуть меня, подсовывая фальшивые русские кресты и медали. Отведи его в полицию или дай ему хорошую взбучку. Я иностранец и прошу сделать это немедленно. А это за труды,— и я сунул полицейскому десятилировую бумажку.

— Будет исполнено, эффенди. Только зачем в полицию, я сам разделаюсь с ним,— пряча деньги в карман, спокойно пообещал полицейский и изо всей силы хлопнул ожидавшего правосудия Литовцева по шее.

— Карау-ул! Убивают! — заорал бывший сыщик и, не дожидаясь второго удара, пустился бежать.

— Ваше поручение исполнено, эффенди,— вежливо доложил полицейский, прикладывая ладонь ко лбу.

— Спасибо, ага! Вот вам еще пять лир за труды,— сказал я, и мы разошлись, довольные друг другом.

Я пошел к пышным дворцам турецких султанов, величественно возвышавшимся над водами Золотого Рога. Эти цветные, залитые солнцем полусказочные дворцы невольно переносят вас в мир Шехерезады и старых турецко-византийских сказаний. Белые широкие ступени мрамора сходят прямо к воде. Горят, переливаются в солнечных бликах окна и купола.

И здесь, у пышных дворцов бывшей Оттоманской империи, стаями бродят итальянские берсальеры — солдаты с петушиными перьями на шляпах, сенегальцы с черны-

ми, как голенище, лицами, морская пехота англичан, шотландские солдаты в клетчатых юбочках и веселые, шумные французские пуалю — словом, все те, кто оккупировал Константинополь.

Шестой час, идти домой еще рано. Анна Александровна предупредила, что придет поздно. Бродя по городу, я продолжал думать о предстоящей операции. Затягивать ее было нельзя. Ведь в Стамбуле сейчас находились представители всех контрразведок Европы.

Я зашел в синема «Сплендид», посмотрел американскую картину «Нетерпимость» и в одиннадцатом часу ночи направился в отель, зайдя по пути в цветочный магазин.

Анна Александровна была дома.

— Я не знал, что вы дома, иначе пришел бы раньше...

— Спасибо за цветы. Прелестные орхидеи! — Она поставила их в вазу.

— Вы хотите есть? — спросил я. Налив из термоса кофе, Анна пила его и заедала кусочком сыра.

— Я не обедала,— ответила она,— но это неважно. Ну? — она выжидательно посмотрела на меня.

— Был, видел сейф, получил пропуск, правда, временный, в апартаменты Артифексова.— И я рассказал ей обо всем.

Анна молча выслушала меня.

— А ведь вы могли бы стать другим, Женя...— она вздохнула.

— Анна! — Я поднялся с места. За все эти дни я впервые назвал ее так.

Она быстро и нерешительно взглянула на меня и отошла в глубь комнаты.

— Я все понимаю. И кто вы, и зачем мы здесь вместе, и даже то, для чего... для кого я должен открыть сейф...

Она стояла у окна, внимательно глядя на меня.

— Я жил плохо, но, если надо умереть хорошо, я сделаю для вас и это.

— Зачем умирать? — тихо произнесла она.— Надо жить, но другим и по-другому.

— Мне опостылело прошлое, и я с радостью пойду с вами на все, что угодно.

— Верю. А теперь сядьте возле меня и слушайте, вни-

мательио слушайте то, что я вам скажу. Вы зиаете, Женя, кто я?

— Догадываюсь. Вы большевичка, красиая, и вам, вернее, вашим товарищам, иужны какие-то бумаги из сейфа Артифексова.

Мы говорили тихо, еле слышным шепотом.

— Да, я коммуиистка. И мне поручено достать секретные документы.

Она ясным и доверчивым взглядом смотрела мне в глаза.

— Я ие скрою иичего от вас, Женя, выслушайте меня. Я училась в Тифлисе, в заведеиии святой Ниииы, вместе со миой училась и дочь геиерала Шатилова, в то время бывшего помощником Воронцова-Дашкова — иаместника на Кавказе. Генерал был крут с подчиненными, но мягок со своей едииственной дочерью Вероникой, с которой я очень дружила. Мы с детских лет находились вместе, я довольно часто бывала по воскресеньям и праздникам у Шатиловых. Мой отец, полковник Кантемир, в юнкерские годы дружил с Шатиловым, и эта дружба между ними продолжалась до самой смерти отца. Мне было десять лет, когда умер отец, и меня определили в институт иа казениую стипендию в Тифлисе. Это сделал Шатилов в память моего отца. Мама жила в России, и я стала своим человеком в семье Вероники.

Окончив заведение святой Нины, Вероника осталась с родителями в Тифлисе, а я уехала к маме и сестре. Жили мы бедио, иа маленькую отцовскую пенсию. Потом я поступила иа Бестужевские курсы. Три года среди революционной молодежи, встречи с рабочими, иародный дом, студенты, иелегальная литература — все это не могло ие захватить меия. Началась мировая война, начались митииги против войны. Я симпатизировала большевикам. А войиа все затягивалась и расширялась. Острей шла революциониая борьба. В шестнадцатом году я стала члеиом большевистской партии, ио, как дворянка, связанная по отцу с военными кругами, легально, открыто не работала иигде. Меия берегли для будущего... И вот в семнадцатом году мне было приказано в качество бежеики уехать в Ростов. Здесь я встретила Веронику и ее отца. Ни оиа, ии Шатилов не подозревали, что я большевичка.

Вероника ввела меня в круг донских и добровольческих высокопоставленных военных. Это и было моей задачей. Я пробыла там весь деникинский период. В девятнадцатом году Вероника вышла замуж за итальянского дельца, богатого и родовитого человека, и уехала с ним в Италию, а я отступила в Крым вместе с белой знатью. Здесь Шатилов был вторым лицом после Врангеля, и это еще больше укрепило мое положение.

Вероника в письмах к отцу, а иногда и ко мне справлялась о моей жизни и делах. Все, что я должна была выполнять, делалось по возможности быстро и точно. Последнее задание — пакет, который я прошу вас добыть из несгораемого шкафа Артифексова. Теперь, Женя, вы знаете обо мне все.

Наступила тишина. Мы оба молчали. Хотя Анна Александровна внешне была спокойна, я чувствовал, что она взволнована.

— Но почему вы поверили мне? Ведь я всего-навсего жулик,— еле слышно прошептал я.

— Я уже говорила вам об этом. Вы хотите быть с нами?

— С вами? Всю жизнь!

Анна Александровна поняла, конечно, мою горячность, но не подала виду.

— Тогда надо действовать. Медлить нельзя, тем более что документы через день-два будут переданы на яхту «Лукулл».

— Врангелю?

Она кивнула головой и, что-то обдумывая, долго молчала.

— Завтра,— наконец сказала она,— надо завтра. Вы не боитесь?

Я покачал головой.

— Этот несгораемый ящик — пустяк. Открыть его ничего не стоит. Но что я должен взять?

— Там пакет в зеленой обложке, небольшой, похож на дневник. Он невелик, легко спрятать в кармане, перевязан двумя шнурками крест-накрест. Хотите знать, что в пакете?

— Зачем мне это? — равнодушно ответил я.

Она, видимо, осталась довольна моим ответом.

— Что-инбудь еще нужно взять нз сейфа?

Аниа Александровиа резко повернула голову и быстро спросила:

— Деньги? Вы говорнте о них?

У меня пересохло в горле от обнды.

— Анна! — горько воскликнул я.

— Простнте. Я сказала не подумав...

Мы опять сталн такнмн же «мужем» н «женой», как и раньше. Вели общнй, ннчего не значащий разговор, были в кафе «Ночная роза», потом долго гулялн и поздно, часов около двух ночн, вернулнсь в отель.

Утром, после завтрака, мы вышлн в город. Стамбул уже проснулся. Его улнцы заполнилн турчанки с полуприкрытыми лнцамн, попрошайкн, дервншн, гадальщнцы иа картах, греки н турки, шумно нгравшне в нарды.

— Анна, на операцию я пойду через час. Где мы встретнмся после иее?

— На углу Гран рю де Пера, возле кафе «Токатлиана», есть небольшой кинотеатр. Через час я буду ждать вас в его фойе.

— Еслн через трн часа мы не встретнмся на условлеином месте, иемедлению уезжайте отсюда: если меня схватят, непременно задержат н вас, ведь мы — муж н жена.

— Вы ие уверены в успехе?

— Уверен абсолютио, но для иеуспеха всегда найдется одни-два шанса нз ста...

Она кнвнула головой.

— Берегнте себя... Мне будет тяжело, еслн...

— Спаснбо!

Мы молча пожали друг другу руки н разошлнсь в разные стороны.

Я вошел в здаине бывшего русского посольства. Как н вчера, все уголкн двора, скамьн у сада, ступенн лестницы и подъезд были забиты бежеицами. Но сегодня их было еще больше.

Я пробрался через толпу, поднялся в бельэтаж н молча показал свой пропуск офнцеру с трехцветной повяз-

кой на рукаве. Усталыми, мутными глазами он пробежал по нему и хрипло сказал:

— Прошу вас.

Видимо, он провел бессонную ночь в борьбе с толпами беженцев, осаждавших вход в главную канцелярию.

В коридоре я увидел мрачного на вид генерала с бородкой и черными усами. Это был Кутепов, один из наиболее влиятельных врангелевских военачальников. Он даже не взглянул в мою сторону. Мимо меня прошел высокий, худощавый офицер, неестественно крививший рот.

— Вы не знаете, генерал Артифексов дома? — обратился он к одному из бесцельно бродивших по коридору людей.

— Кажется, нет,— вяло ответил тот.

— Он только что вместе с генералом Кутеповым спустился по лестнице,— уточнил другой.

Офицер быстро пошел в указанном направлении. Я повернул за ним, понимая, что юнкер-часовой несмотря на мой пропуск вряд ли пропустит меня в квартиру. Ведь ни Кутепова, ни Артифексова не было дома. Следовало что-то придумать. Я открыл дверь в большую, похожую на залу комнату. Вдруг один за другим раздались три револьверных выстрела. Я увидел, как офицер, разговаривавший с Кутеповым, покачнулся и рухнул на пол.

В противоположную дверь пробежал высокий офицер, только что спрашивавший генерала. У самого выхода он еще раз выстрелил, но уже в воздух и исчез за дверью.

«Сейчас или никогда! Потом будет поздно»,— пронзила меня мысль.

Я бегом бросился к квартире Артифексова. Тот же самый румяномордый глуповатый юнкер стоял на часах, выпученными глазами глядя на меня.

— Скорей на помощь генералу! — крикнул я, толкнув растерявшегося часового в спину. Внизу раздался еще один гулкий выстрел.— Не медлите!.. Вы же с винтовкой! Я заменю вас!

Юнкер, подхватив винтовку, опрометью бросился по коридору. Мгновенно я вбежал в комнату. Здесь не было никого... Я захлопнул дверь. В минуту я открыл набор-

ной отмычкой несгораемый ящик. Это не представляло труда даже для самого захудалого взломщика. Слева лежал пакет в зеленой обертке, прошнурованный и опечатанный по краям. Справа — какие-то бумаги, золотые часы, кольца, тугие пачки николаевских денег. Я запер сейф, положил зеленый пакет в карман и спокойно вышел в коридор. Юнкера-часового все не было. Со всех сторон неслись крики. Кто-то громко плакал. Шум нарастал. Надо было уходить.

— Убили... Высокий такой! Капитан, кажется... Он вниз побежал... Во дворе, во дворе ищите! — вразнобой слышались голоса.

Я подошел к кучке военных, поднимавших с полу какого-то полковника.

— Этот негодяй намеревался убить Кутепова... и Артифексова,— возбужденно сказал один из военных.— Но в суматохе попал в этого ни в чем не повинного старого офицера.

Мне уже нечего было здесь делать, и я поспешил на Гран рю де Пера.

Я нащупал пакет, лежавший в моем кармане, и, подозвав арабаджи[1], поехал на условленное место.

В фойе кинотеатра я сразу же увидел Анну Александровну.

— Все хорошо? — спросила она.

— Да. Пакет у меня в кармане. Мне помог неожиданый случай.— И я рассказал ей о драматической истории, происшедшей в посольстве.

— Женя, пойдемте сейчас в Галату, мне нужно кое-что купить,— неожиданно предложила она.

— Пожалуйста,— сказал я, отлично понимая, что ей сейчас не до покупок.

В Галате к нам подошел отлично одетый человек в желтых очках.

— Познакомьтесь! Это мой муж, барон Думитреску, а это господин Джанелли,— по-французски сказала Анна Александровна.

Одного взгляда было достаточно, чтобы узнать в господине Джанелли того самого артиллерийского офи-

---

[1] Арабаджи — извозчик *(турецк.)*.

цера, с которым я познакомился на квартире Анны Александровны в Крыму.

Мы погуляли по набережной, зашли в синема «Оттоман», посмотрели веселую и глупую комедию с Монти Бенксом. Во время сеанса я передал «господину Джанелли» зеленый сверток. Он крепко пожал мне в темноте руку. Когда сеанс окончился, его уже не было с нами, Анна Александровна взяла меня под руку, и мы вышли из синема.

— Поедем домой,— сказала Анна Александровна.— Я не брала своего чемодана. Зачем это делать... Я уничтожила два-три письма, записку — и только. Ведь если бы вы, не дай бог, попались, я просто не вернулась бы домой.

Я кивнул головой, и мы тихо пошли по берегу. Десятки лодочников — каюкчи — бросились нам навстречу. Их лодки, желтые, малиновые, красные, разноцветные, с флажками на носу, мерно покачивались на воде. Лодочники обступили нас, шумно зазывая каждый в свою лодку, по-гречески, турецки, на ломаном французском языке расхваливая свой «корабль».

— Покатаемся, Женя,— предложила Анна Александровна.

Черноглазый турок в выцветшей феске сильными взмахами весел вывел свою лодку далеко от берега. Стамбул пылал в переливах радужных огней, в сверкании мечетей и дворцов. Шумы города стихали с каждым ударом весел. Зеленая вода плескалась за бортом. От воды пахло водорослями. Катера, баркасы, каюки, моторки, шаланды, пароходы, яхты — все это двигалось, качалось, плыло по Босфору.

Анна Александровна молча сидела возле меня.

Я достал из кармана «рак», три отмычки с движущимися бородками, маленькую ручную дрель с нитроглицериновой прокладкой. Турок-лодочник сидел спиной к нам, усердно греб, что-то напевая себе под нос.

Анна Александровна смотрела на меня. Я опустил за борт все мои инструменты. Последним пошел на дно знаменитый «рак», сделанный в Брюсселе покойным Лебланом... Потом я посмотрел на нее и улыбнулся.

Мы молча дошли до отеля. По этому молчанию, по

задумчивому лицу Анны, по взглядам, которые она искоса бросала на меня, я понимал, что она все время думает обо мне. У самого подъезда она взяла меня под руку:

— Пройдем чуточку дальше... Посидим в сквере.

Мы сели на одинокую скамейку в боковой пустынной аллее.

— Женя, что вы думаете делать дальше? — спросила она.

— Все, что надо вам, Анна.

— Что надо нам, вы сделали, и за это огромное спасибо. Вы даже и не подозреваете, какое это большое дело...— она остановилась,— для родины, для народа и...

— И для вас, Анна. Не будь вас, я...

— Зачем вы так, Женя!..

Она крепко, по-дружески пожала мне руку.

— Я завтра уезжаю,— вдруг сказала она.

Я отодвинулся от нее.

— А... я?

— Решайте сами, Женя... Вы знаете, куда я еду?

— Знаю. В Россию. В Советскую Россию.

— Как я счастлива, что наконец еду на родину! Ведь я почти два года не видела ни мужа, ни дочки!

— Какой дочки?

— Моей,— ответила Анна.

По-видимому, лицо мое было настолько растерянным и глупым, что она тихо, с сожалением, сказала:

— Это моя вина, Женя, что я не говорила вам об этом раньше... Не было необходимости. А теперь...

Мы молча сидели рядом.

— Да, я замужем почти пять лет. У меня дочка. Муж мой моряк-балтиец. Я должна была рассказать вам об этом раньше...

Опять наступило молчание.

— А вы знаете, что было в этом пакете? — спросила Анна.

— Нет. Я не интересовался содержимым. Вы просили достать пакет. Я это сделал.

— Вы сделали очень большое для нас дело, Женя, и об этом уже сообщено в Москву. Знайте, что ваша помощь нами никогда не будет забыта. Когда бы вы ни захотели вернуться в Россию, теперь или позже...

Я равнодушно пожал плечами.

— Забудем об этом, Анна... Все это делалось для вас....

— Я знаю,— перебила она меня.— Но, право, Женя, я не виновата перед вами. Не сердитесь...

— Я не сержусь на вас, Анна...— уныло ответил я.— Не будем больше говорить об этом. Я провожу вас на пароход, а сам уеду на несколько дней в Адрианополь. Так будет лучше. Когда я вернусь в Стамбул, никто обо мне и не вспомнит.

— Значит... остаетесь?

— Да. Румынский барон Думитреску еще поживет в Стамбуле некоторое время.

— Я дам вам мой московский адрес,— тихо сказала Анна.— Если вздумаете приехать — телеграфируйте.

Мы расплатились с хозяином гостиницы, но номер оставили за собой. Чемодан с разными ненужными вещами мы оставили в номере, предупредив портье о том, что вернемся через два-три дня.

— Далеко едете, господа? — учтиво осведомился хозяин отеля, провожавший нас до такси.

— В Адрианополь. Кое-какие дела! — ответил я.

Мы поехали к Южной пристани, но на повороте к площади султана Селима и авеню Фоша я приказал шоферу подвезти нас к четвертой пристани, в район базара Османие.

Греческий часовой равнодушно кивнул головой, даже не читая наши бумаги, турецкий полицейский комиссар угодливо показал на пароход, а толстенький французский сержант, наблюдавший за посадкой, небрежно взглянул на документы и, не сводя восхищенного взора с Анны Александровны, отметил что-то на пропуске.

— Про-шу, господа! — пригласил сержант. От него сильно пахло спиртным. Он был благодушен и миролюбив.

Матрос-носильщик взял чемоданы.

Сняв шляпу, я молча поцеловал руку Анны.

— Пишите мне, Женя,— тихо сказала Анна.— Я буду ждать ваших писем.

Я наклонил голову и, быстро повернувшись, пошел прочь.

Мне было тяжело, и я в тот же день уехал в Адрианополь.

Наступило молчание.

— Так и покоится на дне Босфора ваш знаменитый брюссельский набор фирмы Леблана? — поинтересовался Савин.

Базилевский молча кивнул головой.

— А не жаль вам было после отъезда Анны Александровны этого уникального набора? — спросил Конов.

Старик еле заметно улыбнулся.

— Жаль, конечно. Тем более что год спустя мне пришлось заказать в том же Брюсселе новый, сделанный по моим чертежам, но уже на шестнадцать фунтов стерлингов дороже первого. Новая техника, другая конструкция...— Он добродушно улыбнулся.— Теперь вы понимаете, почему я ни разу не съездил в Москву в качестве иностранного туриста и ничего не писал Анне Александровне? Я был не в силах рассказать ей об этом, а соврать, написать неправду — не мог...

Базилевский отпил глоток кианти и продолжал:

— Годы шли, я старел. Свое ремесло я оставил уже в сороковых годах, да и в душе моей, несомненно, произошел какой-то перелом... после встречи с Анной. Сейчас я рантье, у меня текущий счет... А в душе навсегда сохранились лишь севастопольские дни двадцатого года и — ничего больше. Через месяц я на итальянском пароходе «Кавур» еду в качестве туриста по Черному морю. Буду и в Севастополе. Только из-за этого я и взял каюту на «Кавуре». Мы простоим там почти день, я сойду на берег, похожу по его улицам, подышу его воздухом, вспомню все то, что было со мной в двадцатом году. Встанут полузабытые тени смешных моих «интеллигентов», возникнут из небытия толстый Попандопуло, забавный Рабинович-Шуйский, глупая хозяйка-капитанша... звериные, хищные фигуры Татищева, Голоскухина, Токарского...

Поеду в Бельбек, побываю у Мекензиевых высот, остановлюсь возле дома, где жила Анна...

Все это воскресит во мне и ушедшую молодость, и неразделенную любовь, и все то доброе и хорошее, что дала мне встреча с Анной... А теперь, друзья, и вам, и мне пора! — Старик встал, подозвал метрдотеля.— Вы мои гости, и я прошу разрешения быть хозяином нашей встречи.

Все четверо молча дошли до пристани, где по-прежнему суетился народ, гремели лебедки, сновали матросы, раздавались громкие крики турецких и греческих продавцов.

— Счастливого вам пути, мои молодые друзья! — сказал Базилевский, приподняв шляпу, помахал ею и тотчас затерялся в шумной, разноязычной толпе.



ГРАДОНАЧАЛЬНИК

Повесть

Часовые, стоявшие перед входом в атаманский дворец в Новочеркасске, сделали на караул, отдавая честь подкатившему к парадному подъезду автомобилю, на радиаторе которого трепыхался маленький трехцветный российский флаг. Сидевший рядом с шофером казак соскочил с сиденья и, обежав машину, откинул дверцу. Покряхтывая, из машины выбрался пожилой казачий полковник.

Откинув голову назад, он сумрачно провел ладонью по длинным пушистым усам и, выпячивая ватную, наставленную портным грудь, деланно бодрым шагом подошел к застывшим часовым. Из-под лихо сбитой набок фуражки выбился чуб...

Полковник резко остановился и неестественно громко, как бы самому себе, сказал:

— Не отпущена... не отпущена, братец, шашка... Два наряда не в очередь за фантазии... д-да...— И, поворачиваясь к другому, смуглому, с цыганским лицом, часовому, продолжал бормотать под нос: — Все ладно... по форме... и шашка остра...— И, внезапно умиляясь, слезливо закончил, кладя перед часовым трехрублевую бумажку: — Возьми... молодчина... платовец, когда сменишься... Чудо-богатырь... родной...

Вытирая неслезящиеся глаза, полковник быстро вошел в парадную дверь. Часовые словно застыли на месте,

не сводя друг с друга напряженных, по-солдатски бессмысленных лиц. Зеленая трехрублевая бумажка лежала у ноги чернявого казака.

Петр Николаевич Краснов, донской войсковой атаман, был зол. Стоя у окна, он в сотый раз перебирал в уме события последних дней, так неожиданно перевернувшие все его дела и испортившие ему настроение. И, как всегда это бывает, важные и большие дела мешались с мелкими и незначительными. Атаман чувствовал, что эти мелкие дела, такие чепуховые и простые, сейчас занимают его не меньше, чем отступление казаков из-под Царицына или бесконечная дипломатия союзников-немцев, так и не убирающих своих войск со станций железных дорог. «А затем этот нелепый приезд Эрдели?.. Зачем он нужен? Ни я, ни войска, наконец, ни казачество, вместе с войсковым кругом, не пойдут в подчинение Деникину. Пусть он воюет себе на Кубани и очищает ее от большевиков, но Дон был и будет самостоятелен». Атаман сжал кулак и грозно огляделся... Портрет Платова — сухого и поджарого — хитро смотрел узкими, татарскими глазами на него. «Да... этому не бывать!» — еще раз решил генерал и окончательно рассердился, внезапно вспомнив о том, что войсковой старшина Широков, которого устроила супруга генерала в градоначальники Ростова и Нахичевани, проворовался и вчера на заседании малого войскового круга ненавистные генералу либералишки из докторов, семинаристов и студентов, словом, дрянь... не казаки, а штафирки, с фактами в руках уличили его ставленника в некрасивых делах. Генерал пожимал плечами. «Я уважаю круг и казачьи свободы. Я сам демократ. Но зачем же эти гнусные интриги? Ведь Широков боевой офицер, старый донец...»

«Брал взятки»,— вспомнил атаман фразу одного из обличителей. «Дур-рак! Ну и что же? Брал, но ведь он жил и не мешал другим. Однако надо снять... все-таки уличенный вор...» Генерал из бокового кармана вынул сложенный вчетверо лист — рапорт градоначальника войскового старшины Широкова, в котором тот по «расстроенному здоровью» просил освободить его от должности и перевести в резерв по войску.

Генерал вновь перечитал рапорт и спросил себя: «Но кого же? Кого? Здесь, на этом месте, в такое трудное и полное соблазнов время должен быть исключительно честный, неподкупный и боевой офицер...» Он пожал плечами, не находя такого. В это время у парадного остановилась машина и из нее медленно вылез длинноусый полковник... Глаза генерала оживились; прильнув к запотевшему стеклу, он с живостью глядел на полковника, что-то с укоризной говорившего одному из часовых. Скука и злость разом слетели с лица атамана. Он довольно улыбнулся, подошел к столу и синим карандашом поставил на рапорте резолюцию: «Принимая во внимание причины,— освободить. Градоначальником Ростова и Нахичевани назначить полковника Грекова. Атаман Всевеликого Войска Донского *П. Краснов*»,— после чего облегченно вздохнул и обернулся, чтобы встретить полковника.

— Экстренный выпуск газеты «Приазовский край»!.. «Назначение нового градоначальника»!.. «Первый приказ градоначальника»!.. «Обя-за-тельное постановление»!..— рассыпавшись по улице и размахивая пахнущими краской листами, кричали газетчики.

Угрюмые неразговорчивые будари расклеивали полусложенные листы, с которых весело глядел на улицу лихой казачий полковник со свисавшими на грудь усами. Толпы любопытных росли. Газеты быстро разбирались, и даже безразличные ко всему извозчики уныло, по складам читали первый приказ бравого градоначальника Ростова и Нахичевани на Дону.

«Сего 14-го сентября 1918 года я, полковник Митрофан Петрович Греков, приказом войскового атамана Всевеликого Войска Донского назначен градоначальником Ростова и Нахичевани... Очень приятно. Я рад познакомиться с господами горожанами, мастеровыми и крестьянами вверенных мне городов... Повторяю, да, приятно. Я человек русский, донской казак, а значит, христианин и православный, с которым каждый из вас, независимо от чина, сословия и положения, может иметь дело. Пожалуйста. Приди ко мне, в градоначальство,— мир, лад да совет, а если попал в беду, и помощь окажут

тебе. Одного прошу — правды. Без нее ко мне предлагаю не ходить. Бесполезно. Я старый донской казак, меня не проведешь, сквозь землю вижу. И пройдохам и спекулянтам та́к и советую: не ходить. Бесполезно. А то еще и беду наживете. А честным людям, любящим матушку-Россию, порядок и покой,— милости просим. Дом градоначальника всегда открыт.

Градоначальник г. Ростова и Нахичевани на Дону

полковник *Греков*».

— Здорово, юнкер!

— Здравия желаю, господин полковник! — вытянувшись во фронт перед градоначальником, выпалил остановленный им юнкер.

— Не так!.. Плохо!.. Не умеешь, братец, отвечать начальству...— Греков неодобрительно покачал головой и с удовольствием оглядел собирающуюся вокруг толпу.— Плохо... Разве так отвечают?.. Что значит «господин полковник»? Господин — это купец, адвокат, приказчик... А полковнику русской армии и своему градоначальнику юнкер должен отвечать по-военному, так, как установлено еще Военной кригс-виктор-коллегией, по статутам и правилам, указанным блаженной памяти в бозе усопшим государем императором Петром Первым Алексеевичем...

Толпа все росла, с комическим почтением слушая красноречивого полковника.

— А в уставе том...— градоначальник тут поднял над головой палец, и все следом за ним подняли головы,— сказано: нижние чины, в том числе юнкера и вольноопределяющиеся, своему начальству говорят не «господин», а...— пухлый полковничий палец заходил перед носом испуганного юнкера,— а «ваше высокоблагородие». Повторите! — вдруг рявкнул градоначальник.

Восхищенно глядевшие на него мальчишки перепугались и брызнули в толпу, передние ряды слегка отодвинулись и поредели. Остановивший пролетку и наблюдавший за разносом извозчик внезапно сорвал с головы шапку и машинально повторил:

— Ваше высокоблагородие.

Юнкер, весь напрягаясь, крикнул:

— Ваше высокоблагородие!

Греков тускло поглядел иа иего и, отвернувшись, сказал:

— Феидриков ие потерплю... Извольте возвратиться в училище и доложить ротиому комаидиру...— И, проходя сквозь раздвииувшуюся, затаившую дыхание толпу, ои горестио сказал: — Не юнкер, а какой-то Керенский.

— Вот это да... фииьшампаиь иастоящий...— подхватил извозчик и уставился взглядом в широкую спину уходившего полковиика.

Представитель иемецких войск при донском атамаие майор Пилар фои Пильхау официальным письмом сообщил господиику градоиачальнику городов Ростова и Нахичеваии, что геиерал фои Дамаи, иаправляясь в город Новочеркасск для переговоров с доиским атамаиом, два дия задержится в Ростове. Ввиду этого атамаи предписал своему градоиачальнику приготовить помещеиие для высокого гостя и в короткий срок привести в «европейский» вид улицы Ростова.

Двадцать седьмого сентября официальиый оргаи градоначальства «Приазовский край» вышел с экстреииым приказом следующего содержаиия:

«Несмотря иа все мои и раиее бывшего градоиачальиика распоряжения, города Ростов и Нахичеваиь грязиы. Стыд и позор. Пыли в городе больше, чем в степи. Поэтому я выиуждеи лично взяться за очистку города от грязи, пыли и иавоза. Для иачала беру 2-й участок и сделаю из него ие участок, а коифетку. Остальным участкам посмотреть и немедлеино сделать то же. В помощь полиции мобилизую пожариых и всех арестоваииых по участкам пьяииц, воров, бродяг и праздношатающихся. Уклоиившихся или лодырей лично вымою так, что иебо с овчиику покажется.

Градоиачальник полковиик *Греков*».

На следующий деиь колоииа людей, вооружеииых метлами и лопатами, атаковала второй участок. С толстою клюкою в руке среди работающих медленно прохаживался градоиачальиик, недоверчиво оглядывая старавшихся людей.

— Но-но! Как метешь, ка-ак метешь, лентяй, иродова твоя душа, Мамай бесхвостый! — остановился полковник возле старательно подметавшего навоз дворника, и, вырвав метлу, градоначальник энергично завозил ею по земле, разбрасывая в стороны слежавшийся конский помет.

Работающие остановились, учась делу у бравого начальства.

— Видал, как? — сказал полковник одеревенело уставившемуся на него дворнику.— Учить вас надо, олухов.— И, бросив на землю измазанную метлу, кинул шедшим сзади ординарцам: — Посадить его в холодную на сутки, а хозяина дома оштрафовать...

Подметальщики, лукаво перемигивавшиеся между собой, мгновенно схватились за метлы, и пыль завесой поднялась над домами.

Митрофан Петрович считался старым лошадником и в бытность свою субалтерном в одиннадцатом Донском полку имел двух строевых и одну скаковую лошадь, на которой обычно и брал дивизионные призы. Это было давно... Годы утомили полковника, но страсть к коням не утихла и поныне. Каждое утро новый градоначальник Ростова и Нахичевани просыпался в пять часов, обливался из ведра холодной водой и, хватив чепурку цимлянского вина, заедал ее куском круто посоленного черного хлеба, после чего, взобравшись на коня, делал утреннюю поездку, сопровождаемый шестью казаками и дежурным офицером. В это утро с ним стремя в стремя ехал войсковой старшина, осетин Казбулат Икаев, с недавних пор ближайший друг и поверенный градоначальника. Поодаль маячили вооруженные казаки, чуть рысившие за шедшими крупным проездом конями офицеров. Ростов остался позади. Солнце поднималось, обливая лучами сонные поля...

Подбоченясь в седле и слегка повернувшись к соседу, Греков увлекательно рассказывал напряженно слушавшему его Икаеву.

— Да-а... умеючи, дорогой, и на дерьме наживешься... Только надо ум иметь густой и сочный... Я, знаете ли, батенька мой, много видел случаев в жизни, когда

умный, не растерявшийся в соответствующей обстановке человек очень легко становился обладателем больших денег,— поглаживая усы, сказал Греков.

— Был бы случай, а умные люди найдутся,— многозначительно ответил Икаев.

— А вы слушайте, вникайте в суть... пригодится. Вот хотя бы и такой,— делая вид, будто не слышит спутника, продолжал Греков.— В Тарнополе в семнадцатом году, когда отступление великое началось, гарнизонный интендант и начальник местного казначейства составили акт о том, что немецкие аэропланы банк вместе со всеми деньгами сожгли, а в банк даже ни одна бомба не попала.

— Дальновидные люди,— похвалил Икаев.

Греков усмехнулся и продолжал:

— Подписями акт скрепили, печать приставили, свидетелей нашли... Все по форме, а денежки, конечно, поделили.— Греков перегнулся с седла к самому плечу жадно слушавшего его Икаева.— Миллионов, я думаю, пять уперли... Конечно, и начальство не забыли. Корпусному командиру отвалили, говорят, полмиллиона...

— Правильно, умно сделали,— вставил Икаев.

— Вы считаете, что правильно? — останавливая коня и глядя в глаза войсковому старшине, спросил Греков.

— Натурально! Первый и самый лакомый кусок — начальству... Митрофан Петрович,— улыбаясь одними глазами, почтительно ответил Икаев.

— Умные речи приятно и слушать,— пожимая руку, с чувством сказал Греков.

Из-под самых копыт грековской кобылы выпрыгнул мирно спавший в лунке огромный заяц, большими скачками запрыгавший по скошенному жнитву. Лошадь прянула в сторону, и полковник, едва усидевший в седле, молча поглядел вслед убегавшему зайцу, меланхолически вынул из кармашка часы. Ехавшие сзади казаки нагнали офицеров и почтительно придержали лошадей.

— Без четверти шесть...— печально сказал градоначальник, покачивая головой, и, внезапно багровея, возмущенно продолжал: — Безобразие! Полковник русской армии и градоначальник города Ростова Митрофан Петрович Греков встает в пять часов утра, а паршивый, без-

домный заяц прохлаждается до шести. А иу, братцы, наказать!

Все шестеро казаков, гикнув, сорвались с мест и через минуту бешено кружились по полю, настигая зайца. Офицеры, закурив папиросы, продолжали прерванный появлением зверюшки разговор.

На следующий день после этой беседы войсковой старшина Икаев приказом по Донской армии был назначен исполняющим должность штаб-офицера по особым делам при господине градоначальнике городов Ростова и Нахичевани с одновременным назначением на должность начальника карательного отряда. Приказ заканчивался следующими словамн: «Для искоренения уголовных и политических бандитов, свивших себе гиезда в пределах Ростова, и для ликвидации большевистской пропаганды среди населения приказываю сформировать Особый карательный отряд, действующий в черте градоначальства по законам военного времени. Начальником этого отряда назначаю войскового старшину Икаева, коему и поручаю формирование отряда».

По городу замелькали конные и пешие фигуры горцев в длинных черкесках, обвешанных разнообразным оружием. Каждый день с юга, из Осетии и Чечни, приезжали родичи и знакомые Икаева. Абреки и кровники, бежавшие в леса, прослышав о наборе в икаевский отряд, толпами устремились на Дон. Отказа в приеме не было. Через десять дней войсковой старшина Икаев явился к градоначальнику и доложил:

— Первый карательный отряд для борьбы с бандитизмом и большевиками готов. Дивизион горцев насчитывает двести семьдесят пять шашек и шесть пулеметов... Прикажете начать службу?

Градоначальник обнял исполнительного офицера и, целуя его трижды в лоб, растроганно сказал:

— Не забывайте, дорогой, тарнопольскую историю, которую я вам рассказывал.

Икаев так четко и уверенно откозырял градоначальнику на эти слова, что двое репортеров, «Приазовского края» и «Вечерних новостей», находившиеся в кабинете, хотя и ие поняли градоначальника, но решительно внесли эти слова в свой отчет о церемонии. И только меланхолический немецкий обер-лейтенант, также сидевший у

градоначальника, автоматическн впнсал в свой дневник следующие слова: «Вид этих ужасных дикарей в своих странных одеяниях должен внушить несчастным горожанам города Ростова больше страха за свою жизнь, чем воображаемые бандиты, от которых должны эти люди оберегать их...» Но слова союзного Краснову лейтенанта не получили тогда гласности. Через месяц обер-лейтенант был убит кавалеристамн Сиверса под Ясиноватой, а его дневник спустя много лет попал в Истпарт.

Большой Ростовский театр был ярко освещен. Сверкающие лампочкн прнчудлнво сплетались в гигантское огненное слово «Кармен», потом гасли н снова загорались, освещая сновавшую у подъезда толпу и линию подъезжавших фаэтонов н автомобилей. Саженные афиши, у которых толпилнсь людн, чернели огромной надпнсью: «Раевская в роли Кармен». Портреты Раевской былн выставлены у театра. Аншлаг давно уже красовался над окошечком кассира, но люди тщетно стучали в окно, надеясь достать хотя бы один завалявшийся бнлет. Театр был переполнен, все приставные стулья и ложа днрекцнн былн заполнены зрнтелямн.

В половине первого акта дверь губернаторской ложн приоткрылась н в нее вошли градоначальник, донской есаул, войсковой старшнна Икаев н двое горцев с маузерами — телохранителн нз лнчного конвоя Икаева. Занятая игрою актеров, музыкой и пеннем Раевской, публика не заметнла прнхода градоначальника, и только юркий антрепренер труппы Кузнецов моментально прислал в ложу цветы и пытался было пронннкнуть к начальству, но суровые горцы не допустнли его, многозначительно показав на маузеры.

Когда через полчаса под оглушительные аплодисменты и крики публнкн опустнлся занавес и счастливая Раевская разнеженно кланялась у рампы, антрепренер Кузнецов с удивлением увидел, что ложа градоначальника была пуста. Движимый страхом, антрепренер мелкой рысцой, насколько ему позволяло его брюшко, пробежал из-за кулис к ложам. Осторожно просовывая сквозь портьеру стрнженую голову, он оглядел ложу... В ней никого не было.

Утром, около девяти часов, в дверь номера, занимаемого антрепренером, постучали. Кузнецов в голубой пижаме и черных полосатых брюках сидел за чаем, обсуждая со своим администратором Смирновым странное неудовольствие градоначальника. Услыша стук, администратор открыл дверь. В дверях стоял урядник с двумя казаками.

Сердце Кузнецова екнуло. Сдерживая страх, он любезно спросил:

— Вы к кому это, братцы?

Урядник, напирая грудью на администратора, осведомился:

— Ты, что ли, будешь Кузнецов?

Администратор попятился и молча указал на антрепренера.

— Собирайся,— сумрачно сказал урядник.

Казаки встали с обеих сторон Кузнецова.

— К-куда?

— К градоначальнику.

— П-позвольте одеться... Я совсем по-домашнему,— пытаясь улыбнуться, проговорил антрепренер, кидаясь к шкафу.

— Приказано в чем есть. Веди его, ребята,— скомандовал урядник и вышел за арестованным в коридор.

На пороге он оглянулся на застывшего в углу Смирнова и, погрозив ему кулаком, коротко сказал:

— Прокураты, мать вашу так!

До одиннадцати часов перепуганного Кузнецова держали в коридоре возле приемной Грекова. Десятки офицеров проходили по приемной мимо Кузнецова, лихорадочно перебиравшего в голове все свои вины и прегрешения. Но ничего преступного он так и не нашел за собой.

«Донос! Несомненно, донос! Но о чем?» — ломал голову недоумевающий антрепренер.

Наконец из дверей выглянул щеголеватый хорунжий.

— Это вы, господин Кузнецов?

— Так точно-с! — вскакивая с места, по-солдатски гаркнул антрепренер.

Конвойные казаки ухмыльнулись.

— К градоначальнику! — коротко сказал адъютант.

Рядом с Грековым сидел смуглый, черноусый полков-

ник, в черкеске, с кинжалом и с золочеными газырями на груди. Кузнецов еще издали поклонился обоим, но сидевшие и не подумали отвечать ему.

Греков пожевал сухими губами, ладонью провел по усам и неожиданно спросил:

— Крещеный?

— Так точно, ваше превосходительство,— закивал головой Кузнецов.

— Не ври, не превосходительство, а полковник. Покажи крест.

Антрепренер судорожно расстегнул пижаму, отдернул рубашку. Увы, креста не было. Он перевел на Грекова умоляющие, испуганные глаза.

— Видит бог, был... был-с крестик. Это я его вчера, наверное, раздеваясь, на столике оставил.

— Опять брехня. Русский, православный человек не может оставаться без креста ни минутки. Не так ли, Казбулат Мисостович?

— Совэр-шэнно вэрно! — с сильным акцентом подтвердил войсковой старшина и похлопал пальцем по кобуре нагана.

— Стихи наизусть знаешь? — неожиданно спросил Греков.

— Какие... стихи? — опешил антрепренер.

— «Какие»? — поджимая губы, передразнил Греков.— Всякие!

— Так точно, знаю.

— А ну, прочти,— приказал Греков.

Кузнецов растерянно задрал голову и стал нараспев читать первые пришедшие в голову стихи:

Скажи мне, ветка Палестины...

При слове «Палестины» градоначальник поднял голову и подозрительно вгляделся в антрепренера.

Где ты росла, где ты цвела,
Каких холмов, какой долины...

— Хватит! — остановил его Греков.— Чьи стихи?

— Михаила Юрьевича Лермонтова,— почтительно доложил Кузнецов.

— Плохой поэт... Против царей писал и всего-то дослужился до поручика,— сказал Греков и продекламиро-

вал, размахивая пальцем перед носом обомлевшего антрепренера:

О воин, службою живущий,
Читай устав на сон грядущий
И паки, ото сна восстав,
Читай усиленно устав...

— Вот это стихи! Наш казначей, сотник Перисада, в пьяном виде сочинил... «Верую» знаете? — переходя на «вы», спросил градоначальник.

— Так точно, знаю... и «Богородицу», и «Отче наш», и молитву перед учением знаю...— припоминая забытые еще с детства молитвы, сказал Кузнецов.

— Из жидов? — осведомился Греков.

— Никак нет. Сын купца второй гильдии города Тамбова, Сергей Андронович Кузнецов.

— А почему в таком случае, малоуважаемый и полупочтенный Сергей Андронович, вы осмеливаетесь в столице Всевеликого Донского православного казачьего войска ставить отвратительную большевистскую оперу? — поднимаясь с места и перегибаясь через стол, спросил Греков.

— Как-кую оперу? — растерялся антрепренер. Он мог допустить все, что угодно, но такое обвинение...— Головою отвечаю за свой репертуар, господин полковник, оперы все старые, императорских театров... В присутствии высочайших особ ставились! Поклеп это, просто наврали вам на меня,— осмелев, заговорил Кузнецов.— Посудите сами,— «Евгений Онегин», «Лакме», «Риголетто», «Пиковая дама»...

— А вчера что изволили ставить, Сергей Андронович? — елейно прошептал Греков.

— Оперу «Кармен» господина Бизе. Одна из наиболее популярных во всем мире опер.

— А содержание ее можете пересказать нам?..— перебил антрепренера Греков и, вдруг багровея, закричал: — Сук-кин сын, это в наше-то время, когда на Дону осадное положение, дисциплина в полках валится, когда казаки офицеров не слушают, когда красные свою агитацию всюду развели, у меня под носом, на моих собственных глазах театр пропагандой занимается!

И он так стукнул по столу, что стакан с водою опрокинулся и зазвенел на полу.

— К-как-кою пропагандою? — снова бледнея, тихо спросил антрепренер.

— А как же! Что вы там показываете народу? Как паршивый солдат из-за девки дезертировал, мало того — офицера своего по морде ударил... в раз-бой-ники пошел! Что это такое, как не тайная агитация большевиков?

— Факт! — коротко подтвердил офицер в черкеске и снова выразительно постучал по своему нагану.

— Мо-о-лчать! — заревел Греков, не давая вставить слова перепуганному Кузнецову.— Что вы там ссылаетесь на «им-пе-ра-торские» сцены!.. Ошибка была со стороны в бозе почившего императора,— Греков встал и дважды перекрестился,— что он допускал подобные вещи.

— Вот и поплатился,— без особенного уважения добавил черноусый офицер.

Греков подошел вплотную к бледному, озиравшемуся по сторонам антрепренеру и, кусая губы, прошипел:

— Вы знаете, что я с вами могу сделать? А? Вы понимаете? Как градоначальник, ответственный за судьбы донской столицы, я в двадцать четыре часа властью, данною мне свыше, расстреляю вас...

Ноги Кузнецова подкосились.

— ...и отвечать не буду, а весь ваш театр со всею труппою сгною в кутузке.

— Ва... ва... ваше пре... пр...— совершенно теряясь и уже не помня себя от страха, забормотал Кузнецов.— Явите божескую милость!

Греков жестом остановил его.

— Вот,— указал он пальцем на хладнокровно сидевшего офицера,— говорите с ним. Рекомендую. Это войсковой старшина Казбулат Мисостович Икаев. Надеюсь, слышали? — многозначительно сказал он.

Сердце антрепренера упало. Фамилию знаменитого Икаева и связанные с нею мрачные истории он слышал не раз.

— Итак, господин полковник, это дело поручено вам,— сказал Греков, уходя из кабинета в боковую дверь.

— Ну-с! Вы слышали, что говорил господин градоначальник? — сверля Кузнецова глазами, проговорил Икаев.— Повторять не буду. Ваша жизнь, ваша труппа и все ваше дело в моих руках.

Он вытянул вперед свои смуглые жилистые руки и сжал кулаки.

— Могу сделать с вами все, что захочу, но я человек добрый...

Кузнецов с надеждою посмотрел на него.

— А вы человек, вероятно, сговорчивый.

Уже понимая, что опасности никакой нет, антрепренер широко развел руками.

— Все, что изволите,— подтвердил он.

— А дело в следующем. Вам известно, сейчас идет война с большевиками. Наступают холода, лютые, жестокие морозы, а у наших офицеров, казаков и солдат, сидящих в окопах, нет теплого белья, полушубков...

— С моим превеликим удовольствием! — перебивая его, сказал повеселевший Кузнецов.— Да я же всегда был патриотом и всегда жил в дружбе с начальством. Сколько прикажете пожертвовать? — пригнувшись к столу, тихо спросил он.

— Тридцать тысяч единовременно и затем набавить на все билеты театра пятнадцать процентов. Сумму надбавки ежедневно вносить лично мне.

— А как проводить по книгам?

— Как угодно. Нас это не интересует.

— Слушаюсь,— поклонился антрепренер.

— Затем еще, но это уже лично моя просьба... Вы, надеюсь, джентльмен? — поманив к себе Кузнецова, осведомился Икаев.

— Так точно. Самый настоящий.

— Так вот, мне оч-чень понравилась ваша певица, как ее... ну, та, что вчера пела Кармен. Мила, игрива, и экстерьер вполне соответственный. Так вот, я не хочу, вы понимаете, не хочу, не желаю, чтобы она знала о том, что она оч-чень понравилась мне.

— Понимаю-с! Понимаю-с! Будьте уверены, она ничего не узнает о нашем разговоре. Извините, господин полковник, ну, а в «Кармен» ей теперь можно выступать?

— Пусть выступает.

Через пять минут Икаев и Кузнецов сидели за столом, болтая и пересмеиваясь. Антрепренер балагурил, рассказывал театральные анекдоты и закулисные тайны. Войсковой старшина весело ржал, слушая его рассказы. Уходя, Кузнецов уже дружески сказал Икаеву:

— Ну и постановочка у вас, господин полковник, до сих пор ноги трясутся... И зачем это надо?.. Сказали бы просто.

Икаев снисходительно улыбнулся.

— Всякое дело, уважаемый Сергей Андронович, требует тонкой подготовки.

Черная биржа валютчиков Ростова была расположена на Садовой улице, в кафе «Континенталь». Здесь шла бешеная спекуляция всеми видами валют, начиная с греческой драхмы и кончая американскими золотыми двадцатидолларовыми «орлами». Румынские леи, болгарские левы, царские «петры», английские фунты, сербские динары, индийские рупии, итальянские лиры и даже самодельные пятисотки, выпускавшиеся в ингушском селе Экажеве,— все имело хождение здесь. Вагоны железа, платформы с кирпичом, возы с сеном, мешки крупчатки, ящики кишмиша, килограммы сахарина, банки с кокаином, шаланды с рыбой, тюки хлопка, ружейные патроны, винтовки и пулеметы русских, австрийских и немецких систем— все покупалось и продавалось здесь.

«Даю, беру вагон сои!», «Держу сою!», «Есть пять вагонов картофеля!», «Беру картофель — даю полвагона морозовского миткалю. Ситец, ситец есть!», «Чай, пятьдесят пудов китайскго чая, высший сорт, кузнецовский!», «Кто интересуется морфием?», «Беру морфий, даю семь пудов подметки»...

Выкрики, шепот, таинственные жесты, кивки головой, толкотня, звон посуды мешались с табачным дымом «кэпстена» и ароматных самсунских папирос. Толстые люди, в перстнях, с заплывшими жиром глазами, в шикарных пальто реглан, пили шоколад, ели сбитые сливки, торты, тыча окурки папирос в застывший крем. Юркие юноши, вертлявые старички, подмалеванные дамы окружали их, то исчезая, то снова появляясь. Здесь были люди разных национальностей, всех возрастов и положений. Тут собрались сбежавшиеся из многих российских городов торговцы, менялы, ростовщики, дельцы, кутилы, жулики, проститутки, прокутившиеся купеческие сынки, налетчики, безработные чиновники, потерявшие усадьбы помещики, представители обнищавшей российской ари-

стократии, бывшие монахи, гимназисты, забросившие книги,— словом, все, кому хотелось легко и быстро зашибить деньгу.

Через толпу, разнося по столикам подносы с заказами, проносились официанты, иногда звенела по полу посуда и на чей-либо пиджак проливался горячий кофе, но такие пустяки не отвлекали внимания толпы. Здесь делали деньги, они были единственным кумиром, которому все поклонялись.

Главным тузом в эти дни на бирже был трапезундский грек Касфикис, приведший из Турции пароход самсунского табаку «режи» [1] и распродавший его. Собираясь обратно в Турцию, Касфикис решил на все вырученные деньги закупить в Ростове товаров и отвезти их в Стамбул. Он часами просиживал в кафе «Континенталь», присматриваясь и прислушиваясь к мечущимся спекулянтам. Иногда Касфикис делал незаметный знак своим людям, и те, нагоняя уже в другом конце кафе предлагающего товары человека, останавливали его. Часто заманчивые предложения оказывались фикцией, но иногда сделка совершалась, и тогда молчаливый грек что-то заносил в свою маленькую записную книжку.

Касфикис предпочитал золото и брильянты, отлично разбирался в бронзе и фарфоре, он платил наличными и всегда на два процента больше, чем давали другие, поэтому все беженцы скоро стали предпочитать его другим.

Осторожный Касфикис не рискнул остановиться в гостинице, а проживал у настоятеля греческой церкви отца Иоаникия, занимая у него две небольшие комнатки рядом с домом, в котором жил греческий консул.

По кафе шныряли люди... Одни приценивались к товарам, другие прислушивались, третьи присматривались друг к другу. Высокий черноусый человек с орлиным носом и пронзительными глазами, в рыжей барашковой папахе дважды прошел мимо Касфикиса и как-то странно посмотрел на него. Трапезундскому купцу это не понравилось. Еще у себя в Анатолии он слышал о том, что все кавказские горцы грабители и промышляют только тем, что грабят и режут мирных заезжих купцов. Он отвер-

---

[1] Французская табачная монополия в Турции.

нулся, но все же не терял из виду показавшегося ему подозрительным человека. Кавказец бесцельно походил по кафе, толкая официантов и мешая беспрерывно суетившимся биржевикам. Потом он сел на стул возле стены и, вынув из кармана большой золотой портсигар, молча поднес его к груди. Несколько ярких брильянтов брызнули огнем и засветились на матовом фоне портсигара. Касфикис проглотил слюну и, толкнув ногой подручного, указал глазом на сидевшего в смиренной позе кавказца.

«Бандит... наверно, кого-нибудь ограбил,— мелькнуло у него в голове.— А не все ли равно... Портсигар ценный, наверно, фамильный, брильянты чистой воды. Не упустить бы».

И он деланно равнодушно отвернулся в сторону, медленно прихлебывая черный ароматный кофе. Вокруг кавказца уже суетились несколько быстрых, торопливых фигур.

— Продаешь? На товар или на деньги? А ну, дай поглядеть,— тормоша горца, разом заговорили все.

Горец опустил портсигар на колени и медленно вытащил из ножен широкий, аршинный кинжал.

Покупатели отодвинулись от него.

— Пардаю своя золотой портабашник,— ломаным языком очень спокойно сказал он.— Близко ходить можна, рукам лапать неможна...— И он любовно посмотрел на свой обнаженный кинжал.

В эту минуту подручный Касфикиса был около него.

— Сколько? — показывая глазами на портсигар, спросил он.

— Ей-бог, менше пятнасыт тыща не отдавайт,— сказал горец.

Портсигар стоил по меньшей мере тысяч пятьдесят, но подручный, нахмурив лоб, подумал и как бы неуверенно сказал:

— Пойдем вон к тому человеку. Его деньги, как он скажет, так и будет.

— Валла и лаазым[1], пойдем,— согласился горец, вкладывая в ножны кинжал.

Касфикис немного поторговался и за четырнадцать тысяч купил у горца массивный портсигар с брильянто-

[1] По смыслу: бог — свидетель *(арабск.)*.

вым вензелем и крупным алмазом посредине. Прежде чем положить в карман николаевские бумажки, горец долго и внимательно разглядывал их на свет. Найдя на одной «катеринке» сальное пятно, он отказался взять ее.

— Наш аул, ей-бог, ни один человек такой денги не берет...— И успокоился только тогда, когда улыбающийся Касфикис дал ему взамен новенькую царскую сторублевку.

Уложив кредитки в карман бешмета, кавказец спросил:

— Тебе денги ищо много ест или мала ест?

— А тебе зачем? — спросил осторожно Касфикис.

— Мне ищо шест штука такой портабашник ест, четыр золотой мендал ест, сиребрены самовар, ей-бог, тоже ест... все хочу гамузом пардават, своя места, Кавказ ехат...

— Купим,— наклоняясь к нему, тихо сказал Касфикис.— Денег хватит. Больше всех дадим... Мы все сразу купим. Давай вещи и говори свою цену.

Горец внимательно поглядел на него и, чуть улыбнувшись, покачал головой.

— Такой дурак человек нету — се вещи сразу давал. Вот моя на коран божица, твоя на твоя бог божица. Тогда дело кончал, вещи домой принесем, денги карман кладит. Кавказ едим.

Через несколько минут Касфикис и его подручный ударили с горцем по рукам, и каждый по-своему побожился честно окончить сделку.

Кавказец обещал в шесть часов вечера принести золото на Азиатскую улицу, в дом греческого консула, где во флигеле жил Касфикис.

Высокое греческое государство в Ростове представлял некий Даниил Анастасиди, имевший в городе две хлебопекарни и мучной склад на Таганрогской площади. Иногда консул надевал на себя пышный, шитый золотом вицмундир и косую треуголку, обтянутую широким серебряным галуном, и, вооружившись крохотной шпагой, совершал наезды в Новочеркасск, к атаману. В остальное время он носил серую пиджачную пару, мирно подсчитывал барыши от своего выгодного предприятия и, переводя выручку на драхмы, отсылал их в Афины на свой текущий счет...

В 7 часов 30 минут у генерала Краснова, приехавшего из Новочеркасска в Ростов, был назначен официальный прием по случаю прибытия на Дон немецкой военной миссии. Канцелярия донского войскового атамана уведомила об этом греческого, персидского, швейцарского и неизвестно зачем находившегося в Ростове перуанского консулов.

Анастасиди любил подобные вечера. Он писал о них в греческое министерство иностранных дел длинные водянистые доклады, прилагая к ним газеты, в которых всегда одинаково сообщалось:

«На приеме присутствовали гг. консулы дружественных Донскому Войску держав — Греции, Швейцарии, Персии и Перу».

Без пяти минут семь, оглядев себя в зеркало, консул вышел к воротам и в фаэтоне отправился на прием. На плохо освещенной Азиатской улице он встретил группу всадников в папахах и бурках, на мелкой рыси проехавшую мимо него.

«Патрули»,— удовлетворенно решил Анастасиди.

Горец не явился в шесть, не было его и к семи. Недовольный Касфикис что-то буркнул себе под нос и уже собирался сесть за письма, которые аккуратно дважды в неделю посылал в Трапезунд, своей жене и компаньонам, как во дворе раздался шум.

— Пришел? — с надеждою спросил он своего подручного.

— Нет! Это господин консул по делам поехал. Вряд ли придет наш разбойник. Разве можно верить таким людям! Эти кавказцы такой народ! — Помощник пренебрежительно махнул рукой и остановился.

За дверью послышались шаги.

— Эй, господин поп... искажи, пожалуйста, гиде такой человек ест... как producing зват, ей-бог, не знаем... бумажка имя ест, написана...— раздался в коридоре чей-то голос.

— Пришел,— засмеялся Касфикис,— видать, ты, Апостолаки, вовсе не знаешь этих людей.

В дверь постучали, и в комнату в сопровождении греческого священника, настоятеля подворья, вошел кавказец, держа за спиной туго набитый мешок.

— Вот здесь, входи смелее,— сказал священник нерешительно остановившемуся на пороге горцу и, бросив Касфикису по-гречески несколько слов, пошел к себе.

— Принес?— поднимаясь с места, спросил трапезундский купец.

— Ей-бог, очень темна места живешь... Совсем свет нету,— не отвечая на вопрос, сказал горец и, сняв папаху, вытер лодонью лоб.

— Ну, ну, показывай твои табакерки,— торопил его Касфикис.

Но горец молча поглядел на него и, похлопав рукою по мешку, не спеша сказал:

— Вот моя товар... Игде твоя денга? Ты тоже покажи.

— Да что ты, боишься нас, что ли? — Недовольно он похлопал по боковому карману.— Много. Ты золото свое давай, а денег мы тебе отвалим.

— Когда наши народ кинджал рука ест, он сам черт не боица, ей-бог,— берясь за рукоятку кинжала, сказал кавказец.

Он еще что-то хотел сказать, но внезапно прислушался и насторожился. Во дворе зацокали копыта, что-то лязгнуло, напоминая звон шашки о стремена. Потом раздался и смолк голос настоятеля церкви.

— Что это? — встревоженно сказал Касфикис.

Дверь с маху раскрылась, и в комнату ввалилось восемь человек в бурках и папахах, лица были полузамотаны башлыками.

Подручный ахнул и спрятался за кровать.

— Кто такие? Чем это вы тут, уважаемый, занимаетесь? — шагнув к онемевшему Касфикису, грозно рявкнул один из ворвавшихся людей.— А это кто? — наклоняясь над сидевшим на своем мешке горцем, тем же тоном продолжал он.— А-а-а! Так это ты, голубчик... Приятная встреча. Попался, наконец, разбойник... А ну, обезоружить и взять его! — приказал он другим.

Перепуганный Касфикис в страхе зажмурил глаза. Он слышал о том, что кавказские горцы никогда не даются живьем в руки и в этих случаях отчаянно, насмерть рубятся кинжалами. Чтоб не слышать страшных звуков рубки, лязга кинжалов и ужасных, душераздирающих стонов, он, заткнув пальцами уши, бросился на кровать, на которой дрожал и трясся его подручный...

Он поднял голову и открыл глаза от грубого толчка в ухо.

— Так вот оно что такое... Сук-кин сын, ворованным торгуешь, у бандитов и убийц награбленное скупаешь! А еще иностранец, собачья кровь! Взять и его! — прогремел ужасный голос командира ворвавшихся к нему людей.

— Гос-по-дин начальник, это неверно... это ошибка...— пытаясь вырваться из обхвативших его рук, залепетал Касфикис.

— Как ошибка? А это что? Откуда у тебя, свиная морда, мое фамильное золото? — размахивая мешком перед самым носом мотавшего головою грека, заревел незнакомец.

Касфикис едва не упал с кровати, когда увидел, как из его чемоданов посыпалось на пол золото.

— По-озвольте, это же грабеж! — простонал он.

Один из закутанных людей достал у него из кармана бумажник с деньгами.

— Дай ему хорошенько, чтобы не рыпался! — посоветовал сбоку кто-то голосом, очень похожим на уже знакомый ему голос продавца-кавказца.

Сильный удар по голове оглушил грека, и он потерял сознание.

Когда, часов в двенадцать, вернулся с пышного приема консул, его веселое настроение сразу испортилось. Взволнованный старичок священник, путаясь и сбиваясь, рассказал ему о том, как неизвестные люди, избив Касфикиса, увезли его куда-то с собой. Вылезший из-под кровати подручный, заикаясь и плача, рассказал подробности этого налета. Заканчивая повествование, он крестился дрожащей рукой, считая себя спасенным чудом от смерти. Шкаф, чемоданы и даже половицы в комнате Касфикиса были переворочены и вскрыты. В одном углу нашли закатившуюся под плинтус десятирублевую золотую монету. Это было все, что осталось от золотых и валютных фондов купца Касфикиса.

Касфикис отыскался на следующий день. Его нашли на берегу Дона с пробитой пулею головой и связанными за спиной руками.

Консул Анастасиди, облачившись в свой парадный мундир со шпагой и надев треуголку, немедленно поехал к градоначальнику. Страшная, неожиданная смерть Касфикиса взволновала греческую колонию. Сопровождаемый настоятелем церкви и подручным убитого купца, консул вошел в приемную Грекова, в которой уже толпились люди. Посреди приемной с поднятой кверху рукой стоял Греков, не то распекая кого-то, не то читая отеческое назидание. Разномастная толпа молча слушала его. В углу, прижав платок к глазам, всхлипывала бедно одетая женщина. Девочка лет четырех сидела у нее на коленях.

— Вот вы жалуетесь на спекулянтов... на купцов, на торгашей, говоря, что они ежедневно повышают цены на продукты. Знаю я все это... правильны ваши жалобы, но, господа, господа! — Греков вздохнул и выше поднял руку.— В наши трудные дни надо жить по писанию, так, как заповедано нам богом... Блаженны алчущие и жаждущие... блаженны кроткие, ибо...— палец градоначальника заходил над головой,— они насытятся. Вот так сказано господом богом. А этим стервецам купчишкам я хвосты еще подкручу,— не меняя тона, пообещал Греков,— я им, сукиным детям, покажу, как грабить честных горожан! Всё! — закончил он, поворачиваясь спиной к слушавшим его людям. По-видимому, это была делегация от обывателей Ростова.— Чего плачешь, кто обидел, рассказывай все, как родному отцу. Ну! — поворачиваясь к плакавшей женщине, сказал Греков.

Женщина вскочила с места и, опускаясь на колени перед градоначальником, всхлипывая, заговорила:

— Ваше превосходительство, будьте отцом милостивым, мужа у меня забрали... помогите... вся надежда на вас осталась.

Девочка, глядя на мать, тоже заплакала, прижимаясь всем тельцем к ней.

— Кто забрал? Кого забрали? Зачем?

— Му-у-у-жа моего... слесаря из депо... Гаврюшина Степана... вот ее отца. Явите божескую милость, ваше превосходительство, не губите девочку, не делайте сирото-о-ой! — Голос плачущей оборвался и перешел в вопль.

Греков поморщился и недовольным тоном сказал:

— А ты не вой, не вой! Здесь не базар. За что забрали-то?

— Го-во-рят, большеви-ик...— глотая слезы, сказала женщина.— Го-осподи, какой он большевик.. тихий такой, смирный, всего три месяца, как из плена германского пришел, а тут его опя-ать...

— Тихие-то всегда самой сволочью бывают... Ну ладно, зайди через неделю, разберусь. Только, матушка, заранее говорю: если большевик или какой-нибудь там политический, не помилую, да и сама не ходи — выпорю.

— Го-осподи,— простонала женщина,— никакой он не большевик. Просто война ему вовсе надоела... С пятнадцатого года воюет, два раза на фронте ранетый, в плену год сидел. До семьи только добрался, а тут опять его забирают...

— А-а-а! Дезертир, воевать, значит, не хочет... Ну, голубушка, тут ему сам господь бог не поможет. Во всех цивилизованных армиях насчет дезертиров один закон — пуля.

— Да он же ведь ранетый, больной...

— Ничего поделать не могу. На то есть медицинская комиссия. За-кон! — снова поднимая над головой палец, важно произнес Греков и, останавливая взгляд на девочке, словно лишь только сейчас заметив ее, сказал: — Как человек и отец семейства, я могу сделать лишь одно: устроить тебе и дочке свидание с мужем. А ты посоветуй ему не валять дурака... пусть служит и этим оправдает себя в глазах начальства. Адъютант,— крикнул градоначальник,— устройте им свидание! Ну, а теперь иди, да воздействуй на своего дурака, а то...— и Греков выразительно провел пальцем по горлу.

Тут только он увидел стоявших в дверях консула Анастасиди, священника и сопровождавшего их грека.

— А-а-а! Здравствуйте, господа, какие ветры, какие дела занесли вас в мою обитель? — делая шаг к ним, спросил градоначальник.

— Печальные события прошлой ночи, господин полковник,— кланяясь, учтиво ответил консул.

— Этой ночи? А что случилось? Не слышал, ничего не слышал,— пропуская в кабинет гостей, сказал Греков.

— Прием закончен, можете идти, господа,— сказал адъютант,— а ты, тетя, пройди в седьмую комнату вот с этой запиской. Там сделают что нужно,— обращаясь к женщине с ребенком, добавил он.

— Господин офицер, господин офицер, а мы час ждем!.. Господин адъютант, а как же наше дело? — окружая адъютанта, заволновались остальные просители.

— Ничего не знаю, господа. Прием окончен. Вы сами видели, что к градоначальнику прибыл представитель иностранной державы,— важно сказал адъютант и приказал казакам очистить комнату от просителей...

— Убили и ограбили! И намного? — полюбопытствовал градоначальник, выслушав консула.

— Точно не известно, но, во всяком случае, общая сумма похищенного велика.

— И вся в валюте?

— Преимущественно, хотя должны были быть и николаевские и керенские деньги. Я думаю, что, имея такие веские улики, как похищенные золотые вещи, наличие живого свидетеля, господина Апостолаки, видевшего и грабителей и подосланного ими кавказца,— указал консул на тревожно глянувшего на него подручного,— а также и нашего почтенного настоятеля, который также мог бы узнать этого человека, я думаю, что преступление, если за него возьмутся опытные люди, сразу будет раскрыто. Как консул страны, которой нанесен урон, я настаиваю на этом. Преступники никуда не могли скрыться за одну ночь, они, по всей вероятности, еще в Ростове. Это облегчает работу следственных властей. Нужно еще учесть то обстоятельство, что все грабители — кавказцы, что тоже поможет делу розыска. Я настоятельно прошу вас, господин полковник, передать это дело опытному человеку, найти и арестовать злодеев, а все похищенное у бедного Касфикиса отобрать у них и передать в греческое королевское консульство.

— Натурально! — согласился Греков. С минуту он напряженно о чем-то думал и затем решительно сказал: — Есть, есть, господин консул, такой человек. Решительный, опытный. В таких делах, что называется, собаку съел. Это войсковой старшина Икаев. Сам горец, кристальной чистоты и честности человек. Он распутает это дело.

— Я слышал фамилию этого офицера. О ней много говорят в городе... конечно, хорошего, хорошего, н-но...— консул замялся, — но, видите ли... Я, конечно, вполне доверяю вашему выбору, однако полковник Икаев сам го-

рец, кавказец, у них, на Кавказе, как говорят, свои обычаи и законы, и я боюсь, что если следствие обнаружит своих...— консул поправился,— то есть горцев своего племени, то полковник Икаев, связанный обычаем и традициями и прочими условностями гор, не сможет...

— Господин консул! — вставая с места, оскорбленно воскликнул Греков.— Войсковой старшина Икаев— офицер русской армии и мой помощник. Я не знаю порядков и традиций в греческой армии, но в своей Донской я их отлично помню. Честность, прямота, самопожертвование, храбрость и вера в бога — вот что такое русский офицер.— И, продолжая стоять, он сказал: — Поручаю это дело войсковому старшине Икаеву.

Консул и остальные поднялись. Прием был окончен. Консул, прощаясь, сказал:

— Я очень уважаю доблестную Донскую армию и всех ее офицеров. Прошу передать привет полковнику Икаеву.

Вместе с молчащими спутниками он направился к выходу.

Войсковой старшина Икаев начал следствие на следующий же день. К одиннадцати часам утра он вызвал на допрос свидетелей — Апостолаки и настоятеля греческой церкви. Священник пришел один. Несмотря на розыски подручного, его в этот день нигде не нашли, не нашли его и позже. К вечеру выяснилось, что дальновидный Апостолаки через два часа после беседы с градоначальником бежал на Кубань, где у него были родные. Опрошенный Икаевым священник был крайне молчалив. Он сразу же отказался от своих предварительных показаний, заявив, что никого не видел и никакого кавказца к Касфикису не вводил. Говоря это, он со страхом посмотрел на высокого, смуглого, черноусого офицера в черкеске, очень напоминающего ему... Настоятель даже вздрогнул, когда Икаев поглядел пристально на него.

Вернувшись домой, настоятель долго мыл руки каким-то особенным душистым мылом, потом покрестился на иконы и прошел к консулу. Сев рядом, они долго о чем-то шептались, покачивая головами.

— А что сделаешь? Ничего! — разводя руками, сказал консул и горестно поник головой.

Ночью он написал обстоятельный доклад в Грецию о загадочной смерти и ограблении купца Касфикиса.

Через день следствие было закончено. Выяснилось, что убийцей был некий грек Апостолаки, компаньон убитого, сбежавший неизвестно куда.

Вызванный вторично в комендатуру градоначальника, настоятель греческой церкви подтвердил это заключение, заявив следователю, что он и сам подозревал в убийстве Касфикиса скрывшегося от следствия Апостолаки.

— Что это, батенька мой, такое? Греки какие-то исчезают, ценности у них грабят на большие тысячи валютой, а я ничего не знаю,— подчеркивая последние слова, подозрительно спросил Греков, глядя на курившего Икаева.

— Да... что-то такое было,— спокойно сказал Икаев.— Только здесь много неточностей, уважаемый Митрофан Петрович. Во-первых, ценности — грошовые, во-вторых, валюты не «на большие тысячи», а скорее на считанные сотни. И, наконец, третье — я приготовил по этому поводу вам доклад, вот он, пожалуйста,— вынимая из кармана бешмета большой пакет с сургучной печатью, сказал Икаев.

— На сколько страниц? — кладя его в стол, спросил Греков.

— На сотню с лишним, и все на чистой английской бумаге,— пуская колечко дыма, сказал Икаев.

Греков удовлетворенно мотнул головой, вздохнул и тихо сказал:

— А все же, дорогой Казбулат Мисостович, если поступать так, как в полках есаулы, насчет безгрешных доходов, вроде там лошадок, овса и всего прочего,— не вернее ли будет, а, как вы думаете?

Икаев с усмешкой посмотрел на него и пренебрежительно сказал:

— Кустарное дело, а не работа, это же холодные сапожники, а не умные люди. На овсе да на подметках далеко не уедешь.

— Зато спокойнее,— многозначительно сказал градоначальник.— Во-первых, здесь не казачья сотня, а целый город, и какой город — Ростов, а во-вторых, все-таки — войсковой круг, всякие там либералы Агеевы и прочая сволочь. Кругом народ... Пойдут слухи, сплетни, брехня. Дойдет и до атамана.

Он развел руками, прошелся по комнате и наставительно сказал:

— Бросьте это, дорогой мой. Оглянитесь кругом, ведь золото буквально под ногами валяется. И можно... без пролития крови.

Икаев поднял голову, следя за ним.

— Первое — игорные дома. Их и сейчас немало, разведем их больше... Ведь это же неисчерпаемый клад. Дальше. На днях неделя помощи бойцам на фронте. Пони-маете? Затем день раненого и больного донского воина... Опять деньги... А обыски, а облавы... Ведь у этих чертовых спекулянтов больше денег, чем во всей донской войсковой казне. А вы... за кинжал — да в пузо! Изобретательность, фантазию надо иметь, дорогой Казбулат Мисостович. Кстати, что это у вас, новинка? — спросил Греков, видя, как Икаев достал из кармана золотой, с матовым отливом портсигар.

— Да. Купил недавно,— небрежно ответил Икаев.

Греков осмотрел брильянтовый вензель на крышке, пощупал крупный сверкающий алмаз и, возвращая портсигар, тихо сказал:

— А еще не найдется?

Икаев вместо ответа извлек из кармана второй такой же портсигар и протянул его засмеявшемуся от удовольствия градоначальнику.

Игорные дома в Ростове были разбросаны повсюду — и на окраинах, и в Нахичевани, и около вокзала, но наиболее фешенебельные казино находились в самом центре города — на Садовой улице, Таганрогской площади и в Казанском переулке. Здесь шла самая крупная игра. Помимо общего зала и рулетки тут были еще так называемые «золотые столы» — особые комнаты, где играли только на золото и устойчивую иностранную валюту. На эти столы не допускались николаевские, керенские, донские

и прочие обесцененные бумажные деньги. Тут звенело золото, шелестели доллары и фунты. Молодые и старые мужчины и женщины, военные и штатские с вечера и до утра заполняли игорные дома Ростова. Вокруг столов шныряли жулики, аферисты, шпики, карманники, проститутки. У стен сидели или прохаживались молчаливые люди. Это были скупщики, которым проигравшиеся игроки тут же за треть цены, скорее за бесценок, спускали золотые и серебряные вещи, кольца, брелоки, часы и портсигары. Зажав в дрожащей руке скомканные кредитки, игроки спешили к столам, в неверной, обманчивой надежде отыграться. Молчаливые господа не брезгали ничем, они брали и дамские серебряные ридикюли, и меховые палантины, и боа. Был еще один вид купли-продажи, который происходил тайком, наспех, в дальних комнатах клуба, именуемых «отдельными кабинетами». Но о них знали лишь лакеи, туда и оттуда сопровождавшие спешивших смущенных дам, да сами молчаливые господа, совершавшие за гроши свои «покупки».

Семнадцатого октября в газетах Ростова появился приказ, подписанный градоначальником:

«Азартная игра приобрела размеры недопустимые. Вновь поступают жалобы со всех сторон. Играют все. Тяжело до боли — играют офицеры!

Господа офицеры! В такое время играть в карты! Ай-яй-яй — вот все, что могу сказать по адресу таких офицеров. А теперь — клубы. Клубы давали мне обещание вести игру правильно, а ведут сплошь и рядом грабительски. Знаю хорошо психологию игрока, так как сам играл немало. Единственная мера, которая может немного помочь,— это на время прекратить игру. Мера тяжелая для клубов, но грабительским клубам поделом, а солидные не осудят. Когда выигранные деньги привыкнут к карману, а проигрыш потеряет свою остроту, игра мельчает.

Итак, господа понты и банкометы, подсчитайте ваши выигрыши и проигрыши и немного успокойтесь. С 13 часов сего 17 октября какая бы то ни было азартная игра в карты, лото, кости, бильярды, рулетки и т. п. воспрещается в ростовском и нахичеванском на Дону градоначальстве. Всякие ходатайства о разрешении азартной игры мною не будут приниматься, пока не будет собрано для

раненых и больных 50 тысяч пар белья (кальсон и рубах), 3 тысячи простынь, 10 тысяч полотенец, 25 тысяч пар носков, 100 тысяч аршин марли и 200 пудов гигроскопической ваты. Когда все это будет сделано, приступим к переговорам о разрешении азарта. Если же до моего разрешения где-либо будет обнаружена азартная игра, то будет туда послан вооруженный отряд, все деньги игроков будут конфискованы. Игроки, хозяева, швейцары, прислуга будут арестованы и судимы военно-полевым судом при градоначальстве. Предупреждаю, суд будет скорый и строгий. Пожаловаться не успеете!.. Председателем военно-полевого суда назначаю войскового старшину Икаева.

Правда, он не юрист, но дело понимает!»

После джентльменской беседы Икаева с антрепренером в уборную артистки Раевской ежевечерне «неизвестным лицом» посылалась большая корзина цветов и фрукты с бутылкой шампанского. Когда была занята в спектакле Раевская, в ложе градоначальника, хотя бы всего на несколько минут, обязательно появлялся войсковой старшина Икаев. Щегольски одетый, бритый, надушенный, в белоснежном бешмете и черной черкеске, сверкая серебром оружия, он пользовался успехом у женщин.

Раевской он тоже нравился. Хотя Икаев по-прежнему не был знаком с ней, но артистка отлично знала, кто посылал ей цветы и корзины с фруктами и вином. Слишком затянувшаяся игра наскучила ей.

— Да когда же он осмелеет? — несколько раз недовольно справлялась она у Кузнецова.— Говорят, безумно храбрый, отчаянный человек, а я что-то этого не вижу. Вы так и передайте ему это, Сергей Андронович.

— Что вы, что вы, матушка,— замахал на нее антрепренер,— да ведь это же,— он оглянулся,— сущий бандит. Рожа одна чего стоит! Вечером в переулке встретишь — сам кошелек отдашь. Абрек, разбойник!

— Не-ет,— перебила его Раевская,— лицо у него ничего, и глаза, и усы, и осанка.

— На тебе,— возмутился Кузнецов,— «осанка»! Ведь он же грабитель с большой дороги, пол-Ростова ограбил. Все купцы от него стонут. А что он с обывателями делает,

а со мной, наконец...— Голос его сорвался.— Ведь это же денной грабеж. Я мучаюсь, я страдаю, я капитал в дело вкладываю, а ему ни за что ни про что каждый вечер вынь да положь пятнадцать процентов. Что это такое, дорогая Марина Владимировна, а? По-вашему — «осанка», а по-моему — разбой.

— Все мы грабители, Сергей Андронович, и вы сами не меньший разбойник... да только у вас руки коротки. А дай вам его силу и его возможности, так вы не только что пол-Ростова, а всю Донскую область оберете.

— Что? Это что еще за речи?.. Вы с ума сошли! Да вы знаете, что я...— вскипел Кузнецов.

— Молчи, шут гороховый, а то как бы я с тобой сама чего не сделала! — с нескрываемым презрением сказала Раевская и взяла со стола телефонную трубку.— Алло! Центральная? Барышня, соедините меня, пожалуйста, с квартирой полковника Икаева... Благодарю вас.

Кузнецов застыл около нее с открытым ртом и выпученными глазами.

— Алло! Квартира полковника Икаева? Попросите, пожалуйста, полковника к телефону... Это вы? Говорит артистка Раевская.

Она глубоко вздохнула и, чуть задерживая дыхание, сказала:

— Я жду вас. Приезжайте...— и положила трубку.

Ноги Кузнецова задрожали, пиджак как-то обвис. Антрепренер улыбнулся жалкой, кривой улыбкой.

— Ах, Марина, дорогая Мариночка... Гениальная, великая вы женщина. Вам бы армией командовать... вам бы...

— Мне бы деньги, следуемые за спектакль, получить с вас сполна. Мне бы жалованье увеличить вдвое... Мне бы бенефис второй дать...— вставая, перебила его Раевская.

— Голубушка, откуда все это? Ну, деньги я заплачу, а остальное...— развел руками Кузнецов.

— Как хотите. Потом предложите втрое, да будет поздно.

Кузнецов посмотрел на злые красивые глаза женщины, на маленький властный рот, сдвинутые брови и испугался.

«Выдаст, скажет, проклятая, все этому душегубу».

— Сделано. Для вас, дорогая моя, хоть в лепешку.. И бенефис, и остальное. А вы забудьте мои дурацкие слова насчет грабежа. Идет?

Он поймал руку Раевской и стал целовать ее пальцы. Актриса отвела руку и холодно сказала:

— Поглядим. Все будет зависеть от вас, Сергей Андронович.

...Икаев приехал через двадцать минут. Сдержанный, спокойный, вежливый, он приветливо поздоровался с открывшим ему двери Кузнецовым. Пройдя в комнату, он подошел к безмолвно, пристально глядевшей на него актрисе и наклонился к ее руке.

Антрепренер отвернулся и комически закрыл руками глаза.

— Пошел вон! — с нескрываемым презрением сказала Раевская и закрыла дверь за ошеломленным антрепренером.

Вечером в театре опять шла опера «Кармен», и Раевской надо было готовиться к спектаклю.

— Итак, мы с вами договорились. Мы нравимся друг другу, я ваша любовница и вместе с тем ваш компаньон во всех делах. Все, что будет связано со мной и вами,— я говорю о коммерческих делах,— все даст мне известный доход. Так?

Икаев молча кивнул головой.

— Вас, вероятно, удивляет такой меркантильный подход в деле любви? — продолжала Раевская.

— Нет! Я люблю умных людей. С ними легче бывает сговориться.

— Вот и хорошо. Вы мне нравитесь, и от вас лично, как моего любовника, я ничего не хочу и не приму, конечно исключая цветов, конфет и прочих безделушек. Но от вас, человека, имеющего огромную в этом городе власть, делающего большие деньги...— она медленно подчеркнула,— нуждающегося в верном друге и помощнике...

— Вот именно,— перебил ее и засмеялся Икаев.

— ...я возьму все, что следует за помощь. Куртаж. За союз. Я хочу быть богатой. Мне надоело зависеть от антрепренеров, случайных встреч, любовников, газет. Эти смутные времена протянутся еще три, пять месяцев, ну, пусть год... Потом придет настоящая власть и твердый по-

рядок. Может быть, это будет царь, возможно, что большевики,— словом, тогда уж таких денег ни вы, ни я никогда не добудем. Значит, их надо делать сейчас. Цинично? Да? — подойдя вплотную к Икаеву, спросила Раевская.

— Нисколько. Правильно и умно. Вы тот друг и та женщина, которой только недоставало мне здесь,— отбрасывая папиросу, сказал Икаев и крепко прижал к себе гладившую его виски женщину.

Вечером в антракте в ложу к Икаеву вошел Кузнецов. Он не знал, как ему следует теперь держаться с Икаевым. На всякий случай он двусмысленно шепнул:

— Уверяю вас, как джентльмен, был нем яко рыба.

Икаев помолчал, покрутил ус и затем сказал:

— Верю. Спасибо. Из тех пятнадцати процентов, что вы списываете ежевечерне, прошу давать только десять процентов. Остальные пять процентов...

Сердце у Кузнецова радостно екнуло, он улыбнулся.

— ...прошу вас отдавать актрисе Марине Владимировне Раевской. Понятно? — Икаев прищурился.

Кузнецов подавил вздох и по-солдатски ответил:

— Так точно!

Митрофан Петрович Греков обходил свои владения. Свой обход он начал с утра, посетив для начала военный собор, где шла утреня. Градоначальник, сопровождаемый двумя приставами, адъютантом, и пешими казаками, протиснулся в толпу, купил за полтинник свечу и стал разглядывать у стены иконы, отыскивая изображение своего святого — Митрофания Воронежского. Продвигаясь вдоль стены в поисках святого тезки, градоначальник удалялся все дальше, а за ним, придерживая одной рукой шашки, а в другой зажав шапки, молча двигались провожающие его пристава и казаки. Толпа молящихся поспешно раздвигалась, пропуская вперед градоначальника со свечкой в руке и с устремленным на иконы взглядом.

Священник, заметивший важного посетителя, стал еще громче подавать возгласы, а хор певчих запел елико

возможно красивей. Но градоначальник ничего этого не замечал. На его хмуром, вытянувшемся лице росла досада. Он сердито остановился и почти в упор стал разглядывать в приделе иконостас. Потом резко повернулся и быстрыми шагами, разрезая пополам толпу, пошел к выходу. У самых дверей Греков внезапно остановился и, сунув через плечо свечу спешившим за ним конвойным казакам, сердито сказал:

— На, Антонов, поставь там кому хочешь,— и уже на паперти проговорил: — Сукин сын поп понаставил там всяких цыганских святых, а святого Митрофания не желает! А? Вызвать его, негодяя, в градоначальство! — И он быстро сбежал по ступенькам храма.

...Хорошее настроение духа вернулось к нему только на базаре.

— Чем торгуешь, тетя, а тетя? — поинтересовался он, подходя к толстой, румяной казачке средних лет, сидевшей на возу.

— Усем, ваше высокоблагородие. Чем хочете, все найдется. Сало, масло, сухого вишенья, хлеба белого; опять же свининны своей, кабанчика надысь закололи...— игриво заговорила казачка, стреляя глазами.

— Ишь ты какая вострая! Ты что, вдова или жалмерка? — подходя ближе и щекоча ей бок своей палкой, спросил Греков.

— Никак нет, замужняя, вон и муж за возом хоронится,— засмеялась казачка, указывая пальцем на стоявшего в стороне, смущенно улыбавшегося пожилого казака.— Одначе я и с им все равно что вдовая,— подмигивая Грекову нагловатыми красивыми глазами, сказала баба.

Все кругом засмеялись, а казак только махнул рукой и отвернулся.

— А ты, я вижу, бой-баба... настоящая донская... Какой станицы? — обращаясь к пожилому казаку, спросил Греков.

— Гундоровской, ваше высокоблагородие. Вы, должно, меня не признали, а ить я с вами в двенадцатом Донском служил, когда вы еще в третьей сотне подъесаулом были. Янцков мое фамилие, пятой сотни есаул Попов командиром были...

— А-а-а! Вот как, сослуживцы, значит? Ну, тогда

здравствуй, здравствуй... Давай, по нашему донскому обычаю, почеломкаемся.

И Греков на виду у всех, посреди возов, толпы и застывших по бокам приставов, обнял и трижды поцеловал снявшего поспешно с головы фуражку казака.

— А теперь бы и с тобой следовало, красавица, раз ты являешься женой моего старого однополчанина,— кивая казачке, сказал Греков.

Баба пристально оглядела его и, махнув презрительно рукой, равнодушно сказала:

— Ни! Не стоит, ваше благородие, с вами я тоже, что и с им,— указала она на своего мужа,— опять вдовой буду.

Окружавшие, не ожидавшие такого финала, расхохотались. Даже адъютант Грекова, заскочив за воз и присев там, давился смехом. Закусив губы, казак, сослуживец полковника, молча показал жене кулак и спрятался за других.

— Нно-но-но... ты смотри, не очень! — погрозил казачке градоначальник и, двигаясь дальше, сказал: — Вот что значит наша... донская.

Обойдя базар, они вышли к интендантству и, переходя через улочку, были остановлены двумя большими, груженными вещами фурами. Сытые, здоровые кони едва не налетели на градоначальника, еле успевшего отскочить в сторону.

— Ах ты сукин сын, задавить меня вздумал!..— закричал Греков на человека в коричневом пальто, правившего лошадьми.

Рядом с ним на фуре сидел круглолицый, белобровый парень в полувоенном костюме, в серой шинели и немецкой бескозырке. Лицо парня было сонно, равнодушно, зато человек в штатском пальто обиделся и, побагровев, закричал:

— Ти сам есть сюкин син... свиней!

— Как... как... как? — даже отступая назад от удивления, переспросил Греков.— Это я-то «свиней»?

— Ти, да...— подтвердил человек в штатском.

— Взять его! — сказал Греков.— Отвести в градоначальство, там мы живо выясним, кто из нас сукин сын. А ну, Антонов, Карпенко, берите его за жабры...

Но человек презрительно взглянул на него с козел и спокойно сказал:

— Нет... ви не может мене взят.

— Не могу? — иронически протянул Греков.— Это почему же? Что ты такая за цаца?

— Я не есть цаца. Я не есть русски поддани, я Ганс Кемпе, лакэй герр полковник Кресс фон Крессенштейн,— поджимая губы и в свою очередь вызывающе глядя на Грекова, сказал человек в штатском.

— Кого? Кого? — переспросил градоначальник.

— Германски полковник Кресс фон Крессенштейн. Зо!

— Это начальник штаба той дивизии, что сегодня в пять часов прибывает в Ростов,— почтительно сказал адъютант.

— А-а-а! А это что, его вещи? — неизвестно для чего спросил Греков.

— Да! Его веш.

— Проезжай, будь ты проклят! — махнул рукой градоначальник, переходя улочку и слыша позади смех солдата.

Со стороны Таганрога шел пассажирский поезд с прицепленными к нему товарными вагонами. Из полуоткрытых дверей смотрели немецкие солдаты в мышиного цвета шинелях и касках с ярко начищенными медными императорскими орлами. Это ехал штаб семнадцатой пехотной дивизии. Полубатальон баварской пехоты с десятью пулеметами и тремя пушками, поставленными на платформы, охранял его.

Начальник штаба дивизии полковник Кресс фон Крессенштейн сидел у окна мягкого вагона и, попыхивая папиросой, молча слушал своего комдива генерала фон Отта. Генерал был весь напичкан воспоминаниями о колониальной германской Африке, где он провел почти половину своей военной службы. Призванный из запаса, он только недавно получил наконец второочередную пехотную дивизию и очень был недоволен тем, что его направили на восточный, русский фронт.

— Со стороны главного штаба это просто свинство — посылать сюда, против жалких, несчастных мужиков,

вооруженных черт знает чем! И для чего? Зачем следует держать в России так много войск?

— Надо бы побольше, ваше превосходительство! — сказал полковник.

На остановке полковник распорядился уведомить Ростов о том, что немецкое командование дивизии через два часа будет в городе.

Генерал уже дремал на своей койке, прикрыв лицо цветным шелковым платком. В соседнем купе молодые офицеры что-то вполголоса рассказывали друг другу, изредка приглушенно смеясь. Из теплушек доносилась песня солдат. Полковник прислушался. Это была старая военная песня «Анна-Мари», которую он сам не раз распевал юнкером мюнхенского пехотного училища.

На девятнадцатой версте от станции поезд сильно тряхнуло. Мостик, на который вкатились колеса паровоза, рухнул, из-под взлетевших камней и обломков медленно поднялся к небу крутящийся, дымный, весь в пламени, вихрь. На упавший паровоз со звоном и лязгом налетали и валились вагоны. Состав оборвался. Две теплушки с солдатами скатились с насыпи вниз. Три передних пассажирских вагона были смяты и расщеплены силой налетевших сзади теплушек. Пушки, выброшенные толчком с платформы, валялись под насыпью. Из-под груды обломков неслись вопли, стоны, хрипы людей. Разлившийся мазут горел. Вдоль путей без оружия, что-то крича, бежали охваченные паникой солдаты. Несколько человек, сохранившие спокойствие, вытаскивали из-под обломков окровавленных, стонавших людей. Лейтенант с рассеченной щекой и сочившейся по лицу кровью бегал возле опрокинувшегося, полураздавленного штабного вагона и кричал:

— Сюда... сюда... давай носилки!

Уже к четырем часам дня вокзальная площадь города Ростова была оцеплена полицией. Вдоль улицы, ведущей к городу, стояли юнкерские роты и группы горожан. В половине пятого на вокзал прибыли начальник штаба Донской армии генерал Богаевский, представлявший собою особу Краснова, генералы Семилетов и Постовский, градоначальник Греков, полицмейстер и другие.

На перроне выстроились караулы от пятьдесят восьмого Берлинского полка и казачьего атаманского полка. Над немцами и казаками свисали кайзеровский флаг и русский трехцветный. Оркестры— казачий, немецкий и юнкерского училища — стояли недалеко от того места, где должен был остановиться поезд. Дамы в мехах, с букетами в руках, мужчины в котелках и цилиндрах, пожилые коммерсанты и два попа с нагрудными крестами отдельной кучкой стояли у входа в буфет... Это была делегация от «русского общества».

Из окон телеграфной на пути смотрел пулемет. Два других были поставлены возле ремонтных мастерских. Рота юнкеров дежурила около депо, другая, составив ружья, отдыхала на площади. Полицейские и казачьи патрули беспрестанно проезжали по привокзальным улицам.

Посреди перрона в новой серо-стальной шинели, бритый, подтянутый, с моноклем в глазу, в белоснежных перчатках, окруженный донскими генералами, стоял германский майор Фрейтенберг, представлявший перед донским атаманом особу Вильгельма II. Он в пол-уха слушал почтительные речи донских чинов, изредка роняя ответные короткие слова.

Другой офицер, майор Бенкенгаузен, быстрыми шагами прошелся по перрону, оглядывая караулы и делегацию от «общества». Последняя, как видно, мало нравилась ему. Он скептически оглядел застывших в умильных позах «представителей общественности» и буркнул заглядывавшему ему в глаза градоначальнику:

— Что это есть? Общественный народ? Какой скушный... Надо весолий глазы, весолий виды. Да!

Греков подозвал полицмейстера.

— Скажи этим представителям,— сказал он,— чтобы веселее, веселее были, что они там за панихиду на мордах развели! Понял?

— Так точно, Митрофан Петрович. Сделаем, будьте спокойны.

— С вами будешь спокоен, как же! Да предупреди этих самых народных делегатов, что ежели в ком не замечу радости и энтузиазма, пошлю к Икаеву повеселиться. Понял?

— Так точно, Митрофан Петрович.

— То-то! — И градоначальник отошел от полицмейстера, бросившегося стремглав выполнять поручение начальства.

До прихода поезда оставалось еще около двадцати минут, когда из телеграфной поспешно вышел бледный казачий офицер. Он неуверенно остановился около градоначальника и срывающимся шепотом сказал:

— Несчастье, господин полковник... Крушение со взрывом! Много убитых. Со станции Казанка срочно требуют поезд под раненых.

Лицо Грекова стало бледным.

— Ка-ак! Как? — гаркнул он и, сняв фуражку, обтер вспотевший лоб, потом сорвался с места и мелкой рысцой побежал в телеграфную.— За мной! Тсс... никому ни слова! — тихо приказал он, увлекая за собой офицера.

На его исчезновение никто не обратил внимания, все хорошо знали причуды и странности градоначальника. Спустя минуты две Греков снова вышел на перрон, подошел к Фрейтенбергу, смотревшему на часы, и, прерывая беседу немецких офицеров, вполголоса сказал:

— Несчастье... поезд с немцами,— он поправился: — с войсками Германской империи, проходя виадук тридцать седьмой, свалился.

Фрейтенберг поднял на него круглые, холодные глаза.

— А штаб? А генерал? А полковник Кресс фон Крессенштейн? — дрогнувшим голосом спросил он.

— Не знаю. Пожалуйте в аппаратную,— предложил Греков.

Они поспешно прошли в телеграфную. На перроне остались растерянные делегаты и дамы, не знавшие, куда теперь девать самих себя и букеты цветов. Понимая, что случилось какое-то происшествие, они в тревоге озирались по сторонам, испуганно переговаривались.

Через несколько минут показалась группа донских офицеров. Они шли медленно, останавливаясь на ходу, оживленно о чем-то говоря и жестикулируя. По перрону, поддерживая шашку рукой, промчался жандарм. Со стороны депо прогудел паровоз. Начальник станции, семеня ногами, выбежал из дежурки и, сопровождаемый двумя офицерами, исчез за углом. Стуча сапогами, вошла пешая полусотня донцов. Караулы из немцев и атаманцев,

видя тревожную суету, потеряли свой подчеркнуто парадный вид. Переступая с ноги на ногу, сломав линию, составив винтовки, оборачиваясь по сторонам и уже не обращая внимания на проносившихся мимо них офицеров, они с жадностью прислушивались и присматривались ко всему. Шепотки, слухи, тревога, недоумевающие вопросы охватили и толпу, ожидавшую на площади.

Из телеграфной вышел Греков. К нему метнулись дамы и один из купцов.

— Господин полковник, позвольте узнать — что же нам делать, оставаться или идти?

— Идти... Поезд запаздывает на...— градоначальник подумал и, махнув рукой, сказал: — на много часов. Отправляйтесь, господа, домой.

Разыскав взглядом в толпе офицеров своего адъютанта, он пальцем поманил его к себе и, отведя в сторону, шепнул:

— Мы сейчас едем на место происшествия. Генерал фон Отт и пять офицеров убиты... а также и полковник Крессенштейн.

Он горестно вздохнул, сняв фуражку, перекрестился и, отведя еще дальше в сторону адъютанта, распорядился:

— Ты, голубчик, останься здесь. К моему приезду выясни, где расположился лакей... тот самый... покойника Крессенштейна... Узнай адрес.

— Так точно. Будет сделано, Митрофан Петрович.

— Вот теперь мы и узнаем, кто из нас «свиней»,— сказал градоначальник, потирая руки.

К перрону подходил экстренный поезд с бронированной артплощадкой и несколькими классными вагонами. На паровозе стоял пулемет, виднелись чубатые головы казаков. Через пять минут поезд был за Ростовом.

Без песен и музыки, топая сапогами, возвращались в казармы юнкерские роты и немецкий отряд.

По городу побежала, вырастая, как снежный ком, весть о крушении немецкого эшелона.

Раевская по-прежнему выступала в театре, пела на концертах и благотворительных вечерах, но весь город знал о том, что певица была любовницей Икаева. На

Спасской улице, где проживала Раевская, все чаще стали показываться люди из торгового и финансового мира Ростова. Рыбопромышленники, спекулянты, мукомолы, хозяева пристаней и ссыпок, степные помещики и коннозаводчики, неопределенные личности с золотыми цепочками, в перстнях, отставные генералы, безработные вельможи, сбежавшие сюда из Петрограда и Москвы, и еще многие другие принялись посещать квартиру актрисы — «салон», как кто-то полуиронически назвал ее. Но это не был салон. Это была деловая контора акционерного общества «Раевская, Икаев и К°», в которой продавалось все, что можно было продать и купить в пределах градоначальства. Пропуска, разрешения на ввоз и вывоз, визы на выезд и въезд, перемещения по службе, повышения, решения военно-полевого суда, получение вагонов и военной охраны, освобождение от мобилизации, открытие новых магазинов и ресторанов, разрешения на балы — словом, все!

— Казбулат Мисостович, у меня к вам есть просьбишка,— беря за газырь Икаева, сказал Греков.

— К вашим услугам, Митрофан Петрович. Все, что прикажете.

— Дело... э-э-э...— отводя глаза в сторону, замялся Греков,— в следующем. Проучить надо одного хама, осмелившегося не далее как позавчера оскорбить меня гнусными... самыми поносными словами. Будь это офицер или, скажем, дворянин, дело проще простого: вызвать на дуэль — и бац ему пулю в харю. А тут другое...

— Большевик? — спросил Икаев.

— Что вы? Разве ж я в таких случаях затруднялся бы! Не-ет, тут случай посложнее...— И градоначальник рассказал о стычке с немецким лакеем полковника Кресс фон Крессенштейна.— Так вот, голубчик, прямо теряюсь я, как быть. Оставить так — не могу, а что другое, понимаете... нельзя. Шум выйдет, все-таки германский подданный.

Икаев перебил его:

— Сегодня же ликвидирую его.

— К-каким образом? — тревожно спросил Греков.—

Прошу помнить, что атаману может не понравиться это дело.

— Пс! — пренебрежительно свистнул Икаев.— Вы как-то упрекнули меня в чрезмерной любви к кинжалу, а ведь напрасно. Есть дела, которые сами лезут на кинжал. Словом, будьте покойны. Где ваш немец? Его адрес?

Греков вытащил из кармана бумажку и поспешно передал ее Икаеву.

— Их там двое. Денщик и лакей.

Икаев в ответ весело взглянул на Грекова и улыбнулся такой откровенной улыбкой, что полковнику стало страшно.

Через день газеты сообщили перепуганным обывателям Ростова о «зверском убийстве двух германских подданных», совершенном подпольным комитетом большевиков на квартире трагически погибшего полковника фон Крессенштейна. «Две неповинные жертвы террористического акта озверелых большевиков,— писала одна из газет,— найдены плавающими в крови, с изрубленными головами и обезображенными лицами. На дверях кабинета покойного полковника убийцами была оставлена записка следующего содержания: «Смерть тиранам, смерть германским империалистам! Так будет поступлено с каждым, кто осмелится помогать донскому казачеству в его борьбе с Совдепами и рабочим классом. Трепещите, буржуи! Да здравствует мировая советская власть!» Трагизм убийства этих несчастных, ни в чем не повинных людей усугубляется еще и тем, что оба должны были через день возвращаться в Германию (один из них — личный лакей полковника Ганс Кемпе, вольнонаемный человек, не военный, другой — денщик) — должны были сопровождать гроб с телом покойного. Все имущество покойного разграблено, квартира перерыта, ценные вещи исчезли».

В другой газете, передававшей ту же сенсацию, статья горько и патетически заканчивалась вопросом: «Видя совершенное возле нас злодеяние, позволительно будет спросить нашу городскую власть — доколе будут продолжаться наглые издевательства и террор больше-

вистских убийц над честными людьми? Мы просим, мы взываем, мы, наконец, требуем от имени всей общественности самыми жестокими мерами отсечь голову подпольной гидре большевизма, угрожающей порядку...».

Издатель газеты, обеспокоенный резкой концовкой, позвонил Грекову, прося принять его, чтобы объяснить причины, заставившие редакцию напечатать статью. Он был приятно удивлен, услышав от градоначальника поразившие его слова:

— Правильно сделали! Золотые слова написали. Даже мало, еще резче следовало бы. Спасибо вам, родной, а газетчику, написавшему правдивую статью, скажите, что пусть в любое время явится ко мне, я его обниму и пожму его честную руку. Кстати, можете сообщить в газете, что розыски убийц уже увенчались успехом.

Вечером этого же дня войсковым старшиною Икаевым в завокзальном поселке было арестовано пять мужчин и одна женщина по обвинению в большевизме и убийстве немецких солдат. Через день было задержано еще трое рабочих, на квартирах у которых якобы была найдена часть вещей полковника фон Крессенштейна.

— Вы гений! Вы Наполеон! Позвольте вас обнять и поцеловать,— сказал Греков, когда Икаев доложил ему, что все обвиняемые «сознались» в предъявленном им обвинении.— Негодяев расстрелять, а копию следственного дела с приговором и актом исполнения отослать германской военной миссии, лично майору фон Бенкенгаузену...— сказал Греков и, отходя шага на два назад, восхищенно оглядел спокойно курившего Икаева и снова сказал: — Наполеон!

— Господин полковник, звонят из атаманской канцелярии: действительный статский советник барон Гревс,— доложил адъютант.

— Что ему надо? — буркнул Греков.

В душе он недолюбливал барона, занимавшего место начальника походной канцелярии атамана. Как всех штафирок и штрюцких, Греков и барона, видного петербургского чиновника, сбежавшего от большевиков на Дон,

считал неполноценным человеком. Однако, зная о связи Гревса с немцами, его вес при Краснове и намечавшееся назначение на пост уполномоченного по иностранным делам, Греков делал умильное лицо при встречах с Гревсом.

— Градоначальник Греков слушает,— беря трубку, важно сказал он, но сейчас же заулыбался и заговорил ласково-простецким голосом: — Это вы сами, барон? Господи, а мне сказали — из канцелярии... Чему обязан приятным разговором?.. Как, как? Избили вашего помощника? Ай-яй-яй... И крепко? — поинтересовался Греков, но, спохватившись, спросил: — Кто же эти мерзавцы?.. Мои? — Голос его понизился.— А-а, нет, нет, дорогой барон, это, наверно, головорезы Икаева, я и сам просто не знаю, что мне с ними делать... Минуточку, прошу одну только минутку,— оглянувшись по сторонам и прикрывая трубку ладонью, тихо пробормотал он.— Я сейчас самолично приеду к вам... Нет, нет... что вы, какое там беспокойство, разве можно... оставить такое дело! Через двадцать минут буду у вас. У меня дело к его превосходительству, так что все равно надо быть во дворце... До приятного свидания!

Повесив трубку, он помолчал, пожевал ус, потом так рявкнул через плотно закрытые двери, что дремавший у входа часовой чуть не выронил из рук обнаженную шашку, а адъютант, переглядывавшийся с одной из посетительниц, вскочил с места и бросился в кабинет.

— Донесения из полиции разбирали? — свирепо спросил Греков.

— Так точно... Все в порядке. Четыре кражи, два ограбления, одно убийство, пожар, но вовремя затушили...— начал было докладывать адъютант.

— К черту пожар, какое там убийство, когда из атаманской канцелярии жалобы на нас сыплются... Помощнику барона Игнатию Петровичу Татищеву где-то морду набили, а вы говорите — «в порядке», — передразнил обозленно Греков.

— Не могу знать... Сейчас прикажу выяснить,— засуетился сотник.

— Через час вернусь. Чтобы на столе было подробное донесение! — подтягивая штаны и вглядываясь в зеркало, приказал градоначальник.

Закинув назад голову, чуть кося глазами на вскочивших с места при его появлении посетителей, он молодцевато прошел через приемную и грузно уселся в затрещавшую под ним пролетку.

— В главное управление! — приказал он.

Барон Гревс, высокий, поджарый, типичный петербургский чиновник, успешно делавший при царе дипломатическую карьеру и неожиданно выброшенный революцией на Дон, был желчным и придирчивым человеком. Он сочинял необычайно хитроумную и сложную бумагу, которую по приказу Краснова должен был послать генералам Эрдели и Деникину на Кубань. Оба эти генерала были не прочь объединиться с донцами против большевиков, но идти в подчинение Краснову не желали. Атаман, не терпевший конкурентов, не хотел ни ссориться, ни мириться с «добровольцами». Барон составлял как раз эту самую бумагу, когда ему доложили о приезде Грекова.

Пряча свое недовольство в кислой улыбке, Гревс почтительно встал, делая движение навстречу градоначальнику. Когда они уселись друг против друга, Греков осторожно спросил:

— И сильно изувечили уважаемого Игнатия Петровича?

— Дали две пощечины и вытолкали под зад из кабинета,— меланхолично ответил барон.

— «Под зад»...— повторил Греков.— «Киселя» дали... И кто? Архаровцы Икаева? — снова полюбопытствовал он.

— Нет. Офицеры вашего гарнизона. Какие-то безусые прапорщики и поручики. Да еще облили соусом весь костюм,— с педантичной точностью рассказывал Гревс.

— Распустились, сукины сыны!.. О-фи-це-е-ры!! Шантрапа сущая... Воевать не хотят, с фронта бегут, а по кабакам скандальничают... Весь вред от них произошел, любезный барон.

— От кого? — не понял Гревс.

— От прапорщиков... Ведь это они, проклятые, рево-

люцию устроили, погубили Россию... всякие там Керенские да Дзевалтовские...

— Керенский не прапорщик... адвокат,— поправил его Гревс.

— Один черт... Знаете старую поговорку: курица не птица, баба не человек, а прапорщик не офицер. Вот так оно и случилось. Адвокатишки из прапорщиков и продали Россию...

— Однако бог с ними, уважаемый Митрофан Петрович. А вот как же быть с печальным инцидентом? — осторожно возвратился к теме Гревс.

— Выясню, сегодня же все выясню, накажу негодяев, по этапу на фронт отправлю, а Игнатию Петровичу сам лично принесу извинения за подобное хамство... И где же это произошло? Неужели в присутственном месте?

Гревс глянул на Грекова и неопределенно кашлянул. Градоначальник сразу же заметил неуверенное движение собеседника и с безмятежно-невинным лицом елейным голоском продолжал:

— Где-нибудь в ресторане?

Барон взглянул в ясные, детски спокойные глаза Грекова. «Старый фигляр, все уже, конечно, знает!» — подумал он и не спеша ответил:

— В публичном доме, где-то возле Садовой.

— В публичном? — взвизгнул Греков, и по его лицу и тону Гревс понял, что полковник действительно ничего не знал.— Повеселился, значит...— не сдерживая улыбки, ухмыльнулся Греков.— А может, по делу зашел...

— Одним словом, скандал,— недовольно перебил Гревс.— По делу или так зашел — дело ведь не в этом. Вы же знаете, что человек он солидный, мой помощник... У него молодая жена... знакомые... Словом, вы сами отлично понимаете, Митрофан Петрович, что подобная история не украшает, а под-ры-вает доброе имя и положение. Может разойтись по городу... сплетни и прочее...

— Понимаю, все понимаю, дорогой барон. Меры будут приняты. Молчание, тайна и так далее. Будьте спокойны, и атаман даже не узнает.

— Я именно сам хотел просить вас об этом,— сказал

Гревс.— Его превосходительство и без того занят сложными государственными деламн...

— Поннмаю, поннмаю! — прощаясь с Гревсом, уверил его градоначальник.

В то время как эта беседа велась в канцелярин атаманского дворца в Ростове, в другой половине зданoccupied, там, где были расположены апартаменты атамана, происходнла другая сцена.

К генеральше Красновой, старой «смолянке», когда-то с шифром окончившей Смольный инстнтут, приехала с дружеским и вместе с тем деловым внзитом ее старая подруга, вдова князя Оболенского Мария Илларноновна, всего десять дней назад прнбывшая из Екатерннодара и благодаря старой дружбе с мадам Красновой назначенная директрисой донского казачьего женского ннститута, носившего пышное наименование «Заведение святой Ннны для благородных девиц».

Дамы пили кофе, заедая его чудеснымн сухарикамн и какой-то особенной «стамбульской» халвой. Поговорнв о прошлой петербургской жнзни, вспомннв Смольный, старых петербургскнх подруг, великосветские балы и выезды, посетовав на то, как ужасно переменилось все в жизни, дамы снова заговорилн о различных пустяках, и наконец, уже прощаясь с атаманшей, княгиня, натягивая перчатки, сказала:

— Ma chére[1], ведь я к тебе не только по влеченню сердца, но и по делу.

— Рада, Мари, услужнть. Говорн, что нужно.

— Не мне, Софи, а институту... Дело в том, что мои девочки... Да, кстати, entre nous, ma chére[2], какне все-такн в большинстве они днкарки... ни понятия, нн такта, ни шарма... Я уж и не говорю о французском языке и манерах... А помннншь, в наше время...

И дамы, уж стоя, еще минут пятнадцать продолжали вспоминать, как у них было в Смольном, какие прекрасные манеры, какое исключительное умение держать себя на балах и в обществе прививали там. Поохав и посе-

[1] Моя дорогая *(франц.)*.
[2] Между нами, дорогая *(франц.)*.

товав, они снова присели на диван, и княгиня продолжала:

— Я хочу в четверг отправить в театр пепиньерок и старшие классы. Конечно, я могла бы послать их в экипажах, но девочки так мало бывают в городе, а им необходим воздух, движение...

— Конечно, конечно, моя дорогая, — охотно согласилась атаманша, силясь понять, о чем ее станет просить Оболенская.

— Но эта хорошая затея может оказаться не осуществимой, и только потому, что в городе, говорят, развелось много хулиганов, апашей... в типично хамском современном стиле...

— О да, о да! — закивала головой Краснова.— Я знаю, но власть борется с этим.

— Говорят, были случаи, когда они приставали к воспитанницам, обливали их словесной грязью, бранились. Ты понимаешь, Софи, о чем я говорю?.. Как было прежде, меня не касается, но сейчас я хочу оградить моих девочек от подобной мерзости!..

— Ну конечно! — согласилась атаманша.

— И я хотела попросить тебя распорядиться дать мне наряд полиции, который проводил бы, ну, конечно, не за спиной, а в некотором отдалении от барышень, довел бы их до театра, дождался окончания спектакля, а затем проводил бы обратно в институт...

— Чудесная мысль! Совершенно правильная, именно так это и следует сделать,— одобрила Краснова.— Умница ты, Мариша, сразу видно в тебе старую смолянку, не то что эта сухопарая Кантакузен.

Дамы расцеловались.

— Значит, я могу быть спокойна? Ты не забудешь моей просьбы? — спросила Оболенская.

— Ну что ты! Я даже сделаю лучше. Об этом я поговорю не с Пьером, а с Грековым. Ты слышала, наверно, об этом чудаке? — осведомилась Краснова.

— Ах, да, чуточку, но самое хорошее и забавное. Расскажи мне об этом боевом рубаке,— попросила княгиня.

И дамы снова сели у столика с кофе, и разговор их продолжился.

— Забавный, но чистый, типично русский, староказацкой складки человек. Прямой, решительный, вер-

ный... притом любит нас с Петром бесконечно! Голову отдаст за своего атамана!.. А как его боится ростовский обыватель... Если бы не Греков, они давно бы подняли здесь бунты и восстания, но он держит их в кулаке,— атаманша сжала в кулак свою ручку.— И какой неподкупный! Ты представляешь, почти голодный всегда. К нам когда приедет, так только и поест как следует. Я всегда стараюсь накормить его побольше... И старик хоть стесняется, но ест всегда охотно. Сразу видно, что голодный...

— Mon Dieu [1]. Есть же еще порядочные люди,— с восторженным удивлением проговорила Оболенская.

— Сохранились! Дома, говорят, на железной койке спит, шинелью покрывается. А ведь большевики ему тридцать миллионов золотом предлагали, чтобы он Ростов им сдал и не помешал восстание устроить.

— Святой человек,— перекрестилась княгиня.— Вот они, такие люди, и спасут Россию. Знаешь что, Софи, я сама поеду познакомиться с ним.

— Зачем это делать, Мари? Я позвоню старику и попрошу дать полицейских.

— Нет, нет, дорогая. Я просто с благоговением приеду к нему... Я хочу познакомиться с обломком прошлого, ведь это же кусок старой России... Нет, дорогая, не лишай меня этого удовольствия. Я завтра же отправлюсь к нему, а ты лишь предупреди его, этого святого старика, о моем визите.

— Хорошо, Мариша. Ты просто будешь очарована им и его приемом.

И дамы, в последний раз расцеловавшись, расстались на этот раз уже на самом деле.

«Хорош гусь, граф, столичная штучка, а в веселом доме заработал себе по морде,— возвращаясь назад, подумал Греков.— Во всяком случае, эти безобразия надо прекратить».

— Ну как, получили донесение? — входя в кабинет, спросил он адъютанта.

---

[1] Боже мой! *(франц.)*

— Так точно. Войсковой старшина Икаев лично доложит о происшедшем... Он у вас в кабинете,— предупредительно открывая дверь, сказал сотник.

Икаев, держа в руках потухшую папиросу, с увлечением читал какую-то книгу. Увидя входящего градоначальника, он поднялся.

— Привет, дорогой Казбулат Мисостович! Как провели ночку, какие новости? — усаживаясь в кресло, спросил Греков.

— Все спокойно, уважаемый Митрофан Петрович.

— А я вот считаю, что не все спокойно. У нас в градоначальстве почтенных лиц по мордасам бьют... Где уж тут до покоя!

— Слышал, слышал, Митрофан Петрович. Вы это про графа Татищева говорите?

— Про него самого,— мотнул головой Греков.

— Ну какой же он «почтенный»! Почтенные лица по веселым домам не шляются... Жаль только, что мало наложили.

— Что вы такое, помилуй бог, говорите! Граф, аристократ, принят в высшем обществе...

— Все это было, а теперь он беженец, никчемное существо, альфонс и лодырь... И если бы не атаман, который знал его еще по Петербургу, и не его графский титул, он бы по пивнушкам побирался да за рюмку водки французские шансонетки пел.

— А ведь это верно,— вдруг согласился Греков.— А кто ему морду набил?.. Все же такое дело нельзя оставить без внимания... Говорят, прапорщики какие-то. Для острастки другим надо выслать их на фронт.

— Можно, конечно, только вряд ли вы это сделаете,— зажигая потухшую папироску, сказал Икаев.

— Почему не сделаю? Обязательно сделаю,— разозлился Греков.— Вам известно, кто эти прохвосты?

— Известно... Один — ваш племянник, хорунжий Греков, а...

— Сергей?! — открыв от изумления рот, сказал Греков.

— Так точно! А другой — племянник Софьи Африкановны,— ласково продолжал Икаев.

— Атаманши? — еле слышным голоском, спросил Греков.

— Да... прапорщик Секретов, сын сестры атаманши.

Наступило молчание. Затем Греков сердито сказал:

— Понаедет к нам на Дон всякая шушера и хулиганит здесь, сволочь! Так ему и надо, дерьмо собачье... И здорово надавали? — осведомился он.

— Не очень... Раза два по шее да раз по лицу смазали.

— Маловато... неполная порция,— с сожалением сказал градоначальник.— А за что побили?

— За что бьют в подобных заведениях? За девочек! — пояснил Икаев.

Греков подмигнул ему и залился мелким смешком.

— Все же я думаю принять некоторые меры. Во-первых, оштрафовать владелицу этого дома — надо призаструнить этих сводниц — тысяч этак на десять...

Икаев молча кивнул головой.

— ...за безобразия в ее вертепе. Их, подлюг, давно следует прибрать к рукам. А затем вызову господ офицеров и помирю их с этим битым графом. А если он упрется, напугаю, что доложу атаману и сообщу его молоденькой жене. Как вы считаете, дорогой Казбулат Мисостович?

— Недурно,— одобрил, вставая, Икаев.— Если я вам больше не нужен, то извините, надо кое-куда съездить.

И он вышел из кабинета. Греков несколько минут посидел в раздумье, потом позвал адъютанта.

— Вызови, голубчик, на завтра, часов так на двенадцать, хозяйку этого милого заведения. Я пок-кажу этой чертовой кукле!

— Слушаюсь! — сказал адъютант.

Греков вытер платком лысину, вздохнул и вдруг расхохотался.

— Наш Сережка — и вдруг графьев по щекам лупцует... Ну и времена пришли, прости господи...

Адъютант осторожно прикрыл дверь, за которой все еще смеялся градоначальник.

Ее превосходительство генеральша Краснова, занятая мыслями о предстоящем грандиозном благотворительном бале-концерте в пользу «недостаточных гимна-

зистов» города Ростова, забыла в тот же день позвонить градоначальнику.

На следующее утро, часов около одиннадцати, в приемной появился Греков, злой, насупленный и мрачный. Рано утром он получил сведение о том, что посланный им в Новороссийск нахичеванский мещанин купец Парсегов, вместо того чтобы реализовать там мерлушку, взятую Грековым из неучтенных складов бывшей русской армии, бежал вместе с деньгами и товаром в Константинополь.

Убыток, понесенный градоначальником, был тысяч до двадцати, и хотя мерлушка была казенной и лично ему не стоила ни копейки, Греков, считавший ее своею собственностью, был потрясен. Градоначальник раздраженно оглядел людей. В нем нарастала ярость от сознания бессилия и обиды за потерянные барыши. Чувство это все росло, искало выхода, и его надо было поскорее излить. Градоначальник остановился возле замершего при его появлении часового. Он внимательно и долго разглядывал ноги казака и затем хмуро спросил:

— Это что такое? — и ткнул в начищенные голенища часового.

— Так что сапоги, господин полковник,— не своим голосом крикнул часовой.

— Сапоги,— мрачно повторил Греков.— Воины, служаки, туды вашу в карусель!! По семи пар сапог у каждого, потому вас и бьют босяки красные...— Он покачал головой. Раздражение не покидало его. Он огляделся и горестно проговорил: — А мы служили, семеро в одном сапоге ходили... и ничего, никаких большевиков не знали...

— Именно так... совершенно справедливые ваши слова,— складывая на животе руки крестом, кланяясь градоначальнику, протиснулся через толпу замерших просителей какой-то человек в длинной добротной поддевке,— золотые ваши слова...

— А ты кто? — наступая на него грудью, вдруг рявкнул Греков.

— Виноват-с, мы купцы... Акимов, железо-скобяные товары,— отступая назад, прошептал человек.

— Ку-пе-ец! — дико закричал Греков, и в его мозгу

пронесся купец Парсегов, одурачивший его с мерлушками.

Объект для успокоения разлившейся желчи был найден.

— Торгаш! Подхалим, обирало!! — замахав руками, крикнул он.— Тебя кто спрашивает, аршинник, что ты в военные разговоры суешься?

— Извините, батюшка,— пролепетал купец.

— «Ба-тю-шка»! — не веря своим ушам и приседая от негодования, завопил Греков.— Это ты меня, суконное рыло, батюшкой зовешь? Ах ты чертово семя, да что я тебе, поп или архиерей долгогривый?.. Я моему государю,— гордо выпячивая грудь и поднимая палец, произнес Греков,— пол-ков-ник, а тебе, сукину сыну, ваше высокоблагородие. А ну, марш отсюда, барбос собачий! — свирепея от собственного крика, заорал он.

Купец рванулся к выходу.

— Киселя ему, киселя под зад! — вспомнив беседу с Гревсом, крикнул Греков, но купец, подхватив полы поддевки, уже несся по лестнице вниз.— Он бы меня еще «вашим степенством» обозвал,— успокаиваясь, сказал градоначальник, оглядывая замерших в испуге людей.— Распустился народ, ни чина, ни звания не соблюдает.— И, уже совсем подобрев, милостиво добавил: — Дайте отдышаться... сейчас начну!..

Посетители были все какие-то надоедливые люди, лезли с разными пустяками, и градоначальник снова стал раздражаться. Неотвязная мысль о потерянных деньгах сидела в голове.

— Ну, живей, живей, что рассусоливаешь! —сердито сказал он старику подхорунжему, пришедшему с просьбой о продаже дома.— Разрешаю. Скажи там, в канцелярии, чтобы написали бумагу.

В кабинет заглянул адъютант.

— Господин полковник, начальница заведения пришла...

Греков, занятый разговором с подхорунжим, услышал только половину фразы. Он сразу повеселел. Вот тот источник, откуда можно хоть несколько пополнить свой убыток.

— Зови ее! — сказал он.

Подхорунжий и адъютант вышли. В кабинет вплыла томная дама лет под пятьдесят, в строгом черном платье, с кружевной наколкой на голове.

«Из жидовок»,— определил градоначальник, глядя на породистое лицо женщины.

— Здравствуйте, полковник! — сказала дама, садясь в кресло, и протянула руку онемевшему от такого нахальства Грекову.— Я пришла по поводу моих девочек...

Видя, что Греков исподлобья мрачно глядит на нее, дама пожала плечами и отвела назад руку.

«Действительно монстр, чудак какой-то!» — подумала она.

— Я — Оболенская! — сказала дама.

— А я думаю — Ицкович! — ухмыльнулся Греков.

Снова наступило длительное молчание. Оба выжидательно и молча смотрели друг на друга. Оболенская удивленно повела глазами. «Вероятно, он плохо слышит»,— предположила она, и, чувствуя себя несколько неловко, княгиня уже громче повторила:

— Я к вам, полковник, по поводу моих девочек.

— «Девочек»...— потирая сухие пальцы, как эхо повторил Греков.

— Да... Как вы, конечно, знаете, им решительно невозможно выходить одним из заведения... Всякое хулиганье, апаши пристают к ним.

— «Апаши пристают»? — набирая для разбега силы и еле сдерживаясь, тоненьким голосом повторил Греков.

— Ужас! Поэтому я прошу вас нарядить отряд полиции, чтобы он провожал барышень, когда они пойдут в город...

Греков, выпучив глаза, смотрел на посетительницу. Подобное нахальство ошеломило его, но Оболенская, ничего не замечая, продолжала:

— ...и, конечно, обратно в заведение....

— Провожать с полицией твоих...!! — вскочив со стула, выкрикнул непристойное слово Греков.— А этого не хочешь? — и он завертел перед носом оторопевшей княгини два больших шиша.— Ах ты стерва, потаскуха, сукина дочь! Я тебе покажу проводы с полицией...

— Что? Что?.. Да как вы смеете, сударь!

— Ск-ка-ж-жите, какая невинность! — перегибаясь

через стол, зашипел Греков.— Охрану ей дай для ее девок! Да от твоих шлюх мне самому горожан оберегать надо!

— Негодяй! Нахал! Я к атаману поеду жаловаться!..

— Ох, напугала! Сейчас умру от страху! «К атаману поеду»! — передразнил Греков.— Я тебе сейчас прикажу плетюганов всыпать, старая сводня. Чего глазами хлопаешь! — заревел он на терявшую сознание Оболенскую.— У тебя в вертепе порядочных людей по мордасам хлещут... Часово-ой! А ну, дай этой ведьме под зад коленкой!

В кабинет вбежал адъютант. Он бросился к махавшему руками Грекову и что-то быстро зашептал.

— Чего, чего? Ты что это городишь? Какая там княгиня? Это же мамаша из публичного дома, за своих девок просит... Мы же ее сами вызвали.

— Никак нет, та сидит в приемной, а эта — княгиня Оболенская... от Софьи Африкановны приехала...

— Ничего не понимаю!! Да ты же сказал «хозяйка заведения»!

— Я сказал — начальница учебного заведения...

Пораженный Греков обтер лицо платком и вдруг стал махать им на побелевшее лицо княгини.

— Не угодно водички? Прошу прощения, малость ошибся,— забормотал он, выливая полграфина на Оболенскую.

Та вздрогнула, приподнялась и, тяжело дыша, поддерживаемая адъютантом, бросилась к выходу.

Греков ошалело смотрел ей вслед, продолжая помахивать платком.

Раздался звонок телефона. Градоначальник апатично поднес к уху трубку.

— Это вы, Митрофан Петрович? — услышал он знакомый голос Красновой.

— Я... я, матушка атаманша! — заикаясь, пробормотал Греков.

— Я направила к вам мою старую петербургскую подругу, княгиню Мари Оболенскую. Это очаровательная светская дама, всего несколько дней назад назначенная директрисой заведения для благородных девиц. Очень прошу вас принять ее как можно лучше...

Градоначальник растерянно повел глазами и икнул.

— Вы слышите меня, Митрофан Петрович? Да что же вы молчите? — раздался снова удивленный голос Красновой, слышавшей только сопение да вздохи градоначальника.

— Матушка... Софья Африкановна, промахнулся!.. Подвели старика, без ножа зарезали, окаянные! — закричал Греков.— Я сейчас... к вам...

И, напяливая на бегу фуражку, градоначальник во всю мочь, словно молодой хорунжий, пронесся через приемную.

— К атаманскому дворцу... карьером! — тыча кулаком в спину перепуганному кучеру, завопил Греков.

Градоначальник трижды ездил на поклон к княгине. Она не хотела принимать его, и только Софья Африкановна, к которой раньше Оболенской успел примчаться Греков, уговорила ее.

— Пойми же, ma chére, роковое стечение обстоятельств. Мы с Пьером чуть не умерли от смеха, когда старик, рыдая, рассказывал о том, как его подвел адъютант. Ты понимаешь, он ждал ту самую... ну, хозяйку этого дома, а хулиган и озорник адъютант, желая подшутить над ним, нарочно доложил ему о тебе. Тут виновата и я... Я забыла позвонить ему, а он человек простой, грубый...

Княгиню передернуло.

— ...привык к фронту, казакам, ну и выпалил разные слова, думая, что перед ним эта особа...

— Да, но есть же, кажется, разница! — возмущенно перебила княгиня.

— Дорогая моя, откуда ему, простаку и моветону, разобраться в таких нюансах!

— Хороши нюансы! — сказала Оболенская.

— Он буквально рыдает. Не может простить себе этой ошибки... Прости его, Мари, а он сам обещает провожать твоих девочек в театр...

Оболенская сморщилась и даже отодвинулась.

— Ну уж нет! Я наслышалась от этого «святого» человека таких выражений о моих воспитанницах, что хватит! Его я, так и быть, прощу, и то лишь из любви к

тебе, Софи, но видеть его у себя не желаю. А полицию свою пусть присылает.

— Пришлю, голубушка ваше сиятельство! Сам с нарядом впереди пойду, только не сердитесь на меня, серого казака! — вылезая из-за портьеры, забормотал Греков.— Подвел, без ножа зарезал меня этот сук-кин...— он поперхнулся на последнем слове, видя, как отчаянно замахала на него Краснова.

Примирение произошло, и через день удивленные ростовчане наблюдали, как градоначальник важно шел впереди длинной процессии воспитанниц института. По сторонам шагали городовые, свирепо оглядывавшие прохожих и из-под полы показывавшие кулаки втихомолку хихикавшим мастеровым.

Адъютант, так и не понявший, в чем же он провинился, уже через день очутился под Царицыном, на фронте.

Первого ноября в Новочеркасске закончилось заседание Большого войскового круга, на котором генерал Краснов рассказал делегатам о том, что его штабом разработан план, в силу которого будет нанесен мощный удар по наступавшим к станице Великокняжеской царицынским красным полкам.

— Ведет их некий шахтер из Донецкого бассейна, кажется, младший унтер-офицер Ворошилов. Части эти плохо обучены, еще хуже вооружены. Дисциплина отсутствует. Продовольствия и амуниции нет. Согласно нашим агентурным данным, в самом Царицыне все готово к вооруженному перевороту. Больше половины мобилизованных красными крестьян и даже рабочих с местных предприятий ждут нашего прихода. Я уже не говорю об офицерстве. Оно почти целиком, за небольшим исключением, предано нам. Называть имена я не буду, но в самом штабе красной царицынской группы верхи военных специалистов — наши люди, и им мы можем диктовать любые условия. Но... надо спешить. Чека усилила свою работу и уже сорвала кое-что задуманное нами. Словом, надо действовать. Я прошу Большой войсковой круг утвердить наш план о немедленном переходе в наступление и обязательном выходе Донской армии за гра-

ницу области Всевеликого донского казачества. Надо захватить важнейшие стратегические пункты красных, а именно: Царицын, Камышин, Новохоперск, Калач и Богучар. Прошу господ высоких представителей это утвердить.

Атаман вытер шелковым платком вспотевшее лицо и оглядел зал. Бородатые, чубатые люди в погонах и с крестами на синих донских казакинах, яркие лампасы; немногочисленные штатские костюмы, три-четыре лысины — это представители буржуазии Парамонов, Король, Леонов... За ними блестят золотые погоны офицеров... Потом опять чубы и широкие седые бороды стариков. Молодежи мало. Молодые или в полках, или... у красных. В ложе сидят немцы. За их наваченными мундирами с широкими плечами виднеется голова Грекова. Атаману вспомнились жалобы, которые сыпались дождем из Ростова, на нового градоначальника и в особенности на его помощника Икаева.

«Надо с ним серьезно поговорить об этом горце, компрометирующем нас перед союзниками»,— подумал Краснов и покосился на левую боковую ложу, в которой сидели немецкая миссия и генералитет. Атаман сжал свои тонкие сухие губы.

Майор Бенкенгаузен сквозь монокль внимательно оглядывал донских представителей.

— Итак, дорогие братья казаки и вы, иногородние сыны великой России, донской атаман ждет вашего слова.

В зале прошло движение, голоса зашумели. Высовываясь из ложи немцев, Греков на виду у всех широко перекрестился и истошно закричал:

— Утверждаем! Чего уж там! Всем сердцем! Всей кровью! Веди нас! Веди, атаман родимый! — И, задевая грудью голову отодвинувшегося в сторону Бенкенгаузена, неожиданно громко запел:

Всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон...

Скрытый на хорах оркестр бурно грянул донской гимн. Депутаты вскочили с мест и, продолжая петь, стали аплодировать Краснову. Немцы, выжидательно помедлив, также поднялись со своих мест.

— Митрофан Петрович, голубчик мой, а ведь я серьезно недоволен вами,— ласково улыбаясь Грекову и держа его за борт мундира, сказал Краснов.

— Мною? Господи Иисусе!— удивился Греков.— А за что, за какие грехи, уважаемый Петр Николаевич?

— Жалобы... Отовсюду жалобы... Да не на вас, конечно, а на этого вашего кавказца, Икаева. Вы, батюшка, будьте с ним осторожней. Хоть он и штаб-офицер русской армии, но типичный головорез.

Греков выжидательно смотрел на атамана.

— Мало того — ходят слухи о каких-то взятках, деньгах, убийствах, и актриса одна ко всему примешана...

Градоначальник неожиданно повернулся и, оставив на полуслове говорившего с ним атамана, вышел в переднюю. Краснов смолк и удивленно посмотрел на закрывшуюся за Грековым дверь. Он не знал, как поступить ему: обидеться или же немедленно вернуть градоначальника.

— Что с ним? С ума, что ли, сошел, или желудок у него не вовремя заработал? — оглядываясь на безмолвно стоявшего в стороне адъютанта, пожимая плечами, сказал Краснов.

Офицер улыбнулся. Дверь широко распахнулась, и в нее размеренным солдатским шагом, вытягивая носки, как на параде, вошел Греков, но уже одетый в шинель, при шашке и в фуражке, из-под которой свисал рыжевато-седой чуб. Четко ступая по паркету атаманского дворца, он грузно подошел к Краснову и, быстро вскидывая руку под козырек, хриплым, чужим голосом произнес:

— Ваше высокопревосходительство! Настоящим имею честь просить о немедленной моей отставке с поста градоначальника городов Ростова и Нахичевани, а также о предании меня военному суду на предмет лишения чинов и орденов, присвоенных мне в бозе почившим российским императором.

Широко открыв рот, атаман в изумлении глядел на застывшего перед ним Грекова.

— Ни-чего не понимаю... Вы что, дорогой Митрофан Петрович, нездоровы, что ли? — участливо и не без тревоги спросил атаман.

— Ваше высокопревосходительство! Здесь нет Мит-

рофана Петровича Грекова. Перед вами полковник Донской армии, градоначальник Ростова, подозреваемый своим атаманом в недостойных офицера делах, а поэтому требующий предания его военному суду,— снова повторил Греков. Его голос дрогнул, и в мутных старческих глазах блеснула слеза.

Краснов растерялся и обмяк.

— Побойтесь бога, Митрофан Петрович, что вы говорите! Что вы только такое изволили выдумать? — смущенно забормотал он.— Да что, я не знаю вас десятки лет, что ли? Откуда вы все это взяли? Я же говорил об Икаеве. Какое это имеет отношение к вам?

— Ваше высокопревосходительство! Если провинился в чем-либо мой непосредственный помощник, то я должен целиком отвечать за него. Это истина, которой я всегда руководствовался. Если войсковой старшина Икаев виноват, то прежде всего прошу судить меня за то, что я был слеп, глуп и недогадлив.— Греков вытер глаза и высоким, звенящим голосом договорил: — Но... войсковой старшина Икаев честнейший, неподкупнейший человек. Это наиболее порядочный джентльмен, какого я когда-либо встречал в своей жизни. Я целиком отвечаю за него. Вся вина его лишь в том, что он искренне любит Россию и ненавидит жидов, большевиков и инородцев.

— Но ведь он же сам осетин... инородец,— удивленно перебил его Краснов.

— Это ничего не значит. По духу он настоящий русский человек, убежденный монархист и бессребреник... но у него враги, и это они обливают его незапятнанное имя грязью.

Краснов нерешительно посмотрел на градоначальника.

— Но я сам помню что-то такое об Икаеве, случившееся в Дикой дивизии в шестнадцатом году.

— Среди горцев это очень распространенная фамилия. Даже в моем охранном отряде Икаевых насчитывается девять человек. Мудрено ли спутать!

— Разве что так...— почесывая подбородок, согласился атаман.— Но вообще, раз вы так горячо рекомендуете его, этого достаточно. Забудьте все и считайте наш разговор как бы несостоявшимся.

— Слушаюсь, ваше высокопревосходительство. Сию

минуту! — проговорил Греков и, четко повернувшись налево кругом, вышел из комнаты.

«Забавный старик, чудак, но кристальной души человек. Честен, правдив, надежен», — подумал Краснов, вспоминая, как вовремя вскочил и запел на круге Греков.

В комнату снова вошел Греков. Атаман, протягивая ему руку, сказал:

— А теперь кушать. Я очень проголодался на этом круге.

— С удовольствием, Петр Николаевич, а особливо если дадите по чепурке цимлянского,— обнимая за талию хозяина, ответил Греков, проходя за ним в столовую.

Шашка, шинель и фуражка градоначальника остались в приемной атамана.

— Казбулат Мисостович! Вчера я выдержал из-за вас баталию. Атамана кто-то нашпиговал против нас, особливо же против вашей особы...— и Греков подробно рассказал Икаеву о беседе с ним Краснова.

Войсковой старшина хладнокровно выслушал градоначальника, и только при слове «актриса» глаза его сузились и загорелись недобрым огнем.

— Я знаю, откуда эти жалобы,— аккуратно стряхивая в пепельницу пепел, сказал он.— Это штучки майора Бенкенгаузена.

— Как? — подскочил на месте Греков.— Майора? Почему именно майора?

— Потому, что результаты немецкого дознания по поводу смерти денщика и лакея Крессенштейна, ведшегося непосредственно за моим, не совпадают с выводами нашего следствия.

Греков побледнел.

— И... что же?

— Немцы потребовали передать в руки своей военно-полицейской разведки дело о смерти германских подданных для дополнительного доследования.

Икаев остановился.

— Да ну же, не тяните,— слабея, еле выговорил Греков.

Икаев с холодным любопытством поглядел на него и с нескрываемым презрением улыбнулся.

— Вы что это, Митрофан Петрович, кажется, перепугались? Напрасно! Именно сейчас и надо быть решительными и смелыми, как никогда. Немцы требуют в свою разведку не только материалы следствия, но также и арестованных по этому делу большевиков. Чтобы проверить,— медленно проговорил Икаев, внимательно глядя на растерянное, вытянувшееся лицо градоначальника.

— Как же быть? — после долгой паузы спросил наконец Греков.

— Очень просто. Дело я немцам переслал, а большевиков...

Глаза градоначальника расширились.

— ...расстрелял этой ночью. Официально же — они бежали из тюрьмы через сделанный подкоп. Вот акт о побеге, вот донесение начальника тюрьмы, вот показания часовых, открывших по беглецам огонь, а вот чертеж и план камеры с местом подкопа.

Греков наскоро перелистал протянутые ему бумаги и нерешительно спросил:

— Вы думаете, этого довольно?

— Абсолютно! А что же еще? Самое главное: были люди, их уже нет. Итак, дорогой Митрофан Петрович, больше храбрости. Вы защищайте меня наверху, а я буду оберегать вас повсюду. К тому же на этих днях я организую разгром тайных, подпольных большевиков. Это будет эффектное дело! Во-первых, очистим от них город, и, во-вторых, атаман еще раз убедится в том, что мы бодрствуем и стоим на правильном пути.

Градоначальник обнял своего друга и без слов смачно, крест-накрест трижды облобызал его.

— Благодарю. Успокоили старика. Вы — гений, Бетховен своего дела, дорогой Казбулат Мисостович. Кстати скажите: эти вот проходимцы, ну вот те, что расстреляны, вправду большевики или так... просто?

Икаев поднял глаза к потолку, задумался и потом ответил:

— Один — это точно. Остальные — нет, но это не важно. Они все рабочие железной дороги, известные начальству как смутьяны и великие подлецы.

Наутро после этого разговора градоначальник, объезжая Ростов, встретил возле собора ехавшего в открытой машине Фрейтенберга. Когда автомобиль поравнялся с фаэтоном, Греков, высунувшись наполовину из экипажа и широко улыбаясь, приветствовал майора. Фрейтенберг очень сухо мотнул головой градоначальнику и отвернулся, продолжая разговаривать с немецким офицером, ехавшим с ним. Греков был ошеломлен. Еще день назад этот самый Фрейтенберг и на круге, и в доме атамана, и у себя в миссии был достаточно вежлив с ним — и вдруг... такой оскорбительный кивок головой. Грекова даже передернуло. «Погубил, погубил меня этот проклятый абрек, головорез, азиатская морда Икаев»,— забывая свое восхищение перед «Наполеоном», в тоске подумал он.

— И надо же было мне ввязаться в эту дурацкую историю с лакеем... Старый дурак, осел,— стуча пальцами по лбу, забормотал он.

Прохожие не без удовольствия глядели на градоначальника, тыкавшего себя в голову пальцем.

— Чего изволите, ваше высокоблагородие? — не разобрав бормотания Грекова, повернулся к нему кучер.

Этот вопрос отрезвил полковника. Он дико огляделся, покачал головой, тяжело вздохнул, привстал и, крестясь на собор, прямо с фаэтона отвесил куполам и сиявшим на них крестам три низких, истовых поклона. Кучер, привыкший к чудачествам своего господина, натягивая вожжи, задержал коней, боясь, как бы градоначальник в порыве молитвенного экстаза не выпал на мостовую. Покончив с поклонами, Греков тяжело опустился на сиденье и, уже успокоенный, натянул на голову фуражку.

Подъезжая к градоначальству, Греков увидел немецкую машину, остановившуюся у подъезда. Из нее, сверкая касками, вышли два незнакомых ему немецких офицера. Немцы прошли в глубь дома. «Завалил, завалил меня, проклятый душегуб,— холодея от страха, подумал Греков.— Отрекусь, свалю все на него. Что называется, и понятия не имел. Черт с ним, с башибузуком, у него небось ни жены, ни семьи. И как он может доказать разговор наш? Свидетелей нет, а о нем, разбойнике, весь

город говорит»,— вдруг надумал он. Ему стало легко, и, готовый ко всему, градоначальник вошел к себе.

Оба немецких офицера очень любезно поздоровались с ним. Греков молча пожал им руки, выжидательно глядя на них.

— Мы явились к вам, господин полькофник, просить вас помогайт нам в один дело, потому што это дело ошень есть близкий к вам...— заговорил один из офицеров.

По спине Грекова забегали мурашки. Перебивая немца, он вдруг неистово закричал:

— Нет! Нет! Я ничего не знаю про это дело! Это икаевская работа!

Оба офицера удивленно посмотрели на взволнованного градоначальника, и первый из них, поднимая бровь, спросил:

— Разве театр есть дело Икаев?

— Ка-кой театр? — в свою очередь изумился Греков, глупо уставясь на собеседника.

— Опера. Который есть в Ростоф.

— А при чем здесь опера? — совершенно ничего не понимая, пролепетал Греков.

— Ошень просто, господин полькофник. Майор фон Фрейтенберг и господин майор фон Бенкенгаузен прислал нас просить вас, господин бюргермейстер, чтобы ваш театр поставиль для германских офицер и сольдат германски опера.

— Как... немецкую оперу? Наш театр? Это можно, поставим, поставим,— обрадованно заговорил Греков.

— Только очень скоро. Солдат скучайт, германски опера его делайт весели. Зо!

— Будет, будет. Сам распоряжусь, так и передайте господам майорам,— провожая гостей до самого выхода, обрадованно сказал Греков.— Ух, черти, вот напугали, а я думал...— и, не договорив, он бухнулся в кресло, долго и сокрушенно покачивая головой.— Эй, кто там, а ну, живо, ведите ко мне этого самого, ну, этого, как его... ну, прохвоста главного из оперы, которого недавно сюда водили,— приказал он вбежавшему на крик адъютанту.

— Кузнецова? Антрепренера? — подсказал адъютант.

— Его, его, душегуба, да чтоб срочно, в чем есть, без промедления. И войскового старшину Икаева попросите тоже.

Антрепренер Кузнецов был вытащен из номера казаками и предстал перед Грековым в той же голубой пижаме и тех же черных, в полоску, брюках. На этот раз Кузнецов был до того перепуган неожиданным вторжением казаков, что без сил рухнул к ногам градоначальника, шарахнувшегося от неожиданности в сторону.

— Ва... ва... ва...— хватая колени Грекова, заикаясь, замычал Кузнецов, в ужасе оглядываясь на молча сидевшего Икаева.

— Да что ты меня за ноги хватаешь, дурья башка! Что я тебе, архиерей или балерина? Вставай сейчас же, а то прикажу плетей всыпать,— обозлился Греков, загнанный в угол ползавшим у его ног антрепренером.

Кузнецов, покачиваясь, встал.

— Вот что, фендрик, немецкие оперы какие-нибудь знаешь?

Антрепренер по-прежнему тупо глядел на градоначальника и тихо подвывал.

— Да замолчи ты, окаянный, что ты людей пугаешь! Ну! — цыкнул, замахиваясь на него, Греков.

Кузнецов смолк и перестал качаться.

— Немецкие оперы, говорю, знаешь?

Антрепренер моргнул глазами, обалдело сказал:

— Так точно!

— Чего «так точно»? — передразнил градоначальник.— Ты назови, какие знаешь.

— «Золото Рейна»,— выговорил Кузнецов.

Градоначальник подумал и, махнув отрицательно рукой, сказал:

— Не надо. Обойдутся без золота. Давай другую.

— «Персифаль».

— Не слышал. Такой не знаю. А еще что есть?

— «Лоэнгрин», — упавшим, жалобным голосом продолжал Кузнецов.

— А-а! Это с лебедем? Видел в Питере в девяносто седьмом году, с Собиновым видел. Это — да! Одобряю!

Но только...— градоначальник придвинулся ближе и грозно спросил: — немецкая ли?

— Вагнера. Чисто немецкая,— сказал Кузнецов.

— Ну, тогда валяй! Да ты не бойся, чего ты, как баба, побледнел да закачался? Ничего тебе худого не будет. Это для солдат германских оперу ихнюю пустить надо. Понятно тебе? — похлопав по плечу антрепренера, пояснил Греков.

— Понятно,— ответил Кузнецов.

— Ну, так ты иди домой, да чтобы к завтрему поставить этого самого «Лоэнгрина».

— К-как... к завтрему?! — сказал Кузнецов. Голос его осекся.

— А так, по-военному. Раз-два — и готово.

— Ник-как невозможно,— еле сказал антрепренер.

— Я тебе покажу, куриная морда, «невозможно»! Сгною, арестанта, в яме! — топая ногой, крикнул Греков.

Антрепренер тихо заплакал и, не в силах выговорить ни слова, плача, качал головой.

— Да я тебе в полдня парад всего гарнизона устрою, а ты фигурантов своих за сутки боишься потревожить! Едем сейчас же в театр, я сам с ними поговорю.

Антрепренер продолжал качать головой.

— Это он прав, Митрофан Петрович,— вмешался Икаев,— за сутки поставить новую оперу — это будет,— Икаев засмеялся,— чудо святого Митрофания, а не спектакль. Дайте им хотя бы неделю сроку.

Кузнецов поднял голову и с надеждой воззрился на Икаева.

— Многовато! — почесывая голову, обескураженно сказал градоначальник. Он подумал, пожевал губами и недовольно сказал: — Ну ладно, согласен. Сегодня у нас шестое ноября. Чтобы двенадцатого на сцене был «Лоэнгрин»!

Кузнецов поклонился и, отходя задом к двери, сказал:

— Слушаюсь! Двенадцатого «Лоэнгрин»!

Придя домой, он с маху выпил бутылку коньяка, вызвал к себе администратора Смирнова и, плача пьяными слезами, рассказал ему о приказе градоначальника. Смирнов, сочувственно вздыхая, распил с ним еще бу-

тылку шустовского коньяка, после чего поспешил в театр поведать режиссеру и труппе о назначенной свыше опере «Лоэнгрин».

Приехавший из Новочеркасска от военной миссии ротмистр Мантейфель лично занялся расследованием истории гибели лакея и денщика фон Крессенштейна. Сухой и холодный, он с кропотливой тщательностью копался во всех деталях этого дела. Ротмистр дважды побывал на квартире покойного Крессенштейна, посетил и тюрьму, из которой пытались бежать арестованные большевики, исследовал подкоп, допросил караульных и начальника тюрьмы, поговорил и с семьями убитых арестованных. Раза два его видели в небольшой греческой церкви-подворье, куда он заезжал, охраняемый рослыми баварскими солдатами. Был он и в театре, интересуясь артисткой Раевской, которой долго и горячо аплодировал после одной особенно удачно спетой ею арии. Он был и у градоначальника, встречался и с Икаевым, всегда любезно раскланиваясь с войсковым старшиной. Икаев был подчеркнуто вежлив с немцем, и только в его черных глазах вспыхивала еле уловимая злая усмешка.

По городу были расклеены афиши, извещавшие о том, что «12-го сего ноября в городском театре для войск е. в. германского императора силами всей труппы будет поставлена опера Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». В означенный день билеты продаваться не будут, о чем администрация театра заранее предупреждает господ горожан».

Восьмого и девятого ноября в фойе и на сцене зала шли репетиции. Артисты и оркестр без отдыха разучивали и повторяли отдельные места оперы. Две костюмерши, плотники, художники и реквизиторы с утра до ночи не покладая рук работали в театре, готовя костюмы, сцены и декорации. Красный, взлохмаченный режиссер ругался с антрепренером и администратором, все время подгонявшими его.

Десятого ноября вечером Греков вызвал по телефону к себе Икаева, находившегося у Раевской.

— Очень необходим мой приезд? — спросил Икаев.

— Настаиваю! Категорически настаиваю на вашем немедленном приезде сюда. Вы нужны. По телефону причины сказать не могу,— ответил градоначальник.

— Хорошо, сейчас приеду.— И, вешая трубку, Икаев сказал Раевской, пожимая плечами: — Кажется, старик уже знает новость. Странно. Я задержал радиограмму. Она у меня вот здесь,— указывая на кармашек бешмета, сказал он.

— О-о! Лишь бы в городе ничего не знали. Мне, милый друг, нужно только еще полтора-два часа. За это время я спущу и немецкий военный заем и обязательства германско-украинского банка, иначе...— артистка развела руками, нервно поднимаясь из-за стола.

— Не знаю, откуда он мог узнать об этом. Разве из Новочеркасска. Но миссия и атаман сейчас, наверно, прилагают все усилия к тому, чтобы никто — ни войска, ни население не узнали об этом. Словом, вы, дорогая, действуйте. Звоните, вызывайте моим именем всех, кого нужно. Я оставляю вам четырех моих конных ординарцев, распоряжайтесь ими по-своему.— Он нежно поцеловал артистку и вышел в коридор.

Спустя минуту конские подковы забили, зацокали под окнами Раевской.

В кабинете градоначальника за столом сидел ротмистр Мантейфель. Возле него высилось пухлое «дело» на немецком языке в синеватой картонной обложке и желтый портфель. У дверей, вытянувшись во весь рост, стоял огромный баварец, в каске, с ранцем на спине и винтовкою в руках. У окна, растерянный, с лицом, покрытым красными пятнами, стоял Греков. Когда Икаев вошел в кабинет, градоначальник вздрогнул, а ротмистр Мантейфель, чуть полуобернувшись, быстро глянул на солдата. Баварец шагнул вперед, становясь у самого кресла немецкого офицера. Икаев внимательно посмотрел на своего бледного, растерянного начальника, чуть ухмыльнулся и, откинув полу черкески, опустил руку в карман. Ротмистр приподнялся в кресле. Икаев медленно достал из кармана свой знаменитый золотой портсигар и, щелкнув крышкой, очень вежливо спросил немца:

— Покурим, господин ротмистр, асмоловских папирос?

Глаза его улыбались, лицо было спокойно и корректно, но зрачки так злобно и хищно сверкали, что градоначальник, слабея, опустился на стул и в страхе закрыл глаза.

— Митрофан Петрович, а вы? Вот господин ротмистр, по-видимому, не хочет наших российских папирос, предпочитает свои. А вы как? Покурите наши донские из знакомого вам портсигарчика.

«Что он, издевается, что ли?» — открывая глаза, подумал Греков и отрицательно замотал головой.

— И вы не хотите? Очень жаль. Ну, тогда я, с вашего разрешения, курну.— И войсковой старшина долго и тщательно раскуривал папиросу, потом глубоко затянулся, пыхнул дымом, пустил колечки, нанизывая их одно на другое, и уже затем сказал: — Вы, кажется, вызвали меня по,— он подчеркнул,— особо важному делу? Я весь слух, весь внимание.

Греков молчал, то бледнея, то снова заливаясь краской. Немецкий солдат, все в той же настороженной позе, таращил глаза на Икаева.

— По-видимому, вы, дорогой Митрофан Петрович, лишились языка. Ну, так я подожду, пока он снова вернется к вам,— усаживаясь в кресло напротив Мантейфеля, сказал Икаев.

Лицо немецкого ротмистра нахмурилось. Он медленно поднял на Икаева глаза и с холодным презрением сказал:

— Сейчас вы узнаете, господин Икаев. Прошу вас, господин полковник, успокоиться и сказать необходимое.

Градоначальник судорожно проглотил слюну и, набираясь храбрости, вдруг воскликнул тонким, срывающимся голосом:

— Войсковой старшина Икаев! Господин офицер войск Германской империи прибыл ко мне от майора фон Бенкенгаузена с просьбой...

— С требованием,— холодно поправил его ротмистр.

— ...да, с требованием арестовать вас...— и, уже пугаясь, Греков жалобно договорил: — Казбулат Мисостович.

— Да? За этим, значит, к вам пожаловал этот доб-

лестный офицер? — спокойио, как бы нехотя переспросил Икаев.— А по каким таким обстоятельствам, желал бы я знать...

— По подозрению... по подозрению... в... в...

— Не по подозрению, а по обвинению в злодейском убийстве солдата великой императорской армии и еще одного немца, подданного Германской империи. Сдайте ваше оружие мне и следуйте за этим солдатом! — вставая с кресла, гневно выкрикнул ротмистр.

Икаев молча сунул окурок в пепельницу и, улыбаясь, покачал головой.

— Плохо, ротмистр, плохо вы подготовились к роли, если взяли с собою для ареста только одного солдата. Вы этим глубоко обижаете меня. Я на фронте один гонял десяток немцев, а тут, в тылу, в городе, вы решили, что я сдамся одному вашему солдату, хотя бы он и был такой верзила, как этот дурак. Знаете что, пошлите-ка за взводом, а то меньшему числу доблестных немецких солдат войсковой старшина Икаев сдаваться не намерен.— И, закурив вторую папиросу, он снова пустил колечко дыма прямо в лицо побледневшему от негодования Мантейфелю.

— Довольно шуток! Хватит этого балагана! Немецкий военный суд расстреляет вас, как бандита, за преступление против германской императорской армии.

— Какой армии? — словно не расслышав, переспросил Икаев.— Императорской? Кстати сказать, ротмистр, такой армии не существует.

Мантейфель поднял брови, всматриваясь в холодные глаза Икаева.

— Да, да! Так точно! Нечего пялить на меня свои рыбьи глаза, господин Мантейфель. Нет ее, этой самой «императорской армии», как нет уже и самого вашего им-пе-ратора. Тю-тю!! Бежал ваш кайзер... И империи тоже нет, рассыпалась. Республика у вас, вроде нашей, а вашего брата сейчас в Берлине рабочие и солдаты так же лупцуют, как лупцевали нас в семнадцатом году. Достукались, мать вашу!..— И, встав на ноги, Икаев выбросил к самому носу откинувшегося назад ротмистра смятую радиограмму.

Солдат, не понимая русского языка, видя побледнев-

шее лицо своего офицера, недоумевающе смотрел на него.

— Да все равно, не будь даже у вас революции... Вы что думали, что Казбулат Икаев так легко н просто дастся вам в рукн? Плохо вы меня знаете, голубчнк! Э-эй, локонта![1] Фа-дэс![2] Фа-дэс! — вдруг гортанно взвнзгнул он.

Дверь разлетелась на обе створки, и трое горцев с маузерами в руках ворвалнсь в кабинет градоначальнн-ка. Греков спрятался за шкаф.

— Вндали! А еще десяток сидят во дворе на конях. Ну что, будете вы читать? — крикнул он, глядя в белое как полотно лицо ротмистра.

Ротмистр молчал.

Тогда Икаев развернул бумагу, медленно и внятно прочел:

— «Сегодня, девятого ноября, в Берлине вспыхнула революция. Солдаты, рабочие и население громят полицейские участкн. Полкн солдат, выкинув красные знамена, бросив фронт, уходят на помощь восставшнм. Другая часть армии без боя сдается англо-французам нли уходит в глубь страны. Кайзер Внльгельм бежал в Голландню. Генерал Гннденбург обратился к союзннкам с просьбою о мире...»

Ну как, хорошо? Вы думалн, что это только у нас, в Россни, так будет, а у вас тишь да гладь? А большевики-то умнее вас оказались. А вот, кстати, и большевистское радио, мы его перехватилн, слушайте и наслаждайтесь.

Икаев вынул нз кармана другую телеграмму.

— «Пролетарии всех стран, соедннняйтесь! В Германни соцнальная революция. Восставшне вместе с солдатами н матросами, создав Советы солдатскнх н рабочнх депутатов, наступают на Берлнн. Фронт дрогнул н распался. По всей стране вспыхнула гражданская война. Кайзер со своей семьей бежал на автомобнле в Голландию. Власть в стране перешла в руки социалистов с Эбертом во главе».

[1] Молодцы! *(осет.)*
[2] Тревога! *(осет.)*

Ну-с? Каково? — И, повернувшись к ошарашенному градоначальнику, выглядывавшему из-за шкафа, Икаев сказал: — Митрофан Петрович, пока об этой телеграмме никому! Я задержал на радиостанции ее опубликование по Ростову. Немцы и атаман уже знают о ней, но, конечно, будут возможно дольше молчать. Вы понимаете, что будет, когда народ узнает о развале,— он иронически подчеркнул,— несокрушимой императорской армии!.. Ауфвидерзеен, герр барон,— раскланявшись с Мантейфелем, издевательски закончил Икаев.

После его ухода наступило молчание. Наконец Греков участливо сказал:

— А может быть, это враки? А, господин ротмистр? Может, это сам Икаев сочинил?

Мантейфель долго молчал, потом поднял голову и проговорил глухим, упавшим голосом:

— К сожалению, это верно. После развала Болгарии и краха австрийцев мы ежедневно страшились и ждали этой роковой катастрофы.

Ночью он застрелился у себя в гостинице.

Скрыть германскую революцию не удалось. Утром одиннадцатого ноября по всему городу были расклеены летучки подпольного большевистского комитета, целиком повторявшие радиограмму, которую читал Икаев. Самоубийство Мантейфеля и вслед за ним лейтенанта Штрауса подтверждали слух о революции. Несмотря на принятые меры, в казарму сорок девятого и пятидесятого полков баварской дивизии попало несколько листовок о бегстве кайзера и событиях девятого ноября. Встревоженные и растерянные офицеры беспокойно прислушивались к разговорам солдат, вышедших, несмотря на приказ, из казармы. Среди солдат кое-где вспыхивали горячие митинговые речи. Фельдфебели попрятались по углам. В штабе дивизии, куда офицеры несколько раз звонили по поводу событий, неизменно отвечали одно и то же: «Пока официальных сведений нет. Держите полки в порядке и дисциплине, сохраняя части по уставу великой императорской армии».

Но уже к трем часам дня «сохранять полки по уставу армии» не удалось. Второй батальон и пулеметная рота

сорок девятого полка, связав офицеров и передав командование батальоном младшему лейтенанту Зейфелю, вышли из казарм. За вторым батальоном последовали и другие. Оба полка баварской дивизии, выбрав полковые и бригадный комитеты, направили делегацию в Новочеркасск, к войсковому атаману Краснову, с требованием немедленной эвакуации на родину закончивших войну и не желающих оставаться на чужбине немецких войск.

Двенадцатого вечером городской театр был пуст. Немецким солдатам уже не было «скучно», и им не нужен был «Лоэнгрин», для того чтобы убить тоску по родине. Немецкие солдаты с красными бантами, без хваленого воинского вида, в шинелях нараспашку, без винтовок толпами ходили по городу. В казармах всю ночь горели огни, слышались речи вперемежку с музыкой, песнями и веселыми танцами.

Немецкие солдаты собирались домой.

У ярко освещенного входа в театр, как одержимый, в отчаянии метался Кузнецов. Губы его дрожали. Он с тоскою глядел на улицу и снова кидался обратно в пустынный, без одного посетителя, зал.

— Никого, никого! Я вас спрашиваю — когда же наконец кончится это издевательство надо мною? — чуть не плача, крикнул он сочувственно смотревшему на него администратору.— Давай им «Лоэнгрина», успокой их нервы! О-о-о! — снова хватаясь за голову, завопил антрепренер.— Расходов, одних расходов больше пятнадцати тысяч на эту проклятую постановку! А кому она теперь нужна? Кто мне возместит убытки?

Актеры, давно готовые к началу, потихоньку смеялись, слыша хриплые проклятия Кузнецова.

— Да это, может, немцы в первый день так, а потом еще повалят сюда, — желая утешить хозяина, предположил Смирнов.

— Знаешь что, голубь, иди ты к чертовой матери со своим утешением! «Первый день так»! — злобно передразнил его Кузнецов.— Что, я не знаю, что такое революция, что ли? Такое точно я еще в феврале семнадцатого года в Полтаве испытал. В первый день они еще хоть бога помнят, через неделю кишки из нас пускать

станут.— Он снова простонал: — Пятнадцать тысяч! Пятнадцать тысяч! Пятнадцать тысяч чистеньких да шесть дней простоя театра!

На Сенной площади, находившейся неподалеку от германских казарм, шел торг. Десятка два немецких солдат, выборных от рот, расположившись вдоль стены большого дома, деловито торговали консервами, сапогами, старым и новым воинским обмундированием, кожами, сбруей обозных коней, артиллерийскими седлами и прочим казенным имуществом. Возле каждого солдата лежал список вещей, которые были разрешены к продаже комитетом. Вокруг, суетясь и напирая, шумела толпа. Казаки из близлежащих станиц, хуторяне, перекупщики, бабы с алчно разгоревшимися глазами, армяне из Нахичевани, несколько хорошо одетых горожан в котелках и бобровых шапках, окружив немцев, наперебой, стараясь перекричать друг друга, справлялись о ценах, рассматривая на свет и щупая ту или иную вещь.

В воздухе мелькали пачки царских, «николаевских» денег. Других денег недоверчивые немцы не принимали, брезгливо отворачиваясь как от думских, так и от керенских и донских ассигнаций.

Из ворот штаба баварской бригады вышел Икаев в сопровождении двух горцев и двух немецких солдат без погон, в накинутых на плечи шинелях. Один из них, молодой рыжеусый человек, крикнул прохаживавшемуся в стороне у конюшен дневальному, курившему короткую трубку. Дневальный, не вынимая изо рта трубки, что-то невнятно промычал в ответ. Он распахнул двери конюшни и, скаля зубы, сделал рукой приглашающий жест.

— Сколько всего строевых коней? — спросил Икаев.

— Триста одиннадцать и девяносто четыре обозных,— хорошо выговаривая по-русски, ответил немец.

И все вслед за ним вошли в конюшню, из которой пахло сеном, слежавшейся соломой, зерном и острым конским потом.

У ворот, ожидая Икаева, держа в поводу оседланных коней, виднелось несколько вооруженных всадников-горцев.

Со стороны площади раздавались голоса спорящих, торгующихся, в чем-то друг друга убеждающих людей.

Спустя полчаса Икаев снова показался во дворе казарм бригады. Он вошел в канцелярию полка, высыпал на стол груду новеньких, шуршащих, еще пахнущих краскою «катеринок». Немецкие офицеры долго и внимательно считали деньги, потом выдали ему бумагу, украшенную печатями с императорским орлом.

Часа через два человек двадцать горцев, помахивая нагайками и арканами, вывели из конюшен и прогнали через площадь огромный табун коней.

Спустя несколько дней войсковой старшина Икаев заехал к Раевской. Актриса, хорошо изучившая его, заметила, что Икаев был чем-то озабочен.

— Что случилось?

— Много нового, хотя ничего неожиданного. Первое — немцы уходят с Украины. Послезавтра их эшелон уезжает и отсюда. Мы остаемся одни против большевиков. Я думаю, дорогая, вам понятно, что это означает?

Актриса кивнула головой.

— Совершенно очевидно, что вся эта всевеликая донская комедия через месяц прикажет долго жить. На фронте опять бедлам. Большевики вновь погромили Донскую армию. Вчера под Гнилоаксайской они уничтожили два полка казаков. Наступление на Царицын не удалось. Генерал Постовский отошел от Сарепты, конница Гнилорыбова разгромлена. Я не пророк, но и не такой дурак, как Греков. Мне кажется, что большевики снова заберут Ростов, а у нас с вами много оснований не желать встречи с ними.

Раевская еще раз кивнула головой.

— Надо легко, незаметно и притом спешно заканчивать дела. Все деньги перевести на доллары и фунты, со всех, кто еще не уплатил долей, теперь же получить их. Расчеты заканчивайте к концу ноября.

— Так скоро?

— Нам незачем задерживаться здесь.

— Я готова. Мне нужно только семь-восемь дней, — подумав, сказала Раевская.

— Очень хорошо. За эти дни я покончу со своими делами.

— А как с градоначальником?

Икаев вместо ответа засмеялся и оглядел себя в зеркало. Раевская окинула его взглядом, в котором не было нежности, любви или чего-нибудь похожего на эти чувства, скорее это был взгляд старшей сестры, гордящейся и любующейся своим делающим успехи братом.

По городу поползли слухи. Говорили о разгроме Донской армии под Аксаем, о паническом бегстве казаков из-под Царицына. На площадях и базарах передавали шепотом слушок о том, что обеспокоенный атаман готовит новую мобилизацию. В течение пяти дней на улицах Ростова дважды появлялись воззвания большевистского подпольного комитета, призывавшие всех трудящихся бороться против Краснова. «Недалек день, когда Красная Армия войдет в Ростов. Дни самодержавного, разбойничьего царствования генералов сочтены. Да здравствует союз рабочих, красноармейцев, крестьян и казаков! Долой Краснова и атаманов! Смерть буржуазии!»

Так заканчивалась листовка, расклеенная по городу 16 ноября, а 19-го в газете «Приазовский край», органе градоначальства, появился приказ № 197, подписанный Грековым.

«Эй вы, подпольные крысы! На днях в городах Нахичевани и Ростове, в связи с маленькими неудачами наших войск под Царицыном, было выпущено воззвание большевиков под заголовком: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Странно. Почему пролетарии всех стран должны соединяться именно в Нахичевани или Ростове-на-Дону? Не понимаю! Да и места не хватит. В воззвании призыв к избиению имущих классов, низвержению существующего строя и введению советской власти и прочее. Словом — все прелести большевизма. Очевидно, что не в пролетариях здесь дело, а просто приверженцы большевизма, сиречь грабители, желают

опять грабить богатых, но должен вас, супчики, предупредить, что теперь это не полагается и категорически запрещено, а потому все те, кто хочет попробовать, не откажите завтра к двенадцати часам дня явиться на Таганрогский проспект, к градоначальству, чтобы не подвергать неприятностям людей посторонних. Если вы хотите сражаться — пожалуйста! Найдите оружие, приходите, и будем драться. Один на один, вас двадцать, и нас будет двадцать. Хотите двести? Пожалуйста, и я возьму двести. Если же не хотите сражаться, приходите без оружия, я вас арестую и отправлю с экстренным поездом в милую вашему сердцу Совдепию или еще кой-куда. А вы, остальные жулики, клеветники и брехуны, приезжие и местные, разных полов и национальностей, заткнитесь и займитесь чем-нибудь более полезным, а то доберусь и до вас.

Полковник *Греков*».

На следующий день весь Таганрогский проспект и квартал, где находилось градоначальство, представляли собой вооруженный лагерь и передовую позицию фронта. По проспекту сновали, то рассыпаясь в цепь, то снова собираясь в кучки, пешие и конные, вооруженные до зубов казаки. У подъезда градоначальства стояла готовая к бою батарея, по углам были расставлены пулеметы, в подвалах и входах магазинов сидели городовые, а по улице, окруженный взводом икаевских горцев, на белом коне взад и вперед носился Греков, размахивая обнаженным клинком.

Квартал был пуст. Дома словно вымерли, и только из-за занавесок и полупритворенных ставней сотни перепуганных горожан с грустным недоумением глядели на бестолково скакавшего Грекова, хриплым голосом выкрикивавшего слова команды. Ровно в час дня градоначальник вынул часы, слез с коня и, стирая со лба струившийся пот, грозно сказал:

— Испугались, подпольные крысы? Жаль, что не появились. Это вам не какой-нибудь Керенский, а полковник Греков! — И уже обыкновенным голосом добавил: — Горнист! Отбой!

Горнист поднял трубу, и весь длинный Таганрогский проспект огласился звуками сигнала.

Громыхая, снялась с передков и проехала батарея. Снялись с позиции пулеметы. Пронеслись тачанки. Прошли пешие сотни и конный казачий наряд. Открылись магазины. Появились люди. Прозвенел первый трамвай, и проспект зажил обычной жизнью.

Окруженный икаевскими горцами, впереди донской сотни ехал градоначальник, бросая по сторонам победные взгляды.

А еще через день в той же газете появился новый приказ. На первой странице рядом с передовой было крупно напечатано:

«Приказ № 203 от 20 ноября 1918 года, г. Ростов. Вслед за появившимися на днях большевистскими листовками по городу неизвестными прохвостами расклеена новая прокламация самого лживого содержания с призывом к забастовке высших учебных заведений, приписывая какие-то обвинения нашему дорогому, любимому донскому атаману. Хотели даже устроить митинг студентов и курсисток. Вероятно, устроители забыли об осадном положении? Напоминаю, что оно существует. Напоминаю также, что теперь вообще настало время работать, а не бастовать. Благоразумие учащихся высших учебных заведений взяло верх (правда, лишь после того, как со своим отрядом и пулеметами прискакал туда войсковой старшина Икаев), и митинга не было. Земно им за это кланяюсь (не всадникам, те действовали по долгу службы, а тем студентам, которые оказались благоразумны). Но здесь была выяснена одна, вероятно очень сочувствующая, Ревекка Эльяшевна Альбум, слушательница Варшавских высших женских курсов, которая призывала к забастовке. Имейте в виду, Ревекка Эльяшевна, что у нас есть донской атаман, выбранный всем донским казачеством, и когда он отказался от своего высокого поста, то все лучшие люди Тихого Дона просили его остаться и тем ясно показали, что лучше атамана у нас нет и что мы «таки да» большевиков не хотим.

Евреи всех слоев и состояний! Обратите внимание на ваших юношей и прикажите им вести себя прилично. Еврейские студенты, учитесь, а не занимайтесь тем, что

вам не полагается. Вы хотите выразить протест, что где-то в Киеве кого-то застрелили? Мы подставляем свои головы на фронтах, чтобы дать вам спокойную жизнь. Поезжайте в Киев и протестуйте, если там, по вашему мнению, неправильно действуют. Да не забудьте, что время теперь переживает весь земной шар весьма тяжелое, и возможно, что в Новой Зеландии или еще где-либо кого-нибудь неправильно убили. Так не опоздайте смотаться туда, а пока на вашей вакансии кто-либо более серьезный подучится. Нет, Ревекка Эльяшевна, не протест вам нужен, нет, вам смута нужна. Разруха родного нам Дона нужна. Не бывать этому — говорит вам старый донской казак и градоначальник. Поняли? Не бывать!!

Я — человек добрый и крови по такому случаю проливать не буду. На первый раз прощаю вас, Ревекка Эльяшевна, но при повторении — не обессудьте!

Градоначальник *Греков*».

В то самое время, когда горожане читали этот сумбурный, анекдотический приказ Грекова, в стороне от станции, за путями, лежал иссеченный шашками труп курсистки Альбум.

— Казбулат Мисостович, люди говорят, что вы купили табун коней у немцев чуть ли не в тысячу голов? — осведомился Греков.

— Тысячу не тысячу, а коней триста купил,— нехотя ответил Икаев.

Греков молча поглядел на него.

— А что это за люди, нельзя ли узнать у вас, Митрофан Петрович? Любопытно знать — кого интересуют мои частные дела?

— Донского атамана, его высокопревосходительство генерала Краснова. Вот, прочитайте, пожалуйста, секретное отношение из войскового штаба.

Икаев взял лист и вполголоса прочел:

— «Его превосходительство атаман Краснов распорядился срочно выяснить, как, каким образом и для каких целей войсковым старшиною Икаевым была произ-

ведена незаконная закупка коней у деморализованных, уходивших в Германию немецких войск и где находятся эти кони. Дознание произвести поручается полковнику Грекову, являющемуся непосредственным начальником войскового старшины Икаева. Начальник канцелярии донского атамана есаул Гладков».

Греков неопределенно усмехнулся и, снижая голос, сказал:

— Да вы не беспокойтесь, Казбулат Мисостович. Это пустяки, обойдется. Такие ли мы дела обламывали вместе!

Икаев молчал.

— Триста коней!! Это, знаете, батенька мой, живые проценты. Это же неиссякаемый источник дохода. На одном фураже, простом ячмене да сене золотые дела можно сделать. Был у меня знакомый по Донскому полку, есаул Шорохов, так тот, знаете ли, услышал раз, как солдаты пели песню:

Возле речки, возле моста
Трава растет шелковая,
Шелковая, муровая,
Зеленая да густая...—

да и взгрустнул. Спрашиваю его: «Что с вами, что раскисли?» А он горестно так отвечает: «Слышите, трава-то какая! Эх, да если бы мне да это местечко с травой, сколько бы я денег на ней заработал!» Да, так это я вот к чему говорю. Продайте мне весь ваш табун для градоначальства, деньги уплачу по высшей расценке, и операцию с покупкой проведем по книгам задним числом. И атамана успокоим, и клеветникам носы утрем, а в смысле выгоды — вы же понимаете, сколько экономии на всякой там травке-муравке да овсе-ячмене для этих коней выйдет. Доходы, натурально, пополам.

— Не могу, Митрофан Петрович, увы, и хотел бы, но... не в силах,— перебил его Икаев.

— Почему не в силах? — удивленно спросил Греков.

— Нет уже коней. Я их и двух дней у себя не держал, тогда же и продал.

— Куда продали?

— Всюду. Точно даже и не знаю. У меня этим занимались мои ребята.

— Вот это здорово! Да как же это, батенька, вы поступили, как посмели?

— Очень просто. Взял и продал. И сметь тут нечего,— скучающим тоном ответил Икаев.

Греков обозлился. По его лицу прошла злая гримаса, щеки покрылись пятнами.

— Э-э, не шутите, не шутите так, Казбулат Мисостович! — взвизгливо выкрикнул он.— Вы, по-видимому, думаете, что это все шутки, пустячки. Ошибаетесь. Предписание донского атамана есть,— он поднял над головою палец,— закон! Высшая для меня инстанция, и я не постесняюсь поступить с ослушниками так, как повелит закон.

Икаев не без удивления смотрел на него.

— Еще не поздно. Есть еще время, плюньте вы на этих коней, передайте их в градоначальство, и закончим неприятный вопрос,— снова упрашивающим голосом сказал Греков.— Черта ли вам в них? Чего упрямиться!

— Да я и не упрямлюсь. Кони эти тогда же партиями и поштучно были проданы...

— Ко-му? — прервал Греков.

— А черт его знает, кому! Кто больше давал, тому. Что я, опись им вел, что ли?

— Позвольте, но ведь при такой продаже кони эти могли попасть черт знает куда! Может быть, даже и к большевикам!

— Может быть... Все может быть...— спокойно подтвердил Икаев.

Градоначальника даже передернуло. Если б Икаев смутился, стал волноваться и попросил помочь замять дело, Греков охотно сделал бы это, но скучающий тон Икаева, его равнодушие, короткие реплики обозлили полковника. «Каков наглец,— хапнул сотни тысяч, провел меня и еще разыгрывает из себя какого-то сноба...» И, не в силах сдержаться, он крикнул:

— Вы... вы... черт знает что говорите! Что вы, не понимаете, что это пахнет изменой?

— Почему изменой? — поднимая на него глаза, спросил Икаев.

— А как же! Не делайте непонятливого лица. Если проданные кони попали к большевикам, то что это, измена или нет, спрашиваю вас?

— Не в большей степени, чем те одиннадцать вагонов казенной пшеницы, которые мы с вами продали подозрительному армянину, комиссионеру Акопяну, неизвестно куда спровадившему зерно. Или, если вам этого мало, то вспомните о четырнадцати пулеметах, исчезнувших вместе с полутораста тысячами патронов к ним...

— Это... это неправда! Они лично мною были переданы для Добровольческой армии генерала Деникина и отправлены на Кубань,— бледнея, сказал Греков.

— Бросьте, Митрофан Петрович, вы отлично, не хуже меня, знаете о том, что они попали не на Кубань, а в район...

— Хорошо, хорошо, хватит об этом, и что вы так кричите? — зажимая Икаеву рот, пролепетал Греков.

— Не волнуйтесь, полковник, стоит ли волноваться по таким пустякам, когда у нас с вами найдутся воспоминания и почище этих. Например, «таинственная смерть греческого подданного Касфикиса». Покажите мне, кстати, его портсигар,— не вы ли у меня его выпросили? Исчезновение харьковских спекулянтов Когана и Каца вместе с их деньгами и товаром; десяток различных хорошо оплаченных шулерами клубных индульгенций; платные, очень выгодные для нас разрешения на открытие разных домов свиданий и прочих подобных увеселительных вертепов и притонов.

Лицо Грекова посерело. Глаза потухли и стали мутными.

— Выпейте-ка воды... да сядьте на стул, а то боюсь, свалитесь на пол,— скаля зубы, посоветовал Икаев.— Да, чтобы не забыть, напомню вам о вагоне кожи и двух вагонах солдатского обмундирования, которое немцы передали вам для армии. Где они, эти вагоны, уважаемый Митрофан Петрович?

— З-замолчите... замолчите, вы не отдаете себе отчета, вы черт знает что говорите! — заикаясь, пролепетал градоначальник и опустился на затрещавший под ним стул.

— Многого я, конечно, сейчас не упомню, но смерть двух немецких балбесов и ограбление квартиры Крес-

сенштейна тоже значится в нашем общем послужном списке.

— Это... не я, это вы... это вы их убили...

— Правильно, не отрекаюсь, я их зарезал, но... вместе с вами!

Греков похолодел. Он съежился и, втягивая голову в плечи, растерянно сказал:

— Неправда! Чем можете доказать это?

Икаев рассмеялся. Подойдя вплотную к обессилевшему градоначальнику, он вдруг насупился, глаза его сверкнули жестким, холодным огнем.

— Ты, фигляр, клоун, ты что, думал, что я не знал и не видел, как ты предавал меня немцам, как старался отвести от себя подозрения этого болвана Мантейфеля? Все знал, все понимал, все видел и ко всему был готов. Первый, кто получил бы в башку пулю, был бы ты...

Греков зажмурился, пытаясь отодвинуться со стулом назад.

— Сиди смирно, ты дерьмо, а не градоначальник,— Икаев неожиданно сильно и звонко щелкнул Грекова по носу.

— Жулик!.. Разбойник! — плача и задыхаясь от боли, стыда и оскорбления, выговорил Греков, закрываясь от него рукой.

— Жулик — это ты, а я действительно разбойник,— подтвердил Икаев.— Ну, довольно, хватит. Окончим нашу приятную беседу, Митрофан Петрович, и вернемся к делу,— миролюбиво продолжал он.

— Уйди, уйди к черту, грабитель! — бессильно прошептал Греков, даже не утирая обильно текшие по сморщенному лицу слезы обиды и негодования.

— Выдержки, характера вам не хватает, дорогой градоначальник,— не обращая внимания на обмякшего Грекова, продолжал Икаев.— Итак, приступим к делу. Так как после нашей дружеской беседы вряд ли нам обоим захочется продолжать дальнейшую высокополезную совместную службу, то я решил просить дать мне двухмесячный отпуск для приведения в порядок своего здоровья, подорванного трудами и неусыпными заботами на благо родины и начальства...

— Смыться вздумал, от большевиков бежите... мошенник,— не переставая плакать, со злорадством сказал Греков.

— Все мы мошенники, и я, и вы, и донской атаман, только я — откровенный, а вы — ханжи и трусы, играющие в благородство. А насчет большевиков — верно, угадали, дорогой Митрофан Петрович, не хочу я с ними встречаться, да и вам не советую. На одной веточке болтаться будем.

— Не дам отпуска. Награбил, наворовал, обобрал жителей, а теперь отпуск...

— Именно теперь и надо, дальше поздно будет. И вам советую: утекайте и вы, пока красные еще далеко. Они все припомнят, ничего не забудут.

— Все равно не дам отпуска,— прохрипел Греков.

— Дашь! Какой смысл не давать? Если меня под суд, то за мной пойдут еще некоторые большие, ох какие большие люди...

— Нет доказательств... Брехня... никто не поверит.

— Все поверят, весь Ростов чирикает, все знают, только случая ждут. Так вы уж лучше, Митрофан Петрович, не создавайте им этого случая, не облегчайте дела. Да и вам лучше: уеду я, валите тогда гамузом все на меня. Я ведь не из обидчивых, как-нибудь вынесу, переживу. А если по-другому избавиться захотите — ничего не выйдет. Во-первых, в пять адресов пойдут письма со всеми фактами и доказательствами нашей совместной деятельности «церкви и отечеству на пользу», как говорили в школах гимназисты, а во-вторых, вы даже и не заметите, как какой-нибудь «неизвестный» из моих головорезов всадит в вас несколько пуль из нагана. Вы знаете меня, да и я знаю вас, поэтому давайте лучше кончим по-хорошему.

— А как же с конями? Ведь атаман требует расследования,— уже не противясь, сказал Греков. Он очень хорошо знал своего собеседника, чтобы беспечно отнестись к его «дружеским» советам.

— Полноте, дорогой начальник, мне ли учить вас! Ведь вы когда-то называли меня гением и Наполеоном, я таков и есть, но, оговариваюсь, только в делах, где пахнет порохом и...

— ...разбоем,— успел вставить Греков.

— Ехидная вставка. Я хотел сказать — кинжалом, но по сути это один черт. Пускай будет «разбоем», а вот по части безгрешных интендантских жульничеств, вроде надувания казны на самане, овсе и дохлых кобылах, как талантливо делал ваш приятель есаул Шорохов, я, сознаюсь, профан. Тут уж вы и гений и Наполеон. Подумайте сами, здесь ваш огромный административный опыт хапания поможет вам...

Греков сердито глянул на Икаева, но промолчал.

— Что, например, если вы ответите атаману, что никакой купли-продажи не было, а была лишь передача больных сапом немецких коней, для того чтобы мы их экстренно уничтожили? Ветеринарный врач за некоторую мзду подпишет акт, вы его препроводите в Новочеркасск, и все будет закончено.

— Знаете, что я вам скажу? Куда уж покойному Шорохову до вас, вы и здесь на своем месте.

— Чему не научишься под вашим руководством, дорогой Митрофан Петрович! Ну, подписывайте приказ об отпуске и давайте помиримся, а я, в знак примирения и искренней к вам любви, подарю золоченый кавказский набор, седло и шашку, настоящую гурду, всю в серебре, золоте и черни. Идет? — Икаев протянул руку все еще ошалело глядевшему на него Грекову.

Греков пожал ее и отвернулся.

— Итак, снова друзья. Прошлое забыто, и восстановлен мир. Оставлю вам, дорогой Митрофан Петрович, рапорт о болезни, отдайте в приказе. Через день-другой зайду прощаться и кстати занесу обещанные подарки. До свидания! — делая небрежный поклон, сказал, уходя, Икаев и добавил уже от самых дверей: — А от большевиков все-таки бегите, пока не поздно.

Греков остался один. Он долго неподвижно сидел на стуле, тупо глядя на закрывшуюся за Икаевым дверь. Слабость и оцепенение не проходили... Вдруг он вскочил и, распахнув ударом ноги дверь, выбежал в переднюю.

— Мер-з-завец... я покажу тебе, убийца!! — разъярясь, заревел он, потрясая кулаком.

Дремавший в углу дежурный казак соскочил с подоконника и, вытягиваясь во фронт, испуганно закричал:

— Виноват, вашсокоблагородие!

Греков в недоумении посмотрел на казака и вдруг визгливо сказал:

— На дежурстве спать? Морду раз-зобью, скотина!! — и замахал кулаками перед самым носом побелевшего казака.

На душе у градоначальника стало легче.

— Пшел вон, р-р-ракалья! — уже успокаиваясь, крикнул Греков.

Через два дня по ростовскому градоначальству был отдан приказ об уходе по «расстроенному здоровью» в полуторамесячный отпуск войскового старшины Икаева, а через день после этого газеты писали, что в Новороссийск прибыли уезжавшие за границу персидский подданный Абас-Кули-заде с женой, которых до самого парохода провожала группа обвешанных оружием горцев. Заняв на итальянском судне отдельную каюту, персидский подданный и его жена утром следующего дня отбыли в Стамбул.

Спустя неделю в газете «Вечернее время» был опубликован грозный приказ градоначальника:

«Приказ № 242, 9 декабря 1918 года, г. Ростов.

Очень много жалоб поступает на незаконные, я бы сказал, безобразно-свинские действия чинов отряда войскового старшины Икаева. Но что это еще за такой «отряд»?! Кто его разрешил формировать на территории ростово-нахичеванского градоначальства? Я такого не разрешал, а посему предлагаю этому сброду немедленно же сдать оружие в комендатуру штаба, а самим — рассеяться. Чтобы и духу вашего на Дону не было. Вам же, войсковой старшина Икаев, делаю строгий выговор за разные дела и делишки, которые зачем-то и кое-кем-то творятся в вашем «отряде». Надоели мне жалобы на вас, надоели сплетни, надоели слухи о том, что вы грабитель, а я — ваш соучастник. Этого еще недоставало! Вы осетин, а я — донской казак, и оба — офицеры,

Держите высоко это звание, а то я ведь не потерплю, положение осадное, ослушника расстреляю, а пока — отстраняю вас от должности председателя военно-полевого суда при градоначальстве. То-то! Это вам не фунт изюму. А вернетесь из отпуска — поговорим.

Градоначальник полковник *Греков*».

Жители Ростова, читая этот приказ, хорошо знали, что войсковой старшина Икаев вместе с певицей Раевской уже несколько дней как выехали из Ростова, а его отряд исчез из города.

Прошло десять лет. В сентябре 1928 года в столице Болгарии, городе Софии, белоэмигрантские газеты «Возрождение» и «Россия» писали о том, что «3 сего сентября, проездом из Парижа, объезжая Балканы, в театре «Славянство» знаменитая русская певица Марина Владимировна Раевская даст свой единственный концерт. В программе Бизе, Бузони, Чайковский, Рахманинов, Глинка, Кюи и старые русские романсы». Афиши с портретами артистки и выдержки из рецензий и отзывов о ее выступлениях в Париже, Белграде, Ницце, Загребе и Бухаресте заполняли улицы города.

Часов около семи в уборную артистки постучали.

— Войдите! — крикнула Раевская, наводя грим и не поворачивая головы.

В уборную вошел какой-то сморщенный, забитого вида старикашка, в рваном, засаленном пиджаке, кривых, залатанных ботинках и несвежем, вывернутом воротничке. Он от двери низко поклонился артистке, шумно высморкался в красный клетчатый платок и, вытаскивая из кармана пучок смятой дешевой гвоздики, смиренно сказал:

— Здравствуйте, благодетельница... высокочтимая Марина Владимировна!

Раевская, наблюдавшая в зеркало за неожиданным гостем, обернулась и удивленно сказала:

— Здравствуйте! Только, простите, с кем имею удовольствие встречаться?

— О-ох! Какое там удовольствие! — горестно вздохнул старик и махнул рукой.— Что я?.. Развалина, быв-

ший человек, беженец... А вот вы, Марина Владимировна, все хорошеете, цветете, еще даже лучше, чем в восемнадцатом году.

Раевская пристальней всматривалась в старика, но он положительно не был ей знаком.

— Не узнаете? Да что удивительного, не только что вы — родная мать и та бы не признала. А ведь мы были с вами знакомы, моя красавица, поклонником ваших талантов был. Я — Греков, помните, ростовский градоначальник, друг и приятель вашего...— старик помолчал, подумал и нашел нужное слово: — знакомого Казбулата Мисостовича Икаева.

Раевская уронила пуховку на пол и медленно поднялась со стула.

— Да, да! Я есмь. Когда-то человек и вельможа, а теперь...— и Греков снова махнул рукой.— Видите, до чего большевики довели: нищ, наг, в рубище, бывает, по неделям хлеба насущного не имею. А за что? За беспредельную честность и беспорочное трудолюбие. Э-эх, да что и говорить! Вот, дорогая Марина Владимировна, что мог, чем был в силах, как старый поклонник вашего таланта, решил отметить появление здесь великой артистки...— И, отвешивая поклон, Греков протянул Раевской замызганный, смятый пучок гвоздики.

— Что вы, зачем это, совсем не надо было,— искренне, с чувством брезгливой жалости замахала руками артистка.

— Не мог. На последние копейки, но не мог иначе. Возьмите, не обижайте старика,— сказал Греков.

— Благодарю вас,— кладя цветы на столик, сказала Раевская,— но, простите, забыла ваше имя и отчество, почему же так это случилось? Ведь для меня не секрет, я, как вы, вероятно, это знали сами, была в курсе многих торговых дел и прочих полезных операций, совершенных Икаевым и вами. Ведь у вас должны были быть большие деньги...

— Дурак, дурак я всегда был, благодетельница, и за это теперь плачусь своей судьбой. Казбулат Мисостович — вот это орел был, гений, Наполеон,— поднимая над головой палец, сказал Греков.— Сколько раз говорил он мне: «Бегите скорее, бегите, пока не поздно»,

А я...— бывший градоначальник горестно покачал головой,— не послушался, думал — Краснов и Деникин спасут Россию. Вместо того чтобы денежки в валюте держать да за границу перевести, я, старый дурак, четыре дома себе в Ростове да хутор под Новочеркасском купил. А как большевики нажали, наши все кинули да побежали кто куда, так я, верите ли слову, в одном мундире, даже без чемодана, от Буденного еле ушел. И вот теперь перед вами... не человек, а нищий Иов. Кабы не добрые люди, погиб бы с голоду. Спасибо, есть еще такие, что помогают старику, чем могут.

Наступило неловкое молчание. Отвернувшись и глядя в сторону, Раевская не очень любезно спросила:

— Вы не обидитесь на меня, если я предложу вам...— она хотела сказать «десять», но, глянув на заплатку, отвалившуюся от башмака бывшего ростовского градоначальника, сказала: — двадцать долларов?

— Ма-атушка моя, благодетельница... унижусь, но возьму. Ведь я,— сдерживая рвавшиеся из горла сухие рыдания, воскликнул Греков,— третьи сутки горячего не ел... курить и то не на что.— И, схватив руку Раевской, стал целовать трясущимися губами ее холеные пальцы.

— Не надо... не надо,—вырывая руку, с брезгливой гримасой сказала Раевская и, достав из сумочки два кредитных билета, сунула их Грекову.

— Святая... ангел, а не человек! — восторженно глядя на нее, бормотал старик, крепко зажимая в кулаке деньги.— А не знаете ли вы, дорогая Марина Владимировна, где в настоящее время находится наш общий друг, войсковой старшина Икаев? — берясь за шапку, спросил он.

— Знаю. В Париже. У нас там общее дело. Большой ковровый магазин,— спокойно ответила Раевская.

Греков долго молчал, потом вздохнул и тоном почтительной зависти сказал:

— Да-с! Умный человек, хотя и из инородцев. Будете в Париже, привет, пожалуйста, передайте.

Он низко поклонился и, облобызав руку Раевской, вышел.

Артистка тщательно обтерла одеколоном ладонь и

пальцы, которые целовал Греков, и сейчас же забыла о нем. Но бывший градоначальник еще помнил о ней. Выйдя на улицу, он спрятал полученные деньги в карман и сердито пробормотал:

— Двадцать долларов. Сквалыга... шлюха паршивая. Весь Дон ограбила со своим жуликом — и на тебе... двадцать долларов.

Он злобно плюнул, не спеша прошел Королевскую площадь и вошел в дом, над входом которого красовалась написанная по-русски большая вывеска: «Меблированные комнаты и ресторация «Тихий Дон» Митрофана Петровича Грекова».



ПУСТЫНЯ

Рассказ

I

У колодца Сары-Туар машина стала. Колеса грузовика буксовали, мокрый, серый песок со свистом летел из-под шин.

— Слезай, доехали,— иронически сказал Груздев.

И пассажиры один за другим спрыгнули на землю.

В этом году весна в Туркмении была дождливой. Мелкие, тоскливые дожди иногда сменялись южными ливнями. Тогда насквозь протекали крыши, и потоки воды заливали дома.

Песок быстро высыхал. Тусклое солнце, уныло желтевшее в облаках, вынырнуло из-за туч и мгновенно обожгло пустыню. И сразу стало легче тянуть за колеса и передок увязшую машину.

От колодца подошли два молчавших, спокойных человека. Это были туркмены в черных высоких папахах, надвинутых на узкие пытливые глаза.

— Придется заночевать,— отбрасывая лопату и вытирая пот с лица, сказал шофер.

— Можно вытянуть силой, припрячь верблюдов, а мы подтолкнем сзади,— посоветовал инженер.

Он спешил на серный завод. От самого Ашхабада он только и делал, что говорил о заводе и богатых ископаемых недрах.

— Завтра пускаем новую...— глядя на свои грязные руки, раздумчиво добавил он.

— Ехать надо,— поддержал его журналист.

Но Груздев презрительно сплюнул и молча пошел к колодцу. И тут один из туркмен сказал неожиданно чистым и правильным русским языком:

— Осторожней, товарищ шофер! Там очень злые овчарки.

И пассажиры с ехидным удовольствием увидели, как их бесстрашный Груздев остановился и опасливо поглядел вперед. Затем неопределенно сказал:

— А я собак не боюсь. Они меня уважают.

Тучи медленно отходили к северу, беспорядочно теснясь и налезая одна на другую.

— Удивительно напоминают отступающую, но еще не добитую армию. Не правда ли? — сказал журналист.

Но его поэтическое сравнение пропало даром. Никто не отозвался, и только Груздев, закуривая папиросу, сказал:

— Ну как — ехать или ночевать? Ежели ехать, давай тогда верблюдов.

И снова тот же туркмен сказал:

— Верблюды будут только к утру. Часа в четыре ночи сюда подойдет караван из Чагыла.

Инженер присел рядом с шофером. Это было молчаливым согласием, и Груздев, разом повеселев, дружески протянул ему коробку папирос. Туркмены тоже закурили и сели рядом на песок.

Минуты три все молча курили. Кругом была пустыня. Бурые, отсыревшие пески громоздились по сторонам. Высокие волнистые дюны вставали над ними. Чахлая серозеленая колючка кое-где прорезала пески. Над нею, покачиваясь и дрожа, стоял саксаул. Его было не много, но даже и этот скупой кустарник украшал и облагораживал строгий пейзаж пустыни. От колодца долетали собачий лай и визг. Низкий, грудной женский голос напевал что-то монотонное и скучное. Запах дыма вился в воздухе. Верблюжий помет густо устилал песок, на дороге белела шелуха от съеденных яиц.

Это все, чем жизнь отметила свое пребывание здесь.

Солнце стремительно падало за дюнами, и черная ночь быстро подходила из-за бугра. Запад, желтый, розовый, еще горел, но пустыня уже была окутана тьмой. Из кочевья принесли горячий кок-чай, и пассажиры, вытягивая губы, с присвистом пили его. Шла тихая беседа, и только Груздев, не умеющий понять красоты и очарования ночи в пустыне, спал под колесами своего «АМО».

Колодец Сары-Туар стоял на разветвлении трех караванных путей, ведших на Дарбазу, Серные Бугры и Эрбент. Отсюда, от Сары-Туара, начинались сухие, безжизненные гряды сыпучих песков и передвигающихся дюн. Километрах в сорока к северо-западу был другой колодец — Чагыл, откуда к утру должен был подойти караван.

— А вы работаете здесь, на серном заводе? — спросил инженер своего соседа туркмена, придвигая к нему пиалу.

— Нет, учусь,— ответил туркмен.

— В Ашхабаде? — сонно протянул журналист.

— В Москве. В Военной академии,— прихлебывая чай из пиалы, просто ответил туркмен.

Это было неожиданно. Человек в длинном халате, так неожиданно подошедший к ним поздней весенней ночью в глубине Каракума, посреди пустыни, в затерянных песках, был слушателем Военной академии.

Журналист растерянно посмотрел по сторонам. Черные очертания кибиток поднимались над землей. Неровная гряда дюн, словно вырезанная ножом, резко стояла над еще бледным горизонтом. Звездное, сверкающее небо низко висело над землей, и аромат пустыни налетал из песков.

— В Военной ака-демии? — переспросил, приподнимаясь, инженер.

— Да! Из школы маршалов.— Туркмен любезно улыбнулся и добавил: — Перешел на второй курс. Чертовски трудно было догонять товарищей! — И, рассмеявшись чему-то, добродушно пояснил: — Ведь я, товарищи, только в двадцать первом году осилил грамоту. Конечно, в академии поначалу было трудно.

Все смотрели на него, как на человека из «Тысячи и

одной ночи» — так внезапно и фантастично было его появление. Экзотика была не в том, что кругом на сотни километров лежали пески, и не в том, что горячее солнце субтропиков накаляло их, и не в этих караванных путях и спасительных колодцах — это было только фоном, — экзотика была в этом скуластом человеке с умными глазами, так неожиданно очутившемся перед ними. Журналист притронулся к его плечу и тихо сказал:

— Товарищ! Расскажите нам о своем прошлом, о своих боевых днях. Наверно, немало пришлось повоевать?

Наступила ночь. Было сыро и прохладно. Инженер застегнул шинель.

— Говорить о себе — это неинтересно. Я лучше расскажу вам, как три года назад вот в этих песках, у этого самого колодца Сары-Туар, погиб в бою с басмачами эскадрон красной туркменской кавалерии.

— Здесь? — переспросил инженер.

— Да. Место, где мы сидим, полито человеческой кровью, — ответил туркмен.

— Никто не спасся? — тихо спросил журналист.

Пустыня спала. Было влажно, и костер из саксаула дымил, плохо разгораясь.

— Спаслось только четырнадцать человек.

Второй туркмен раздул костер. Струйки огня забегали по веткам. От костра пахнуло дымом, овечьим пометом и теплом. Инженер подбросил еще саксаулу и ближе пригнулся к огню.

— Вас, вероятно, удивило, что я, слушатель Военной академии, нахожусь сейчас здесь, вместо того чтобы быть в Москве. А дело заключается в следующем. Я вызван в Ашхабад из Москвы, чтобы присутствовать при разрытии красноармейской братской могилы у колодца Сары-Туар.

— Здесь? — одновременно произнесли путешественники.

— Да, на этом месте. Ночью подойдет караван, и утром мы разроем могилу. Останки павших за революцию товарищей отвезут завтра в Ашхабад для торжественного предания земле. Их похоронят в городском саду. Будет музыка, будут речи. Будет ЦК. Тысячные толпы, близкие, братья, эскадроны родной дивизии...

Его голос звучал глухо, надломленно и гордо. В тем-

ноте не было видно лица говорившего, но слушателям показалось, будто его глаза вспыхнули вдохновенным и гордым огнем.

— Я один из четырнадцати уцелевших людей. Три года назад, израненный, я зарывал их в этих песках.

Голос его дрогнул. Или это только показалось.

II

Нас было девяносто шесть человек. Мы пришли сюда из Ашхабада, перерезав наискосок пустыню. Сзади за нами должны были идти части нашего полка. От персидской границы шли шайки басмачей, и нам нужно было ликвидировать их, не давая проникнуть вглубь. А здесь уже были местные банды — остатки джунаидовских отрядов. Донесения, получаемые нами, говорили о том, что эти шайки не спят, что агентура их действует, распространяя контрреволюционные слухи в глухих местах Каракума. Шайка известного бандита Дурды-Мурды шла на соединение с отрядом прорвавшегося через границу старого басмача Нурли, и местом этой встречи был колодец Сары-Туар.

Численность банд нам была неизвестна, но донесения гласили: «Много-много. Как листьев в лесу!» Не смейтесь! Ведь агенты наши были честные, но неграмотные люди. И комполка, рассказав нам обстановку, прибавил:

— Соединение банд Нурли и Дурды-Мурды произойдет на этих днях, не позже четырех-пяти суток. Вам необходимо теперь же занять Сары-Туар и не допустить встречи бандитов. Берите эскадрон, три пулемета и отправляйтесь. Через день за вами двинутся остальные части полка. В случае чего держитесь стойко.

Через час наш эскадрон переменным аллюром шел к пустыне, стремясь выйти к колодцу Сары-Туар.

Вы, товарищи, все-таки не знаете, что такое пустыня. Пустыня для вас — это море волнистого песка, в котором кое-где пробиваются чахлый саксаул да бурая сухая трава. Европейцы при слове «пустыня» всегда делают страшное лицо и говорят: «О-о! Пустыня — это палящее солнце, от которого некуда уйти. Это безводье и жуткая смерть!» Вероятно, такою же представляется она и вам. А ведь понастоящему пустыня — это беспокойная, копошащаяся,

волнующаяся жизнь. Ведь здесь направо и налево, далеко вглубь и всюду щедрой рукой раскидана жизнь! Всмотритесь в эти пески. Они не мертвы: они живут. В них тоже таится жизнь. Здесь и саксаул, и бурьян, и горький колоквинт, и верблюжья колючка, янгак. Эти высокие бугры далеко не безжизненны. Змеи, скорпионы, тарантулы, земляные крысы населяют их, даже волки и зайцы попадаются здесь. А люди... О-о-о! Людей в этих песках много.

Ведь в «страшном» Каракуме живут до ста тысяч человек; живут полной жизнью кочевников: со своими шатрами, стадами и добром, со своим горем и радостями и с очень темной психологией невежественного человека. Ведь здесь, в этих песках, не так-то легко устроить ликбезы и школы всеобщего обучения. И слухи, сплетни, эти самые «узун-кулак», о которых вы, вероятно, слышали, широкой волной разлетались в пустыне. Баи и их прихвостни, ишаны и кулаки распускали о советской власти всякие небылицы. Говорили о том, что афганский падишах уже занял Ташкент и движется со своими войсками на Ашхабад, будто бывший бухарский эмир овладел Баку и объявил газават [1] всем большевикам. Агенты Джунаидхана, бренча английским золотом, разъезжали от колодца к колодцу и, действуя своими рассказами на темных кочевников, будоражили их. Ишаны и муллы проповедовали газават, читая людям из Корана непонятные арабские изречения и призывая их к борьбе за ислам, к восстанию против большевиков.

Пустыня горела жизнью. Пустыня волновалась, и соединение в этот ответственный момент отрядов двух наиболее отъявленных бандитов, Нурли и Дурды-Мурды, означало восстание одураченных баями людей против своей — советской — власти.

Наши бойцы отлично понимали огромную задачу, стоявшую перед ними. Километр за километром оставлял за собою эскадрон. Пустыня, сухая и спаленная, уже приняла нас. Чтобы выгадать время, мы шли через отдаленные колодцы, минуя караванные пути, тропами, по которым лишь изредка проходят «кумли» — люди пустыни.

Мы шли уже вторые сутки. Как пишется в книгах,

---

[1] Газават — священная война.

день клонился к вечеру. Солнце уходило за барханы, и пески принимали оранжевый цвет. Кони еле шагали, поминутно увязая в песке. И люди и лошади устали. Будь это в обычное, спокойное время, наш рейс был бы иным. Нормальный переход в пустыне надо делать ночью, когда нет над головою мучительного солнца с его беспощадными отвесными лучами. Ночной марш по безводным просторам Каракума хорош еще и тем, что люди и кони чувствуют себя бодрей, меньше хочется пить и влажность песков облегчает движение.

Шли вторые сутки, и день и ночь, останавливаясь лишь на короткие часы привала, когда усталые люди с размаху бухались в песок. Время от времени мы спешивались и вели коней в поводу. Тогда эскадрон растягивался по пустыне на добрый километр и был похож на большой торговый караван.

Вокруг все было тихо. Изредка попадались громадные серые ящерицы-вараны, с темными полосками на чешуйчатой коже. Они лениво отбегали в сторону и бесстрашно шипели вслед, разевая свои большие беззубые пасти. Раза два прокружил над нами залетный степной орел да, сжавшись в комок, переваливаясь через пески, пронесся одинокий волк. Вот и все, что встретилось живого к концу второго дня нашего пути.

Продовольствия было взято с собой много. Его везли на заводных[1] конях и верблюдах. Здесь были консервы, галеты, сахар, чай и лимонная кислота. Опыт переходов по пустыне показал, что подкисленная вода пьется охотнее в жару и значительно утоляет жажду.

Вода — вот главное, что необходимо в пустыне, и хотя мы были вполне обеспечены ею, однако же питьевая дисциплина строго и неукоснительно выполнялась.

Пили мы по команде четыре раза в день: утром, в полдень, в четыре часа дня и в восемь вечера, и никто, ни один человек в эскадроне, не мог глотнуть и капли в другое время. За это грозил расстрел. И это правильно. В пустыне шутить нельзя. Стоит одному нарушить приказ, за ним потянется другой, третий... и боевая воинская часть мгновенно распустится, потеряет дисциплину, а отсюда до гибели и разгрома один шаг. Пили обычно не до

[1] Заводных — запасных.

полного утоления жажды. Только так нужно пить в пустыне. Ведь принятая внутрь вода через полчаса испаряется целиком. Поэтому мы пили небольшими глотками, полоща рот и подолгу задерживая воду. Время от времени мы мочили коням лбы и протирали им глаза и рты мокрыми тряпками.

Пока все было благополучно. Не было ни тепловых, ни солнечных ударов, и только сильная усталость мучила бойцов да несколько набитых холок и сорванных спин у коней составляли нашу заботу.

Уже совсем стемнело, когда мы остановились на отдых у каких-то странных горных гряд, которые нередко встречаются в пустыне. Они были невысоки, но труднопроходимы. Эскадрон спешился. Мы с командиром осмотрели эти гряды. Они высились над пустыней и были отличным местом для отдыха. Мы выставили сторожевое охранение и через полчаса пили горячий чай, заедая его галетами и лепешками. Через несколько минут весь эскадрон спал, разметавшись у подножия начинавших охлаждаться каменных гряд, и только охранение да дежурные у коней бодрствовали, борясь с усталостью и сном.

В два часа ночи, когда пустыня еще куталась в тьму и камни были холодны и влажны, мы двинулись в путь. Сизая, необычная луна светила над пустыней. Вокруг луны стоял молочный, туманный круг, и мы с удивлением наблюдали за странным изменением цвета луны.

Отдых был слишком мал, утомление еще не прошло, и глаза всадников все чаще смыкались.

Мы проскакали вдоль колонны, будя дремлющих людей:

— Подтянуться, не спать!

Командир эскадрона, желая разогнать аллюром дремоту, скомандовал:

— Ры-сь-ю ма-а-арш!

И эскадрон, вздымая еще холодный песок, зарысил по пустыне.

Это было единственное средство превозмочь тяжелое, непреоборимое желание сна. А спать на коне нельзя, ибо неправильные, не согласованные с ходом коня движения неминуемо вызывают набои конской спины.

Пройдя рысью километра два, мы повели коней в поводу. Так, чередуя аллюры, шли мы по пустыне, а солнце

уже выкатилось из-за бархаиов и, живое, горячее, большое, стояло перед нами. И тут мы все заметнли, что оно было какое-то странное и необычное. И опять, как и ночью вокруг луны, вокруг солнечного диска стояло мутное, туманиое кольцо. Бойцы тревожио оглядывались иа нас. Они, так же как и мы, понимали, что этот зной, удушливая мгла и белесые кольца вокруг солнца предвещали песчаную бурю, когда иеукротимый ветер с бешеной силой рвет и взметает на своем пути сотни тонн песку.

Представляете ли вы себе иеудержимо иесущуюся по пустыне силу, страшную, и неукротнмую?

Тревожны стали лица бойцов.

А воздух становнлся все удушливей и жарче. Горизонт затянуло сплошной мглой. От песков пошло сиянне, и противная сухость опалнла нас.

Кони еле шли. Удушье сильней охватнло нас. Небо прииялo фиолетовый оттенок и, казалось, опустнлось иа землю. Оно было близко-близко. Маленькое серое облачко с рваными, неровными краями, показавшееся на горизонте, внезапно стало бурым и стремительно поиеслось на нас.

Пустыня стихла. Где-то в стороне, как бы обегая эскадрон, промчался горячий, обжигающий порыв ветра, и беспощадный, непреоборимый жар полыхнул на нас.

Облако росло. В его сердцевине мрачно белело светлое молочное пятно. Облако неслось и уже настигало нас. По пустыие еще раз пробежал обжнгающий порыв ветра.

Солнце остановилось, покрылось тусклой, свинцовой пеленой и, став беспомощным и жалким, неожиданно иырнуло в бурую тучу и растворилось в ней.

Мы давно потеряли четкий воинскнй строй и плелись кое-как, растянувшись тонкой цепочкой на целый километр. Комэскадрона остановил колонну, подтягивая отставших бойцов. Мы сошли с коней и свели колонну в правильиый квадрат. Несколько коней тяжело легли, другие, опустив понуро головы, стояли не шевелясь, не обращая виимания иа окрики бойцов.

Мгновенная тьма поглотнла все н минуты через две сменилась белесоватой мглой. Пески пришли в движеиие, и вся равнина заволновалась. Почва задвигалась и пошла иам навстречу. И это было особенио страшно. Я, коиечно, знаю, что этого ие бывает, что это только оптический

обман и в поле нашего зрения поднялась и колыхнулась лишь часть дюн и барханов, что сорвавшийся с привязи ветер, неожиданно налетевший на нас,— это он взметнул пелену песку, но в ту минуту ум, ослабленный зноем, жаждой, усталостью и ураганом, забыл обо всем.

Песок колол, резал, царапал глаза. Стало трудно дышать. Мы закутали головы в шинели, и, сбившись в кучу, люди и кони беспомощно ждали конца урагана.

А ветер, перекатываясь по пустыне, неумолчно выл и гудел. Свистел и падал песок. Сквозь шинели мы ощущали его раскаленные, колючие ожоги. На минуту все стихло. Я приоткрыл глаза и выглянул из-под шинели. По пустыне ходили, вертясь и сшибаясь, песчаные смерчи. Горизонт был по-прежнему застлан мглой. А над нами низко-низко проплыла страшная бурая туча, и ее центр — белая сердцевина — становился зловеще румяным. Снова загудел ветер, и отовсюду невидимые гигантские лопаты стали швырять на нас груды песку. Я хотел закрыться шинелью — и не мог. Душная истома ослабила меня. Я как зачарованный смотрел на рдеющее багровое кольцо посреди туч. На моих глазах оно увеличивалось, раздвигало тучу, порывалось вперед и, отодвигая весь мир, заполняло его своим жутким, беспощадным светом. Я глядел на него, и мне было больно и страшно. «Это—смерть! Сейчас оно разорвется и накроет нас пеленой багрового песка»,— думал я, слабый, потрясенный.

И вдруг... розовое пятно рванулось сквозь тучу, раскололо ее, и яркое, бодрое, спасительное солнце хлынуло наружу. Это было наше знакомое, родное солнце. Его лучи разбудили пустыню. Ветер стих, как укрощенный, и песок по-прежнему спокойно лежал неподвижными грядами, только в воздухе еще носились мелкие, невидимые песчинки. Белый радостный день поднимался отовсюду. Жара была та же, но удушье миновало.

Я поднялся с земли. Рядом стоял командир. Его лицо было пепельно-серым, и только глаза горячечно горели и светились нездоровым блеском. «Видно, заболел»,— решил я, но, взглянув на других, понял, что эта серая бледность была результатом пронесшейся бури.

Я оглядел пустыню — и вздрогнул от изумления. Той пустыни, которой мы проходили часа полтора назад, уже не было. Ураган совершенно изменил ее. Дюны, точно они

были живые, ушли, и их волнистые, изрезанные очертания поднимались в противоположиой стороие. Бархаиы встали перед иами, а мы сами оказались в кольце иаметеиного со всех сторои песка. Ровная, спокойиая пустыня сиова горела своими обычиыми огиями. Сверкал песок, жгло солице, голубело высокое небо, и иичто ие говорило о жестоком песчаном урагане, только полчаса назад пронесшемся здесь.

III

К вечеру, усталые, изможденные, мы подходили к колодцу Сары-Туар. От встретившихся по пути людей, шедших из Кургуидука, мы зиали, что Сары-Туар свободен от басмачей.

Трехсуточный форсированный переход по пустыие не прошел даром. Два коия пали по пути, одиииадцать шли со сбитыми спииами и иабоями холок. Остальиые медлеино плелись по пескам, то и дело остаиавливаясь.

Комаидир остаиовил эскадрон и, подбодрив бойцов веселыми словами, повел нас к Сары-Туару. Впереди, шагах в восьмистах, шли дозоры, уже спускавшиеся с барханов к колодцу.

Наступал вечер. Было тихо, и от колодца по ветру тяиулся запах дыма и жилья. Дозоры рысью входили в Сары-Туар. Из кибиток выходили люди. Среди иих были и жеищины.

Значит, встречные говорили правду. Баидиты и старая собака Нурли еще ие подошли к колодцу.

Через иесколько минут мы в походиой колоние с песнями и гиком въехали в Сары-Туар.

У кибиток стояли женщииы. Дети с изумлеиием глядели иа нас. Человек восемь мужчии встретили иас. Это было все мужское населеиие колодца. Оии с почтительиыми лицами отвечали на наши расспросы и длииными палками отгоияли от бойцов огромных бесившихся собак.

Сутки отдыха восстановили иаши силы. Коии были вычищеиы, вымыты и иапоены. Отоспавшиеся люди выглядели весело и сыто. Впервые после выступлеиия из Ашхабада мы ели коисервы и горячий обед. Есть мясо в походе, в пустыие, иельзя, чтобы ие увеличивать жажды, но сейчас, у колодца, где было миого вполие пригодной для питья воды, мы позволили себе это удовольствие.

Настроение бойцов было хорошее. Слышались смех, шутки. Я подошел к отдыхавшим в тени людям. Один из бойцов играл на дутаре старинную народную мелодию бахшей. Другой высоким голосом пел, импровизируя текст песни. Его импровизация относилась к нам, к нашему походу, к песчаной буре, к этому колодцу и к предстоящей встрече с басмачами. Иногда он вставлял смешные словечки, высмеивая бандита Дурды-Мурды и его друга и союзника Нурли, и тогда общий хохот покрывал его пение и однообразный звук дутара.

Пулеметчики были на своих постах. Охранение стояло вокруг колодца, занимая высокие барханы, с которых далеко была видна пустыня. У дороги маячил наблюдательный пост, который задерживал и опрашивал всех проезжавших мимо людей. Но таких было не много. С самого утра и до обеда прошли всего два человека. Один был старик, шедший из Чагана в Экерли; другой — неразговорчивый, сухой, сожженный солнцем — кочевник. Старик много и бестолково говорил, пытаясь объяснить, зачем и для чего он идет в Экерли, где у него живет дочь и осталась верблюдица с грузом. Другой хмуро молчал, неохотно отвечая на наши вопросы. Приходилось по нескольку раз повторять один и тот же вопрос и чуть не подсказывать этому человеку слова, прежде чем он сам открывал рот. Я внимательно следил за ним и так и не мог понять, притворяется ли он полудураком, или же на самом деле был совершенно туп. Из часового опроса мы смогли выяснить только одно: что он погонщик каравана, младший чарвадар, из Эрбента, и что, оставшись без работы, возвращается к себе на родину, в Кизил-Агват. На всякий случай мы решили попридержать его на денек-другой. Когда ему сообщили об этом, он равнодушно выслушал приказ и молча пошел к бойцам, подсел к группе обедавших красноармейцев, жадно поглядывая на еду. Ему дали ложку и котелок, он молча, без слов благодарности, в один момент уплел весь обед и, запив еду водой, так же молча пошел в тень, улегся и быстро заснул. Старичка же, шумного и безобидного, мы отпустили через несколько минут.

Он потолкался между бойцами, выпросил себе на дорогу куска три хлеба и, помахивая палкой, ушел своим путем.

Проходя мимо кибиток, я встретил нашего пленника. Он сидел на кошме и молча ел краюху черного хлеба.

— Здравствуй, товарищ! — окликнул я его.

Он молча поднял глаза и, не отвечая, продолжал грызть хлеб.

— Он, наверно, ненормальный, товарищ старшина. За целый день не сказал и трех слов. Придет, сядет около нас и молчит. Ничего не просит, ничего не спрашивает, все слушает. Дашь ему — съест и опять молчит. Конечно, сумасшедший,— говорили красноармейцы.

Человек ел, никак не реагируя на наши слова, и в то же самое время я видел и чувствовал, что каждое слово отлично доходило до него, но на его темном, непроницаемом лице не было никакого движения.

— Черт его знает, кто он такой! — рассердился командир.— Шпион не шпион, дурак не дурак, вообще подозрительный тип; хотя при желании он мог бы уйти ночью, но не ушел. Надзору за ним никакого. Скорее всего дурак.

Но я по-прежнему был заинтересован. Какой-то внутренний голос настойчиво говорил мне, что этот молчаливый и тупой с виду кочевник был на самом деле совсем иным человеком.

Часа через два двое красноармейцев принесли мне шесть листков, на которых ровными, четкими буквами было написано по-арабски и по-туркменски контрреволюционное воззвание, подписанное Джунаид-ханом, одним из вождей басмачей. Прокламации найдены в разных местах, одна из них висела около самого нашего расположения. Все они были одинаковы.

Точность выражений, отчетливость букв, одинаковый формат бумаги и одинаковые чернила говорили о том, что воззвания эти приготовлены где-то за пограничной чертой и завезены сюда.

Мы собрали бойцов и, разобрав, фразу за фразой, белогвардейское воззвание, полностью разоблачили его, показав, кого и куда зовет своими письмами Джунаид. Меня порадовало то, что наша национальная, лишь недавно сформированная туркменская часть смогла сразу и точно отгадать контрреволюционный смысл воззвания.

Я почти не вмешивался в обсуждение прокламации и лишь изредка направлял беседу бойцов. Вместе с нами

сидели и жители колодца. Они слушали обличающие слова красноармейцев, говоривших о том, что письмо Джунаида нужно только богатым и что советская власть есть власть бедноты, что беднота едина, так как интересы ее во всем свете одинаковы. Жители колодца отвергали призывы мулл и клялись в первом же бою показать всем этим наймитам контрреволюции, как меток глаз и остра сабля в их руках.

Но кто, кто подкинул сюда эти письма? На секунду мы подумали об ушедшем старике. Но его болтливая, забавная физиономия была так добродушна и смешна, что не могла даже и внушать подозрение.

Оставалось: или жители колодца, или же сонный, апатичный кочевник. Скорее всего, он, решил я. Тем более что все время, пока мы вели беседу, этот сонный и равнодушный человек не отходил от нас. Он со вниманием прослушал всю беседу и даже раза два приподнимался, словно желая что-то сказать, как раз в тот момент, когда бойцы говорили о кознях хана, о единстве бедноты и справедливости советской власти. Несомненно, что-то останавливало его, во всяком случае, он потух и, присев на корточки, сделался снова глухим и безразличным человеком.

Прошла еще ночь. Утром обнаружилось, что пленник исчез. Мы тщательно осмотрели песок, обрыскали близлежащие дороги, но ничего не нашли. После недолгого совещания мы выслали три конных разъезда, которые должны были, не удаляясь на большое расстояние, задержать бежавшего. Поиски были безрезультатны. Ни бежавшего, ни его следов они не обнаружили.

Мы были смущены. Ясно, что от нас бежал один из агентов и разведчиков Джунаида.

Появление шпиона и его побег говорили о том, что шайки басмачей бродили около нас и что момент встречи приближался.

Проходили уже четвертые сутки с того момента, как мы пришли сюда. Кругом все было тихо. Население колодца держалось приветливо и спокойно. Из опроса людей мы не выяснили ничего нового. Очевидно, бандиты, узнав о прибытии эскадрона в Сары-Туар, изменили свой

первоначальный план и соединились где-нибудь в стороне. Один из проходивших кочевников сказал, будто в сторону Чагыла ночью прошла конная группа людей, но кто были эти люди, он не знал, так как темнота и страх помешали ему выяснить это. Беспокоило нас другое: отправляя эскадрон, комполка обещал через день-другой прийти сюда со всем полком, но время шло, а со стороны Ашхабада не было ни полка, ни донесений. И эта странная неизвестность тревожила нас. Посоветовавшись со мною, комэскадрона решил на ночь усилить посты и выдвинуть далеко за кочевье пулеметный пост.

— Люди уже отдохнули, отоспались, и это будет нетрудным делом, тем более что сегодня мне почему-то беспокойно,— улыбаясь сказал командир, и в этой не соответствующей его словам улыбке я прочел глубокую тревогу.

Только тут я заметил, что глаза командира глубоко ушли под лоб и вокруг них была черно-синяя кайма. «Когда же он спит? Да отдыхал ли вообще?» — подумал я. Как бы поняв мои мысли, он вдруг нахмурился и быстрым шепотом проговорил:

— Да, брат старшина, тревожно мне что-то. Черт его знает отчего, и сам не пойму. Все кажется, что нависает над нами что-то большое, грозное.— И он, недоумевая, пожал плечами.

— Не спишь ты вовсе, утомился, вот и вся причина. Ложись, все пройдет, когда выспишься,— посоветовал я.

— Да-а, поспать сейчас хорошо бы! — мечтательно протянул командир. Встал с места и, зевая, сказал: — Хо-о-рошо бы пос-па-ать! Еще одну сегодняшнюю ночь отдежурим, и если все пройдет благополучно, то завтра целый день буду отсыпаться!

И по его лицу пробежала такая счастливая и усталая улыбка.

Еще день прошел в тревоге и ожидании. Целый день мы ощупывали в бинокли по всем сторонам пустыню. Ни басмачей, ни ожидаемого нами полка не было. Пустыня была безмолвна и безлюдна. Ни один человек не прошел по ней, и даже местные жители, обитатели Сары-Туара, не выходили из кибиток. Все это было странно, тревожно и предвещало грозу. Красноармейцы были молчаливы.

Командир обошел посты, проверил пулеметы и еще

раз указал иам позиции, поясиив каждому бойцу, как надо действовать в момент нападения басмачей.

Ночь тяиулась иескончаемо долго. Спать ие хотелось, и я пошел вдоль коиовязей, мимо спавших людей. Их равномерное дыхание мешалось с хрустом зерна на зубах коней. Ночь была тихая, и даже собаки, забившись по своим углам, мирно спали. На горизонте чуть заметно редела мгла, и тонкая, еле уловимая белизна проникла в темноту. Восток, словно обрызганый молоком, медленно светлел. Я взгляиул на часы. Было около четырех часов. Вдруг какая-то чериая тень встала передо мной. Я остаиовился.

— Товарищ,— негромко сказал подошедший,— не бойся! Это я.

Луна выглянула из серой пелены облаков. Передо мною стоял бежавший кочевник. Я рванул из кобуры нагаи, ио он спокойно остановил меня:

— Не надо. Не бойся, товарищ комиссар. Скорей буди красноармейцев. Басмачи близко. Они подходят к вашим постам. Через час Нурли и Дурды-Мурды нападут на кочевье. Я пришел сюда из Намангута, где у иих происходил военный совет.

Все это было так неожиданно, что я схватил его за рукав и, держа иаган у самого лица, сказал:

— Ты врешь! Ты шпион Дурды-Мурды. Это ты разбросал здесь прокламации Джунаида. Ты будешь убит, продажная собака!

Он молча покачал головой и, глядя поверх меня вдаль, в пустыню, тихо сказал:

— Нет. Я не продажная тварь. Я бедняк и нищий из племени иомудов, и я первый раз видел большевиков. А разбросал воззвания не я, а сам Нурли, тот старик, которого вы задержали вместе со миой. Это был Нурли. Дай мне воды, я еле стою на ногах от жажды и усталости. За пять часов я прошел сюда большой путь. И торопись, буди людей: через час будет поздно. Басмачи Нурли и Дурды-Мурды сомнут вас, если захватят врасплох.

Я разбудил командира, и страниый человек повторил ему все то, что только что рассказал мне. Через десять минут бойцы уже заняли свои места. Посты были оттянуты ближе к Сары-Туару. Замаскированные пулеметы поставлеиы на барханы с таким расчетом, чтобы ими пора-

жались все подступы к колодцу. Десять бойцов с запасом гранат спрятаны в овражке у самой дороги, остальные легли в цепь. Все это было проделано настолько тихо, что даже обитатели колодца не проснулись. Пленник молча, с видимым удовольствием смотрел на все наши приготовления и удовлетворенно сказал:

— Если же я вас обманул, то вы утром рубите мне голову.

Командир, недоверчиво глянув на него, сказал:

— Не беспокойся, сумеем.

Мы, конечно, ни на йоту не верили словам этого подозрительного человека, но то, что басмачи приближались, было очевидно хотя бы из того, что их шпион был снова у нас.

Приготовившись к отпору, мы обсудили положение. Все было странно и нелепо: и вторичное появление этого человека, и его тревожный рассказ о басмачах, и утверждение, будто бы старик, болтавший здесь безобидные глупости, был сам Нурли.

— Почему же ты бежал отсюда, если ты не басмач? — спросил я.

Арестованый коротко ответил:

— Я не бежал, мне надоело сидеть около вас без дела, и я решил продолжать путь на Ашхабад.

— Почему же ты не сказал, что старик, задержанный вместе с тобой, был бандитом?

— Я тогда не знал этого. Я это узнал только сегодня утром, когда пришел в Намангут. Там меня задержали часовые басмачей и привели к начальнику для допроса. А начальником оказался тот старик, с которым вы меня тогда задержали. Он узнал меня и очень смеялся над вами, рассказывая, как ловко одурачил вас. И все смеялись. И Дурды-Мурды тоже смеялся, когда старик рассказывал, как вы отпустили его, а меня арестовали.

— Почему же ты не остался с ними?

Человек поднял голову и сердито посмотрел мне в глаза, и первый раз за эти дни я заметил в нем некоторое волнение.

— Потому что я нищий, голый бедняк. И отец, и дед, и весь мой род всегда были бедняками и служили в рабах вот таким, как Джунаид и его ханы, — сказал он и нахмурился.

— Поешь ты ловко! Видно, опытная собака! — сказал командир.— А если ты бедняк и потомственный нищий, то почему же ты целых два дня валял дурака, притворялся идиотом, молчал да только приглядывался и прислушивался ко всему?

Пленник встал и, подойдя вплотную к нам, глухо с еле сдерживаемой злобой сказал:

— А потому, что я раньше слышал отовсюду немало сладких слов и от баев, и от мулл, и от ишанов. А еще потому, что я слушал их сладкие речи и много ошибался. Слова их всегда были сладки, а дела горьки. И мне надоело слушать и верить! — Он почти кричал эти слова, размахивая руками, возбужденно и тяжело дыша.— Из-за них я тоже сделал преступление и только месяц назад вернулся обратно на родную землю. Да! Да! — хрипло закричал он.— Я тоже пошел в басмачи, верил в святость мулл и в то, что большевики губят нашу землю.

Мы с изумлением смотрели на него.

— Я ушел тогда с Джунаидом за границу и многое узнал. На свете есть только богатые и бедные, рабы и баи. Одни, как волы, работают всю жизнь. Другие сосут их кровь и труд. Мы остались без крова и хлеба, и наши же вожди и баи продавали нас в батраки любому афганцу или персу. Мы голодали, жили, как псы, а они, как жирные вши, отъедались на нашем голодном теле. И я понял: богатый богатому везде брат, а бедный и богатый всегда враги. Не вы, не большевики, а наши собственные баи — мои враги. Я это понял и решил идти назад. Я уже месяц как пробираюсь к себе домой, работая где попало. И я все слушаю, и я гляжу на все, и я вижу, что большевики это совсем не то, что говорили нам баи. Вы — настоящие люди, вы оберегаете бедных и убиваете богачей, и за это вам слава! Я молчал и только глядел на вас. Я первый раз встретил Красную Армию, о которой много слышал из разных уст. Одни хвалили, другие проклинали. Одни были бедняки, другие — баи. И я увидел, что бедняки говорили правду. Здесь все были равны: и командиры и сарбазы[1]. Вместе ели, пили, смеялись и работали, как одна семья. Я молчал, а сердце мое обливалось кровью. Я молчал, а внутри меня все кипело и кричало, и мне стало

[1] Сарбаз — солдат (*персидск.*).

так больно за мои прошлые грехи, что я встал и сейчас же ушел.

Что-то большое и искреннее было в его лихорадочном рассказе, а скорбные нотки были так правдивы, что даже командир с некоторым теплом в голосе сказал:

— Кто тебя знает, кто ты такой — товарищ или враг! Подождем немного.— И уже совсем по-приятельски добавил: — Да ты присядь и поешь чего-нибудь с дороги!

Беглец покачал головой:

— Есть я не буду. Торопитесь, басмачи близко.

Предбоевое, горячечное ожидание охватило людей. Командир еще раз повторил распоряжения и, подбодрив бойцов, пошел к правому посту. Я остался в окопе наверху барханов. Ночь уже подходила к концу, и свежий бодрящий холодок набегал из пустыни. Темнота сгустилась над нами и, как всегда бывает перед рассветом, наступила непроглядная ночь. Луна скатилась за горизонт, крупные, сверкающие звезды горели на небе.

Я снова вспомнил нашего странного гостя и весь его взволнованный рассказ. Его поведение было подозрительно, но его тон, страстность речи смущали меня. Ведь могло же быть, что невежественный, темный, обманутый баями крестьянин на собственном горбе испытал всю «сладость» эмиграции в «правоверные мусульманские края». Ведь мог же он возненавидеть эту свору бандитов, в которую попал по ошибке. «Подождем до утра. Если басмачи не появятся, значит наш беглец — предатель». И в эту минуту со стороны правого поста раздался окрик, другой — и грохот выстрелов раскатился по пустыне. На дороге застучал пулемет, и разрозненные винтовочные выстрелы опоясали Сары-Туар.

— Не стрелять! — приказал я в своей цепи.— Будем ждать командира. Не робеть! Держаться спокойнее!

Шальные пули несколько раз с воем проносились над нами. Из темноты вынырнула чья-то пригнувшаяся фигура. Это был боец с донесением от командира.

— Басмачи напали на пост номер два. Их разведочная группа, шедшая в голове отряда, натолкнулась на залегших в засаде красноармейцев и была расстреляна в упор. Четверо басмачей убиты, двое раненых взяты в плен. По их словам, Сары-Туар атакуют объединенные банды Дурды-Мурды и Нурли, численностью в шестьсот пять-

десят человек. Атака идет с двух сторон: от дороги и со стороны барханов. Будьте готовы и отбейте бандитов, это приказание командира.

«Со стороны барханов» — это означало, что через пять — десять минут из черной тьмы пустыни на нас полезут басмачи. Я понял опасность положения. Если басмачи прорвутся к колодцу, то весь эскадрон погиб. Его сомнут и раздавят массой. Моментально пришло решение. Я взял шестерых гранатчиков и отполз с ними вперед. Здесь начинался спуск, по которому должны были пройти басмачи. Как только мы швырнем вперед гранаты, то на пламя и грохот взрывов вся цепь должна открыть залповый огонь.

Перестрелка меж тем разгоралась. Со стороны дороги озарили окрестность взорвавшиеся гранаты. Кругом грохотали выстрелы, и по пустыне, разбуженной пальбой, гудя, перекатывалось эхо.

А ночь проходила, и рассвет вплотную подползал к нам. Вдруг меня схватил за руку ползший со мной красноармеец, и мы замерли на гребне бархана. Прямо на нас, тяжело дыша, и спотыкаясь, пригнувшись к земле, густой массой подходили басмачи. Ясно были слышны их дыхание и торопливые, срывающиеся шаги — это осыпался под ними песок. Возня и шорохи стали ближе. В серо-черной предрассветной мгле совсем близко выросло большое темное пятно. Оно двигалось на нас. Нам с вершины барханов был виден блеск их новеньких винтовок. Я крепче сжал свою гранату и, делая знак товарищам, со всего размаху швырнул ее в самую гущу подходивших басмачей. Оглушительный взрыв, за ним четкие взрывы других гранат — и дикий, нечеловеческий вой. Крики, стоны, грохот выстрелов и залпы нашей цепи смешались в один сплошной гул. Швырнув еще по гранате, мы крикнули «ура», и наше «ура» подхватил весь, разбросанный по пескам, эскадрон.

Басмачи были отбиты. Их толпы откатились назад, и в сумерках рассвета черными пятнами лежали на песке разбросанные тела убитых. Утро вставало над пустыней, и резкий звук трубы — сигнал сбора частей — прозвучал по равнине. Это комэскадрона, отбив на своем участке атаку басмачей, собирал воедино свои немногочисленные войска.

Оставив на барханах наблюдение, я свел цепь обратно к колодцу, где немолчно заливалась труба и чернели редкие фигуры красноармейцев.

Командир, радостный и возбужденный, сказал:

— Надо думать, что следующее нападение будет не скоро. Пока что покормим людей.

И эскадронная кухня, как и в обычные дни, ярко запылала огнем.

У нас был убит один красноармеец и ранено двое, да залетной пулей у самого колодца тяжело ранена женщина, выбежавшая из кибитки.

Утро уже наступило, радостное, молодое и свежее. Солнце мягко поднималось над пустыней. В ожидании обеда мы ели галеты, запивали их водой и с тревожным любопытством поглядывали вдаль. Но всюду было тихо. Не было видно ни души, и только вдалеке, за очередной грядой барханов, маячили конные фигуры. Это были наблюдательные посты басмачей.

Не прошло и часа, как со стороны далеких барханов показалось четверо конных. На быстром караковом иноходце, держа в правой руке высокий шест с белым флагом, ехал передовой. Я обвел биноклем далекие барханы. Везде, и справа, и слева, виднелись басмачи. Они, как муравьи, облепили дюны. На дороге чернела группа людей.

— Вероятно, это штаб басмачей,— сказал командир и мечтательно вздохнул: — Вот бы их отсюда шрапнелью!..

Всадник тем временем подъехал ближе к постам и, размахивая флагом, пронзительно прокричал:

— Не... стре-ляй-те... правоверные... во имя аллаха... едем для переговоров...

— Поезжай ты,— сказал командир,— я останусь здесь. Да, смотри, осторожней! — и он выразительно глянул на меня.

Часть красноармейцев, заинтересованная появлением конных и криком передового всадника, поднялась из окопов, кое-кто вылез на бугры, желая получше разглядеть подъезжавшую кавалькаду.

— По местам!— скомандовал командир. — Не оставлять окопов!

Со мной навстречу парламентерам выехало трое бойцов. Держа винтовки на изготовку, мы подъехали к бас-

мачам. Их было шестеро, кроме знаменосца. Рябой и курносый узбек, державший в руках мешок с чем-то, два безмолвных, вооруженных английскими десятизарядками туркмена, худой, с курчавою бородкой мулла, рядом с которым, вытянувшись в седле, сидел человек с бритым лицом. Несмотря на сильный загар и высокую туркменскую папаху, квадратный подбородок, белые, выхоленные руки и свисавшая из-под папахи тюлевая вуаль говорили о том, что это был европеец.

Он снял дымчатые очки и, сощурив серо-голубые глаза, недоброжелательно оглядел нас. Десятизарядная английская «Ли Эндфильд», восьмикратный военный бинокль и фотоаппарат висели на нем.

Возле него находился одетый в пестрый халат крепкий старик с длинной бородой. Все пятеро с коней слегка поклонились нам, и только англичанин холодно щурил свои злые, наблюдающие глаза. Не отвечая на приветствия, я вплотную подъехал к ним. Мне стоило огромного труда не вскрикнуть. Старик был тот самый веселый и беспечный старикашка, всего несколько дней назад болтавший среди нас. Но теперь весь его вид был иной. На нем был дорогой парчовый халат и высокая курпейчатая папаха. За плечами висела новенькая английская винтовка, и из-за полы шелкового бешмета глядела рукоятка большого маузера. И глаза болтливого старикашки были другие. Теперь это были спокойные, уверенные, жесткие глаза, и лишь иногда в них сверкал насмешливый огонек.

«Значит, пленник был прав. Это — Нурли»,— подумал я.

Делая страшное усилие, я овладел собой и, не показывая на лице изумления, равнодушно сказал:

— Ну, говорите — что вам надо?

Все снова молча наклонили головы, и мулла негромко сказал:

— Ночью здесь пролилась невинная мусульманская кровь. К стопам аллаха ушли лучшие сыны туркменского народа. И самое горькое и тяжелое то, что умерли эти люди от своих же, мусульманских пуль. Вместо того чтобы соединенными силами ринуться на врагов ислама, мы, дети одного и того же туркменского народа, убиваем друг друга. За что проливаете вы кровь ваших братьев мусульман? За то, чтобы московские большевики...

— Ты... блудливая байская лиса! Перестань своим поганым языком морочить людей! За этим вы звали нас? — прервал я муллу.— А это,— указывая через плечо пальцем на молча разглядывавшего нас англичанина,— что? Это тоже «правоверный»? Может быть, даже шейх или посланник аллаха? — крикнул я, затем, взглянув на молчаливого старика, спросил: — Ты тоже это хотел сказать, Нурли?

Глаза басмача широко открылись.

— Откуда ты знаешь, что я Нурли?

— А ты что ж, думаешь, что мы не знали, кто ты такой, когда ты у нас валял дурака? Очень хорошо знали! — просто и очень искренне сказал я.

— Почему же вы отпустили меня? — усмехнувшись, недоверчиво спросил Нурли.

— Потому что у нас на то были свои планы. Понял? — засмеявшись в свою очередь, сказал я и уже сухо добавил: — Ну, а теперь — зачем вызывали нас?

Мой маневр удался. На лицах басмачей были тревога и удивление. Мой ответ перепутал их карты. Они молча переглянулись, и мулла, достав из-за пазухи письмо, передал его Нурли.

— Вот,— сказал Нурли,— письмо. Прочти всем своим аскерам. Мы дети одного народа, и нам драться нельзя.

Я молча повернул коня. Нурли схватил меня за руку и угрожающе сказал:

— Ой, не ошибись! Вы, верно, не знаете, сколько здесь наших сил!

И он махнул рукой знаменосцу. Тот привстал на стременах и замахал своим флагом. И сейчас же на буграх и барханах пустыни показались басмачи. Их было много. Гораздо больше, чем тогда, когда я глядел на них в бинокль. Пешие и конные, они сплошным кольцом охватили наши позиции. Казалось, не было конца их бесчисленным полчищам.

— Видал? — торжествующе сказал Нурли.— Это только половина, остальные подойдут сегодня. Все колодцы пустыни с нами. А за ними... Англия, турецкий падишах! Сдавайтесь!

— Довольно брехни, Нурли! Мы не старые бабы, и нас не испугать видом твоей трусливой саранчи. Вчера вас

было еще больше, а сегодня солнце пустыни сушит их мертвые кости!

— Постой, постой! Ты говоришь о наших убитых. А знаешь ли, что полк, шедший сюда из Ашхабада, уничтожен нами? Ты напрасно ждешь. Никто не придет. Сотни красноармейских трупов гниют в песках Джебела. Смотри! — крикнул он, и узбек, державший мешок, вытряхнул из него под ноги моего коня несколько отрубленных, окровавленных голов.

Я сжал зубы и разорвал письмо в клочья.

— Если через час вы не сдадите оружия, с вами случится то же! — резко выкрикнул Нурли.

— Ты! Шакал с продажной душой! Ни через час, ни через год ты не получишь нашего красноармейского оружия. Попробуй возьми!

Красные глаза Нурли налились кровью. Он побагровел, хотел что-то ответить и вдруг, резко повернув коня, помчался обратно, сопровождаемый своей свитой. Англичанин усмехнулся и, что-то пробормотав, поскакал за Нурли.

Мы спешились и, собрав в кучу семь отрубленных, обезображенных голов, засыпали их песком. Потом мы возвратились обратно.

Было около одиннадцати часов. Солнце палило землю, и голубая колеблющаяся дымка вставала над песками.

— Головы могли принадлежать и не красноармейцам. Эти бандитские номера не обманут нас,— засмеялся командир, когда я доложил ему разговор с Нурли.— Они могли с успехом отрезать головы своим же убитым или первым попавшимся путникам в пустыне. Это брехня! Я никогда не поверю, чтобы они могли разгромить красноармейский полк. Дело не в этом, а вот скверно, что до сих пор мы не знаем обстановки.

Мы сидели в тени кибитки, обсуждая положение и дальнейшие планы. Нас было одиннадцать человек: комвзвода, бюро ячейки, командир и я. На барханах, несмотря на зной, стояло наблюдение. Остальные бойцы были сведены вниз, где отдыхали в ожидании ежеминутной тревоги.

Несмотря на зной и палящее солнце, мы чувствовали себя неплохо. Горячая пища и свежая колодезная вода укрепили бойцов.

Несомненно, что положение басмачей было значительно хуже. Ведь они находились в открытых песках, без воды и без всякого прикрытия, что, конечно, должно было сказаться и на их боеспособности.

— Вот потому-то нам особенно нужно быть начеку,— сказал командир.— Ясно, что к вечеру бандиты полезут сюда. Ведь если они не займут колодца, то через день-другой они все там подохнут от жары и жажды. Уйти же отсюда, не взяв колодца, им нельзя. Ведь это будет их поражением, и весть о нем обежит пустыню. К тому же оставить позади себя сильный красноармейский эскадрон — это значит иметь все время угрозу в тылу. Ясно, что басмачи во что бы то ни стало атакуют нас.

Конечно, это было так. И то, что в течение нескольких часов они успели уже совершить не одну демонстрацию, делая вид, будто обходят своей кавалерией фланги, ясно говорило, что басмаческие стратеги, пользуясь обилием своих войск, решили утомить нас, тревожа и беспокоя малочисленный эскадрон. Иногда из-за бугров показывалась конная лава противника и, налетая на наши посты, открывала огонь. Было ясно, что цель этих налетов одна: возможно сильнее беспокоить и нервировать наших бойцов.

Было достаточно двух пулеметных очередей, чтобы вся эта вразброд скачущая орда показала тыл.

Почти весь день мы энергично укрепляли наши окопы, углубляя и выравнивая их.

— Старшина, пусти меня из-под стражи,— сказал пленник.— Напрасно держишь около меня часовых, ведь сейчас в цепи нужен каждый человек, а ночью они пригодятся особенно.

— Почему ты думаешь — именно ночью?

— Потому, что я сам был басмачом и отлично знаю их привычки. Басмачи, как шакалы, нападают только ночью!

Я недоверчиво покачал головой. Было бы наивно поверить словам этого странного человека.

— Напрасно ты не веришь мне, командир. Ведь я ни в чем не обманул вас. Басмачи пришли, они напали на

вас, и вы благодаря мне сумели вовремя отбить их нападение. Разве я предупредил бы вас, если б был вашим врагом?..

Я молчал.

— Или я сказал бы вам, что я бывший басмач, бежавший за границу? Зачем мне нужно было это говорить?

Я продолжал молчать, пристально глядя на него.

Он вздохнул и тихо сказал:

— Твое дело, командир. Я больше не скажу ни слова.

Командир поднял голову и, подойдя ко мне, сказал:

— Не знаю, как ты, но я верю ему. Мне кажется, его надо освободить.

Я молча кивнул головой.

— Теперь не время спорить. Я беру на себя ответственность за это — и как командир и как член партии.

— Хорошо,— сказал я, и мы разошлись по своим местам.

Вечер наступил, как всегда, неожиданно и сразу. На холмах оживленнее замелькали фигуры басмачей. Наступившая прохлада оживила их. Длинная колонна войск, то проваливаясь за бугры, то снова возникая на дюнах, потянулась в обход наших позиций. Конные дозоры противника спустились на равнину и, медленно съезжаясь и разъезжаясь, стали приближаться к нашим постам.

По первой же тревоге бойцы в порядке заняли свои места. Вдоль цепи на своем сером коне медленным шагом проехал командир. Не отнимая бинокля от глаз, он задержал коня и негромко сказал мне:

— Ну, старшина, держи крепко левый фланг. Ни за что не отдавай его бандитам. В нем ключ всех позиций.

Спустя несколько минут я снова увидел его. Он шел к коноводам в сопровождении нашего пленника.

Признаюсь, я был даже раздосадован такой неосторожностью командира.

«И чего он так доверился ему?» — подумал я, но обстановка приближающегося боя и ответственность за свой участок отодвинули в сторону мысли о подозрительном кочевнике, и я позабыл о нем.

А обстановка резко менялась у нас на глазах. Вчерашняя неудача, видимо, научила кое-чему басмачей.

Решимость покончить с нами была видна во всех их действиях. Прежде всего, они повели правильное наступление, со всеми необходимыми предосторожностями. Их густые цепи шли на расстоянии сорока — пятидесяти шагов одна от другой. В то же время сотни полторы кавалерии, приняв строй уступами, быстро подходили к нашим центральным постам. Со стороны дороги, там, где были коноводы и наша небольшая жидкая цепь стрелков, показалась обходная колонна басмачей. И наконец далеко за пехотой двигался конный резерв; там, вероятно, находился штаб обоих басмаческих вождей, так как несколько значков высоко колыхалось над всадниками. Я обвел биноклем наступавшего противника. Да, нашему немногочисленному эскадрону предстояло жаркое дело. Только хладнокровие, дисциплина и высокая сознательность бойцов могли победить эту бесчисленную орду басмачей. Я посмотрел на товарищей, и сердце мое переполнилось радостью. Спокойные, наблюдающие, внимательные лица. Пристальные, настороженные взоры и твердые, уверенные руки, прижатые к стволам ружей и пулеметов.

Так прошло минут семь. С правого фланга грянул первый залп, сейчас же вся наша позиция опоясалась несмолкающим огнем. Сразу же вошли в дело все наши пулеметы. Противник наступал отовсюду. Его было так много, что только бешеный огонь мог остановить его.

А над нами горело пышное, разноцветное небо. Закат, яркий и пестрый, охватил полнеба. Длинные оранжевые столбы вставали над пустыней, окрашивая горизонт в фантастические цвета.

Винтовки уже накалились и, несмотря на ствольные накладки, стали обжигать пальцы. Пулеметы, словно взбесившиеся псы, заливались по всему фронту неумолкающим, истерическим лаем. Кое-где рвались наши гранаты. Это значило, что там противник подошел вплотную к цепи.

Часть басмачей, не выдержав нашего огня, залегла и в свою очередь открыла огонь по Сары-Туару. Другие заметались и, отходя, сбились к флангам, примыкая к отрядам, обходившим нас. Желая прикрыть отход расстроенной пехоты, кавалерия басмачей дважды кидалась в атаку на наш участок, но оба раза, сбитая огнем, поворачивала обратно. И только левая группа наступающих, не-

ся огромные потери, сумела подойти к кочевью и залечь шагах в ста пятидесяти от него.

Так, в огневом бою, прошел час. Сумерки уже сгустились, и потухающий горизонт лишь изредка вспыхивал в догоравших лучах. Стрельба шла со все неослабевающей силой. Я не беспокоился за свой участок, так как возвышенная, господствовавшая над кочевьем, укрепленная окопами позиция была почти неприступна, а гряды дюн и каменные выступы делали нас неуязвимыми. Мой участок, или, как его назвал командир, ключ всей позиции, был неприступен, но положение правого фланга, где беспрерывно гремела пальба, вспыхивали рвущиеся гранаты и слышалось «ура», перемешанное с басмаческим визгом и воплями «а-лл-а», очень беспокоило меня. Очевидно, это была новая атака басмачей, но я не мог ничем помочь дравшимся там товарищам.

Вдруг все стихло. Еще раз рванулись к небу взрывы гранат, прогрохотали беспорядочные выстрелы, и наступила тишина.

И это было самое жуткое за этот день. Что случилось там? Отбита ли атака басмачей или жалкие остатки бившихся там взводов легли под ударами озверелых бандитов? И в то же самое время я, занимавший со своими тридцатью бойцами самый ответственный пункт позиций, окруженный сотнями залегших вблизи басмачей, не мог бросить туда на помощь ни одного человека.

Жуткая тишина длилась недолго. Внизу, со стороны кочевья, раздались голоса, послышался шум приближающихся людей. Где-то в отдалении посыпались и смолкли винтовочные выстрелы. Из моего правого дозора прибежал запыхавшийся боец.

— Товарищ старшина, наши отходят. Басмачи прорвались к дороге, часть их залегла у самого кочевья.

— Где командир?

— Не знаю.

Из темноты стали показываться одиночные фигуры бойцов. Кто-то проволочил по земле пулемет. Из группы подходивших послышались стоны.

— Пропали мы! Разве их осилишь? — услышал я чей-то надорванный голос.— Как саранча!

Говоривший застонал и прилег на песок. Это был раненый. Люди все проходили мимо, спеша укрыться за

каменные гряды. «Еще немного — и паника охватит их»,— подумал я и громко крикнул:

— Стой!

И эти растерявшиеся люди, послушные привычке к воинской дисциплине, остановились.

— Смирно-о!! — снова скомандовал я.

И все мгновенно смолкло. Даже раненый перестал стонать.

— Где командир, товарищи?

Столпившиеся вокруг меня люди расступились.

— Где командир? — уже тревожней повторил я.

Люди потупились.

— Убит,— глухо произнес кто-то из-за спины стоящих.

— А труп? — спросил я, весь холодея.

Смерть командира в такой момент, когда басмачи окружили нас, была началом конца. И я снова громко повторил:

— А где труп нашего командира?

Все молчали, опустив головы. И хотя было темно, но я видел и чувствовал, как стыд и отчаяние охватили молчавших людей.

— Позор!! Вы не красноармейцы! В вас не течет кровь туркменского народа! Вы не туркмены! Вы — трусы! Вы оставили тело вашего командира басмачам!

Сгрудившиеся возле меня, усталые, растерянные люди повернули назад и ринулись вниз, к кочевью, туда, где, вероятно, уже находились басмачи.

И вдруг, тяжело дыша и останавливаясь, показалась чья-то странная фигура. В темноте я не мог понять, что это было такое. Что-то неясное, тяжелое и медленное поднималось к нам на бугры, но то, что это был человек, было ясно по тяжелому, прерывистому дыханию.

Сбегавшие вниз люди остановились около него. И тут при свете озарившей нас луны я узнал нашего кочевника. Он тяжело дышал, почти шатаясь от усталости и тяжелой ноши. Пройдя мимо расступившихся людей, он молча положил на песок безжизненное тело.

Я нагнулся над убитым. Это был командир. Две пули пронизали его, одна пробила грудь, другая плечо. Черная, запекшаяся кровь уже не сочилась, и только гимнастерка была залита ею.

Я вздохнул и поднялся с колен. Люди молчали. Здесь было все, что осталось от нашего боевого эскадрона.

— Командир, — услышал я голос кочевника, — там, внизу, еще осталось трое раненых. Басмачи еще не вошли в кочевье. Надо их унести сюда.

Через минуту двенадцать красноармейцев и вызвавшийся идти с ними наш странный спутник исчезли в темноте.

Перекличка дала тяжелые результаты. Из трех взводов, дравшихся в центре и на правом фланге, уцелело всего лишь двадцать семь человек. Все кони были брошены и, наверно, попали к басмачам. Итого вместе с моим взводом и коноводами налицо остался шестьдесят один человек. Из них девятнадцать раненых, не способных к бою людей. Тридцать пять человек во главе с командиром погибли. Из трех пулеметов один, взорванный гранатой, попал к басмачам. Два «максима» и четыре «люиса» оставались у нас. Я обошел своих бойцов, поговорил с ними и, уложив за камни раненых, стал ждать возвращения ушедших.

Внизу по-прежнему стояла тишина.

Среди погибших товарищей было четыре коммуниста и один комсомолец — боевой, энергичный юноша. Это был мой брат Халил, только месяц назад призванный в армию. И его труп тоже валялся где-то внизу. Оставалось девять человек партийцев, и я их распределил среди бойцов. По флангам позиции я поставил уцелевшие «люисы», а в центре установил оба «максима». Весь запас патронов, гранат, медикаментов и воды мы перенесли к месту, где находились раненые, так как это было самым защищенным и надежным пунктом иашего участка. Пользуясь передышкой, бойцы укрепляли окопы, закладывая камнями брустверы и делая бойницы. Двое раненых умерли. Стоны их прекратились. Остальные, перевязанные лекпомом, лежали, изредка вздрагивая и что-то тяжело бормоча.

Вдалеке прогрохотал выстрел... за ним послышался другой. Затем все смолкло. Где были басмачи и что намеревались делать они — было неизвестно. Я стал терпеливо ждать ушедших, обдумывая наше положеиие. Оно было тяжелое. Если завтра не подойдет полк, мы погибнем. Мысли о брате, о моем Халиле, я старался отогнать от

себя, но они, как мухи, снова назойливо лезли и мучили меня.

Внизу опять раздались голоса, и сквозь неясную мглу ночи показалось несколько фигур. Дозор негромко окликнул их. Это были возвращавшиеся красноармейцы. Они принесли с собою двух раненых красноармейцев и брошенный при отступлении цинковый ящик с патронами, но кочевника с ними не было. Он еще внизу оторвался от них, сказав, что пойдет к колодцу разведать что-нибудь о противнике.

Это странное исчезновение опять удивило меня. Что он не был врагом, в этом наконец убедился и я, но что означало исчезновение — этого я не понимал.

Мы приготовились ко всяким случайностям и стали ожидать рассвета.

Через час пришел кочевник, но не один. Впереди себя он гнал связанного уздечкою человека, рот его был забит тряпками. Лицо связанного человека было в крови, а глаза полны страха и боли.

Из опроса пленного выяснилось, что банды Дурды-Мурды и Нурли понесли огромные потери и сейчас ожидали подхода двух сотен кавалерии, шедших к ним на помощь из Рабата. Огромный урон в людях помешал басмачам развить успех. Этим и объясняется затишье внизу.

— Но как только подойдут подкрепления, войска Дурды-Мурды атакуют вас,— сказал пленный.

Он как бы примирился со своей участью, говорил довольно бойко, но, когда встречался взглядом с пленившим его туркменом, вздрагивал и животный испуг снова показывался в его глазах.

Лекпом промыл и перевязал его разбитую голову.

— Кто это тебя? — спросил я, указывая на огромную, вздувшуюся на лбу кровавую шишку.

Пленный робко посмотрел на кочевника и промолчал.

— Это я... прикладом... не хотел идти...— равнодушно пояснил тот.

Из опроса выяснилось, что кочевье внизу занято басмачами, а отдельные люди проникли уже до самого колодца. По словам пленного, в руки басмачей попало четверо раненых красноармейцев, которых будто бы не тро-

нули бандиты. Конечно, басмач врал, думая этим сохранить себе жизнь. Мы слишком хорошо знали волчью, предательскую натуру бандитов и могли только пожалеть о тех несчастных, которые живыми попали в руки этих зверей. Да еще и неизвестно было, действительно ли они попали в плен.

Ночь медленно шла над пустыней. Текли часы, а вместе с ними уходили и минуты тревожного покоя. Люди дремали, держа винтовки в руках, и только сменявшиеся часовые бодрствовали, внимательно вглядываясь в темноту.

Ни я, ни кочевник не сомкнули глаз. Когда я обходил дозоры, он молча пошел рядом со мной.

— Как зовут тебя?

— Ораз,— ответил он,— Ораз Гельдыев.

А под утро снова начался бой. Опять рвались гранаты, кипела в пулеметах вода, горели раскаленные стволы винтовок, и снова, как бешеные, не считаясь с потерями, с воплями и бранью лезли басмачи. Они шли отовсюду: и от дороги, и от колодца, и со стороны песков. Их пули рвали воздух, шипели, разбивались о камни и роем летали над нами. А за цепями шли конные и камчами[1] подгоняли отстававших.

В течение часа мы отбили три атаки врага. Мы поражали врага из окопов фронтальным и фланговым огнем, и больше сотни трупов лежало внизу. Раненые стонали, ползли и падали, а бой все крепчал, и кольцо басмачей все туже стягивалось вокруг нас. Мы отчетливо различали лица стрелявших. Пули проникали повсюду и поражали бойцов. Больше тридцати убитых валялось в окопе. Один из «максимов» смолк.

А басмачи все стреляли с неослабевающим упорством.

— Товарищ старшина, на левом фланге осталось четверо стрелков,— переползая ко мне, доложил красноармеец. Его лицо было бело, а губы, пепельные, дрожали.

— Почему молчит «максимка»? — не отвечая ему, крикнул я, перебегая к центру.

Там, у смолкшего пулемета, опустив голову на песок, лежал убитый пулеметчик, секретарь ячейки Нияз Бердыев.

---

[1] Камча — плеть (*туркменск.*).

Эскадрон заметно поредел. От тех растрепанных трех взводов, которые сохранились у меня после ночного боя, оставалось не более тридцати человек. Они тонкой разорванной цепочкой лежали в окопе, стреляя из накалившихся винтовок по врагу. Густой, терпкий запах сожженного пороха стоял над нами. Стон раненых, треск выстрелов и хриплые крики басмачей сливались воедино. А над всем этим в сиянии и огне вставало яркое солнце пустыни.

«Продержимся еще полчаса... а потом...» — подумал я, безнадежно оглядывая редкую цепь.

— Патронов! Давай патронов!

— Воды!.. Фельдшера!.. Старшина!.. Где старшина?

— Обходят! — слышались отдельные беспорядочные возгласы.

Требовалось много хладнокровия, чтобы не потеряться в этих возбужденных, полуистерических выкриках измученных, истомленных людей. И снова бросилось мне в глаза спокойное, решительное лицо Ораза Гельдыева, хладнокровно и методически выпускавшего в басмачей патрон за патроном. Он это делал так уверенно и спокойно, что, вероятно, ни одна выпущенная им пуля не пролетела мимо цели.

Неожиданно огонь противника стал ослабевать. Стихла бешеная трескотня сотен разнокалиберных винтовок. И я скорее почувствовал, нежели понял, что наступает самый острый и ответственный момент боя.

Из-за бугров, с левофланговой стороны нашей позиции, выросла густая лава кавалерии, сотен до трех, и в этом сомкнутом тяжелом строю с резким гиком стремительно понеслась на нас.

Это была басмаческая кавалерия, еще ночью скопившаяся под нашим левым флангом и теперь по знаку Дурды-Мурды атаковавшая нас.

Без выстрела, потрясая кривыми туркменскими саблями, она взлетела на гребень и густой сомкнутой массой налетела на нас.

Я бросился к пулемету — и оцепенел от ужаса. Наш бывший пленник Ораз Гельдыев единым скачком выпрыгнул из окопа и, рванув пулемет, поволок его за собой куда-то в сторону.

— Измен-н-ник! — прохрипел я, сознавая, что ускользает от нас последняя возможность отбить атаку из един-

ственного уцелевшего пулемета.— Измен...— повторил я и смолк, пораженный еще больше.

Быстро, как заправский пулеметчик, повернув «максим», Ораз Гельдыев открыл губительный и точный огонь прямо во фланг стремительно мчавшейся коннице. Ничего нет страшнее и действеннее флангового огня.

То, что произошло в эту минуту, невозможно рассказать. Грохнулись с налета наземь первые ряды. Кони и люди покатились по гребню. Расстреливаемая в упор конница налетела на упавших. В какую-нибудь минуту гора кровавых, движущихся, стонущих и раздавленных тел завалила нашу позицию. На наших глазах и на глазах обезумевших басмачей под пулеметным огнем погибла их лучшая, отборная конница во главе с самим Нурли. Часть кавалерии, движущейся сзади, успела обскакать место гибели своих собратьев и, потеряв равнение и строй, мчалась куда попало по пескам, провожаемая неумолимым огнем красноармейцев.

И здесь мы, оставшиеся в живых двадцать семь человек, выскочили из окопа со штыками наперевес и с криком «ура» бросились вперед.

Первая цепь врага, залегшая всего в пятидесяти шагах от нас, деморализованная гибелью своей конницы, бросая оружие, в панике кинулась назад. А мы, немногочисленные и слабые, бежали за нею, крича «ура».

Со стороны дороги раздались залпы. Это вторая цепь противника открыла по нам огонь, и мы в течение четырех минут, пока успели добежать обратно в окопы, потеряли одиннадцать человек красноармейцев. Так мы заплатили врагу за наш героический порыв.

Из груды расстрелянных тел неслись стоны и слабеющие крики. Иногда оттуда отделялся, хромая и припадая на колени, раненый конь.

Нас осталось здоровых всего шестнадцать человек; среди них Ораз Гельдыев. Хотя басмачи не переставали осыпать нас пулями, но гибель их конницы послужила им хорошим уроком. Они лишь обстреливали нас, не делая попыток к атаке. Я думаю, что здесь немалое значение имела жара, охватившая пустыню, а также и уверенность бандитов в том, что через час или два от защитников окопа не останется никого. В окопе то и дело раздавались стон или крик пораженного пулей бойца. Из двадцати

трех раненых семеро умерло от ран, а двенадцать были добиты новыми, залетевшими во время боя пулями. Был ранен и я — в левую руку, у самой кисти. Молчаливый Ораз, ни на шаг не отходивший от меня, перевязал мне рану.

Из четырех «люисов» работал только один. Что мы могли делать дальше?!

Но и в эти грустные минуты, когда наша гибель была очевидна, гордость за свой эскадрон, за своих дорогих товарищей не покинула нас.

Ни на одном лице не видел я подлого желания сдаться многочисленному врагу и этим сохранить себе жизнь. Ни разу паника и трусость не охватили нас, хотя ошибок в этом бою мы сделали не мало.

А солнце все жгло, и пули по-прежнему долбили наш окоп. Хотелось пить и пить, блестящий песок слепил глаза. Еще один убитый свалился на дно окопа. Это был тот самый искусный бахши, несравненный игрок на дутаре, который своими песнями развлекал наш боевой эскадрон. Вторая пуля попала мне в подбородок и вышла вкось, около уха, причиняя невыносимую боль. Ораз снова перевязал рану, и мне стало немного легче, а быть может, я просто притерпелся к боли.

— У нас скоро кончатся патроны,— предостерегающе сказал Ораз.

Я приказал бойцам сократить стрельбу, хотя мы и без того скупо и редко отвечали на огонь басмачей. А солнце все печет, и боль в ране все усиливается. Кровь, просачиваясь сквозь перевязку, мешает говорить и стрелять. Раненая рука все-таки позволяет мне время от времени спускать курок.

Еще трое раненых. Их стоны очень действуют на нас. Среди убитых — лекпом. Убит также и наш пленный басмач, тот самый, которого Ораз приволок ночью из кочевья.

А жара все сильнее, и я начинаю не то бредить, не то терять сознание. Это скверно, это может подорвать дух бойцов. Ораз неотступно находится возле меня и то и дело поит остатками воды из фляжек, которые он снимает с убитых бойцов.

Что это такое? Кажется, я действительно по-настоящему брежу. Мне чудится, что отовсюду грохочут чудовищ-

ных размеров пулеметы. Они трещат так мощно, что заливают всю пустыню. Мне кажется, будто меркнет небо и черные огромные птицы носятся надо мною, а земля ухает и рвется в муках.

Я открываю глаза. За ворот и по лицу обильно льется вода. Мне несколько легче. Надо мною стоит Ораз и сразу из двух фляжек, не жалея воды, поливает мою горячую, воспаленную голову. Он что-то кричит, смеется и, приподнимая меня одной рукой, другою указывает куда-то вперед.

Я гляжу непонимающими глазами то вверх, в голубое небо, то вдаль, на желтые бугры пустыни, где по пескам скачут, бегут и падают люди. Около них с грохотом и огнем взрываются и встают дымные столбы. Люди кричат, мечутся и бегут... а над ними в беспощадном и неумолимом строе низко нависли три огромные стальные птицы, с которых рушатся на басмачей смерть, огонь и дым... А из-за бугров, наперерез бегущим, в боевой развернутой лаве несется конница в остроконечных буденновских шлемах.

— Аэ-ро-планы! — кричу я и тяжело опускаюсь на дно окопа.

Это был конец Дурды-Мурды. Только жалкие остатки басмачей вместе со своим главарем ушли от сабель нашей кавалерии. Из нашего эскадрона уцелело четырнадцать человек. И все четырнадцать ранены. Восемьдесят два убитых красноармейца на следующее утро под залпы всего отряда были торжественно преданы земле в том самом окопе, который так мужественно защищали они. И среди них во временную братскую могилу легли командир и мой брат Халил.

Рассказчик смолк. Ночь уже проходила, и серые предрассветные тени ходили по пустыне. Костер давно догорел, но зола еще была полна жара.

— А где же был ваш полк? Почему он не пришел вовремя? — спросил журналист.

— Он не мог. Его с полдороги свернули в сторону для ликвидации другой бандитской шайки, — ответил туркмен.

Из-под машины неожиданно встала темная фигура.

Это был шофер Груздев, и по его стремительным движениям все поняли, что он не спал, а внимательно слушал рассказчика. Он вплотную подошел к туркмену, сдавленным, растроганным голосом сказал:

— Душу ты мне всю вывернул, дорогой товарищ...— и крепко пожал руку заулыбавшемуся туркмену.

Опять наступило молчание. И тогда инженер спросил:

— А куда делся ваш спаситель... кочевник Ораз Гельдыев? Он жив?

Оба туркмена засмеялись, и военный, обнимая рукой все это время молчавшего туркмена, весело сказал:

— Вот он, перед вами. Бывший басмач, ныне предрайисполкома всего Сернозаводского района, наш дорогой Ораз Гельдыев.

Журналист зажег спичку, чтобы лучше разглядеть лицо героя.

Восток все светлел. За холмами слышалось монотонное позвякивание бубенцов. Это подходил из Чагыла ожидаемый караван.



ИЗМЕНА

Рассказ

I

«Вчера, 29 сего августа, на село Поплавино со стороны хутора Черкасова в $11^{1}/_{2}$ часов ночи был совершен налет банды атамана Стецуры, именующего себя начальником штаба «войск Иисуса Христа». Красноармейская застава и пост Особого отдела, всего числом 9 человек, перебиты».

«Сего 3 сентября в $3^{1}/_{2}$ часа дня конной бандой атамана Стецуры, в количестве 70 человек при 3 пулеметах на тачанках, разграблен хутор Веселый и подожжен полустанок Верхний Карамыш. Сведений о дальнейшем продвижении банды не поступало. Телефонная связь с полустанком до сих пор не установлена. От бронепоезда, вышедшего в сторону Верхнего Карамыша, донесений нет.

Комбриг (подпись)».

Фролов устало всматривался в уже дважды прочитанные строки, из которых сквозь высохшие чернила вставали разгромленные, подожженные села и пролитая кровь.

— Опять Стецура... Ты что-нибудь понимаешь, а? Гриш! — обратился он к смуглому, с глубоко ушедшими

под лоб глазами человеку в кожаной куртке и серой барашковой кубанке.

— Чего ж тут понимать-то? Дело ясное. Опять бандиты зашалили. Значит, надо уничтожить их.

— «Надо»! Я сам, брат, знаю, что надо. Да как? Разве с теми измученными тремя сотнями разбросанных по уезду кавалеристов мы можем ликвидировать бандитизм? Пойми, Гриша, пойми, милый, нам самим бы удержаться в Бугаче, пока наши справятся с поляками и подойдут сюда.

— Эх, сказал! Нам, браток, не удержаться, а покончить с ними надо, да без чужой помощи, самостоятельно. И чем скорее, тем лучше, потому что все куркули и все кулачье городское, разинув глаза, ждут не дождутся сюда этого Стецуру с его волками.

— Ну да, ты рассказываешь то, что я сам знаю. Ты научи — как? Как ликвидировать бандита? Не идти же нам всем из города и гоняться за ним по уезду?

— Это не дело. Не успеем мы отойти и на двадцать верст, как Бугач будет занят Стецурой, и уже отсюда не скоро выбьешь его.

— Да, пока не разграбит все, не уйдет,— поддержал Фролов.

Председатель и начсоч[1] устало взглянули друг другу в глаза — и в этом взгляде прочли и тяжелую ответственность, и бессонные ночи, и сознание огромной опасности, нависшей над уездом.

— За неделю — четвертый налет,— вздохнув, прервал молчание председатель, вытягивая из печки дымящийся уголек и шумно раскуривая набитую махоркой козью ножку.— И все ближе и ближе они. Круг суживается. Агентура доносит об усиливающейся деятельности бандитов на окраинах и пригородных хуторах. Если мы помедлим с месяц, нас сожмут в кольцо — и тогда каюк.

Просипел телефон. Начсоч взял трубку.

— Да, ЧК... Говорит Бутягин. Слушаю. Что? Горит? Персияновка горит? Сейчас выезжаю.— И, передавая трубку вздрогнувшему Фролову, он глухо и коротко

[1] Начальник секретио-оперативиой части.

доложил: — Персияновку подожгли... Стецура... Наши отходят на Гашун. Сейчас еду туда.

Ои иа ходу схватил со стола пояс с пристегнутым к нему кольтом и уже из дверей, глядя в упор на принимавшего по телефоиу донесение Фролова, громко и раздельно спросил:

— Ну, а теперь ты тоже считаешь, что иадо еще погодить?

Не отрывая уха от трубки, Фролов тяжело вздохнул и глухо, ио твердо сказал:

— Действуй... Действуй, Гриша!

Через секунду Фролов, согиувшись над столом, что-то упорио и устало чертил иа разостланиой перед ним двухверстке.

За окном раскинулась чериая ночь. По глухим, чуть освещенным улицам проиосились конииКи, спеша к горевшей Персияновке.

II

Никаиорова солома,
Никаиорихина рожь,
Никанора нету дома,
Никанориху не трожь...—

потряхивая иа ходу трехрядкой, во всю глотку подпевал своей гармошке высокий белобрысый парень с плутовскими глазами и хитрой, лисьей мордочкой. Около иего ковылял хромоногий мужичоика, еле поспевавший за своим веселым соседом. Несколько мальчишек шествовали в отдалеиии за этой парой, ие сводя восхищенных взоров с гармониста.

— Добрые люди ще в церкви богу молятся, а эти ироды уже зеики себе самогоном залили! — сердито сплюнул одии из мужиков, иеодобрительно глядя на приближавшуюся группу.

— И где они его достают? — с завистью поддержал другой, разглядывая веселого гармониста и его ие совсем трезвого спутника.

— Эх, друг сердечный, таракан запечиый! Была бы глотка, а самогоиу хватит,— куражливо ухмыльиулся гармонист.

Еще несколько секунд резали воздух веселые, говорливые звуки гармошки, хотя парень и мужичонка уже исчезли среди базарной толпы.

Несмотря на то что была пятница и день выпал солнечный, съехавшиеся из окружных сел и хуторов крестьяне привезли мало продуктов. Ночной налет банды на Персияновку смутил и горожан и крестьян, трепетавших при одном имени атамана Стецуры. По базару, множась и обрастая, ползли тревожные слухи. Появилось несколько очевидцев, своими глазами видевших самого «батьку Стецуру», обещавшего не позже, как через неделю, занять город.

Еще не было и четырех часов, однако и без того немногочисленный базар быстро таял. По всем дорогам и уличкам, ведущим из города в степь, катились и скрипели крестьянские подводы, телеги и мажары. Хмурые, озабоченные мужики понукали лошадей. Четверо пеших милиционеров, дежуривших на базаре, напрасно пытались уговорить разъезжавшихся мужиков не поддаваться панике.

Из-за хаты вынырнул белобрысый гармонист. На его плече висела собранная и застегнутая на крючок трехрядка. Оглядев площадь, он ухмыльнулся и, подойдя к запрягавшему коней мужику, спросил:

— Что, дядько Трохим, поедешь низом али через мельницу?

Рыжебородый мужик глянул на него поверх коней и, еле заметно прищурив глаза, хитро осклабился.

— Низом.

— Ну ладно... Коли встренешь мово папаньку, передай, что сынок здоров — больше некуда, а об остальном прочем — все в аккурате.

Мужик снова усмехнулся и, уже взбираясь на телегу, буркнул:

— Ладно, скажем. А вертаться скоро будешь?

— Да как справлю свои дела.

— Ну, прощевай! — и рыжебородый взялся было за вожжи.

— Дядь, а дядь... може, продашь хоть полпуда мучицы? — Откуда-то вынырнувшая молодая женщина с отчаянием и решимостью уцепилась за рыжебородого.

— Тю, проклята... Нема муки. Не продаем,— сплевывая, ответил рыжий.

— Браток, смилуйся. Вот как перед истинным прошу, браток! Дома уже третий день муки вовсе нету. Ну, продай...

— Ступай к коммунистам, у них проси.— Рыжий смачно выругался и, ударив вожжами по коням, быстро покатил по опустевшей площади.

Женщина заплакала, с ненавистью глядя вслед удалявшейся телеге.

— Не реви, тетка. Вот уйдут ваши, придут наши, тоды хлеба всем вдосталь хватит,— сказал гармонист.

Женщина, не поворачивая головы и продолжая всхлипывать, прошептала в тоске:

— Да кабы бог дал скорее пришли, а то, покуда придут, у меня мать, отец голодом подохнут...

Парень минутку постоял, подумал.

— А вы сами чьи будете? Муж ваш кто?

Заплаканное лицо женщины зарделось.

— Да я не замужем. Я не об себе думаю. Об отце, матери беспокоюсь. Товарищ дорогой, может, вы помощь нам окажете? А? Может, у вас хоть немного мучицы раздобудем? А? Я бы вот полушалок свой новый отдала. А, товарищ?

Парень нахмурился.

— «Товарищ» — это брось. Не товарищ я. Ну-к что ж, один другому помогать должо́н. Я тебе мучицы дам, а ты меня, может, и поцелуешь.— И он, ухмыльнувшись, заглянул девице в глаза.

Девушка опустила глаза и, отворачиваясь, заулыбалась.

— Ну уж вот, всегда так. Я об деле, а они с шутками.

— Каки таки шутки? Всерьез говорю. Да рази таким глазкам можно плакать? Никогда! Ну ладно, ладно. Не серчайте. Пошутковал. А где вы, к примеру сказать, живете? А? Знаю. Это около Косой горы, возле собора? Ну ладно, вечером, когда стемнеет, я вам пудика полтора мучицы принесу. А уж вы меня не забывайте.

— Только вы не обманите. Может, сейчас бы да-

ли? — недоверчиво протянула девица, испытующе глядя на него.

— Не бойсь. Коли я сказал, значит, свято. А как вас величают? — и он ближе придвинулся к девице.

— Тоня... Галкина. Не забудете?

— Ни в жизнь. Разве можно. Ну, покуда! — И, отвесив галантно поклон, парень большими шагами пошел вдоль площади.

III

Моросил мелкий дождь. Косые капли секли намокшую землю и пеленой обволакивали улицы. Тусклое сентябрьское утро глядело в окна дома, где помещалась ЧК.

В кабинете председателя сидел Бутягин и спокойно, не спеша докладывал. За столом лицом к двери расположился Фролов и хмуро, словно ему это наскучило, слушал начсоча, и только его утомленные, но острые глаза не теряли напряженного выражения.

У окна, у стола и на кожаном диване сидели представители рабочих и профсоюзных организаций города, добровольно мобилизовавшие себя и пришедшие сюда для того, чтобы обсудить создавшееся положение, решить, чем можно помочь власти, чтобы отразить подступавшего к Бугачу врага.

В дверь сильно постучали, и в комнату вошел худой, жилистый человек, одетый в длинную кожаную куртку и высокие сапоги. Фролов и Бутягин подняли головы и выжидательно взглянули на вошедшего.

— Товарищ председатель, ты уж извини, помешал, да дело больно важное пригнало.

— Что такое? — спросил председатель, и в его настороженных глазах блеснула тревога.

— Неладно у нас. Очень неладно. Ну, да я уж после скажу,— оглядываясь на сидевших, сказал вошедший.

— Говори сейчас.

Человек в куртке еще раз посмотрел внимательно на Фролова, молча переждал минутку и сказал:

— Нехорошо... Кажется, предатель завелся...

— Чего ты говоришь? — приподнимаясь с места, воскликнул Фролов.

— Ты не ошибаешься, товарищ Глушков? У нас, в ЧК, предатели? — поднявшись с кресла, сказал Бутягин, и его глаза странно засветились.

Спрошенный, переступая с ноги на ногу, тихо, но еще более решительно сказал:

— Нет, товарищ Фролов, не ошибаюсь.

Невольные свидетели этого разговора, делегаты города, смущенно поднялись с мест и потянулись к выходу, но Фролов жестом остановил их:

— Стойте! Вы не лишние здесь, товарищи...— И, снова обращаясь к Глушкову, спросил: — Кто?

— Федюков,— коротко сказал Глушков.

— Уполномоченный по борьбе с бандитизмом? Не может быть! Ты ошибся, товарищ Глушков. Федюков не может быть предателем.— При этих словах Бутягин вскочил и задыхающимся шепотом добавил:— Ты понимаешь, что ты говоришь? Ты обвиняешь в предательстве одного из наших товарищей, коммуниста с заслугами перед революцией! Смотри, товарищ Глушков, подумай сначала, о чем ты говоришь, и только потом делай свое заявление.

— Стой, стой, Бутягин! Это, брат, не дело. Так нельзя поступать. Товарищ Глушков такой же коммунист и тоже служит и живет для революции, и его заявление, как чекиста и члена партии, имеет свой вес,— перебил возбужденного начсоча председатель и, обратясь к спокойно стоявшему Глушкову, спросил: — У тебя есть факты?

Глушков, не меняя выражения своего насупленного лица, ответил:

— Есть, товарищ председатель. Вот один из них.— При этих словах он расстегнул куртку, вытянул из бокового кармана истертый бумажник, порывшись в нем, достал аккуратно сложенный листок и протянул его председателю.

Тот пробежал листок глазами и, окинув взглядом начсоча, передал документ ему. Бутягин внимательно прочел бумагу. Лицо его передернулось судорогой гнева, а на худых небритых щеках запылали яркие пятна румянца.

Делегаты напряженно смотрели на чекистов.

— Эге-ге! Если даже половина того, что есть здесь,

правда, то предателя надо наказать так, чтобы никому не повадно было продолжать его игру.

Начсоч возбужденно пробежался по комнате и, останавливаясь перед молча стоявшим Глушковым, просто и дружески сказал:

— А ты меня, брат, извини. Сам знаешь, что в нашей работе не то что другу...— и он сильно потряс руку неподвижно стоявшему Глушкову.— Наблюдение ведется?

— Не выпускаем из виду.

— Правнльно! Усилить надзор. Он ннчего не прнмечает?

— Пока нет. Уверен в себе очень.

Председатель встал и, нервно потирая руки, сказал:

— Смотри, Глушков, тебе мы поручаем это дело. Следи и не упускай ничего. Арестовать прн первом же факте измены! Только помни: чтобы был жив. Слышншь? Ты мне ответишь за него. Что бы ни случилось, ни один волос не должен упасть с головы Федюкова. Через него мы доберемся и до Стецуры. Федюков слишком важная птица. Он должен быть арестован только с поличным. Сейчас мы с Бутягиным обсудим это.

И председатель, подойдя вплотную к Глушкову, крепко пожал его худую, негнущуюся руку.

— Извините нас, товарнщи, но попрошу вас посидеть рядом с приемной. Нужно кое-что приготовить по этому делу. Через час я приглашу вас, а пока прошу молчать о том, невольными слушателями чего вы только что были,— обращаясь к делегатам, сказал Фролов.

Люди поднялись н, подавленные неожнданным, страшным открытием, теснясь, вышли в коридор.

Когда делегаты вышлн, Бутягин и председатель, нн слова не говоря, внимательно взглянули друг на друга. По лицу Фролова пробежала тень неуверенностн и сожаления. Начсоч глядел на него в упор и в его серых маленьких глазах горели такое упорство и решнмость, что председатель вздохнул н молча опустился в кресло.

Прошла мннута молчания. Встретив полный непоколебимой волн взгляд Бутягина, председатель устало н тихо сказал:

— Хорошо! Делай все, как нужно.

Бутягин облегченно засмеялся и, повернувшись к удивленно на них глядевшему Глушкову, негромко сказал:

— Ну, дорогой, слушай теперь меня и не удивляйся ничему. Федюков — преданный и честнейший наш товарищ. Все, что он делает, делается для того, чтобы разгромить и уничтожить врага. Федюков не сегодня-завтра пойдет в лапы Стецуры и или погибнет там, или спасет всех нас. Так надо... понимаешь, Глушков? Ты ни о чем пока не спрашивай, но так надо, и ты тоже помогай нам в этом. Сейчас Федюков здесь, в кабинете, сделает то, что необходимо для разгрома врага. Ничему, повторяю, не удивляйся и помни, что так нужно для победы. Понятно?

Глушков, несколько секунд внимательно и настороженно слушавший Бутягина, перевел глаза на Фролова.

— Да, дорогой друг, надо решиться на большое самопожертвование. Федюков — герой! — тихо сказал Фролов.

Глушков вдруг просветлел. В его глазах блеснул теплый, радостный свет. Он тихо сказал дрогнувшим голосом:

— Понимаю... Все понимаю, товарищи. У меня с души камень свалился...— Он хотел еще что-то сказать, но вместо слов только мягко улыбнулся и махнул рукой.

— Вот и хорошо. А теперь зови сюда Федюкова, да не забудь, входя обратно, так приоткрыть дверь, чтобы в приемной было слышно все, что произойдет здесь.

— Есть,— коротко ответил Глушков и вышел из кабинета.

...Федюков, темноглазый, невысокий брюнет, с приятным и несколько нервным лицом, вошел в комнату и добродушно поздоровался с сидевшими. За ним не торопясь вошел и Глушков.

— Зачем звали, товарищ начальник? — спросил Федюков, почти вплотную подходя к столу, за которым сидел Фролов.

— Так, друг, дельце есть. Садись, потолкуем,— и председатель указал ему на свободный стул.— Вот в чем дело. По некоторым сведениям стало известно, что Стецура готовит нападение на Бугач. Полгорода гово-

рит об этом, слухи растут, как грибы после дождя, население боится, а мы не предпринимаем никаких контрмер. Я спрашиваю тебя: известно тебе об этих случаях, знаешь ли что-либо о панике на базаре? О бандитских разъездах, подходивших к городу?

— Конечно, знаю,— сказал Федюков, с удивлением глядя на горячившегося председателя.

— «Зна-а-ю»,— передразнил его Фролов.— Мало пользы, что знаешь. А толк какой? Приняты тобою какие-нибудь меры? Ведь ты уполномоченный по борьбе с бандитизмом. Банды гуляют под самым носом, а мы о них узнаем, когда они сожгут или разграбят село или когда весь базар об их приходе говорит. Что делает твоя агентура? Где твои планы? Прошлогодние новости с базара носишь? Плохо, брат, работаешь. Ни к черту не годится твой отдел. Сменю я тебя, кажется, с уполномоченных...

— Ваше дело сменить... Однако что можно, то и делаем. Никто больше не сделает. Судите сами, денег на работу мало, сеть слабая. Что ж, мы святым духом, что ли...

— Ну, будет! У Стецуры денег больше, что ли, однако он вот все наши планы знает, все предупреждает.

— Да, видать, поболе.

— А ты откуда знаешь? «Поболе»! Считал, что ли? — Председатель остановился, глотнул воздуха и менее сурово сказал: — А что, ребята, нет ли у кого парабеллума? Нужен мне будет сегодня. Я бы свой наган на денек сменил.

Бутягин и Глушков переглянулись.

— У меня тоже наган,— сказал начсоч.— Кроме Федюкова, ни у кого, кажется, «парабеля» и нет.

Федюков медленно отстегнул кобуру и протянул ее Фролову.

— Если на денек, возьми.

Фролов взял револьвер и, не вынимая его из кобуры, положил около себя на стол.

— А мне дай, товарищ Фролов, свой. Без оружия, сам знаешь, как-то неудобно и выходить.

В эту минуту председатель встал и, вынув из ящика стола наган, сухо и властно сказал:

— Подождешь! А теперь, Федюков, расскажи нам

все целиком, без утайки, о Стецуре и о том, как ты продался ему.

Федюков вздрогнул и медленным взглядом поглядел вокруг себя. Прямо перед ним стоял Фролов, правая рука которого лежала на рукоятке нагана. В полураскрытой двери показались взволнованные лица делегатов.

— О чем говоришь? Не понимаю! Кому еще продался? — переспросил Федюков, придавая голосу и лицу удивленное, недоумевающее выражение.

— Не понимаешь? Ладно, сейчас поймешь. Ты не дури, Федюков. Все раскрыто. Нам все известно, говори правду, все равно один конец.

— Чего известно?

— Все! И измена, и твое подлое поведение, и связь с бандой. Сам знаешь что.

— Ложь! Врете вы все! На пушку берете. Что вы, с ума сошли, что ли! Что ты, не знаешь меня, Бутягин, что ли? Вы не бузите, ребята, я сам с семнадцатого года в партии...

— Молчи,— спокойно прервал Бутягин Федюкова,— хватит. Жили-то вместе, да не знал я, что ты такой гад, а то бы давно тебя прикончил. Ложь, говоришь? А это что, тоже ложь? А это что? Ну? Говори — ложь? — при этих словах Бутягин бросил на стол пропавший документ и копию мобилизации ЧОНа[1].— Ты думаешь, что мы дураки, ничего не видим? Все, брат, давно раскусили и сами тебе дислокацию подсунули. На, брат, снимай копию, радуйся, да уж поздно!

У двери толпились люди, с ненавистью глядя на изменника, готовившего им гибель.

Федюков молча потупился, исподлобья глядя на говорившего. Его темные глаза горели, бледное лицо внезапно покрылось капельками пота. Губы были плотно и крепко сжаты. Вся его небольшая, плотная, напружинившаяся фигура напоминала цепкую, хищную кошку, готовую к прыжку.

Потом задорный и насмешливый огонек пробежал в его глазах, и, как бы на что-то решившись, он дерзко спросил удивительно ровным и спокойным голосом:

[1] ЧОН — части особого назначения.

— Дознались? Ну и черт с вами! Жалко, что немножко рано. Опоздали бы, голубчики, недельки на две, я бы вас сам здесь развешал на суках. Ну что ж, веди, все равно больше ни слова не скажу,— и он беззаботно сплюнул, поворачиваясь к выходу.

— Стой! Успеешь еще,— остановил его Фролов. Лицо председателя было бледно, губы судорожно подергивались.— Глушков,— продолжал он,— сходи-ка за караульным и приведи сюда. А ты, Бутягин, обыщи его!

Глушков, за все это время не издавший ни одного звука, повернулся и вышел в коридор. Не успел он пройти и десяти шагов, как в комнате председателя один за другим грохнули два выстрела. Когда Глушков вбежал обратно в комнату, он увидел, как начсоч медленно и тихо валился набок, прижимая руки к груди. Глушков на бегу подхватил его и, осторожно поддерживая, усадил на стул. Посреди комнаты стоял совершенно спокойный Федюков, на полу лежал выбитый из его рук Фроловым револьвер. В комнату на звук выстрела вбежали люди. Председатель, не сводя с груди Федюкова дула нагана, приказал:

— Обыскать! У него оказался запасной револьвер.

Федюков засмеялся.

— Брось, лишнее... Больше нету... и то, слава богу, хоть на одного пригодился...

— Глушков, веди его в одиночку. Поставь караул. Я его поручаю тебе. Чтобы ни один волос не упал с его головы, что бы он ни говорил и ни делал. Остальным выйти из кабинета! — И Фролов осторожно склонился над неподвижным Бутягиным.

По коридору Глушков и красноармейцы уводили равнодушного к своей судьбе Федюкова.

Необычайное событие потрясло и взволновало город. Тысячи толков, слухов и пересудов множились по городишку и росли, обгоняя один другого.

Притихшие ранее, кулаки заволновались. На перекрестках улиц появились безграмотные прокламации Стецуры. В семь часов вечера наглухо запирались крепкие дубовые двери одноэтажных домов, за толстыми стенами и железными засовами выжидали перепуганные горожане. И только городская беднота еще сильнее

сплотилась вокруг власти, влившись в боевые отряды ЧОНа.

Раненого Бутягина перенесли в квартиру председателя, где дважды в день его посещал гарнизонный врач. Рассказывали, что Федюков был водворен в одиночную камеру, откуда через день был вызван к председателю для допроса, но он ни слова не сказал и только вызывающе рассмеялся, когда ему предложили сообщить о Стецуре. Не добившись никаких результатов, его отвели обратно в одиночку, где у дверей неотлучно дежурил часовой.

IV

Хутор Пшеничка был таким же, как и все сытые степные хутора, раскиданные по Украине. Так же нарядно глядели большие скирды, пузатились низкие, просторные амбары и шумно сопели сытые коровы и заводские бугаи. Веселым, задорным ржаньем заливались игруны жеребята, и, солидно помахивая курдюками, колыхались белые отары овец. Горы желтых дынь и огромных кавунов заполняли дворы, а наливной виноград прел и вяло скисал в чанах.

В городе было скудно и голодно. Последние лавчонки закрылись от бестоварья и страха перед Стецурой. Не хватало хлеба, недоставало муки, масла, и почти исчезло мясо. А в привольных степных хуторах ломились амбары от зерна и меда, огромными шматками висело свиное сало и не переводилась курятина и вино.

Уже второй день как Пшеничка была занята под штаб Стецуры. Три лучшие просторные хаты были отданы под жилище атамана и его хмельных и буйных соратников. При атамане расположилась конная сотня и десятка полтора тачанок с пулеметами, остальные части отряда были разбросаны полукольцом вокруг хутора. На желто-зеленых скатах холмов были установлены дулами в степь три полевых орудия. Кое-где закурились костры, и сизый вьющийся дым лениво полз от земли. Черные квадраты коновязей раскинулись по краям серой от пыли дороги. Ржали застоявшиеся кони, перекликались люди.

Сторожевого охранения почти не было, кроме выставленной вперед редкой цепи часовых. Бандиты, зная слабость оперировавших против них красноармейских частей, были уверены в своих силах и безмятежно кочевали по станицам, лишь пожарами отмечая непокорные, строптивые хутора. За ними, то теряя их из виду, то снова соприкасаясь с ними, следовали три измученных, измотанных красноармейских эскадрона с сотней-другой чоновцев. Но это преследование больше походило на осторожное наблюдение, обе стороны уклонялись от решительного боя. После разгрома Персияновки красные отстали, и банда теперь беспрепятственно гуляла по степи, делая временные привалы на хуторах.

Во дворе большой, с ярко выбеленными ставнями хаты суетливо шныряли люди, по воздуху носился еще не улегшийся куриный пух. Густой дым валил из трубы хаты, свидетельствуя о готовящемся пиршестве.

Из раскрытых дверей хаты вылетали отдельные фразы, смех и гомон. У низенького крыльца было поставлено два пулемета. Около них в еще сырую от дождей землю был всажен огромный шест, на остром конце которого, колыхаясь, чернел огромный бархатный квадрат; на его темном фоне был нашит череп со скрещенными под ним берцовыми костями. В хате находился сам батька Стецура и его штаб «войск Исуса Христа», как гласили намалеванные на бархате буквы.

Двое дюжих молодцов сидели у самого шеста, покуривая махру и молча сплевывая к подножию «штандарта». Через плечи караульных свешивались карабины, а грудь, плечи и животы тонули в массе самых разнообразных предметов вооружения, начиная от пулеметных лент и кривого артиллерийского тесака, вплоть до кургузой восьмиугольной гранаты, лихо привешенной к поясу.

Из низеньких дверей хаты высунулась юркая девушка, одетая в защитный френч и высокие потрескавшиеся лакированные сапоги. Не выходя наружу, она звонким, повелительным голосом кинула в гущу сновавших по двору людей:

— Есаула Кандыбу к атаману!

Приказание, словно по ветру, понеслось во все концы.

— Есау... ула... к ата... ману...

Один из часовых докурил наконец свою самокрутку и,

скосив глаза в сторону исчезнувшей за дверью фигуры, не спеша сказал:

— Командует... Ровно генерал или комиссар какой.— Он привстал и со вздохом неожиданно добавил: — Вон и есаул иде.

Оба стража сонно и безразлично поглядели на приближавшуюся от коновязей фигуру есаула.

Штаб атамана состоял из четырех человек: Ивана Мокиевича Луценко, начальника хозяйственной части; казначея Афанасия Ивановича Кабанова, есаула Кандыбы, начальника штаба и правой руки Стецуры, и, наконец, двадцатилетней девушки Агриппины, любовницы атамана, исполнявшей службу адъютанта.

В чисто убранной хате, с белыми занавесками и большими потемневшими иконами в углу, было жарко. За небольшим столом сидели Луценко, Кандыба и Агриппина, а Кабанов стоял у самой двери, внимательно следя за карандашом есаула, гулявшим по распластанной на стене десятиверстке.

Справа от есаула сидел небольшого роста, скромно одетый мужчина с незначительным, как бы равнодушным лицом. С первого взгляда можно было подумать, что это случайный, некстати затесавшийся сюда человек, но почтительно-подчиненное выражение на лице Стецуры и внимание, смешанное с подобострастием, которым окружал его есаул, говорили о том, что этот внешне невзрачный человек был центром и хозяином всей группы.

— Как вы считаете, господин майор, можем ли мы? — начал Стецура.

— Никаких майоров! Перед вами Сергей Сергеевич Власов, — быстро, с явно нерусским акцентом произнес невзрачный человек.

— Извиняюсь,— улыбнулся атаман, — значит, Сергей Сергеевич, вы одобряете наш план?

— Да, но только выполняйте его скорее. Мне надоело платить наличными деньгами за планы, которые вы никак не проводите в действие.

— Теперь уже скоро. Думаю, что дня через три Бугач будет нашим,— твердо сказал есаул.

— Я верю вам. И помню, что вы офицер старой российской армии.— Человек поднялся и, пожимая руку

мгновенно вскочившему Стецуре, сказал: — Помните, атаман, что я и наше посольство не забудем ваши старания. Возьмите под залог Бугача этот аванс. Пока здесь тысяча полновесных долларов.

Стецура поклонился.

— А теперь дайте мне провожатых до разъезда. Двух ваших наиболее надежных людей.

Когда он удалился, Стецура погладил пачку новеньких двадцатидолларовых бумажек и, иронически ухмыляясь, сказал:

— Вот вам он верит, как офицер офицеру, а деньги все-таки дает мне... А-ме-ри-ка!..

Есаул, не отвечая атаману, продолжал доклад:

— Итак, момент наступает самый удачный и подходящий, и я полагаю, что мы должны использовать его. Надо атаковать врага и уничтожить. Силы наши втрое превосходят красных, наши люди свежи и сыты...

— И напоены,— лениво ухмыляясь, вставил Стецура.

— Обстановка в городе и в селах складывается благоприятно... В случае нашего успеха нас поддержит в городе расположенная к нам часть населения. Зажиточная масса Бугача за нас. В городе продовольствия нет, крестьяне ничего не везут. Наши агенты проникают во все учреждения красных, и даже ЧК частично в наших руках. Мы знаем о красных решительно все. Обстановка складывается так, что нам необходимо как можно скорее атаковать Бугач.

— Кончил? — облегченно вздохнул атаман.— Ну, так я теперя тоже должен сказать несколько слов.— Атаман грузно приподнялся и медленно прошел на середину комнаты.— И речь моя будет такая. Что хочемо мы идти на красных — это добре, что хочемо мы их изничтожить — тоже хорошо, да только одно неладно: американец вон хочет, чтобы все вышло скоро... А скоро — не будет споро. Надобно спервоначалу подумать да поразмыслить, а потом и в бой идти. А выходит так: разбить мы красных разобьем, город возьмем — а потом что? А потом будет вот что... Из губернии придут другие с бронепоездом да с полками и нас выбьют, а тогда пиши всему делу прощай! И так и далее! Потому что силы у нас пока немного, а задача велика. Дело не в том, чтобы город взять да с недельку в нем побыть, а в том, чтобы фронт держать,

красных беспокоить, в страх вгонять, голодать заставить, народ супротив них поставить... А когда наши, бог даст, подойдут, вот тогда и ударим на город, да так, чтобы ни один из них не ушел. А пока потихоньку да почаще колоть, жечь, налетать, не давать спокою... Вот в чем наша задача, и вот на что мы имеем приказ, хотя бы есаул и обещал гостю через три дня занять Бугач...

Закончив свою речь, атаман прошелся медленно по комнате и удовлетворенно произнес:

— Ну-с, послухали мы друг друга, побеседовали — и ладно. А теперь не грех и закусить. Вон уже солнце к закату уходит, да и под ложечкой сосет.

Через несколько минут хозяйка переменила на столе скатерть и накрыла на стол. Атаман и его штаб жадно принялись за еду.

В дверь просунулась лохматая голова ординарца. Вошедший, уставившись на атамана, засопел:

— До вас, батька атаман, прибыли. Дожидаются.

— Кто? — утирая ладонью усы и прожевывая гусятину, спросил Стецура.

— Не могу знать. Видать, свои.

— А ну, Грушенька, взгляни, кто такой, да доложи нам, — и атаман продолжал еду.

Кабанов и Кандыба ели молча, не уступая в аппетите атаману, и только мрачный Луценко ел мало, медленно и с достоинством. Большой, пузатый графин, до середины налитый мутным самогоном, и глиняные кувшины, наполненные чихирем и холодной брагой, украшали заставленный яствами стол.

Дверь распахнулась, появилась Агриппина, на лице ее было написано чрезвычайное волнение. За нею, согнув огромную, нескладную фигуру, боком пролез в комнату лохматый мужик.

— Ганшин, — широко раскрыв глаза, проговорил Стецура, и по его лицу пробежала беспокойная тень.

Есаул вскочил с места, и только один Луценко продолжал сидеть, невозмутимо оглядывая вошедшего.

— Какими судьбами? Али что случилось? — проговорил Стецура, впиваясь взглядом в лицо гостя.

Тот молча махнул рукой и, не отвечая на вопрос, схватил большой ковш с брагой, поднес его ко рту и долго, не отрываясь, пил. Наконец он глухо сказал:

— Раскрыли... Вчера в вечер Федюка арестовали. ЧК за ним следила.

Кандыба тихо подкрался к двери и заглянул внутрь кухни. Кухня была пуста. Есаул крепко запер дверь на задвижку и так же бесшумно возвратился назад.

— Ничего не знаем... как есть ничего. Выдал кто али сами набрели, бог его знает, одно верно, что Федюку конец,— и Ганшин снова махнул рукой.

— А остальные как? А Семка?

— Эти ничего. Пока целы.

— Так! А насчет показаниев как?

— А кто их знает. Не думается, чтоб чего узнали, не таковский парень Федюков, сдохнет, а не выдаст.

— Да?

— Героем до конца остался. Чего уж там было, точно не скажу, не знаю. Однако верно, что двух человек Федюков решил, когда его забирали. Бутягина, начальника секретной части, да еще кого-то. Семка обещал разузнать все и прислать донесение.

Стецура привскочил.

— Чего? Чего? А ну, повтори, чего сказал. Федюков Бутягина пришиб? — И по хмурому, озабоченному лицу атамана пробежала неуверенная радость.

— Стрелял,— подтвердил Ганшин, мотнув головой,— это факт... Да убил али нет, не знаю... Рази там узнаешь... Обо всем Семка обещал сообщить.

— А он откуда будет знать? — спросила Агриппина.

— Кто? Семка? Ну-у... Он со своей гармошкой куда хошь дойдет. Опять же — у него баба завелась, брат у ей солдатом в ЧК служит. Ну, обо всем ему она и докладывает.

Атаман встал и, отодвинув от себя тарелку, молча уставился на безмолвно сидевшего есаула.

Минуту они выразительно смотрели друг на друга, затем атаман не выдержал и, пригнувшись к Кандыбе вплотную, радостным, срывающимся голосом спросил:

— Ну-с! Что ты мне скажешь на это, Семен Порфирьевич?

Есаул секунду помолчал и затем спокойно, но отчетливо произнес:

— Если это правда, что Федюков убил чекиста Бутя-

гина, то я поздравляю всех. Мы освободились от самого страшного врага.

Стецура прищурил сытые, сияющие счастьем глаза и захихикал радостным смешком.

— Ну, коли так, то меняется все дело. Завтра же ударим на город, нехай радуется Сергей Сергеич.

V

Городок тихо засыпал, убаюканный теплой осенней ночью. Редкие фонари тускло освещали безлюдные улицы. У низенького окна скособочившейся хаты остановился человек. Несколько секунд он напряженно осматривался, затем, как бы в чем-то убедившись, решительно и быстро шагнул к слабо освещенному окну и негромко постучал. Глухое собачье ворчанье и шум открывшейся двери встретили его.

В полосе брызнувшего изнутри света показалась невысокая, стройная женская фигура.

— Тоня! — окликнул ее пришедший и, огибая черневшую на пути собачью конуру, двинулся вперед.

— А я уже заждалась, Сема,— радостной скороговоркой заговорила девушка, бросаясь навстречу.— Да помолчи ты, Полкан, пшел обратно! — замахнулась она на ворчавшего пса.

— Ничего, ничего, Тоня. Делов куча была, вот и не приходил. Прямо во, по сне место хватало.— И парень притянул к себе девушку.

— Ну, Семушка, идем, что ль, в избу, а то отец с матерью еще не спят, заругают,— слабо уговаривала девушка.

— Э... Тоня, милая, в избу мне нельзя. Дело такое, что надо бы нам без других побалакать. Давно брат-то, Степан, был?

— Утром был, да и сейчас дома. Он завтра в карауле, так сегодня ему отпуск даден.

— Дома? Ну ладно, ладно, это хорошо.— Парень потер ладони и весело сказал: — Ну, в таком разе валим в избу! Только ты, Тонь, отца с матерью уложи скорей, а мы втроем-то и побеседуем.

— А что, Семушка, али что есть?

— Ух-ух, сколько! Всего, кажись, и не оберешься.— И парень поднялся на низенькое крылечко.

— Да что ж ты ерунду несешь! Боишься — так прямо и скажи,— взволнованным голосом говорил Семен, размахивая руками перед носом сидевшего рядом с ним красноармейца.—Где это видано, чтоб за сына отец с матерью отвечали? Да и за что? Что, они знать должны, где ты? Зато какой тебе почет будет от атамана! Первым человеком сделает после себя. И денег, и власти,— всего будет почем зря. Все равно, друг, через день-два атаман заберет город, и тогда, смотри, плохо будет всем, кто у них служил. А особливо вам, военным. Небось никуда не скроешься. Всякий знает, что в ЧК служил.

— Ну что ж, что в ЧК,— угрюмо перебил Степан,— наше дело маленькое.

— Нет, брат, врешь, не маленькое. От тебя вон сейчас все зависит. Поможешь нам, так человека нужного спасешь, а нет, так смотри, хоть Тонька ваша мне вроде как и жена, а смотри, Степан, видит бог, не помогу. Пальца о палец за тебя не ударю, когда атаман в город придет.

— Да что ты пристал, ровно репей к хвосту. Что я могу сделать в таком деле? Что я, комиссар, что ли? Ну, буду на часах стоять, кругом народ, коридор длинный, Федюкова все знают. Ну, хоть бы я его ослобонил, куда он там, в ЧК-то, скроется? Ты об этом-то подумал, дурья голова? Что он, духом святым, что ль, исчезнет? — заволновался красноармеец.— Этак, брат, не то что убечь, а и шагу не пройдешь, как все откроют.

— Обожди, не тарахти,— спокойно перебил Семен,— ты меня слушай. Ты перво-наперво прямо скажи: ежели бы все вышло благополучно, взялся бы ты помочь Федюкову и с поста вместе с ним тикать?

Красноармеец напряженно молчал, глаза его смущенно бегали по сторонам.

— Ну?

— Ежели б все в аккурате, так да.

— Слава богу, решил. Ну, а об чем другом — уж не твоя печаль. Найдутся еще добрые люди, ты только слушай внимательно, что я тебе скажу. Когда тебе на посту стоять?

— С часу ночи до трех. Опять же утром с шести до восьми.

— Утром не надо. Обделаем ночью. Слухай дальше. Я тебе дам завтра кой-чего... Ключ дам, так ты, брат, с-под двери к нему просунь его. Да как дверь откроют, веди его по коридору, будто арестованного во двор. Об остальном уж не твоя печаль.

— А я? — переспросил неуверенным голосом красноармеец.

— А ты вали тем же часом на мельницу, а оттуда с Тоней поедете до атамана.

— А ты как, Сема? — затаивая дыхание, спросила до сих пор молчавшая Тоня.

— А я, милая, раньше вас к батьке атаману с Федюком прибуду. Только чтоб братец-то твой до завтрева не передумал.

— Степа, а Степа! Решил, что ли? Уж решай что-либо одно, — со страхом обратилась к брату девушка.

— Да ладно, раз сказал, менять не стану. Все равно, один черт, не сегодня-завтра ваши заберут город, конец нам придет, а так хоть живой останусь.

— Во-во! — обрадовался Семка. — Ну, по рукам, что ли?

И они обменялись рукопожатием.

...Все вышло удивительно просто и тихо.

Ровно в час Степан заступил на пост, а спустя полчаса Федюков, открыв ключом дверь, вышел в коридор. Коридор, в котором находилась одиночка, был в самом углу большого четырехэтажного дома, занимаемого ЧК, и выходил на глухой двор. Ввиду изолированности и отдаленности коридора особого внутреннего караула в нем не полагалось, кроме часового, стоявшего перед дверью Федюкова. Оба, ступая на цыпочках, тихо прошли по чуть освещенному коридору и осторожно спустились во двор. Едва скрипнула давно не смазанная дверь и две тени нырнули в черную ночь, как из караульного помещения, расположенного во внутреннем флигеле, показалась третья тень. Спустя секунду все исчезли в темноте. Когда через полтора часа пришедший на смену разводящий обнаружил исчезновение часового и арестованного, по узким лестничкам засновали, забегали, засуетились люди и загудели телефоны.

В ту же ночь, под самое утро, на Косой горе, в домике Тони был произведен обыск и поставлена засада. Пере-

пугаииые старики долго не могли понять, что случилось, и только после того, как допрашивавший их следователь, увидя, что старики решительио иичего ие знают, растолковал им, в чем дело, оба, и старик и старуха, заплакали и долго причитали. Не узиав иичего иового, следователь отпустил стариков, а еще через деиь было сиято и иаблюдеиие, так как стало ясио, что ни сбежавший сыи-красиоармеец, ии дочь, жившая с каким-то Семкой-гармоиистом, ие возвратятся больше в этот покосившийся дом.

VI

Закувала та сиза зозуля...
Раннім-рано, на зори...—

выводил слова старииной запорожской песии молодой певец, одетый в короткий бешмет с засучеиными до локтей рукавами. Вокруг певца стояли люди, со виимаиием слушавшие эту старую, давиым-давио знакомую и десятки раз петую мелодию.

— А иу к бису эту песию! Тяиут, будто попа за камилавку. Хиба моим молодцам иужна такая паиихида? Щоб рожи повытягивало... Давай иашу, молодецкую! А ну, сыпь!

И, притопывая иогой, Стецура пьяиым голосом выкрикиул:

Ой, яблочко,
Цвету ясного!
Бей, рубай, не жалей
Лиха красного...

— Ох!.. Ух!.. Ах! — разом застоиали, засвистели, подхватили окружающие.

Далеко за полями ухнуло и перекатилось эхо, и гулким, дробиым стуком застучали коваиые сапоги бросившихся откалывать трепака людей.

Второй деиь буйиое веселье ие покидало ставку начальиика «войск Иисуса Христа», в безудержиой радости бесшабашио праздиовавшего удачный побег из плеиа одиого из наиболее цеииых сотрудииков, бывшего комиссара ЧК — Федюкова. Открывались дотоле бывшие под

запретом четверти со спиртом и двойным самогоном, и пьяная, буйная ватага людей опять пила и гуляла. Если бы не опытный, всегда осторожный есаул, то, вероятно, и сторожевые посты перепились бы в лоск. Вести, которые привез Федюков, говорили о панике и развале среди красных. Эвакуация города была неминуема.

— Есаул Кандыба! — приказал атаман. — А ну, почитай-ка наш приказ по отряду! — Стецура, тяжело отдуваясь, поднялся с места и, слегка пошатываясь, подошел к штандарту с живописным изображением черепа.

Есаул ровным военным шагом прошел за ним. Шум и пьяные возгласы в толпе не умолкали.

— А ну, там, тише! — закидывая назад голову и багровея от крика, завопил атаман.— Геть! Кому говорю! Слухать мою команду!

Шум стих. В сторону штандарта повернулись красные, распухшие от вина лица. Стоящие в ближних рядах с любопытством, как бы впервые, оглядывали есаула, вынувшего из полевой сумки серый листок и спокойно развернувшего его. Со стороны коновязи, от хутора, с огородов, через плетни, перелазы и прямо по улице спешили бабы, хуторяне, ребятишки.

— Господа громада! — откашлявшись и поводя по сторонам глазами, начал Стецура.— Конечно, как все наши казаки и атаманцы вместе со мною и штабом празднуют спасение нашего дорогого брата и друга Ивана Фаддеича Федюкова и вместе с нами молятся за святое дело освобождения Расеи! Все вы знаете, дорогие браты, кто такое есть наш дорогой Федюков и какая его значится заслуга. Не будем долго об этом докладать, ибо он есть герой. И вот, дорогие браты и казаки, вспомним тех, кто не испугался ЧК и из тюрьмы увел от смерти нашего дорогого героя Федюкова. Запомним их навсегда и крепко и сильно закричим им — ура! — При этих словах Стецура сорвал с себя барашковую шапку и с размаху кинул ее оземь.

Из середины толпы вытолкнутые десятками рук вывалились гармонист Семка, Тоня и ее брат, больше всех смущенный этим неожиданным почетом. Тоня, пунцовая от похвал, стояла рядом с гармонистом, смущенно потупив глаза, и только Семка, развязный и бойкий, привык-

ший всюду держаться как на базаре, широко осклабился и, низко кланяясь, закричал:

— Ура, братцы, нашему атаману!

— Хлопцы! Пей, ешь, жри, кути... за счет атамана!..— Стецура перевел дух и громко крикнул толпившейся невдалеке куче хуторян: — Станичники! Угощай моих ребят как полагается, чтобы были и сыты, и пьяны, и нос в табаке...

VII

— Товарищи! Чрезвычайное собрание Революционного комитета считаю открытым. Прошу еще раз пересчитать присутствующих, после чего товарищем Фроловым будет сделан доклад о текущем моменте и положении города.

Большинство собравшихся было одето в серые шинели и сапоги. Пестрели два-три женских платка. Настроение у собравшихся было возбужденное. Неровный гул голосов стоял в комнате.

Фролов поднялся и мерным, спокойным шагом прошел вперед, к кафедре.

— Товарищи! Доклад мой есть не что иное, как информационное сообщение о том, что происходит в настоящее время вокруг нас, каковы планы врага и что в свою очередь предпринимаем мы для того, чтобы нанести ему контрудар. Товарищи, ни для кого из вас не является секретом, что мы окружены, почти совсем отрезаны от нашей губернской базы. Связь, которую мы еще имеем с центром, очень слаба и каждую минуту может прерваться. Силы наши невелики, в то самое время, когда силы банды атамана Стецуры значительно превышают наши и непрестанно растут, усиливаясь за счет дезертиров, уголовного элемента и волнующихся кулацких хуторов. Итак, дорогие товарищи, вы видите, что в смысле количественном банда значительно превосходит нас, к тому же инициатива нападения все время находится у них в руках. Все последнее время бандиты «Иисусова войска», как они себя называют...

При этих словах по залу пробежал легкий смешок.

— ...беспрестанно тревожат наши жидкие заставы и

охранения и настолько уверены в своей безнаказанности, что стали даже днем нападать на наших красноармейцев, доставляющих фураж и продовольствие для гарнизона из соседних хуторов. Никаких новых сил в ближайшее время получить из центра нам не удастся, и мы должны собственными силами, вот этими самыми руками, освободить себя и уезд от наседающей банды. И, товарищи, несмотря на то, что я вам сейчас докладывал, мы все же это можем сделать. У нас, друзья, есть то, чего нет и не может быть у наших врагов: партия, идея, рабочие, трудовое крестьянство. С таким капиталом мы сокрушим врага. Революционный комитет, вместе с ним и Чрезвычайная комиссия призывают вас беззаветно отдать себя революции.

Докладчик умолк. Громкие аплодисменты, горящие, возбужденные глаза и крики приветствовали его слова.

> Вставай, проклятьем заклейменный,
> Весь мир голодных и рабов...—

негромко запел кто-то в углу, и сейчас же все поднялись с мест, и комната огласилась величавыми звуками «Интернационала». В полураскрытые окна смотрели голубые, начинавшие темнеть облака.

Когда все смолкло, худой рабочий-старик неловко встал и, бочком пробираясь вперед, подошел к застывшему у стола докладчику:

— Товарищ Фролов! Вот ты говоришь — идея. А как же насчет федюковской измены?— с болью в голосе спросил он.

Зал мгновенно стих. Глаза всех устремились на председателя ЧК, ожидая от него ответа.

Минута прошла в глухом молчании. Предчека гордо откинул голову назад и твердо, коротко сказал:

— Товарищи, через неделю вы здесь, в этом зале, будете судить Федюкова.

VIII

Темная ночь. Спит Бугач, спят домишки. В глубоком сне молчат пустынные слободки.

На далеком вокзале суетливо бегают мерцающие

огоньки и глухо, с надсадою стонет маневровый паровоз. У здания Ревкома зацокали копыта. Чей-то тихий, приглушенный голос спросил:

— Эй... кто тут есть?

Из серой, непроглядной мглы так же тихо раздалось:

— Товарищ Глушков?

— Я. Готовы вы, что ли?

— Готовы, все в сборе.

— Ну, так сейчас к вокзалу. Только со стороны товарной, там на путях стоит поезд без огней. Живо занимать теплушки, чтобы без шума и не курить!

— Не бойся, знаем, не маленькие,— ответили из тьмы голоса.

— Старшой кто? Ты, что ли, Саенко?

— Я, товарищ Глушков.

— Ну, вперед! — и конный растаял в темноте.

Было около двенадцати часов. На запасном пути заброшенной и почти не обслуживаемой товарной станции бесшумно мелькали люди, рассасывавшиеся по темным, неосвещенным теплушкам. В вагоны втаскивались пулеметы. Люди рассаживались по нарам, коротко перебрасывались словами. Вскоре таинственный поезд без огней тронулся с места.

...Атаман Стецура совсем близко подошел к осажденному городу, и если бы не бронепоезд красных, то атаман вряд ли удержался бы от искушения атаковать врага. Разведка банды почти доходила до слободок Бугача, но, вовремя обнаруженная и обстрелянная красными, без потерь отошла назад. Красные были осведомлены о продвижении отряда и проводили ночи в караулах и охранении. Часть кавалерии Стецуры, под командой Луценко и Кабанова, была направлена в сторону слободок, чтобы ночью тревожить красных.

Черная, густая ночь стояла над степью, и хуторок, в котором расположился атаман, совсем потонул в непроглядной тьме. Развьюченные кони жевали овес и мягко шлепали в темноте своими ласковыми отвислыми губами. Тихая ночь убаюкала людей, и дремавшие часовые широко позевывали, мечтая о скорой смене. Почти весь отряд, за исключением штаба, спал мертвым сном.

За столом сидели атаман, есаул, Федюков и Тоня. На кровати лицом к ним полулежала Агриппина, с любопыт-

ством и недоброжелательством разглядывавшая новую товарку. На столе шипел ярко начищенный самовар, чернели куски холодного мяса и стояли две четверти с розовым пенистым вином. Тоня, с переброшенным через плечо полотенцем, перетирала чашки.

— Ну, значит, Антонина у нас будет за хозяйку. Отставку тебе, Грипа, от хозяйства объявляю,— засмеялся Стецура.

Он потянул Агриппину за руку, посадил рядом с собой на скамью.

— Ну, други дорогие, прошу к столу, поближе, потеснее. Чем богаты, тем и рады. Вот, бог даст, возьмем через денек-другой город, тоды уж покутим всласть. Так ли, Грипа? — и он шлепнул по спине свою соседку.

Та глянула на атамана и молча кивнула головой.

— А ты, Тоня, хозяйничай. Режь, наливай, задабривай. Чтой-то мне сегодня выпить хочется, — продолжал Стецура.

— Видать, скоро в городе будем,— засмеялся Федюков.

— Надо думать, что к счастью,— поддержала его Тоня, накладывая на тарелку атамана холодное мясо.

— Ну, выпьем,— сказал атаман, протягивая руку к чашке, доверху наполненной вином.

— Выпьем,— подтвердил Федюков.

И все пятеро высоко подняли свои чашки.

— За нашу удачу и за разгром красных! — проговорил есаул, чокаясь.

— Аминь, — спокойно и уверенно закончил Стецура.

Федюков поднял над головою свою чашку и громким и проникновенным голосом повторил:

— За нашу удачу и за разгром врага!

— Что же ты, Федюков, только с нею чокнулся? — обиделся Стецура, указывая на Тоню.

— Потому что вы, други, выпили первыми, не дождавшись меня,— засмеялся Федюков и весело продолжал: — А чтоб не было обидно, давай выпьем и с тобой, атаман.

Чаще звенела посуда, и весело пенилось вино. Головы пьющих приятно хмелели, и сами собою начинали развязываться языки. Тоня раза два небрежно, как бы

вскользь, взглянула на часы, висевшие на стене, и атаман, случайно приметивший этот взгляд, с пьяной фамильярностью и игривым смешком спросил ее:

— Ты что, красавица, на часы поглядываешь? Скучно тебе с нами, что ли?

— Да нет. Просто Сему жду. Сема скоро придет.

— А, Семка! Жених твой богоданный! Али уже муж, а? Ну-ну, не тансь. Скажи нам, може, уже муж? — пьяно смеялся Стецура, хватая Тоню за полные локти и стараясь прижать к себе.— А то, если нет, мы тебя сами, без попа, обвенчаем. Вон выбирай кого хочешь, бери любого. Хочешь — есаула, хочешь — Федюкова, хочешь — меня... А?

— Вот последняя бутылка, а потом и спать, — улыбаясь, сказала Тоня и, взяв с окна бутылку, медленно разлила вино по чашкам.— Ну, все до дна за мое здоровье! — И, пригнувшись к самому лицу Стецуры, она задорно посмотрела на него.

— Все до дна! — повторил атаман и, не отрывая губ от чашки, выпил вино.

Есаул молча проделал то же самое.

— А ты чего не пьешь, Федюков? Пей за ее здоровье!

— А я маленько погожу,— с улыбкой ответил тот, отодвигая от себя чашку.

— Чего годить-то? Пей — и вся. А потом спать,— пьяно бормотал не замечавший пристального взгляда Федюкова Стецура.

Слегка покачиваясь, он прошел к постели и, грузно бухнувшись на подушки, хрипло сказал:

— Гриппа, ну-ка, скидай с меня сапоги.— Не дождавшись ответа, он сонно приподнял голову и, внезапно раздражаясь, повторил: — Кому говорят... скидавай!.. Два раз, что ль, просить?

Но адъютантша не слыхала бормотанья рассерженного Стецуры. Разметав руки вдоль стола, она спала крепким, безмятежным сном. Ее голова свисла над краешком стола, и начинавшее терять равновесие тело медленно сползало со стула.

— Ну...— снова начал Стецура и сейчас же оборвал неоконченную фразу, видя, как есаул, поднявшийся было с места, тяжело рухнул на скамью.— Ишь... черт... на...

ли... зался, — еле ворочая языком, пролепетал терявший сознание Стецура.

В каком-то колеблющемся тумане он близко от себя увидел широко раскрытые, устремленные на него зрачки Федюкова. Комната заходила ходуном. Огни лампы взметнулись к потолку, и черная, тяжелая пелена грузно легла на грудь атамана. В ушах трещали и лопались сухие и звонкие колокольчики. Потом наступила тишина.

— Сильное у тебя винцо, Тоня. Каких молодцов с ног посшибало! — не выпуская из рук голову Стецуры, негромко проговорил Федюков и, полуобернувшись к бледной Тоне, сказал: — Готов... А ну, взгляни, товарищ Попова, который теперь час!

— Около двух, — тихо, спокойно ответила девушка, и только вздрагивающие уголки губ да смертельная бледность лица говорили об охватившем ее волнении.

— Через час наши атакуют хутор. Укладывай по местам приятелей и давай уносить отсюда ноги. Через полчаса будет поздно.

Девушка кивнула головой и стала помогать Федюкову, аккуратно укладывавшему тело атамана в пышную, пуховую постель. Прикрутив лампу, оба спокойным шагом прошли мимо дремавших у штандарта часовых. Один из них приподнял было голову с брошенного на землю седла, но, увидя знакомую фигуру Федюкова, успокоился. Где-то вдали лаяли сторожевые псы. Маленький хуторок безмятежно спал.

IX

— Кто идет? — раздался из темноты оклик часового. На черном гребне холма появились фигуры.

— Свои.

— Что пропуск? — спросил часовой.

— Пуля.

— Проходи.— Успокоенный ответом, часовой опустил винтовку, сделал несколько шагов навстречу идущим.

— Что, браток, своих не узнал? — весело спросил человек, подходя вплотную к часовому и ударяя его по плечу.

— А кто его знает... Ночь-то, вишь, какая,— оправдывался часовой.

По степи потянуло предутренним ветерком, сырая прохлада поднималась от земли. Часовой зябко повел плечами и, отставив винтовку, спросил:

— А что, долго еще до рассвета?

— Да недалече... А что?

— Дак смены жду. Надоело ночь-то стоять.

— А... так-так!.. Ну ладно. Мы тебя сейчас сменим.— И, не меняя спокойного тона, говоривший продолжал: — А ну, товарищи, забирай его!

Недовольный такою шуткой, часовой раскрыл было рот, чтобы ругнуть вновь прибывших, но прямо на него глядело дуло кольта. Несколько ловких рук в одну секунду связали часового и, забив кляпом рот, положили, словно тюк, в траву.

— Товарищи, дальше следует второй пост. Мы с Федюковым пойдем к нему и точно так же снимем и его. А за ним начинается самый хутор и стоянка бандитов. Так что ли, Федюков?

— Правильно, товарищ Бутягин. Только надо взять чуточку вправо, по ложбинке, там у них коновязи. Когда заберем последний пост, на холме установим пулеметы — и айда крыть по коням! Одни кони сотни две бандитов передавят.

— Молодец ты, Федюков. Ну, ребятки, вперед! А ты, товарищ Глушков, подожди артиллерию и передай: как только мы откроем из пулеметов огонь, пусть они кроют по бандитам картечью.

— Слушаюсь!

X

Наступление велось с трех сторон. Высадившийся верстах в четырех от хутора отряд взял направление на северо-восток с тем, чтобы занять у самого расположения бандитов позиции и затем по сигналу внезапно атаковать.

Чоновцы, которыми командовал Бутягин, подкрепленные караульной ротой ЧК, шли во фронт. Кавалерия за-

ходила в тыл хуторку и, спешившись, заняла позиции, ожидая общего сигнала к наступлению. Два орудия были установлены против хутора. За буграми, на опушке леса, в густой тени деревьев, прятался бронепоезд, к которому в случае неудачи атаки должны были отходить красные войска. Хутор был окружен. По горизонту уже поползли серые тени, и темная ночь стала медленно уступать место осеннему рассвету.

Оглушительно рявкнули орудия, два гулких взрыва судорожно взметнули к небу полосы черного дыма. Звучное эхо едва успело откликнуться за холмами, как из мрака застучали десятки пулеметов и частые ружейные выстрелы. Казалось, бесчисленные шмели, жужжа, бороздили воздух. Кони сорвались с коновязей и, топча на пути бегущих людей, бешено носились по хутору.

Где-то за буграми грянуло «ура», и новые залпы прорезали темноту. Сотни пуль с воем неслись по степи, вонзаясь в глиняные дома, перелетая через низенькие плетни и заборы, за которыми пытались укрыться еще не пришедшие в себя «воины Иисуса Христа».

Мощное «ура» все росло. Атакующие сбили остатки еще державшихся бандитов и приблизились к самому селу. Сзади, за хуторком, там, где дорога вела на станцию, загрохотали ружейные выстрелы, разрывы гранат и четкой дробью застучали пулеметы. Это спешенная кавалерия из засады открыла огонь по убегавшим к станции остаткам недавно грозного отряда «Иисусовых войск».

При первых же звуках разорвавшихся гранат Семка-гармонист, бывший в ту ночь дежурным по отряду, приказал выкатить вперед пулеметы и открыть по наступавшим огонь.

— Не робь... цель на вспышки! — командовал он.— Стрелки, в цепь!.. Кому говорю, в цепь! Куда бежишь, собачий сын? — Размахивая карабином, он бросился навстречу мечущимся в панике по двору людям.— Открыть огонь! Бей, ребяты, залпами. Это разведка красных. Сейчас подойдет батька атаман и в два счета опрокинет противника.

Загоревшийся от снаряда овин озарил канаву, в которой залегла кучка бандитов. В ту же секунду совсем

близко грянуло дружное «ура», и ряд гулких взрывов опоясал грохотом и пламенем канаву.

— Обошли! Измена! Обошли! Где атаман? Спасайся!..

Десятки людей, бросая винтовки, перепрыгивая через плетни, кинулись врассыпную, оглашая стонами и криками взбудораженную ночь.

Семка рванулся с места и ловко, словно заяц, стремительными прыжками бросился во двор, туда, где был расположен штаб отряда и где еще развевался бандитский штандарт. Пули с воем проносились над ним. У самых дверей, раскинув руки и подогнув под себя ноги, лежал в луже крови один из часовых. Другого не было совсем. Конь атамана, вырвавшийся из конюшни, со звонким ржанием метался по двору. Штандарт реял над самой дверью, за которой царила мертвая тишина. Семка со всего размаху влетел через сени в горницу и хриплым, задыхающимся голосом закричал:

— Атаман здесь, что ли?

Из-за кустов и плетня, отстреливаясь, выбежали несколько бандитов. Один из них, перебегая двор, ахнул и, взмахнув руками, упал у самого штандарта. Возле него поднялся косматый дымный столб. Огонь, земля и свистящие осколки снаряда взлетели над убитым. Бегущие, огибая место разрыва, бросились низами, через задний двор, к дороге.

Один из них в страхе присел и, озираясь, жалобно закричал:

— Пропали наши головы, как есть кругом оцепили!

Отшвырнув от себя ружье, он поспешно вытащил из кармана красноармейскую звезду и, нацепив ее на фуражку, побежал, согнувшись, вдоль забора. Другой шмыгнул к стогу сена, стоявшему возле атаманской коновязи..

Не получив ответа, Семка ринулся было обратно, но блеснувший из сеней огонек на секунду озарил часть горницы и широкую кровать, на которой безмятежно спал человек. Семен бросился к спящему и, дергая его за плечо, крикнул изо всех сил:

— Атаман, вставай, красные в селе!

Стецура качнулся от толчка, не издав ни малейшего звука.

— Да вы что здесь, подохли все, что ли? — заревел Семка.

За окном гремели выстрелы. Разлетелось вдребезги оконное стекло. Семен еще раз сильно встряхнул Стецуру и истошным голосом закричал:

— Ата-ма-ан! Вставай, очухайся, красные на селе! Батько, атаман, вставай, спасайся! Измена!

Под его кулаками Стецура приподнялся, уставясь на Семена мутным взглядом, что-то пробормотал и снова уронил голову вниз.

— Вставай!.. Ну ж, вставай, это я... Семка! — тормоша его, с отчаянием в голосе закричал гармонист и потащил к выходу тяжелое тело пьяного атамана.

Он с трудом выволок его за порог и, быстро оглядевшись, зашептал:

— Да очухайся ты, ну, приди ж в себя, батько. Еще не все потеряно. Бежим в степь... на хутора дальние. Ну! Ну ж, вставай! Спасайся, батько!

Стецура протер кулаками глаза и, широко зевая, проговорил:

— А-а! Се-емка!.. Вина да-а-ай! — И, звучно икнув, лег на землю.

— У-у! Гад!.. — закричал Семка.

Он пихнул ногой валявшегося у порога атамана и бросился к коновязи. Из стога ему навстречу выскочил притаившийся бандит.

— А ну, бросай винта!.. Стрелять буду! — грозно закричал он, направив в упор на Семку дуло своего ружья.

— Да ты что, очумел, что ли? Это ж я, Семка! — озадаченно сказал гармонист. — Своих не узнаешь, дура!

— Я те дам дуру!.. Кому сказываю, бросай оружию, а то сейчас с винта вдарю! Ну-у! — угрожающе крикнул бандит.

И по его мрачному тону и лихорадочному блеску глаз Семка понял, что тот не шутит. Он тяжело вздохнул и выронил винтовку, поднимая вверх руки.

— Вот то и добре, що ты и есть самый Семка. Это мене вроде как бог помогает, — скручивая ему назад руки, пояснил бандит. — За таких сазанов, як ты да Стецура, большаки меня не то что не тронут, а, гляди, медалю дадут. Ну, ты, контра собачья, ложись наземь, а то сейчас

прикладом тюкиу! — крикиул ои, замахиваясь на потемневшего Семку.

Гармоиист молча лег иа землю. Баидит связал ему ноги, после чего направился к Стецуре. Взяв спавшего атамаиа за иоги, ои без всяких церемоний подволок его по земле к лежавшему Семке и, уложив рядом, прикрыл своей шиielью.

Выстрелы смолкли. Шум боя затихал. Кое-где еще слышались отдельиые крики. Далеко за домами в последиий раз застрочил пулемет. Было уже совсем светло.

На улице, приближаясь, раздались голоса:

— Сюда, сюда, товарищи, здесь их штаб, только осторожией.

Баидит испугаиио посмотрел в сторону и тревожно пробормотал:

— Подходют!

Он быстро закрестился, ие сводя глаз с угла, откуда уже громче слышались голоса.

— Ой, да помогите ж меии, добрые люди! Ой, да скорейше идыть иа подмогу, а то втекут, ей же боже, втекут баидюки, окаяииые злыдии! — иеистово завопил ои, как только увидел показавшихся иа улице вооруженных людей.

Впереди с маузером в руке шел Бутягии.

— Что за человек? Чего орешь? — остаиовился ои возле баидита.

— Баидюков спіймав. Самых иаиглавнейших комаидиров, атамана Стецуру, хай ему бис, и Семку, шоб ему очи повылазыли. Оии вот туточки, под шииелькою, ховаются.

— Стой, ие тарахти, — остаиовил его Бутягин и, сдернув с лежавших шииель, с удивлеиием сказал: — Да неужто оии?

По его лицу пробежала радость. Ои иагиулся над лежавшими. Гармонист закрыл глаза и отвериулся, атаман соиио и блажеиио похрапывал, что-то иевиятно бормоча во сие. Из-за плетия подошел Глушков, еще пахиущий пороховым дымом, сияющий, возбуждеиный. Ои тоже склоиился иад лежащими.

— Да ведь это же Семка-гармоиист, можно сказать,

главный их заводила и агитатор. Помнишь, Бутягин, я писал тебе о нем!

— Как же, помню. Разве можно забыть такого гуся! — сказал Бутягин.

Глушков поднял голову Стецуры и похлопал его по плечу:

— Эй ты, атаман божий, проснись, что ли! Ну!

Он сильно потряс за плечи Стецуру. Атаман закашлялся. Потом, не открывая глаз, ухмыльнулся и сказал:

— А ну, хлопнем еще по чарке!

— Уже хлопнули,— засмеялся Глушков, махнув рукой перед носом атамана.

— Заберите их, товарищи! — приказал красноармейцам Бутягин.

— Господин товарищ, это ж я их один усех опрокинул,— вытягиваясь перед Бутягиным, заговорил бандит, схвативший Семку.

— А ты кто? — оглядывая его с головы до ног, спросил Бутягин.

— Я есть незаможный крестьянин, мобилизованный цими бандюками с-под ружья. Як же воны знущалыся над нами, над хлиборобами, ой, боже ж мий, як знущалыся, яку шкоду наробыли нашему брату селянину! — хватаясь за голову, продолжал скороговоркой бандит.

— Взять и его. Там разберемся,— сказал Бутягин.

— Да за що ж мене? Ваше сиятельство, господин товарищ. Я ж самолично, не бояся смерти, споймал их, а вы ж мене в кутузку...— уже издали донесся визгливый голос уводимого красноармейцами «незаможнего селянина».

— Ура!.. Ура, брат Бутягин! — выбегая из хаты, закричал Глушков.— Все тут, и есаул, и Агриппина! Никто не ушел.

— Чистая работа! Разве от таких молодцов, как наш Федюков и Попова, уйдут? Кстати, где они? — улыбаясь, осведомился Бутягин.

— В город только что отправились. Им теперь покой нужен,— сказал Глушков и, перебивая себя, крикнул красноармейцам, подбиравшим по двору раскиданное бандитами оружие:— Товарищи, сюда, в хату! Помогите вынести отсюда бандитов да кстати заберите эту бандит-

скую регалию,— указывая на все еще развевавшийся штандарт «войск Иисуса Христа», засмеялся он.

По хутору звонко разливался сигнал трубача, игравшего сбор.

Солнце поднялось над степью. Красноармейцы сгоняли пленных бандитов, собирали раскиданное по полю оружие.

XI

— Итак, товарищи, как вы уже знаете, силы наши были втрое слабее сил атамана, и тем не менее мы разгромили и уничтожили банду. Атаман Стецура и его штаб сидят в ЧК.

Гром аплодисментов прокатился по залу.

— Бойцы соперничали друг с другом в мужестве. Чоновцы и чекисты безостановочно атаковали врага. Нам сильно помогли — и это я должен отметить в первую очередь — наши товарищи чекисты: Бутягин, Федюков, Попова и красноармеец караульной роты товарищ Степан Грицай. При их помощи наш уезд очищен от кулацких банд, и мы можем возвратиться к мирному труду. Товарищи чекисты, прошу выйти вперед.

Аплодисменты прорезали тишину.

— Когда нам стало ясно, что небольшими вооруженными силами не уничтожить врага, мы разработали план, по которому в штаб банды должны были войти наши люди. Исполнить это опасное поручение взялись трое наших товарищей: Попова, Грицай и Федюков. Для того чтобы войти в полное доверие к врагу, товарищ Федюков через нашу агентуру связался со Стецурой и стал его снабжать сведениями, уже потерявшими для нас ценность. Товарищ Попова вошла в организацию бандитов и помогла «бежать из-под расстрела» Федюкову, после его «покушения» на Бутягина. Вот и все! А теперь, товарищи, я должен напомнить вам мои же слова, сказанные здесь. Я пообещал, что через неделю перед вами будет Федюков и вы сами станете судить его. Вот они, «подсудимые», перед вами...

Никогда стены здания, в котором происходило собрание, не слыхали более громкого и восторженного гула, чем тот, который покрыл последние слова Фролова.

И вдруг сквозь этот шум трогательно и просто прозвенел четкий знакомый напев:

Вставай, проклятьем заклейменный...

Это, роняя счастливые слезы, пел старый рабочий, тот самый, который так недавно и так неловко спросил об изменнике Федюкове.

Шум смолк. Люди застыли. И через секунду весь зал, все собрание уверенно пело слова великого гимна:

Мы иаш, мы иовый мир построим...

Ласковое, совсем не сентябрьское солнце золотило головы певших людей.



НАЛЕТ

Рассказ

В клубе села Одинцовки было весело. Играл красноармейский баян, артиллеристы вместе с девчатами плясали гопака, сменяя его вальсом и венской полечкой. В перерывах между танцами политрук батареи читал собравшимся вслух статьи из газет, а сменявший его весельчак и острослов Вакуленко рассказывал смешные истории «про нашого попа та про його дочку», да так забавно, что весь клуб, все собравшиеся тут и молодые и старые жители Одинцовки покатывались от хохота, слушая «балачки» веселого наводчика.

Было уже около девяти часов. Приближалась ночь. Высокие пирамидальные украинские тополя закрывали бродившую в небесах луну. Иногда ее серебристые лучи просачивались сквозь листву и пробегали по улицам и хатам спокойного села.

Батарея была на отдыхе. Еще пять дней назад ее трехдюймовые пушки усердно били по махновским бандам, выбивая их со станции Игрень, но теперь и люди, и кони отдыхали после боевых трудов.

Оженився комар, оженився...
Взяв соби жинку муску-невэлычку...—

занграл гармоиист, н хор нз батарейцев, парубков и девчат подхватнл:

Отколь взялась шуря-буря...—

Пулеметная дробь и два долгих залпа прокатнлись по селу, потом грохнули разрывы ручиых гранат, н вдруг по Одиицовке из конца в конец защелкалн пули. Частый огонь охватил село. Урагаииая ружейио-пулеметная пальба приближалась, н с края села, возле деревянных сараев бывшей помещичьей экономнн, полыхнуло пламя. Густой дым, клокоча и крутясь, взлетел над осветившнмнся тополями, длнниые языки огня забегалн, заструнлись по сараям. Певшие оцепенелн.

— Гос-поди Сусе...— негромко проговорил кто-то в коице зала, н вдруг пулеметиая очередь, пущеиная в упор нз-за ближайшего плетия, разнесла распахнутые окна клуба. Брызиулн осколки стекла, упала на пол висячая лампа, кто-то охиул, и сейчас же вся охвачеииая ужасом толпа кииулась к выходу, в паннке топча упавшнх детей и баб.

Крнкн ужаса н вопли заглушнлн треск гремевшнх вокруг внитовок...

А иад селом все шнре н сильней поднимался пожар.

В иизенькой комнате стоял стол, уставлениый ящиками и трубкамн полевого телефона. За столом, держа в руке стакан дымящегося чая, сндел крепкнй, кряжистый человек; другой, полуоткннувшнсь на лежанке н заложив за голову рукн, мечтательио курил, пуская в потолок кольца дыма.

— Хорош чаек! — похвалил первый.— Может, налить н тебе, Грнгорий Иваныч? — предложил он, но курнвший, не отрываясь от своих мыслей, покачал головой.

В трубке засипело, раздался негромкий звонок.

— Алле! Начарт Первой Конной слушает,— беря в левую руку трубку н поднося ее к уху, сказал сидевшнй за столом человек.— Как, как? На Одиицовку? Сейчас передам,— быстро сказал ои и слегка измеиившимся голосом доложил:— Григорий Иваныч, тебя к телефону. Банда напала иа Одинцовку... Село горнт... а ведь там первая батарея.

Куривший разом поднялся. Это был тоже рослый, крупный человек, с крупными чертами энергичного лица.

— Кто говорит? Это ты, Самойлов? Здравствуй. Да, Кулик. Ну, говори. Так, так,— слушая донесение, несколько раз повторил он в трубку.— А как батарея? Неизвестно? Сейчас же бери дежурный эскадрон и полубатарею и скачи галопом на Одинцовку. Да вперед разъезд сильный пошли... Да, да, немедленно. Около моста не нарвись на засаду... А я пойду со стороны Грайворона. Ну, добре, пока! — Положив трубку, он схватил другую.— Это кто? Дежурный по штабу? Как фамилия? Ага. Ну, так вот что, товарищ Берзин, это говорит Кулик. Беги сейчас же к комдиву и доложи ему, что на нашу первую батарею и ее прикрытие, находящееся в Одинцовке, напал сам Махно. Сколько там бандитов, пока неизвестно, село горит, на улицах идет бой. Я сейчас выезжаю туда с конным дивизионом и тремя тачанками. Необходимо, чтобы и со стороны Игреня ваши эскадроны перерезали банде путь. Поняли задачу? А ну, повторите!.. Так, так... Ну, спешите! — И, бросая на стол трубку, он крикнул в окно:— Трубача!

— Трубача! Трубача до командира! — послышались голоса за окном.

— До ко-ман-ди-ра!! — спустя минуту донеслось издалека.

— Собирай, Сергей, дивизион. Выводи тачанки, да пусть одно орудие с тремя ящиками будет готово к походу,— быстро приказал начарт вытянувшемуся перед ним в струнку только что мирно пившему чай человеку.

— Слушаюсь! — ответил тот и бросился из хаты.

В дверь вбежал трубач.

— Чего прикажете, товарищ начарт?

— Играй сбор! — крикнул Кулик, быстро набрасывая на себя портупею. Оглядев наган, он вышел во двор, где уже трубил-разливался горнист.

Тра-та-та-та... «Всадники-други, в поход со-би-рай-тесь...» — звенел в воздухе сигнал, и со всех дворов, окружавших штаб-квартиру начарта Первой Конной, высыпали люди, ведя за собой коней, таща седла и бряцая оружием.

Через пять минут стройная колонна всадников вышла

на главную улицу местечка и, провожаемая лаем потревоженных собак, иа широкой рыси исчезла в темноте.

...А в Одинцовке произошло следующее.

В то время как большая часть батарейцев иаходилась в клубе, остальные мирио сидели по хатам, занимаясь каждый своим делом. Одни дремали, другие чинили поизорвавшуюся одежду, третьи латали сапоги, четвертые попивали из котелков пахнущий дымом чай; кое-кто, сидя на завалинке со столетними «дидами», вели тихую беседу. У въезда в село стояла застава из восемнадцати конармейцев четвертого эскадрона, приданного в прикрытие батареи. Хотя о бандах здесь не было и слышно, но все же еще одна застава была на всякий случай расположена и у моста, возле сходившихся дорог, шедших к Одинцовке из иемецкой колонии Александерфельд и поселка Надеждино.

Командир четвертого эскадрона, краснознаменец, старый конармеец, Степан Заварзин стоял за плетнем своей хаты и точил на бруске шашку. Иногда он пробовал ее лезвие, проводя по острию ногтем. Кончив точить, он взмахнул над головою шашкой. Клинок со свистом сверкнул в сумерках, охваченных багровым отсветом умиравшей зари.

«Хороша»,— подумал он и оглянулся.

Со стороны Гнилой балки в село входил конный отряд. Шедшие впереди дозоры уже прошли мимо него и, не останавливаясь, свернули за угол. Над головной частью колонны развевалось красное знамя с вышитыми посредине молотом и серпом.

«Что за часть? Навериое, четвертой дивизии»,— подумал Заварзин и, подходя ближе к плетню, перегнувшись через изгородь, крикнул:

— Какого полка, товарищи?

— Свои. А где здесь комаидир? — наезжая коием на плетень, спросил передовой, ехавший под зиаменем человек.

— Я командир,— сказал Заварзин и обомлел: перед ним был Махно.

— Измеиа! — крикнул, отшатываясь, комаидир и упал возле плетня. Пуля из маузера, пущенная в упор «батькою», пробила ему грудь.

— Ура!! Даешь красных! — заревели коиные.

Стреляя по сторонам, бросая во дворы и хаты бомбы, паля из пулеметов, они понеслись по улицам тихой Одинцовки, рубя и пристреливая разбегавшихся красноармейцев.

Комиссар первой батареи Михайлов занимал хату старой вдовы, бобылки Устиньи. Хата была в стороне от дороги, возле выхода в поле. Недалеко от квартиры Михайлова расположился и сам командир батареи. Командир и комиссар очень дружили между собой. Они были земляки, из одних мест, оба любили артиллерию, считали ее первым в мире родом оружия и после окончания гражданской войны хотели вместе идти в Артиллерийскую академию.

— Артиллерия — это, брат, первейшее дело, без пушки не бывает победы,— говаривал Решетко.

Комиссар посмеивался, слушая его, хотя втайне вполне разделял мнение своего друга.

Пробыв вечер вместе, они только пятнадцать минут назад разошлись по хатам. Решетко пошел к себе, ожидая прихода с рапортом старшины батареи, а Михайлов решил на сон грядущий почитать Дюма. Орудия стояли возле дома командира. Они были отлично вычищены, накрыты чехлами, зарядные ящики стояли квадратом в стороне. Возле них ходил часовой с обнаженной шашкой, и блики заката играли на ней. Со стороны коновязей послышались возня, храп и ржание коней. Один из жеребцов забил ногами.

«Передрались, черти, опять жеребца между конями поставили»,— с неудовольствием подумал Решетко и поднял голову.

За домами, совсем недалеко от батареи, послышалась пальба, разорвались ручные гранаты, потом загрохотали залпы, и пули, словно горох, посыпались отовсюду.

«Напала... банда!» — вскакивая, решил командир.

За окном замелькали люди. Какие-то всадники скакали по батарее. Пулеметная очередь бесконечно долгой струей прокатилась во дворе. Ветхие ступеньки крыльца застонали под тяжестью бегущих ног.

Решетко быстро прикрутил ночничок, и слабый, еле видный огонек замигал по комнате.

В хату ворвалось человек семь незнакомых вооруженных людей.

— Ты хто? Командир? — крикнул один из них.

— Никак нет. Я писарь,— поднимаясь с табурета, сказал Решетко.— Он вам нужен? Ежели желаете, сейчас позову, он напротив квартирует.

— Зови, едрена вошь, да живее! — крикнул кто-то в ответ.

— А по какому делу? — притворяясь непонимающим, спросил командир, уже отворяя дверь.

— Зови сюда! Сами ему об этом докладать будем,— усмехнулся в ответ стоявший у окна махновец.

Решетко не спеша вышел во двор и, прячась в тени сарая, перешел на другую сторону улички. Там было караульное помещение, пулемет и человек десять батарейцев дежурного наряда. По всему селу грохотали залпы. Пули роем носились по воздуху. Казалось, что бой идет во всех дворах еще полчасика назад мирной и тихой Одинцовки.

Командир покачал головой и быстро нырнул в темневший вход караулки.

В помещении было человек двенадцать перепуганных, растерявшихся красноармейцев, в первую минуту даже и не узнавших в вошедшем своего командира.

— Смирно, не дрейфь, ребята! Оружие есть?

— Так точно, у всех есть,— ответили голоса.

— Запереть двери! Да припри их чем-нибудь потяжелее. У кого есть гранаты? — спросил командир.

Гранат оказалось всего семь штук.

— Добре. Семь гранат — это, братцы мои, бо-ольшое дело,— усаживаясь за пулемет, сказал Решетко.— А ну, стрелки, приготовьтесь. Я сейчас шугану этих гостей вон из моей квартиры, а вы в дверях встречайте.— Говоря это, он выпустил полпулеметной ленты прямо в единственное окно своей убогой комнатки.

При свете зажженной бандитами лампы было видно, как грузно повалился на пол стоявший у окна махновец. Остальные кубарем посыпались из дверей. Залп красноармейцев повалил еще трех человек, а командир Решетко, уже не глядя на бежавших из его хаты бандитов, открыл рассеивающийся огонь из пулемета по коновязям и батарее, где возле брошенных орудий хозяйничали махновцы. Он стрелял больше четырех минут, успевая толь-

ко менять ленты, и под его шквальным огнем падали и люди, и кони.

...Комиссар Михайлов только что вынул книгу и не успел еще даже раскрыть ее, как в комнату вбежал один из батарейцев.

— Беда, товарищ комиссар! Махновцы на батарее! — крикнул он и выбежал вон.

Михайлов отложил в сторону книжку и выглянул в открытое окно. Над селом прокатился залп, поблизости застучали конские копыта. Комиссар сорвал со стены патронташ, сунул за пазуху гранаты и, схватив винтовку, выбежал во двор. К нему подбежали несколько красноармейцев; в первом из них он узнал разведчика Дроздова, остальные были батарейцы и бойцы из четвертого эскадрона.

— Товарищи, сюда! Ложитесь в цепь! — крикнул Михайлов и первый залег в канаву под забором у самого переезда.

Красноармейцы легли рядом, и сейчас же из-за колодца, стреляя на всем скаку, вынеслась пулеметная тачанка, за нею, обгоняя ее слева, мчалась другая, а позади и по бокам скакали конные. Поднявшееся над домами пламя пожара озарило дорогу и часть села. Комиссар видел, как у колодца упал сбитый пулею красноармеец, как у коновязи отбивался от двух конных бандитов часовой. Он отчетливо видел, как сверкнула и опустилась шашка одного из махновцев и как задергался на земле часовой. Первая тачанка, сделав крутой заезд влево, внезапно повернула к ним. Коренная, фыркая и горячась, неслась прямо к канаве. Пристяжные, откинув головы и храпя, были уже совсем близко. На тачанке за пулеметом сидело двое бандитов, позади них, в барашковой шапке, в галифе, с обрезом в руке, стояла женщина.

— Взво-од, пли! — поднимаясь на одно колено, закричал комиссар и, откинувшись назад, швырнул под ноги тройке гранату-лимонку.

Столб крутящегося вихря подсек коням ноги. Коренная упала, а налетевшая на нее тачанка перевернулась, увлекая за собою одну из пристяжных. Другая, оборвав постромки, бросилась в сторону, свалив с коня мчавшегося сбоку всадника. Короткий красноармейский залп врезался в общий грохот пальбы. Четверо махновцев упа-

ли, но вторая тачанка, обскакивая место, где бились упавшие кони, заскакала лежавшим во фланг и открыла вдоль по канаве продольный огонь. Комиссар чувствовал, как возле его лица, обдавая струйкой ветерка неслись пулеметные пули, слышал, как шлепнулось, вонзилось в землю несколько стальных ос, как застонал и охнул соседний красноармеец.

— За советскую власть!.. Смерть бандитам! — закричал Михайлов и швырнул вторую гранату в кучу набегавших слева махновцев.

Он видел, как его граната разорвалась в самой середине толпы и как врассыпную бросились махновцы.

Полянка и дорога все больше и больше заполнялись врагами. Из-за поворота дороги поодиночке и группами скакали бандиты. Их уже было сотни полторы. Рассыпавшись в цепь, стреляя из пулеметов и осыпая канаву винтовочным огнем, они с криком и бранью окружали засевших в ней красноармейцев. А над селом все сильнее вставал пожар. Комиссар слышал, как сквозь вой пламени, свист пуль и грохот гранат гудел набатный колокол.

— Обходят, товарищ комиссар, обходят! Сейчас конец нам будет,— услышал Михайлов срывающийся шепот подползшего к нему Дроздова.

— Товарищи, бегом в избу! А я с гранатами задержу бандитов,— сказал комиссар и, размахнувшись, кинул вперед третью лимонку.

Словно горячий прут хлестнул и обжег ему руку. В левом плече заныло, рука наливалась свинцом.

«Ранен»,— подумал комиссар и оглянулся. Он был один. Волоча за собою руку, комиссар пополз по канаве. Пули с неистовой силой хлестали вокруг, но комиссар знал, что красноармейцы уже добежали до хаты и стреляют оттуда, облегчая ему отход.

Он дополз до конца канавки и, пригнувшись, побежал по бурьяну вдоль забора к хате. Под ногами его вставала пыль. Пули рвали землю. У самого порога комиссар пошатнулся. Вторая пуля вонзилась в плечо. Красноармейцы втащили ослабевшего комиссара в комнатку и положили его на полу.

— Стреляйте, товарищи, стреляйте! Отбивайтесь... а я сейчас... только отдохну и тоже...— тяжело дыша и делая паузы, проговорил Михайлов.

Огромным усилием воли он заставил себя приподняться и, несмотря на сильную боль в плече и капавшую кровь, отстегнул правой рукой кобуру, достал наган и, выдув из-за пазухи две последние лимонки, сел у самого порога, упершись для крепости ногами в стенку. Его начинало мутить. Голова тяжелела, охватывала сонливость, но тогда Михайлов усилием воли отгонял от себя оцепенение и напряженно прислушивался к грохоту боя, к голосам бандитов, стрелявших уже из-под стены.

— Сдавайся, красная сволочь! Все одно побьем! — совсем близко от комиссара прокричали со двора.

Еще один красноармеец рухнул на пол. В темноте комиссар уже не видел и не знал, сколько защитников осталось в этой низенькой деревенской хатенке. Через разметанное окно влетел град пуль, пущенных в упор из ручного пулемета. Еще один повалился со стоном, и только в углу печки кто-то упорно и неторопливо стрелял через окно по мелькавшим на свету бандитам.

«Наверно, Дроздов».— подумал комиссар.

Его отшвырнуло в сторону, и он сильно ударился головою о стену. По лицу потекла теплая кровь. Пробегавший мимо махновец швырнул в окно гранату. В углу кто-то охнул и, роняя хозяйские чашки медленно сполз на пол. В комнате стало тихо.

«Кажется, все!» — подумал комиссар и негромко спросил:

— Кто-нибудь есть живой?

Никто не ответил, и только со двора сквозь разбитое окно влетали шум боя и голоса махновцев. У самой двери послышались шаги.

— Сдавайся, эй, слышь, которые жить хочут! — крикнули со двора.

Комиссар молчал. Он затаил дыхание, чтобы не выдать себя. «Только бы не потерять сознания... только бы не ослабеть»,— думал он, напряженно всматриваясь в темноту.

— Эй, кому говорю! Сдавайся! Усе ваши на селе побиты. Ну! — уже грозно закричал стоявший у двери.

Видя, что ему не отвечают, он сделался храбрее и толкнул прикладом дверь.

— Не лазь, слышь, Мосей, не лазь в хату. Они там

сховались, гляди, с виита вдарят! — крнкнул кто-то сзади.

— Не вдарят. Усе посдыхали,— произнес чей-то грубый голос.

Дверь рванулн, и оиа, полусбитая пулями с петель, с визгом упала во двор. В проходе стоял огромиый детина, за спииой которого виднелись другие.

— Усех побили... Жаль, ушли от мене, гады,— сказал махиовец и шагнул внутрь.

Напрягая всю свою волю, комиссар изо всей мочи ударил возле себя обеими лимоикамн об пол. Теряя сознание, ои еще успел заметнть, как зашатался, падая, махиовец, как с воем кинулнсь прочь остальиые и как, в пыли и грохоте, провалилась виутрь ветхая крыша ставшей ему могилой хатенки.

Дежурный эскадрои с полубатареей первый подошел к Одинцовке. Обстреляиный заставами махновцев, эскадрои атаковал сторожевое охраиенне, смял его н, отбросив за мост, повел наступление на село. Два орудия открыли огоиь по рассыпавшимся вдоль берега махиовцам, третье же стало бить по мосту.

На селе уже догорал пожар, хотя красные, оранжевые и багровые клубы дыма все еще ходили над Одинцовкой. Спешившиеся конармейцы, выбнвая гранатами нз камышей врага, медлеиио подходилн к мосту. Рассыпавшнеся по берегу группы махиовцев яростио отбивались от ннх, и только картечь сгоняла банднтов за реку.

«Опоздали! Сам Махно уже ушел. Ясно, что эти банднты прнкрывают отход своего батьки», — с досадой подумал Самойлов, слушая отчаянную пальбу н треск пулеметов, защищавшнх броды махновцев. К нему то н дело приводили одиночиых красиоармейцев н крестьян, спрятавшихся от банднтов в густом кустарннке н камыше, росшем по берегам рекн. Оии были нспуганы, дрожали от озноба и волиеиня и долгое время не могли связио рассказать о налете врага.

Стрельба у моста стихла, но вдоль дорогн с новой снлой застучалн пулеметы.

— Отходят... Главиые нх силы уже с час как ушлн на Вороицовку, а сейчас и этн пошли за ними, — доложил одии из разведчнков, переплывший реку и добрав-

шийся до села. — Суматоха там идет, товарищ командир, большая... Наших порубанных лежит много, да и бандюков тоже хватает... так'скрозь и валяются. Спешить надо. Там есть красноармейцы, которые из домов бьются.

Через минуту все три орудия на высоких разрывах осыпали шрапнелью окраину села и дорогу, ведущую на Воронцовку. Перебежав мост и добив попавшихся на пути отдельных махновцев, конармейцы ворвались в село. За ними с грохотом и шумом понеслась полубатарея и один конный взвод, прикрывавший ее.

Дивизион кавалерии с одной пушкой под командой Кулика подходил к селу Александровке. Хотя до Одинцовки было еще далеко, но зарево осветило край степи. Его причудливые, фантастические отсветы, ежесекундно меняясь, пробегали в вышине, и чем темней была ночь, тем отчетливей и ярче казались эти колеблющиеся зарницы далекого пожара.

— Здорово полыхает, — покачивая головой, сказал начарт и тихо скомандовал: — Голова колонны, стой!

Черная длинная линия всадников остановилась. От шедших впереди дозоров скакал посыльный.

— Товарищ Кулик, на селе никого нет, кроме жителей. Наша застава прошла дальше. Там председатель сельсовета до вас желает прийти. Перепугались, не спят, боятся, как бы и сюда бандюки не кинулись, — доложил конный.

Хотя было уже поздно, но в селе не спали. Горели зажженные огни, лаяли собаки, перепуганные женщины тащили куда-то голосивших детей. Толпа крестьян сосредоточенно и молча стояла у дороги, ожидая подходивший отряд. Это была самооборона. Убедившись, что это красные, они повеселели, стали разговорчивей, кое-кто закурил, а успокоенные женщины стали тащить обратно в дома свои сундуки, рухлядь и плачущих детей.

— Командир, только сейчас наши молодые ребята прибежали из степи. Они там сторожили, чтобы предупредить вас. Они говорят, что Махно со своими людьми ушел из Одинцовки и повернул на Воронцовское, — сообщил Кулику председатель сельсовета.

— Есть отсюда короткий путь на Воронцовский шлях? — спросил начарт.

— Есть.

— Мосты исправлены? Пройдет пушка?

— Пройдет,— сказал председатель.

— Добре. Давай нам твоих разведчиков, пускай покажут дорогу.

И, забрав двух парней, Кулик повернул свой отряд на юго-запад и повел его по степи на Воронцовку.

— Григорий Иваныч, а не подведут, не обманут нас жители? — осторожно спросил Сергей.

— Нет. Во-первых, им самим от Махно смерть и разорение, а во-вторых, я был уверен в том, что банда не пойдет на Андреевку, а обязательно свернет к Воронцовке.

— Почему же? — спросил Сергей.

— Очень просто. Махно не дурак и отлично знает, что сейчас по тревоге отовсюду скачут на помощь Одинцовке наши эскадроны. И из-за Игреня, из Кашинки, и из Грай-Ворона, а вот в Воронцовке-то у нас ничего нет. Ясно, что он с главными силами бросится туда, а для отводу глаз мелкие партии кинет по степи в разных направлениях.

Спустя полчаса отряд кавалерии, пройдя пышные поля, спустился в Сухую балку и, следуя по ней, вышел на Воронцовский шлях. На шляху за курганами было тихо. Зарево догоравшего пожара опустилось за горизонт. Ночь, темная и густая, опять повисла над землей.

Впереди, рядом с охранением и проводниками, ехал Кулик. Дойдя до разветвления дорог, ведших на села Воронцовку и Гашун, он спешил отряд и, сведя его с дороги в балку, оставил там. Между курганами уже лежала спешенная цепь конармейцев. У дороги, в кустах и ложбине, стояло пять пулеметов, глядевших в темноте своими тупыми стальными рыльцами прямо на дорогу. Из ерика чернел ствол замаскированной пушки.

— Ну, все готово для встречи дорогих гостей,— обойдя позицию, сказал Кулик и лег на траву возле наблюдателя.

Восток уже посерел. Влажный туман, оторвавшись от земли, низко стлался по равнине. Предутренний холодок пробежал по курганам. До восхода солнца было недалеко, хотя мгла еще курилась и была дымчатой и неясной.

— Идут, — сползая на животе с кургана, прошептал наблюдатель.

Кулик сильней прижал к глазам бинокль и, не двигаясь, глядел вперед, в темную мглу, которую прорезал какой-то шум. Лежавшие в засаде конармейцы затаили дыхание.

— Без моего приказа не стрелять, — не отрывая от глаз бинокля и не поворачивая головы, сказал командир.

Шум нарастал. Уже отчетливей слышались цокот копыт, бряцание сабель и прерывистый храп коней. Из серой мглы вырвались конные. Они, на широкой рыси пронеслись мимо, обдавая стремительным, свистящим ветерком лежавших у обочины конармейцев. Они, как видение, как выходцы тьмы, пронеслись мимо и исчезли за дорогой. По-видимому, это были передовые. Не успел растаять стук копыт, как вдали, за курганами, снова возник шум. Но теперь это был топот множества коней. Стучали колеса, тарахтели телеги, раздавались возгласы, отдельные голоса. Темная масса быстро катилась по дороге, и вместе с нею рос и приближался гул. Вдоль дороги бежало облако пыли, уже различаемое глазом в дымчатой предутренней мгле.

Восток посветлел. Сквозь мутную и седую мглу просачивался свет. Пока еще слабый, еле ощутимый, он раз и другой пробежал по степи и, как бы задерживаясь на гребнях курганов, медленно пополз дальше. Словно какая-то пелена сдергивалась с горизонта. Он светлел и окрашивался в розоватый цвет.

Из-за поворота вынеслась толпа конных. За нею сплошной массой скакали тачанки, телеги, экипажи. Они уже пролетали курганы. Низко опустив головы, откинув назад шеи и тяжело дыша, вылетела первая тройка. За нею мчалась вторая, третья... остальные. Пыль, кружа, взлетала из-под копыт разъяренных скачкою коней. С их морд летела пена. Грызя удила, они неудержимой лавиной неслись вперед.

— Огонь! — закричал начарт.

Из дула орудия вырвалось пламя. Горячая картечь врезалась в коней. Ровный залп раскатился по степи. Забили пулеметы.

— Беглый, шесть патронов! — закричал Кулик.

Дым и пламя рванулнсь по дороге. Картечь в упор рвала людей, кромсала конские тела, экипажн. Давя друг друга, в скрежете, воплях и треске падалн люди, валились тачаикн. Раздавлеиные конн бнлнсь внизу под кучей налетавших иа них тел. Стоны, храпенне, воплн неслись с дороги, а иеумолимая пушка все озарялась вспышками огня, и раскалениая картечь хлестала по дороге.

— Эскадро-о-ны, по коням! В атаку марш-марш! — скомаидовал начарт.

Осыпаемый пулями, заметался н рассыпался хвост колонны. Прыгая с коней, бросая тачанки, по степи бежали людн, отстрелнваясь от яростно рубнвших их конармейцев. Одиночные всаднnки и несколько экнпажей карьером неслнсь обратно к Одинцовке.

Осторожный н хитрый Махно, как всегда, ехал в хвосте колоины, в одной нз последннх тачанок. При первых же выстрелах он спрыгнул на землю н, сопровождаемый своим «адъютантом» аиархистом Евтушенко н телохранителямн Стецурой н Максюком, броснлся в сторону от дороги. Замыкавшне колонну ординарцы «батьки», ведшие в поводу двух заручных и оседланных коней, подскакали к атамаиу, и Махно, вскочнв в седло, сопровождаемый всего пятью всаднnкамн, во весь опор понесся в сторону от места боя, бросив на проnзвол судьбы банду с награбленным ею в Одинцовке имуществом.

Комбрнг Горячев, прозваный за свою отвагу и молодечество «удалой головой», вел нз Игреня на широкой рыси эскадроны в сторону Однnцовки. Проскакав Александровку и выйдя к перекрестку дорог, шедшнх иа Анненфельд н Крутояры, комбрнг услышал частые орудийные выстрелы н пулеметную трескотню. Не остаиавлнвая эскадроиы, Горячев на рыси развернул их в лаву и шнроким наметом поиесся иа шум боя. Неожиданиое н быстрое решение комбрига довершило разгром махиовской баиды. Охватнв бегущих махиовцев, эскадроиы в короткой н беспощадиой рубке истребилн весь конный заслон н конвой атамана. Девять пулеметов, свыше двух-

сот оседланных коней и много телег и тачанок с награбленным имуществом было захвачено лихим кавалерийским ударом Горячева. Пленных почти не было. Разгоряченные боем буденновцы только к концу рубки оставили в живых и захватили в плен десятка полтора бандитов.

Часов около одиннадцати утра отряд Кулика возвратился в Одинцовку. Вся прилегающая к реке часть села обгорела. Завалившиеся хаты и сараи еще курились, и крестьяне вместе с красноармейцами ведрами заливали черные, дымящиеся руины.

На площади начарта встретил командир батареи Решетко, стоявший впереди шеренги артиллеристов.

— Смирно! — скомандовал Решетко и, подойдя к Кулику, доложил: — Во вверенной мне батарее все орудия и все зарядные ящики целы!

...После полудня в братской могиле, вырытой возле полусгоревшей колокольни, хоронили убитых бойцов.

Грохнул прощальный залп орудий батареи Решетко, и комья земли полетели в могилу. Бабы заголосили. Мужики закрестились, а стоящий вокруг эскадрон вместе с Куликом запел «Интернационал».

Красное знамя заалело, заплескалось над бойцами.

— Эска-дро-ны, по коням! — раздалась команда.

Застучали колеса орудий, взметнулась коричневая пыль, по дороге заструились конские копыта, и отряд, извиваясь длинной лентой, потянулся обратно из Одинцовки.

Приказом по Конной армии за подписью командарма Буденного и члена Реввоенсовета Ворошилова первой батарее навечно было присвоено имя героически погибшего комиссара Михайлова.



ЭСКАДРОННАЯ ЛЮБОВЬ

Рассказ

I

— А у меня, друзья, рассказ этот будет не о пылкой любви н не о страданиях неразделенной страстн. В нем не будет даже романтики любвн. Словом, не о том, о чем пишут в романах о влюбленных. Мой рассказ будет иной... Я расскажу вам о том, как целый эскадрон бойцов полюбил одну женщину и какне удивнтельные эмоцни родила эта любовь... — улыбаясь сказал директор н потушнл папнросу.

— Эскадрон... одну женщину? — уднвленно переспроснл инженер.

— Да, одну... — тнхо, словно отвечая себе, повторил Чеплыгин, закрывая глаза. — Это было на Дону... Летом тысяча девятьсот девятнадцатого года. Шли бон. Деникнн наступал, мы задерживалн белых. Горячне, кровавые дни, когда забывалось все — н дом, н семья... Когда чувства, похожие на любовь, отодвинулнсь в сторону... Бои, отступления, разведки, налеты — какая тут любовь! Кругом смерть, пули, сожженные хутора, обезображенные трупы и трясущнеся, перепуганные, обездоленные люди... Обстановка, не располагающая к любвн... И вот тут-то,

оказывается, в это самое время, любовь и взяла в плен целиком весь эскадрон.

Он мягко улыбнулся, открыл глаза и, оглядывая слушателей, повторил:

— Целиком! Недалеко от станицы Великокняжеской по линии железной дороги есть село Ельмут, частично населенное немцами-колонистами, предки которых когда-то переселились сюда из Германии. Преследуя белых, мы с налета захватили это село. Пока пехота обстреливала вокзал, мы с гиком проскочили по улицам, срубили несколько не успевших скрыться кадюков и заняли станцию. Село стало нашим, противник бежал. Был я тогда командиром третьего эскадрона тридцать четвертого полка дивизии Буденного. Бойцы у меня были народ лихой. Почти все казаки-фронтовики, изведавшие всю тяжесть галицийских походов и карпатских боев. Это были надежные, крепкие ребята. Большинство из бойцов покинуло своих жен, отступая с нами с Терека и Кубани, и где и как, в каких условиях находились их семьи, никто не знал.

После боя наш полк, как наиболее потрепанный в операции, оставили в резерве, на отдых, дней этак на четыре-пять, в этом же самом селе. Дивизия пошла дальше, а мы порасседлали коней и отдыхаем. Отвели моему эскадрону место на северной окраине села, невдалеке от реки. Осмотрел я взводы, оглядел коней, поговорил с бойцами и пошел в штаб полка за новостями и инструкциями; а обычно сам я располагался всегда с первым взводом эскадрона. Посидел около часа в штабе, выяснил все, что мне было надо, и вернулся обратно в эскадрон. Гляжу, больше половины взвода нет, ни людей, ни коней не видно. Хаты, в которых взвод расположился, пусты, и только человек семь бойцов в одних рубахах лежат, прохлаждаются в тени под навесом сараев. Что за оказия?

— Где первый взвод?

— Переменил фатеру, — смеется кто-то, — ребята к реке ближе подались.

— Купаются, что ли? — спрашиваю.

— Да нет... уже все покупались, а то так, насовсем перешли.

— Как насовсем? А где Игнатенко... взводный?

— И он там. От него главное и пошло. За им, кобелем, весь взвод к мельнице увязался.

— К какой мельнице? — не понимаю я.

— К обыкновенной. Во-о-он она, отсель виднеется...

— Да какого лешего им там надо?

Бойцы расхохотались.

— Не лешего, товарищ командир, а бабы... Там дюже хорошая баба, мельничиха, имеется, а Игнатенко ее как завидел, так туда свой штаб и перевел... А за ними весь взвод подался... Гляди, кабы весь эскадрон к ночи там не был, дюже немка добрая... У ее морда будто рисованная.

— На что я холостой, аж и то к ночи на мельнице буду, — добавил другой, и вижу по глазам говорящих, что дело серьезное, несмотря на шутки и кажущуюся беспечность.

Обошел расположение взвода — пусто. Злоба меня тут охватила и, признаюсь, любопытство. Да оно и вполне понятно. Было мне лет двадцать восемь, мужчина крепкий, молодой, а тут еще слова о писаной красоте мельничихи разожгли... Физиология, конечно, чистая физиология, как там ни говори, но я в те минуты даже сам себе не поверил... Ку-д-да там! Мне казалось, что я немедленно должен идти на мельницу только потому, чтобы распечь, обругать Игнатенко, увести обратно взвод и так, краешком глаза, взглянуть на хваленую немку, очаровавшую бойцов.

— Безо-б-разие! — проговорил я и пошел к мельнице, где расположился исчезнувший взвод.

И хотя я нахмурился и сделал строгое лицо, но по ироническим взглядам моих информаторов ясно видел, что они не поверили мне.

Мельница была невелика. Обыкновенная водяная мельница с небольшой плотиной, над которой буднично свисали ивы. Остановленное колесо, отсутствие сутолоки и гама придавали мельнице грустный, запущенный вид. С первого взгляда она очень напоминала оперную заброшенную мельницу из «Русалки». Тот же обрыв, та же тишь и безлюдье. Но это только с первого взгляда. Когда я подошел к саду, из-за деревьев показались люди. В гу-

стой тени лип была разбита коновязь, у которой мерно шагал диевальиый. У стеи жилой хаты сидели бойцы. Весь их вид говорил о том, что оии расположились тут надолго и по-домашиему. Одии купались в реке, другие, свесив ноги в воду, чиинили белье, третьи возились с седловкой. Разбросаииые вещи взвода, домовитый покой говорили о том, что люди уже прижились к этому месту, чувствовали себя здесь хорошо и что тревожить их было бы совсем лишним. И эта уютиая оседлость еще больше обозлила меия.

— Где взводиый?

— Только что туточки был. Должно, в хату пошли, — оглядываясь, сказал один из мывших иоги бойцов и добродушио предложил: — Ты б, товарищ комаидир, помылся. Вода здесь вежливая, теплая. Усю грязь иачисто отмоет.

Я сердито гляиул иа иего н только что хотел предложить собираться к обратиому путешествию в село, как из дверей хаты вышла женщина, и я сразу же забыл, зачем я пришел сюда. Она была иевысокого роста, с яркорыжими волосами, большими серыми глазами и с чуть полнеющей фигурой. Было ей, вероятио, лет двадцать пять. Оиа искоса быстро взглянула иа меия и, опуская глаза, почти прижимаясь к стене, робко прошла к плетию, иа зубьях которого висели сохиущие иа солнце тыквы. Я глупо поглядел ей вслед и иеизвестно для чего покрутил свои отросшие усы.

— Мельничиха... Ха-а-рошая баба. Германка! — глядя иа возившуюся жеищииу, поясиил боец. — Мельник с беляками текал, а оиа осталася... Сочиая ягодка! — причмокиул он.

Его слова, вероятио, долетели до немки. Не оглядываясь, оиа еще ииже пригиула голову и, сияв с кола большую румяиую тыкву, поспешио виесла в хату.

Солице сильней ворвалось во двор мельиицы, или же мие это только показалось, во всяком случае, мне стало жарко и радостио.

— Игнатеико иаш лисой кругом иее ходит... С самого утра ужом круг иее плетется... — сердито продолжал боец.

Другой, чинивший перебитый пулей арчак, коротко вставил:

— Мало что ходит. Это еще не факт что взводный. Насчет бабов начальства нету.

— Правильно! — засмеялся кто-то.

Я пристально оглядел говоривших. Они замолчали, недружелюбно принимая мой взгляд.

«Надо сейчас же уводить отсюда взвод», — решил я и вошел в хату.

II

Жилище мельничихи было из двух комнаток. Первая была прохладными сенцами, в которых находились разные домашние вещи: чугуны, ведра, корыта, сломанный табурет, какая-то рухлядь. Все это было расставлено по углам. За занавеской пряталась крохотная кухонька. Во второй комнате, светлой и чистой, сидел у стола Игнатенко и, надувая щеки и делая страшное лицо, пускал пузыри, играя с девочкой лет четырех. Ребенок, видимо уже привыкший к чужому, смеялся, шлепал ручонками и в свою очередь строил уморительные гримасы. У порога сидели двое бойцов. На широкой лежанке лежали аккуратно сложенная амуниция и шинель Игнатенко, а в углу стояли винтовка и два патронташа взводного. Сам Игнатенко был в чистой гимнастерке с расстегнутым воротом, вымытой шеей и гладко выбритым подбородком.

«Устроился по-домашнему», — хмуро подумал я, подходя к взводному.

Мой приход смутил Игнатенко. Он неуклюже встал, почесался и, глядя куда-то в сторону, неопределенно сказал:

— Ну, чего есть нового, Василь Григорьич? Может, чайку горячего попьем? — совершенно некстати спросил он, явно уклоняясь от предстоящего разговора.

И это смущение, семейная обстановка со смеющимся ребенком, гладкие щеки, расставленные в спокойном порядке вещи взводного обозлили меня.

— Устроился? — коротко спросил я.

Взводный вздохнул и, отворачиваясь в угол, сделал вид, будто бы ищет кисет.

— Вот что, любезный друг, собирай взвод да выводи его обратно в село, на старые квартиры, а о нарушении дисциплины поговорим позже...

Игнатенко повернул ко мне красное, вспыхнувшее лицо. Его глаза сердито сверкнули, и он обидчиво забормотал:

— Почему обратно? Это я вовсе не понимаю, к чему подобное, товарищ эскадронный. Да!! Опять же — тут и вода, и сенó, и луг... коням легше... Да-а... А насчет взвода, Василь Григорьич, я ничего не имею, я его не звал, он сам сюды перебрался.

И, окончательно запутавшись, замолчал, судорожно мигая своими белесыми веками. По его красному, загорелому лицу пошли белые пятна. Девочка, умолкшая при моем появлении, тихо заплакала, оглядываясь на дверь.

— Довольно, товарищ Игнатенко. Стыдно тебе, взводному командиру, делать на фронте подобные вещи! Взвод здесь ни при чем. Собирай людей и веди их обратно,— сухо приказал я и почувствовал, как кто-то схватил меня сзади за рукав.

Я повернулся. Передо мной стояла мельничиха. Прямо в упор на меня смотрели два огромных серых глаза. Даю вам слово, что никогда, ни до того, ни после, не видал я таких прекрасных глаз! Быть может, это было мгновение, а может, и несколько минут. Что-то глубокое, новое и такое сильное было в них, и вдруг две большие слезы медленно выступили из-под ресниц и скатились по щеке.

— Гос-по-дин... това-а-рищ... — лепечет она, дергая меня за рукав,— не надо... уходил... не... надо, не на-а-адо! — выкрикнула она последнее слово и как грохнется к моим ногам...

Упала, волосы рыжие волной разметались, сапоги мои пыльные залили, а сама дрожит, рыдает. Ребенок увидел это, ка-ак взвоет! Растерялся я. Чувствую, что что-то надо делать, сказать слова какие-то мягкие... успокоить, а что сказать — и не знаю. И эти слова «не на-адо», с огромной тоской и болью сказанные, так меня по сердцу резанули, что понял я: неспроста так горько мучается эта женщина. Поднял я ее, отвел к столу, а Игнатенко из сенец воды ей в кружке принес. Отпила она воды, одной рукой кружку держит, другой дочку к себе прижимает. Не силен я в живописи, но, знаете ли, что-то фламандское, классическое было в этой сцене. Настоящий Ван-Дейк! Красивая, розовая, пылающая жизнью,

рыжеволосая немка с потоками слез на щеках и круглая, толстенькая девчурка у нее на коленях... а колени, обозначившиеся под платьем, тоже фламандские, полные, ну прямо с полотна классических голландцев. Подождал я минуту, вижу — успокаивается женщина, и тихо так, ласково говорю:

— Вы, гражданка, не хотите, чтоб мы отсюда уходили?

Мельничиха, глотая слезы, молча мотнула головой.

— А почему? Вы объясните. Если причина стоящая, тогда я отменю приказание. Вы понимаете меня?

— По-ни-ма-ю, — тихо, точно с трудом, проговорила хозяйка и подняла на меня глаза.

Словно плетью кто огрел меня по сердцу. Непередаваемой красоты... и ничего такого, что обычно утверждают господа романисты. Разные там намеки, страсти, недомолвки и прочее. Наоборот, такая грусть, такая скорбь, что одним этим тоскливым взглядом можно человеку всю душу наизнанку вывернуть. Как будто в могилу близкого только что умершего человека смотришь.

— Боюсь я... ночью... одна. Не надо уходил... не надо!!

— Боится одна оставаться, без народа. Тут ее красоту весь эскадрон видел... Кто знает, чего может быть... Верно я говорю? — обрадованно заговорил Игнатенко.— Никак нельзя уходить!

Я отошел к окну и задумался.

В самом деле, если увести отсюда людей, то могла приключиться беда. Разве мог я поручиться за всех сто человек моего эскадрона? Конечно, нет. Время было военное, да и вообще могли сюда ворваться люди и из других частей. Да и просто сельчане, соседи, парни со станции, хулиганы, для которых события этих дней были б лучшим прикрытием для насилия.

Я посмотрел на женщину. Ах, как же красива была она в эту минуту! Ее робкий взгляд встретился с моим... Страх, обреченность, мольба, надежда были написаны в нем. А щеки немки горели таким румяным пламенем, так бурно пылали ее воспаленные губы, что я судорожно проглотил слюну и, вместо слов, погладил по голове плакавшего ребенка.

Глаза мельничихи вспыхнули. Не вытирая слез, она улыбнулась и тихой, виноватой походкой пошла в сенцы

и загромыхала посудой. Игнатенко недружелюбно сказал:

— Чай остаетесь пить? — и в его упавшем голосе явственно прозвучали ревнивые нотки.

— Остаюсь, — сказал я, — и не только на чай, а и совсем!

Звон посуды за занавеской прекратился. Игнатенко круглыми глазами смотрел на меня.

— Я тоже перехожу сюда. Ночую с вами, — деланно беспечно сказал я и почувствовал, как легко сделалось мне. Словно что-то тяжелое отлетело в сторону.

И я снова погладил притихшую девочку и очень весело крикнул в сенцы:

— Ну что ж, хозяйка, угощай чаем гостей!

По хмурым лицам бойцов, по коротким, отрывистым ответам я понял, что взвод недоволен моим решением. Игнатенко сделался неразговорчив. Словно подчеркивая свою неприязнь, он стал кстати и некстати подчеркивать «товарищ начальник». Я чувствовал на себе обиду взвода.

Хозяйка была молчалива. Настроение взвода передалось и ей. Она тревожно взглядывала на меня, на Игнатенко, и ее осунувшееся, невеселое лицо побледнело.

Чем ближе подходили сумерки, тем печальней и тревожней становилась женщина. Быстрые, нервные взгляды, случайные, невпопад сказанные слова, странные ответы выдавали ее волнение.

Ночь опускалась на село. В сенцах, на полу каморки и за дверями мельницы располагались в суровом молчании бойцы. Эта хмурая тишина пугала женщину, и, вероятно поэтому, она не отпускала от себя ребенка, ища в нем слабую, неверную защиту себе.

Я лег на полу в ее комнатке. У стены стояла деревянная лежанка, на которой возвышались подушки, одеяла и тюфяки. В сенцах, головой ко мне, улегся Игнатенко. Нас разделял только порог. Рядом с ним легли двое бойцов, а за раскрытыми настежь дверями — весь остальной взвод. Люди укладывались молча. Изредка слышался чей-нибудь короткий шепот да сдерживаемый кашель или вздох. И в этой волнующей, невеселой тишине была на-

стороженная неприязнь взвода. Тихая донская ночь окутала землю. Тело ныло, но спать я не мог. В полутьме я слышал, как хозяйка глубоко и горестно вздохнула и осторожно прилегла на свою заскрипевшую постель. Что-то забормотал во сне ребенок, и сейчас же, как по команде, задвигались, закашляли, зашумели люди. От порога и вдоль лестницы раздалась возня. Кто-то приподнялся. У двери чиркнули спичкой. Взвод не спал. Игнатенко протянул через порог руку и, нащупывая в темноте мое плечо, сказал совершенно некстати:

— Василь Григорьич, а который теперь будет час?

Снова наступила тишина. Опять тьма окутала нас, с неудержимой силой захотелось спать. Словно теплые, баюкающие волны охватили и закачали меня. Я сладко вздохнул, потянулся... и сейчас же огромным напряжением воли потушил в себе сон.

«Не-е-ет! Спать нельзя! Не-воз-можно!» — повторял я, в то же самое время чувствуя, как сладкий яд близости женщины охватил меня самого. Глаза хозяйки, серые, огромные, встали передо мной. Они звали сквозь тьму и были вот тут, совсем близко... Мне стало душно.

Было так тихо, что ясно слышалось, как билась крылом о потухший ночник залетевшая на огонек бабочка. Темнота и волнение скрадывали расстояние. Мне казалось, что прекрасная немка лежит совсем близко и что стоит мне протянуть к ней свои горячие руки, как я встречу ответные объятия женщины. Я протянул руки... Тьма, пустота встретили их.

Во сне перевернулся и что-то пролепетал ребенок, и сейчас же я снова услышал над собою учащенное сопение Игнатенко. Я плотнее сжал глаза и задышал еще ровней и спокойней.

Текли часы. На секунду я забывался в быстром, беспорядочном сне, но сейчас же просыпался. Стоило комунибудь повернуться, чихнуть или сделать какое-либо движение, как весь взвод начинал копошиться, кашлять, усиленно вздыхать, чиркать спичками, переговариваться и этим давал понять каждому, что мы не спим, бодрствуем и внимательно наблюдаем один за другим.

Так лежали мы летней бессонной ночью у ног нашей хозяйки Минны. В окно уже просочился рассвет. Серые длинные тени заколыхались, скользя по стене. Утренний

холодок, резкий и бодрящий, пробежал по комнате. Где-то вдалеке заскрипел журавель, и бледные, дрожащие звезды медленно растаяли на небе. Приближалось утро. До меня донесся храп. Еще минуту я слабо боролся со сном и затем словно провалился в глубокую яму...

Когда я открыл глаза, был яркий день. В окно глядело солнце. На дворе щебетали птицы, а за столом, причесанная, с повеселевшим лицом, хлопотала хозяйка. У окна играла девочка. На пороге, с сонным, опухшим лицом, сидел только что проснувшийся Игнатенко. Он скучно взглянул на меня и широко зевнул.

— Недоспал? — ехидно спросил я.

— За суседями доглядал, чуток заспался,— не менее ехидно ответил взводный.

После обеда, обходя взводы, я снова пришел на мельницу. Мертвая тишина да клевавший носом полусонный дневальный встретили меня.

— А где люди? — спросил я.

— Спят, товарищ командир. Весь взвод лежит... Кто в саду, а которые на сеновале,—позевывая, сказал дневальный.— Нехай днем поспят, ночью опять в сторожовку.— И хитрая улыбка оживила его сонное лицо.

Я пошел вдоль двора. Под тенью плетня, уткнувшись лицом в охапку свежего, пахнувшего цветами сена, лежал Игнатенко. Я остановился над ним. Взводный спал, выводя носом тонкие, замысловатые трели, изредка что-то бормоча. Возможно, ему снилась прекрасная Минна. Из-за деревьев торчали босые ноги, раскиданные руки и разметавшиеся тела бойцов. Я оглядел это сонное царство и недовольно покачал головой. В эту минуту в окне метнулась рыжая, огненная копна волос, мелькнуло лицо мельничихи, и мне показалось, будто в ее больших серых глазах дрожал и искрился смех.

Я не поверил себе. Я так привык к ее испуганному, обреченному виду, что эта улыбка...

Я вошел в комнату. У стола возилась Минна. Она угловато поклонилась и сейчас же скрылась за занаве-

ской. Ну конечно же, это только показалось мне. Какая могла быть улыбка у этой запуганной, задавленной страхом женщины?

Потом мы пили чай. Я, Игнатенко и маленькая Пупхен, дочка Минны. Мы быстро сдружились с девочкой, а сахар, обильно посыпавшийся в ее растопыренные ручонки, окончательно обворожил ее. Она поочередно садилась к нам иа колеии, весело щебеча какую-то немецкую песенку. Строя уморительные гримаски, она, коверкая, лепетала русские слова, проявив особенную нежность к черным, лихо закрученным усам Игнатенко. Она теребила их своей маленькой ручонкой, вызывая этим громовой смех бойцов и смущенную улыбку укоризненно качавшей головой матери.

— Мене все дети любят. Бо я дуже добрый,— прихвастнул взводный, победно глядя на меня.

«До их матерей»,— подумал я. Мне очеиь уж ие понравилась сияющая, словно медный таз, глупая рожа взводного.

Хозяйка ухаживала за нами, но сесть за стол не решалась. Она поила иас морковным чаем, подливая бойцам горячий иапиток. Из широкого зева русской печи она вытянула окутанные вкусным паром тыквенные пироги и горячие коржики и стала раздавать их бойцам. К вечеру она достала из погреба два ведра холодного, устоявшегося молока и принесла их взводу. Мне же и Игнатенко молча поставила по крынке густого, прохладиого каймака. Это заботливое гостеприимство растрогало бойцов. Люди повеселели. Совсем по-свойски, словно со старой знакомой, заговорили они с нею. В их словах, в самом обращении с немкой ие было и тени вчерашнего заигрывания. Ненужная болтовня, упорные взгляды, иазойливые приставания — все это рассеялось как дым. Это были другие люди, неожиданно иашедшие в этой случайно встретившейся женщине и в этом маленьком забавном ребенке свои где-то далеко оставлениые, давно потерянные и иаполовину забытые семьи и дома.

И хозяйка почувствовала это. Ее глаза стали внимательней, спокойней, движения уверенней и легче. Угло-

ватость и робость, выдававшие волнение, почти оставили ее. Она легко и свободно держалась с бойцами, заговаривая с ними, подходя и угощая их, и только по отношению ко мне и Игнатенко у нее остались прежние недоверие и страх. Не знаю, быть может, я ошибался, но всякий раз, как только я ловил ее редкий, искоса брошенный на нас взгляд, мне приходила в голову эта мысль.

В одиннадцать часов мы потушили огонь. Как и вчера, я спал на старом месте, в комнатке Мины, Игнатенко — в сенцах за порогом, головою ко мне, а бойцы в прежнем порядке на лестнице и дворе. Словом, все было по-вчерашнему, с тою лишь разницей, что женщина уснула раньше всех. Теперь, после того как весь взвод почувствовал в ней своего, близкого и родного человека, ей никого уже бояться не приходилось. И хотя к концу вечера глаза ее снова стали грустными и настороженными, тем не менее я видел, что в ней произошла какая-то перемена. Ложась спать, она спокойно убаюкала ребенка, напевая ему тихую колыбельную песню. Через несколько минут хозяйка уснула.

И эта ночь прошла для меня без сна, хотя я слышал дружный храп взвода и спокойное, ровное дыхание женщины.

Не знаю, быть может, я что-либо прошептал или сделал какое-то движение, не помню, но сейчас же щелкнула зажигалка и слабый огонек озарил склонившееся надо мною лицо Игнатенко.

— Что надо? — щурясь от света, спросил я.

Зажигалка потухла, и глаза взводного, с подозрением глядевшие на меня, исчезли.

— Блохи! Спать не дают... гады...— со вздохом сказал Игнатенко.

«По морде бы тебя!» — подумал я.

Образ Мины, с таким трудом почти восстановленный мною в памяти, рассеялся как дым. И даже ее огромные глаза растворились в темноте.

А из уголка комнаты, где лежала виновница нашей бессонницы, доносилось ровное дыхание. Хозяйка спала.

Спали и бойцы. Их могучий храп эхом переливался на дворе, и только мы, два полувлюбленных болвана, сторожили друг друга.

Утром эскадрон мылся в баньке во дворе мельницы. Через двор были протянуты веревки, на которых висело мокрое, сушившееся белье бойцов. По двору сновала хозяйка. Лицо ее было оживленно, глаза смеялись. Она покрикивала на мужчин, неуклюже стиравших белье. Вдруг немка нагнулась над чьим-то корытом, отодвинула смущенного бойца и стала энергично стирать его грязные, заношенные портки. Брызги пены и воды разлетались в стороны от сильных движений Мины. Из-под платка выбился клок огненных волос немки. Через минуту она вместе с двумя бойцами уже носила охапки дров и соломы для подтопки бани, в которой повзводно мылся эскадрон.

Я помылся и, бодрый, освеженный, вернулся в комнату. Хозяйка поднялась из угла и, пригласив к столу, снова села и стала молча штопать вымытое красноармейское белье. Во дворе группами прохаживались бойцы. Тут были люди из всего эскадрона. Когда один из вновь пришедших эскадронцев брякнул что-то по адресу нашей хозяйки, весь взвод негодующе зашумел на него. Даже стихли похабные песни и бранные слова, без которых так трудно было прожить нам в те дни. Если у когонибудь срывалось с языка колючее слово, сейчас же и бойцы и сам неосторожный старались замять его.

Взводный, не сводя млеющих глаз с хозяйки, с трудом допивал третью чашку морковного чая. Он тяжело сопел и, вытирая полотенцем пот, мучительно пил ненавистный ему чай. Мина, доштопав синие с белыми полосами подштанники, подошла к нам и, передавая их просиявшему взводному, сказала:

— Готово... носите здоровье!

Игнатенко вскочил и, проводя ручищей по усам, галантно ответил:

— Мерсю! — И, перекинув через руку свои «невыразимые», сияя, сказал, указывая на Мину: — Они, Василь Григорьич, здорово белье чинють, чистая портнойка.

— Давай ваше белье... командир... я его буду сти-

раль, починяйть,— сказала хозяйка и подняла на меня глаза.

Лучше б она ударила меня палкой, чем этот неожиданный взгляд в упор. Я почувствовал, как по моей спине заходили мурашки.

— Спасибо, не надо,— буркнул я и стал надевать портупею.

— Куда, Василий Григорьич? — довольным, разнеженным голосом спросил Игнатенко.

— В штаб полка,— сказал я, застегивая кобуру.— А ты бы, взводный, осмотрел коней. Как у тебя с боеприпасами во взводе? — отворачиваясь от пристального взгляда хозяйки, поинтересовался я.

— Ничего, запас полный,— сказал Игнатенко и тревожно спросил: — А что? Разве скоро в поход?

Я и сам не знал этого, но, заметив испуг в глазах хозяйки, почему-то соврал:

— Скоро! — и вышел из хаты.

Мне совсем не нужно было идти в штаб. Я просто почувствовал, что нужно сейчас же уйти из дому и возможно дольше не быть возле немки.

«Надо реже встречаться с нею... Меньше думать о ней. Да и какое мне вообще дело до нее! Пусть она хоть женихается с этим дураком взводным, мне-то, в конце концов, что?! Сегодня же переберусь обратно в село, и черт с ними, с этой дурацкой мельницей, ее хозяйкой и болваном Игнатенко!» — обозлился я, отлично понимая, что никуда с мельницы не уйду, что и сегодняшняя ночь пройдет так же глупо и бессонно, как и прошлые две.

Прошло еще два дня. Наш полк по-прежнему стоял в резерве. Эти дни я проводил в расположении остальных взводов, тормоша бойцов, осматривая оружие, седловку и обоз. Утром я устроил проводку и осмотр коней. Мы мяли им бабки, терли холки и смазывали набитые спины, заливая пораженные места жиром, мазями и густым зеленым мылом.

В эти дни я приходил на мельницу только ночевать. Зато кони моего эскадрона были отлично накормлены, вычищены и игривы. Бойцы с уважением поглядывали на меня, когда я в десятый раз обходил коновязь, загля-

дывая в торбы повеселевших коней. Комполка похвалил меня, отметив заботу об эскадроне. Если б они знали, что в этом сугубом рвении и заботах прятал я свою неистовую любовь к немке!

И вот тут со мной произошла странная вещь. Что это такое — случай, совпадение или же какое-то другое необъяснимое явление? Когда я выходил из штаба полка, у самого крыльца я встретил переходившую дорогу Минну.

Немка вздрогнула, задержалась на миг и... опустив голову, быстро прошла мимо, но я видел, как вспыхнули ее щеки и кончик маленького ушка.

Я медленно пошел вдоль села, все думая, думая и думая о моей дорогой хозяйке и ее вспыхнувшем лице.

Очнулся я за околицей, наткнувшись на небольшое стадо коров. Пастух, подросток лет шестнадцати, поднялся из ковыля и нерешительно попросил табаку. Закурив, он срывающимся, петушиным баском сказал:

— А я тебя, товарищ, два раза окликал... пока ты на телка не наткнулся.

Мы покурили. Белое, стелющееся море ковыля уходило далеко по степи. Сильно пахло мятой, полынью и чабрецом. Я лежал на животе рядом с мальчишкой-подпаском, болтая ногами, чему-то смеялся вместе с ним, а внутри у меня пело, ликовало.

— Чудной ты... и веселый, — вдруг сказал пастушок, — аж насквозь светишься. А я веселых люблю, — сознался он и заиграл на своей камышовой дудке.

До сих пор я помню этот острый и пряный запах степных трав, незатейливую мелодию пастуха и горячее, яркое солнце, кипевшее в моей груди.

В село я вернулся другим путем. Обойдя церковную площадь, я пересек пустырь, где одиноко торчал старинный журавель с длинной деревянной колодой, из которой казачки по вечерам поили скот. За углом слышались женские голоса, пронзительно завизжал поросенок и, вереща, стремительно пробежал мимо меня. За ним, размахивая хворостиной, выскочила казачка. Увидев меня, она спряталась за плетень. Посреди улички стояли три женщины, оживленно гутаря между собой. Одна из них равнодушно посмотрела на меня пустым, безразличным взглядом и чуть-чуть посторонилась. Другие две, ядреные, разбитые

казачки, лукаво ухмыльнулись. Круглая, молодая бабенка, толкнув локтем молчавшую соседку, что-то громко сказала. И все трн задорно н густо захохотали мне вслед. Я оглянулся. Лица первой я не видел — она отвернулась, — зато толстушка вызывающе подмигнула мне и, хлопая подругу по бедру, крикнула:

— Эй, товарищ... слышь, что лн?

— Ну, слышу! В чем дело, тетя?

— А вот в ей, — показывая на соседку пальцем, сказала казачка. — Она к тебе в стряпухи хотит. Возьмешь, что ли?

— Если не дорого, возьму, пожалуй, — засмеялся я.

— Об цене разговор после будет... споетесь. Ты глядн, баба-то какая! Что грудью, что спиной — всем вышла, — подталкивая вперед хохотавшую подругу, озорннчала казачка.

Я хотел ответнть ей, но так и остался с раскрытым ртом. Из-за угла, обходя баб, вышла Минна.

Она прошла мимо меня, не поднимая глаз. Я растерянно поглядел ей вслед, забыв о моих веселых, озорных казачках. Немка шла быстро н ровно. Из-под белого платочка огненной прядью вырвался и блеснул знакомый клок волос. Не оглянувшись, она скрылась за плетнями станицы.

Я все глядел вслед, хотя на дороге уже не было никого.

— Растаял, нечистый дух!! Гляди, очи лопнут, на баб чужих глядючи, — обозлилась казачка н, проходя мимо меня, вдруг сказала визгливым голосом: — Проходи, проходи, антихрист окаянный! Сейчас до командира пойду, жалиться, чево к бабам кидаешься!

И онн негодующе прошли мимо меня.

Ночью меня разбудили. Конный ординарец привез из штаба приказ. Его появление произвело немалый переполох. Рабуженная шумом немка, накинув на себя платье и засветив ночничок, с тревогой глядела на конверт в руках ординарца. Игнатенко, сидя на полу в ожидании, зевал н почесывал волосатую грудь. Из сенец заглядывали бойцы. Появление ординарца среди ночи могло кончиться немедленным выступлением в поход.

Я вскрыл пакет.

«Ввиду полученных сведений о прорыве белоказачьей дивизией Улагая у Солодовников, ваш эскадрон временно, до ликвидации прорыва белых, закрепляется за штабом полка в качестве его боевого охранения. Примите меры к усилению постов и пр.».

— В поход? — застегивая гимнастерку, спросил взводный.

На дворе раздавались голоса, вспыхивали огоньки, топали кони. Эскадрон готовился в путь.

— Спать! — коротко сказал я.— Завести коней обратно. А ты, взводный, усиль у моста караулы.

— Слушаюсь! — сказал Игнатенко, надевая на ходу винтовку и волоча за собою патронташ.

Немка молча смотрела на меня.

Бойцы укладывались в сенцах, тихо перешептываясь и вздыхая.

— Ложись спать! — сказал я хозяйке и вышел во двор.

Светили звезды, плескалась вода, да, приглушенно топая, прошел караул. Обойдя дневальных, проверив посты, я вернулся обратно. Игнатенко уже спал, чуть посвистывая носом.

Перешагнув через него, я тихо разделся и прилег.

В сенцах всхрапывали бойцы. Кто-то протяжно простонал во сне. Девочка хозяйки завозилась на лежанке, и сейчас же раздался тихий, еле слышный голос Минны, баюкавший ребенка:

А-а-а, шляв, киндхен, шляв!..

Я затаил дыхание.

Да драузен штен цвай Шаф...—

шепотком напевала Минна.

Ребенок стих.

Еще в гимназии я неплохо знал немецкий язык, но за годы войны хотя и забыл его, все же песенку Минны понял до конца.

Унд венн майн киндер нихт шлафен вилль,
Данн комт дас шварце унд бейст...

— А-а-а...— еле слышно донеслись до меня слова замирающей колыбельной.

Неожиданно для себя я тихо, но внятно сказал:

— Их либе дих, Минна!

Песенка оборвалась. Но я знал, что хозяйка не спит, тревожно прикорнув в своем углу.

По двору бегала Пунхен, волоча за рукав большую, сшитую из разноцветных лоскутов куклу, сооруженную эскадронным швецом Недолей. Голова куклы была сделана из кожаного кисета, на белой потрескавшейся коже которого чернильным карандашом были нарисованы нос, два глаза и покривившийся рот. Я узнал его. Это был кисет взводного, щедрый подарок влюбленного Игнатенко.

— Всем взводом малювали. Кто портки старые дал, а кто и кишеня не пожалел,— многозначительно сказал взводный, поглаживая усы.

— На то ж оно дитё малòе. Гляди, как радо, аж светится,— засмеялся Недоля, перекусывая длинную нитку и вдевая ее в иглу.— Я из цих остатков, мабуть, ишо каку-нéбудь матрешку ей зроблю.

Через двор шла хозяйка, неся на коромысле ведра с молоком. Когда она поравнялась с нами, я негромко, раздельно повторил:

— Их либе дих!

Опущенные веки Минны дрогнули, шею и уши залила краска смущения.

— Чего... чего? Как ты сказал, Василь Григорьич? — изумленно спросил Игнатенко.

— Погода, говорю, нынче хорошая.

— Погода? — недоверчиво протянул взводный.— А ты разве по-ихнему знаешь?

— Знаю!

— По-года! — косясь на меня, повторил он.

Я пошел к воротам, чувствуя на себе тяжелые, недоверчивые глаза Игнатенко.

В полдень в село пришли и остановились на ночевку обоз с боеприпасами, лазаретные двуколки да полурота пехоты, прикрывавшая их в пути. Мимо станицы к Вели-

кокняжеской, пыхтя, прошел бронепоезд «Красный Царицын». Часа через два со стороны Маныча донеслась далекая орудийная пальба. Потом все стихло. Близился вечер. Желтый закат облил степь, позолотив горизонт и небеса.

По дороге шло стадо коров, впереди которых, задрав хвосты, суматошно скакали телята. Сквозь облачко пыли я увидел пастушонка, с которым день назад лежал за околицей в траве.

— Давай закурить, товарищ, помираем без курева!

Покурив, он тряхнул головой и побежал за стадом, оглушительно хлопая длинным кнутом.

Пахло коровами, молоком, теплым навозом. Со степи набегали запахи мяты и чабреца.

В штабе меня предупредили о возможности скорого выступления в поход.

Через приоткрытую дверь до меня донесся разговор. Беседовали Минна и Игнатенко.

— Чего тебе давеча сказал командир?

— Чего говориль? Я его не понималь.

— Как «не понималь»? Разве ж он не по-вашему балакал?

Минна ответила не сразу.

— Не знаю! Я не понималь,— снова повторила она, и я услышал, как сильней зазвенели перетираемые полотенцем чашки.

— А сама покраснела,— внезапно снижая голос, хихикнул взводный.— Аж вся зашлась краской. Отседа... и до энтих пор тоже...— Его голос взволнованно оборвался.

Послышалась недолгая возня. Затем напряженное дыхание борющихся людей, чмоканье, напоминающее сорванный неудавшийся поцелуй, глухой звук, похожий на удар или толчок. По полу, звеня, разлетелась посуда. Из сеней стремительно вышла Минна, приглаживая на ходу волосы и сбитый на сторону платок. Глаза ее были сухи и злы.

Увидев меня, она остановилась и молча посмотрела мне в глаза, пристально, спокойно, сурово.

С тех пор прошло уже много лет, но и сейчас, вспоминая этот взгляд, я волнуюсь, как и тогда. Повторяю, в

эти дни я по-хорошему, по-настоящему любил мою немку. И, как видно, она почувствовала это. Ее злые, суженные зрачки дрогнули, в них затеплился огонек. Она вздохнула, отвернулась и тихо прошла во двор. Я смотрел ей вслед растерянный, смущенный. Дойдя до ворот, Минна вдруг обернулась, встретилась со мной взглядом и, засмеявшись радостным и глупым смехом, побежала по дороге к селу.

В хате, у зеркала хозяйки, покручивая ус, стоял взводный.

Вертится крутится шар голубой...—

разнеженным голосом напевал он.

Вертится, крутится над головой...

Перегнувшись ближе к стеклу, он выдавил на щеке прыщ и подмигнул мне.

Вертится, крутится, хочет упасть.
Кавалер барышню хочет украсть!

— Романец — первый сорт! Хорошая песня! — похвалил он свой репертуар.

— Подходящая, только вот что, кавалер: ты зачем хозяйку обижаешь?

— А что? Не обижал!

— Не ври, взводный! Брось свои романсы и приставания, а то...

— Что «а то»? — внезапно багровея, переспросил Игнатенко.— Ты что об себе думаешь? Раз командир, так во все дела лезть можешь? Ты эту дурость брось! Слышишь? Я не погляжу, что ты начальник, ежли что, недолго и за клинок...— и он постучал по рукояти своей шашки.

Я молчал.

Это еще больше взбесило его.

— Подумаешь, учитель нашелся! Интельхенция собачья! Посадили тут вас на нашу голову... Три года на германской от офицерья спокою не было, так на вот, и в Конармии благородия дали! Чего глядишь? Чего наставился? У самого с немкой не выходит, так рабочий чело-

век виноват? А я, может, с ней ищо сегодня спать буду! Какое тебе дело? Ну? Какое?

— Не таращь глаза, не испугаешь, да и усы тоже придержи — рассыплются! А насчет шашек разговор у нас потом будет. Понял? По поводу же хозяйки — если так ставишь вопрос, то пусть эскадрон решает.

— Ка-ак эскадрон? Ему какое до того дело?

— А так! Общее это дело, эскадронное. Вся сотня немку под защиту взяла, всем эскадроном и решать будем.

— Что решать-то? — запнувшись, спросил Игнатенко.

— Сам знаешь что,— снимая амуницию, сказал я.

— Да что я сделал, Василь Григорьич? Ну что такого? Ну, разок облапил было... побаловался.

— Там будешь говорить, взводный, перед всеми.

— Не надо этого, товарищ командир.

— Чего этого?

— Того, значит... срамить меня не надо перед всеми.

— Чем срамить-то? Немка выйдет, свое скажет, а ты говори то, что мне сейчас сказал. Можешь и вовсе отказаться... Не трогал, мол, не лапал... врет все хозяйка.

Игнатенко молчал и только переступал с ноги на ногу.

— Не надо этого, прошу тебя, Василь Григорьич,— наконец обмякшим голосом хрипло сказал он и отвернулся.

— А почему?

— Товарищей стыдно! Сам ведь понимаешь, Василь Григорьич, эскадрон не шутка... Как возьмут все они меня за зебры! Сраму не оберешься. Потом год в глаза никому смотреть нельзя будет. Да и какой я тогда для них начальник буду?

— Почему же? Ведь только что ты кричал на меня, на шашках рубиться хотел, интеллигентом называл, а теперь отбой бьешь!

— Василь Григорьич, ну что ты, дорогой, куражишься да дурочку из себя строишь! Сам знаешь: раз эскадрон решил немку не обижать, разве кто противу всех пойдет? Раз все товарищи ее своей красноармейской женой или навроде вдовы посчитали, так все ее и беречь по товариству должны...

— Ну?

— А я с путе сбился. Ошибся маленько. Я думал, что она не спротив. Ежели по согласу — эскадрон тут

ни при чем. А она...— Взводный замялся.— Одно слово, виноватый. Так ты, Василь Григорьич, не говори эскадрону. Не простят такого ребята. А что насчет разных там шашек болтал, так вдарь ты мине раз, ну два по морде — и квиты. А? Идет? Василь Григорьич? — И он с надеждой уставился на меня.

— Ну ладно, и бить не буду, и эскадрону ни слова, тем более — скоро в поход.

— А что? Разве чего слышно?

— Денька через два выступаем.

— Через два день? Через два день? Уходиль? Геен зи форт?

В дверях, опершись о косяк, стояла хозяйка.

— Цвай одер драй таген,— ответил я.

— Цвай... таген...— Губы хозяйки дрогнули.

— А говорила — не понимаешь, чего командир по-германски сказал! — сердито сказал Игнатенко, о котором мы в эту минуту забыли совсем.

Стемнело. На селе загорелись огни. Бойцы ужинали, позванивая котелками, чавкая и смачно жуя.

Игнатенко сидел на полу, играя в шашки с Недолей. Пупхен мирно спала, зажав под локоток свою размалеванную Матрешку. Я разглядывал на карте-десятиверстке Сальскую степь, через которую шла кавалерия белых.

— Вот и запер свою дамку! Сиди, покуда не выпущу,— делая удачный ход, засмеялся Игнатенко, победно глядя на озадаченного Недолю.

На постели, задумавшись, сидела хозяйка. За весь вечер она не сказала ни слова. Глаза ее были беспокойны. Лицо озабоченно. Глубокая морщина прорезала лоб. Что-то тревожило ее. Неужели наш близкий уход? Раза два я искоса, будто нечаянно, взглядывал на нее, но она упорно не замечала меня. Губы немки были сжаты, чересчур спокойное лицо бледно.

— Сдавайся, Недоля, чего там! Все равно от судьбы не уйдешь,— снова засмеялся Игнатенко.

Немка вздрогнула, и ее бледные щеки запылали.

Она порывисто встала и сурово, почти с ненавистью оглядела нас. Ее потемневший взгляд остановился на

мне. Игнатенко, бросив дамки, изумленно смотрел на нее. Бойцы, удивленные странным видом хозяйки, смолкли.

Вдруг Минна крупными шагами стремительно подошла ко мне. Глаза ее были суровы, но лицо стало мягче, и нежная, чуть заметная улыбка прошла по нему.

Она за руку потянула меня к себе. Я встал, и хозяйка на виду у всех медленно обняла меня.

Взводный, держась за стенку рукою, неподвижно сидел на полу. Бойцы из сенец заглядывали в комнату. Кто-то выронил чугунок, загромыхавший по полу.

Не обращая внимания на людей, Минна приподнялась на носки и, дотянувшись до моих губ, крепко поцеловала меня.

Игнатенко охнул и завозился у порога. Тогда хозяйка сердито повернулась к нему и, резко шагнув вперед, одним рывком руки опустила тяжелую войлочную полость, висевшую над выходом в сенцы. Затем она прикрутила огонек ночника и обвила меня руками.

Ночничок мигнул и с треском потух. В хате стало тихо. И вдруг я услышал, как за опущенной занавеской стали уходить люди. Они старались не шуметь, еле ступая на носки. Когда кто-нибудь из них неосторожно ступал, остальные сдержанно цыкали на него. Так прошло несколько секунд, затем послышался чей-то возмущенный голос:

— А ты чего остаешься, взводный? Выдь, выгребайся немедля... Весь эскадрон требовает.

Секунду спустя тихо закрылась дверь. Сенцы были пусты.

...Когда я проснулся, Минна, одетая в белую кофту и новую юбку, уже суетилась за столом. Ее длинные рыжие косы были заплетены, выбиваясь из-под нарядного платка. Запах свежего утра, горячего хлеба и жарившейся яичницы несся из сенец. В сенцах не было никого.

Стол был покрыт красной скатертью с черными поперечными полосами, пол чисто вымыт, а на стенах развешаны белые рушники и цветные олеографии, видимо покоившиеся на дне сундука.

«Новобрачные!» — подумал я.

Минна вышла. Я быстро оделся и, подойдя к окну, распахнул его. Свежий утренний воздух ворвался в ком-

нату. Во дворе было оживление. Я перегнулся через подоконник и обомлел. Под окном в кружок стояли эскадронцы, посреди которых с белым платком в руке виднелся бородатый Скиба, лучший песенник и запевала полка.

Увидя меня, казаки заулыбались, закивали головами, но серьезный Скиба поднял руку и махнул платком. Все сразу смолкли и подтянулись.

«Что за черт!» — подумал я.

По полю соколик по-ха-живает...
Он лебедку бе-е-лую выгля-ды-вает...—

высоким, чистым тенорком завел Скиба, дирижируя платком.

И сразу же по двору мельницы разлилась старая терская казачья свадебная песня.

Чтоб была лебедушка краше всех...—

подхватили голоса.

Чтоб очи были лазоревые...—

загудели басы... И подголосок, взлетев высоко над поющими и обгоняя их, выводил:

Сокол-ба-атюшка, Василь Григорь-е-вич,
Не пущай лебедку одну гу-у-лять...

«Да здесь весь эскадрон!» — смутился я. Но тут платок Скибы снова взметнулся вверх. Свадебная оборвалась, и озорная, веселая песня:

Командир наш, командир,
Командир наш молодо-ой...—

разлилась, разлетелась по тихой мельнице. С присвистом, с уханьем, с пристуком пели озорную песню смеющиеся, довольные эскадронцы. А у самого круга песенников, посреди казаков, подбоченясь, стояла веселая, смеющаяся Мина.

Целый день эскадрон добродушно озорничал над своим командиром и сияющей Миной. Целый день я не видел взводного Игнатенко, уклонявшегося от встречи со мной.

...Через день мы уходили в поход.

Рано утром, когда через село потянулись обозы и я, уже сидя на коне, выводил эскадрон, обняв стремя и припав головою к моему колену, провожала нас наша хозяйка. Слезы мешали ей говорить, она, всхлипывая, только кивала головой проходившим мимо нее эскадронцам.

И они, теперь серьезные и чинные, понимая ее состояние, степенно проезжали мимо, кланяясь с коней, прощаясь с нею:

— Бувай здорова, хозяйка!

— Не поминай лихом!

— Спасибо за ласку! Мабудь, ще встретимся!

А швец Недоля, нарушая дисциплину и строй, выехал из рядов и, вытягивая из кармана тряпицу с сахаром, сказал:

— Отдай, мать, дочке, да смотри, береги дитё!

Пыль уже поднялась за околицей, когда я на намете догнал свой эскадрон.

Село скрылось за холмами.

— Василь Григорьич, а который теперь будет час? — вдруг спросил меня взводный, и по его неестественно напряженному лицу и смущенно бегавшим глазкам я понял, что он простил меня.

Вместо ответа я вытащил из кармана белый с розово-кирпичным отливом кругляк и протянул его Игнатенко:

— На.

Он взял и, поднося к самому носу, понюхал его.

— Духовитый! Хорошие кругляши печет немка...— одобряюще сказал взводный,— не иначе как в меду тесто катает да на смальце жарит.

Он помолчал. Утреннее горячее солнце играло на глянцевитой, твердой корке кругляша.

Взводный переломил его, засунул кусок в рот, долго, с наслаждением жевал и вдруг подмигнул мне.

— А ведь не скажи ты, Василь Григорьич, тогда германке эти самые слова, ни ввек бы она на тебя не взглянула!

— Какие слова?

Степь курилась далекими сизыми дымками. За буг-

рами вставала пыль. Кони шли широким шагом, пофыркивая и горячась. Эскадронцы стихли. Чуть слышиый говорок висел иад колоиией.

— Какие слова? — переспросил я.

— Германские.— И вдруг, что-то припомииая, взводный неистово закричал: — Эх... лех... дех!.. Кабы ие те слова, ие видать бы тебе, прямо скажу, германки.

Он вздохиул и продолжал:

— Ты, товарищ командир, в разиых там гимиазеях да музеях учился, академии, может, кончал. Я ие сержусь, чего уж... А вот кабы не эти слова, быть бы королем Игиатеико!

Ои доел кругляш и, круто повернувшись на седле, хрипло запел:

Эх, да расколися, сырой дуб,
На четыре граии...

И казаки-эскадроицы, словио ждавшие запевки взводного, разом подхватили с коней песню, которую пели бабы по стаиицам:

А кто любит чужих жен...—

и весь эскадрон с ухмылкой глядел на меия, весело, любовио и ободряюще выкрикивая озориые, веселые слова песии,—

Того душа в рае!

Это пелось для меия. Это значило, что эскадроицы вторичио чествовали меия — не как своего комаидира, а как представителя сотни, ухаря казака, молодчагу пария, выполиившего с честью весь несложный этикет казацкой любви.

Коии мягко ступали по пыли.

И, несмотря иа то, что мы были на походе, что уставом ие разрешается петь иа линии огня, я молчал, слушая, как бесшабашио звенели казацкие голоса иад тихой степью и как увлекшийся, примирившийся Игиатенко, размахивая плетью, дирижировал орущим эскадроном.



ДРУЖБА

Рассказ

На фронте шли горячие бои, а в двенадцати километрах от передовой расположился походный передвижной госпиталь. Несколько раз госпиталь бомбили, и тогда он переходил на новые места, но работа не останавливалась. И хотя главный хирург госпиталя майор Степанов на вопрос: «Что же на войне самое ужасное?» — всегда коротко и сразу отвечал: «Бомбежка!» — тем не менее, когда уже в белом халате и маске он стоял с ножом или зондом над раненым, он забывал и войну, и страх, и воющие немецкие бомбы. Долг врача поднимал его на такую нравственную высоту, что хирург, как когда-то, в мирные дни, в своей киевской поликлинике, уверенно и не торопясь делал свое дело. Уже привыкшие к этому операционная сестра Харчук, врач Вишневецкая и фельдшер Малышко, сами люди не трусливого десятка, черпали нравственную силу и успокоенность в уверенных и очень точных действиях хирурга. Позже они удивлялись и втайне даже негодовали на доктора, в момент операции словно не замечавшего нервного подъема людей.

«Ему своей жизни не жалко, а чужой и подавно!» — решил про себя фельдшер.

Но Малышко ошибался. Доктор Степанов любил жизнь. Радость творчества, ощущения природы, игра

солнечных лучей, запах цветов, смех и лепетание детей, поцелуй жены, слабый вздох или бледный румянец на щеках раненого, который обнаруживал хирург,— все это ассоциировалось в его понятии в одном слове — жизнь! Хирург был слабого сложения, невелик ростом, несколько странный и забавный. Иногда, рассеянно слушая собеседника, он отвечал как-то невпопад, неожиданным словом, вовсе не связанным с темой беседы, но стоило в эту минуту взглянуть в серые, детски ясные глаза хирурга, в его как-то светло улыбавшееся лицо, чтобы становилось хорошо даже тому, кто секунду назад готов был пожать плечами, услыша невпопад сказанные слова.

Далеко в Средней Азии, в Туркмении, где-то около Фирузы, жила семья хирурга, от которой он аккуратно получал длинные письма и так же аккуратно отвечал сам. Стоило задержаться этим письмам на неделю, как хирург начинал тосковать, на его лбу показывались морщины, а глаза принимали страдальческое, беспокойное выражение. И хотя он никому ничего не говорил, но все знали, что в эти минуты врачу казалось, что его сынишка Валя и дочка Оля заболели, а жена Клавдия Петровна в отчаянии не пишет отцу, боясь взволновать его. Но письма вдруг приходили пачками, и повеселевший хирург, посмеиваясь, подолгу перечитывал их и мурлыкал всегда одну и ту же забавную, нелепую детскую песенку:

Сидели два медведя
На ветке голубой,
Один ел булку с медом,
А кофе пил другой.

В такие дни хирург работал особенно горячо и вдохновенно. Чувство одухотворенной легкости, творческой энергии и удовлетворения охватывало весь коллектив операционной.

— Наш Паша го-о-ло-ва! — с уважением отзывался о нем Малышко, глядя на посеревшее от бессонной ночи, но по-детски улыбавшееся, просветленное лицо хирурга, удачно закончившего трудную операцию.

Фронт продвигался на запад. Разбитые под Карачевым, немцы отходили. В госпитале шла напряженная работа. Работали сменами, засыпая у столов, ложась на

какие-нибудь полтора часа в сутки. Раиеиых было так много, что ие хватало ии персоиала, ии транспорта.

Врачи ходнли с красными глазамн, обведеииыми глубокой сииевой. Младшнй хнрург Стахаиова, подойдя к окиу за йодом, облокотилась на подокониик и как-то незаметно для себя сразу же погрузилась в глубокий сои.

В этн иапряженные дни хирург получил одио за другим пять писем от своей семьи. Он вскрыл только последнее и, глянув иа коицовку: «Все здоровы н обннмаем дорогого папу»,— спрятал пачку в карман и поспешио направнлся в операциониую.

Вскоре в госпиталь иа смеиу заболевшему замполнту Макснмеико прибыл из политотдела армии подполковннк Кандыба, пожилой, иемиого угрюмый, сильно хромавшнй на правую ногу человек.

Хирург узнал об этом позже, когда стнхло напряжение боев и волиа раненых спала. Встретнлнсь оии утром на санлетучке и почему-то ие поиравнлись друг другу. Хирургу подполковник ие поиравился потому, что деликатный Степаиов, привыкший иа гражданской службе к вежлнвому обращению, был очень удивлеи, когда Каидыба после короткого прнветствия довольио грубовато сказал:

— Что это у вас там, доктор, людн распустились? Ходят по двору в белых халатах. Дисциплииы никакой! Отвечать ие умеют. Вообще ие воеиный госпиталь, а какая-то больница.

Хирург внимательио поглядел иа подполковиика и ие спеша сказал:

— Да, вы правы. Почти весь коллектив этого госпнталя состоит нз работников Первой киевской полнклиники, и в смысле военном оии очень плохн, не строевики, зато в лечебиом отношенин...— голос его прозвучал гордо,— второй такой трудно иайти. И имеиио в этом их основная цениость.

Подполковиику же хирург ие понравился потому, что старый коиармеец, участник зиаменитых буденновских походов на Деникииа, Враигеля и белополяков, кубаиский казак Иваи Акнмовнч Кандыба, будучи отлнчиым строевиком, прнмерным служакой, не терпел в армии все то, что хоть отчасти иапомииало ему непорядок.

«И в армии жить надо по уставу! Устав, брат, еще со времен покойного Петра Великого для воина установлен, В нем вся наша жизнь до одной минуты расписана»,— любил говорить бравый Кандыба, когда, еще в чине капитана, командовал эскадроном конного полка.

«Так ведь, Иван Акимыч, тот же самый император тоже очень неплохо выразился однажды: «... не держаться устава, яко слепой — стены»,— как-то в разговоре процитировал Петра Первого командир полка.

Кандыба промолчал, но, придя домой, достал из старого, окованного по краям медными полосками, сундучка, странствовавшего с ним еще по царским казармам, книгу «Жизнеописание деятельности, подвигов и царствования Великого Императора Петра Алексеевича». Открыв ее, он только к ночи нашел процитированное командиром полка высказывание царя.

Кандыба дважды перечел это место и затем шепотом повторил его: «Яко слепой — стены!»

С тех пор он значительно реже ссылался на уставы времен Петра, хотя уважение к преобразователю России от этой размолвки ничуть не уменьшилось в бравом капитане.

В знаменитом сундучке кофейно-зеленого цвета Кандыба, по старой казачьей привычке, хранил фотографии родных, полфунта чаю, пять сухарей, сахар, две коробки мясных консервов, папиросы, мыло и пару белья. Внизу же, на самом дне, лежали его любимые книги. Помимо жизнеописания Петра, здесь были «Походы Суворова», «История Отечественной войны», «Биография Ленина», сильно затрепанная книга «Первая Конная» и красноармейский песенник.

Через день подполковник и хирург снова встретились в столовой. Входивший замполит услышал, как хирург что-то рассказывал, мягко иронизируя над собой:

— Это было в первые же дни финской войны. Представьте себе меня, сугубо штатского человека, никогда не только не стрелявшего из ружья, но даже и не державшего его в руках, и вдруг... в военной форме, с кобурой на поясе, с одной шпалой на воротнике, в тесной шинели

и непомерно больших сапогах. Приехал я в Ленинград. Военных вокруг масса, а я даже в званиях не разбираюсь — кто лейтенант, кто полковник? Знаю только, что мне надо идти к коменданту представиться и разыскать свою часть.

Выглянул утром из окна номера. Батюшки!! Сырость, что-то капает, холодно, туман, а у меня ноги простужены. Как быть? Попробовал я на сапоги надеть калоши, а они не лезут. Ведь сапоги казенные, а калоши мои мирного времени, в которых я в клинику хаживал. Взял зонтик, раскрыл его и вышел на Невский проспект. Иду по улице и радуюсь, что хоть сверху не капает.

Перехожу улицу и удивляюсь, что народ на меня оглядывается, хмыкают, улыбаются, кто-то даже остановился. Я решил, что это какой-нибудь знакомый, и тоже очень вежливо улыбнулся ему.

Прошел немного, вдруг подходит ко мне какой-то военный с тремя шпалами и, взяв под козырек, спрашивает:

«Вы кто, товарищ, будете?»

«Павел Семенович Степанов. А вы кто?» — интересуюсь я.

«Комендантский подполковник Старцев. Но я не имя и фамилию ваши спрашиваю, а воинское звание и должность.»

«А-а! — отвечаю я.— Я доктор, из Киева, военврач, кажется, третьего ранга».

«А это что?» — указывает он на зонтик.

«Это... это дождевой зонтик».

Посмотрел на меня подполковник не столько строго, сколько удивленно и говорит:

«И давно вы на военной службе?»

«Уже третий день!»

«Собственно, на губу вас полагается послать.— И, видя, что я не понимаю, добавляет: — На гауптвахту, под арест суток на восемь. Ну да ладно! Закройте свой зонтик, доктор, и быстренько отнесите его обратно, да смотрите!!» — И, не договорив, он вдруг махнул рукой, рассмеялся и ушел.

Так началась моя военная карьера.

— А жаль, что он вас суток на пятнадцать не пришпилил! — прерывая общий смех, вдруг сказал Кандыба.

Все оглянулись.

— Что же в этом было бы хорошего? Разве только то, что я попал бы в свой госпиталь на две недели позже,— пожал плечами Степанов.

— Зато узнали бы, как на военной службе держаться следует, а то сегодня — калоши, завтра — зонтик, послезавтра то да сё, а там и вообще развал дисциплины! — садясь за стол, сказал Кандыба.

— Зачем развал? В результате этой встречи я уже хорошо узнал, что калоши и зонтик в армии воспрещены, зачем же нужно было пояснять именно на гауптвахте?

Так произошла их вторая встреча.

Замполит оказался на редкость энергичным и деятельным человеком. Несмотря на сильную хромоту, он целый день проводил то в палатах, то на приеме или отправке больных. Вместе с тем он успевал вести политзанятия, разъяснительные беседы среди раненых, информацию, читку газет. Никто не знал, когда отдыхал замполит, но все отлично видели, что в его лице госпиталь приобрел великолепного работника, честного, знающего и входившего в нужды окружающих его людей. Он был прост в обхождении с подчиненными, заботлив и предупредителен. Сам из простых людей, прошедший до службы тяжелую жизнь бедняка казака, он мог словом, советом и делом помочь населению в селах, где останавливался госпиталь. Порой, словно соскучившись по физической работе, он брал в руки топор или рубанок и, несмотря на хромоту, колол, тесал или строгал — и так мастерски владел инструментом, что стружки и щепа веером летели по сторонам.

— Хорош мастер,— похвалила как-то его хозяйка хаты, в которой остановился замполит.— Видать, из мужиков, не городской? — поинтересовалась она.

— Да как сказать. Лет до двадцати батраковал в станице, ну, а потом на царскую войну, затем на гражданскую, да так вот до этих дней,— подавая старухе ладно сделанный табурет, сказал Кандыба и, отирая с лица пот, попросил: — А теперь, мать, ставь самовар!

— Сейчас, сейчас, родной, сейчас, касатик,— засуетилась хозяйка.— Небось жинка да детки ждут на своей сторонке?

Подполковник усмехнулся, помолчал и медленно сказал:

— Нема у меня никого. Один на свете Кандыба. Был конь, да и того немцы убили, а мне вот ногу оторвали.

— Как оторвали? — опешила старуха, переставая раздувать самовар.

— А так! Ахнули из миномета — и все.

— Дак разве ты не только раненый в ногу? Неужели ноги насовсем нету? — спросила старуха.

— Выше колена отрезана, а это я протез ношу.

— Грехи-то какие, батюшки! — всплеснула руками женщина.— Насовсем! — повторила она.

— Хорошо сделано, чистой работы машинка,— похлопав себя по колену и нажимая пальцем на протез, сказал замполит.

В колене что-то слегка щелкнуло, и нога подполковника как бы переломилась.

— Видала, как? Ничего, мать, это пустяки. За эту ногу я, по самой малости считать, фрицев голов двадцать на тот свет убухал. Ведь я пулеметчик. Еще и в старой армии и у товарища — может, слыхала? — Буденного...

— Слыхала! — кивнула головой хозяйка.

— ...тоже пулеметчиком состоял.

— Голубчик ты мой! — только сказала в ответ старуха.

С той поры внимание и заботы ее о своем постояльце учетверились. Просыпаясь по утрам, замполит находил на столе крынку теплого, густого молока, яблоко или кружку ежевики, заботливо собранной хозяйкой.

— Да не надо этого, мать. У нас и так всего хватает,— отодвигая от себя горячую лепешку или вареные яйца, говорил замполит.

— Не обижай ты меня, сынок, старую. Этим я не обеднею, а себе радость доставлю. Я знаю, что у вас всего много, а все-таки съешь нашего, крестьянского, не обижай старую. Может, и моего Ванюшку тоже какая-нибудь мать вот этак пригреет.

Иногда, в редкие минуты отдыха, замполит, лежа на кровати, тренькал на балалайке, напевал всегда одну и ту же старую казачью песню:

Отпиши, браток, домой,
Что женился на другой...
Что женился на другой,
На пулечке свинцовой.
Сабля остра была свашкой,
Штык булатный был дружком...

Тогда старуха замирала в сенцах и скорбно смотрела куда-то в угол, думая о своем Ванюшке.

Ночью подолгу молилась перед темными, закоптевшими иконами о двух «воинах Иванах».

— Спаси и сохрани их, батюшка Микола милостивый,— беззвучно шептала старуха, покорно и выжидательно глядя на едва поблескивавшие в углу иконы.

Помолившись, она заботливо ставила перед пустой кроватью замполита молоко,— какую-нибудь лепешку и, охая, уходила в соседнюю комнату и ложилась спать.

Однажды хирург, зайдя днем на минутку по какому-то делу к Кандыбе, застал его за странным занятием. Замполит сидел на полу, расположившись на домотканом крестьянском коврике, и, ловко орудуя ножом, топориком и ручной пилой-ножовкой, вырезывал из кусков дерева зайца, медведя и волка. Рядом с ним, затаив дыхание, сидели трое малышей ребят, восторженно глядевших на еще не законченные фигуры зверей. Коробочки с красками и кистями стояли возле Кандыбы. Замполит смущенно отодвинул от себя обрезки дерева, поднялся и сказал:

— Вот соседским детям мастерю игрушки. У них ведь ничего не осталось. Все фрицы позабрали. А вы, ребятки, не трогайте, пока не кончу работу,— обратился он к ребятишкам.

Когда хирург уходил к себе, он через открытое оконце слышал, как ласково гудел голос замполита и дружно смеялись малыши.

«А ведь он, кажется, хороший, сердечный человек!» — подумал хирург, и сердце его защемило. Ему припомнилась далекая Фируза, жена, Валя и Оля, от которых он уже третьи сутки не получал письма. «Хороший человек! Кто любит малышей и умеет дружить с ними, несомненно, хороший человек!» — решил Степанов.

Дома его ждали письма, только что пришедшие из Фирузы. Хирург долго читал и перечитывал дорогие ему строки и целый вечер мурлыкал свою излюбленную песенку:

Сидели два медведя
На ветке голубой...

...У стола, опустив голову, сидел хирург. Его лицо было напряженно, он в десятый раз перечитывал бумагу, лежавшую перед ним:

«Направляем к вам двенадцать тяжелых, нетранспортабельных больных, которых, ввиду их почти безнадежного положения, следует теперь же оперировать...»

Хирург поднялся и быстрыми, неровными шагами прошелся по комнате. Потом остановился и, устремив взгляд в одну точку, долго стоял, потом так же внезапно повернулся и, махнув рукой, пошел к себе в отделение. Проходя мимо коек с ранеными, он как бы случайно, вскользь глянул на измученное, усталое лицо врача Вишневецкой, на еле двигавшегося от утомления Малышко, и снова по бледному лицу хирурга пробежала страдальческая гримаса.

— Доктор Вишневецкая, попрошу вас позвать доктора Смирнова и вместе с ним пройти в комнату замполита. Нам нужно кое о чем поговорить.

...В комнате Кандыбы началось совещание. Все врачи хирургического отделения, созванные Степановым, встревоженно толпились у стола.

— Товарищи! — сказал хирург.— Я оторвал вас от дела только для того, чтобы сказать вам о моем решении. У нас двенадцать тяжелых больных. Им всем необходима операция. Пятеро из них безнадежные.— Он помолчал, прошелся по комнате и потом тихо сказал: — Трое почти безнадежны, четверо с шансами на выздоровление.— Хирург обвел глазами внимательно слушавших его людей.— У меня четверо совершенно утомленных людей, как и насколько они утомлены, вы знаете сами. Люди не спали несколько ночей, они валятся с ног. При самом большом, самом максимальном напряжении я смогу сделать с ними за эту ночь три-четыре операции, не больше... По закону я обязан,— хирург стал медленно чеканить

слова,— лечить поступивших ко мне в порядке поступления, но время не ждет, гангрена угрожает раненым, и я считаю необходимым...— хирург встал, его лицо изменилось,— спасти тех, которые имеют еще какие-то на это шансы... Быть может, даже за счет тех, которые все равно умрут... Мне, врачу, лечащему хирургу, не легко выговаривать эти слова, но, по-моему, это единственно правильный выход.

Кандыба, пытливо наблюдавший за ним, заметил, как знакомая гримаса боли снова пробежала по его лицу.

Врачи молчали.

— И по-моему! — вдруг громко произнес замполит.

И, как бы ожидавшие этого, остальные присоединились к словам Кандыбы. Хирург молча посмотрел на замполита. Секунду они смотрели друг другу в глаза.

— Иду на операцию,— коротко сказал Степанов и, повернувшись, вышел за дверь.

— Правильно! Умно сделал доктор Степанов,— сказал Кандыба и, сильно хромая, медленно побрел за ним.

На следующий день орудийная пальба и сильные воздушные налеты потрясали воздух, и гул канонады, нарастая, докатывался до села. Возле госпиталя и у приемного покоя не переставая работали санитары, разгружавшие подходившие машины с больными. Раненых было много, все койки были заполнены ими. Некоторые из них, ожидая очереди, лежали на носилках возле приемного покоя. Под деревьями тихо бродили легкораненые, некоторые из них лежали на траве, ожидая своей очереди. Артиллерийский огонь все усиливался, переходя в немолчный гул.

— Крепко бьются за переправу,— покачивая головой, сказал шофер одной из подъехавших машин.

— Да-а, дают жизни! — тихо подтвердил один из раненых.

Через дорогу, опираясь на палку, подошел замполит. Лицо его было оживленно. Размахивая бумагой, он остановился около группы раненых бойцов.

— Товарищи, доблестная Двадцать девятая Гвардейская дивизия взяла наконец переправу... Вот телефонограмма... Ее полки уже ринулись в прорыв.

Среди раненых раздался шум.

— Наша дивизия! — сказал один из них.— Хасановская Краснознаменная!

— Вот и поздравляю вас, товарищи! Отлично дралась ваша геройская дивизия! — сказал Кандыба.

— С самой Москвы гоним немцев, товарищ подполковник! — опираясь о костыль и волоча за собой забинтованную ногу, сказал молодой лейтенант.— Теперь он до Коростеня бежать будет, задержаться-то ему ведь негде!

И, как бы подтверждая слова лейтенанта, гул артиллерийской канонады сначала оборвался, а потом стал глуше доноситься до села, уходя на запад.

Кандыба хотел обратиться с речью к бойцам геройской дивизии, но в эту минуту вдоль улицы села показалась передовая колонна приближавшегося конного полка. Пыль поднималась из-под копыт шедшего впереди эскадрона, перед которым, сидя на большом сером коне, молодцевато ехал лихой, с закрученными усами полковник. Голова колонны уже приближалась к госпиталю, а пыль все поднималась и тянулась далеко за селом.

— Конница!.. Кавалерия!! — восхищенно прошептал Кандыба, забывая о своей речи и не сводя загоревшихся глаз с приближающегося эскадрона.

Конники уже поравнялись с ними, и взор полковника, довольно равнодушный и деловой, остановился на раненом лейтенанте, ближе других стоявшему у дороги.

— Какой дивизии люди? — спросил полковник, придерживая коня.

Молодой лейтенант, несмотря на ранение, вытянулся насколько был в силах и с непередаваемой гордостью почти закричал:

— Двадцать девятой дважды Краснознаменной Гвардейской дивизии!

Лицо полковника сразу сделалось серьезным.

— Той, что взяла переправу?

— Так точно! Форсировавшей Днепр,— еще громче, гордо закидывая голову, отчеканил лейтенант.

— Сто-ой! — поднимая над головой руку и поворачиваясь к эскадронам, скомандовал командир полка.

Эскадроны шумно остановились. Горячая пыль взметнулась над конями и стала медленно оседать на дорогу.

Раненые и часть госпитального персонала, привлеченные этой неожиданной сценой, с любопытством смотрели на остановившийся полк.

— Знамя вперед! Остальным — вольно! — отъезжая в сторону, звонко скомандовал командир полка.

И над рядами конников, колыхаясь, показалось, приближаясь к нему, знамя в чехле. Двое конных знаменосцев на широкой рыси подскакали к полковнику.

Оцепеневший от возбуждения Кандыба круглыми, остановившимися, радостными глазами смотрел на них. Из окон палат выглядывали врачи, сестры, легко раненные бойцы.

— По-олк, сми-и-рно! — громко скомандовал полковник.— Эскадрон, строй фронт вправо!

И полк быстро перестроился, став поэскадронно развернутым фронтом.

Командир полка дал шпоры коню и быстро вынесся вперед.

— Снять чехол, распустить знамя!

И красное шелковое гвардейское знамя с вышитым на нем портретом Ленина заколыхалось над рядами.

— Дорогие товарищи! — подъезжая к раненым и привстав в стременах, сказал полковник.— Вы исполнили свой долг перед родиной и народом, вы прорвали фронт. Теперь лечитесь и отдыхайте, а мы пойдем вперед и расквитаемся за вас с врагом!

Его голос звонко разнесся над замершими людьми, взволнованно слушавшими его.

— По-олк! Под знамя, сабли во-он!

И сотни клинков сверкнули в воздухе.

— К торжественному маршу в воздаяние героизму славных гвардейцев Двадцать девятой дивизии!! Справа по шести, равнение направо, ша-а-гом ма-арш!

И, салютуя раненым обнаженным клинком, командир полка провел свой полк мимо раненых бойцов, мимо лейтенанта, на глазах которого показались счастливые слезы, и мимо взволнованного, растроганного замполита.

— Ура! — закричал лейтенант.

— Ура-а! — подхватили и больные, и здоровые, в свою очередь приветствуя проходившие мимо них боевые эскадроны.

— Ура! — тонким, срывающимся голосом закричал кто-то возле Кандыбы.

Замполит оглянулся и увидел подбегавшего к ним хирурга.

Эскадроны проходили шеренга за шеренгой, салютуя сверкающими клинками, а раненые, растроганные оказанной им высокой почестью, кто опершись на костыль, кто пытаясь встать, кто обхватив дерево, сидя на траве или лежа на носилках, кричали «ура».

Вот уже прошли последние ряды последнего эскадрона, уже исчезли конники за поворотом... Где-то вдали колыхалась пыль, а раненые благодарно глядели вслед конному полку, взволнованно вспоминая оказанную им честь.

— Э-эх! Одно слово — конница! Кавалерия! — закричал вдруг Кандыба, выражая в этом слове все свое восхищение, и, сорвав с головы папаху, неожиданно хлопнул ею о землю.

Хирург вышел на крыльцо. Поеживаясь от свежего утреннего холодка, он дважды зевнул, потянулся и, то ли от переполнения чувств, то ли оттого, что вчера получил письмо от семьи, неожиданно засмеялся хорошим, ясным смехом.

Эта ночь была спокойной и тихой, его вовсе не тревожили. За последние дни это случалось не часто. На фронте наступила тишина такая, которая радует солдат и беспокоит, тревожит сердца генералов.

Хирург сел у окна и стал завтракать. Неожиданно загрохотали пушки. Орудийный гул нарастал. Хирург прислушался к отдаленной стрельбе.

«Будет работа!» — покачивая головой, подумал он.

За воротами послышались шаги, и через калитку просунулась голова операционной сестры.

— Вы ко мне, Надя? — отпивая глоток чаю, спросил хирург и, отставляя чашку, быстро сказал: — Что случилось?

Лицо медсестры было тревожно,

— Павел Семеныч, вас в операционную дежурный врач просит, только срочно, очень экстренно.

— Да в чем же дело? — застегиваясь, уже на ходу спросил хирург.

— Ночью раненого привезли. Ну, его осмотрели дежурная и доктор Вишневецкая. Думали — легко... вас не хотели беспокоить... вы спали... Все было хорошо, а сейчас... он задыхается... ранение в горло... Доктор Вишневецкая беспокоится, как бы не помер, за вами послала... — уже на улице, еле поспевая за быстро шагавшим хирургом, рассказывала сестра.

На столе лежал раненый. Бледный, с посиневшими губами, он то терял сознание, то, мучительно хрипя, приходил в себя. Раза два он что-то пытался проговорить, но хирург, ласково положив ему руку на лоб, сказал:

— Не надо. Сейчас это вам вредно, потом все расскажете мне... Укол! — приказал он сестре.

После вливания обезболивающего средства раненый затих. Хирург задумался. Налицо было слепое осколочное ранение шеи с повреждением сонной артерии. Припухлость быстро увеличивалась, распространяясь на передней поверхности шеи.

— Ложная аневризма. Она сдавила дыхательные органы раненого, вызывая этим обморочное состояние,— поставил диагноз хирург.— Необходима немедленная операция. Приготовить кровь и глюкозу. Наркоз! — распорядился он.

Его утреннее, хорошее настроение рассеялось как дым. Ах, эта Вишневецкая, мало того, что сама не разобралась в сложности ранения, но даже не потрудилась посоветоваться с ним, с ведущим хирургом. «Не хотела ночью будить, беспокоить»,— вспомнил он слова сестры и обозлился: «Потом, после работы, наедине, я разнесу ее за эту бессмысленную деликатность».

Раненый был уже под наркозом. Он тяжело хрипел. Сильное удушье временами заставляло его тело содрогаться в спазматических схватках, но он не просыпался.

После переливания крови раненый порозовел. Удушье и спазмы прекратились, и его грудь равномерно задышала.

Хирург приступил к операции.

Над селом прогрохотала очередь автоматической зенитной пушки. Потом послышалось гудение моторов и то короткие, то долгие вспышки пулеметного огня.

Во дворе затопали сапоги, послышались голоса, и, распахивая дверь операционной, кто-то, просовывая голову, коротко крикнул:

— Воздух!! Идут немецкие самолеты!

Еще через секунду кто-то взволнованно произнес:

— По укрытиям! С юго-запада подходят восемь «юнкерсов».

За окнами уже били пулеметы, тявкала пушка. Через стекла было видно, как персонал и легкораненые разбегались по щелям.

— Павел Семеныч, как быть с раненым? Оперировать или отложить? — нагибаясь к уху хирурга, спросил ассистент.

— Открыть окна! Все лишние — в укрытия! Раненого положить на пол и прикрыть одеялами. С ним останутся я и сестра Краснова. Как только кончится налет — все сюда! — не поднимая головы от больного и продолжая исследовать рану, сказал хирург.

Над селом уже рокотали моторы. Тяжелый взрыв потряс улицу, и с потолка шумно посыпались труха и известка.

— Осторожнее... Вот так. Сюда, сюда, на носилки,— помогая уложить снятого со стола раненого, спокойно сказал хирург.

Новый взрыв, еще большей силы, раздался невдалеке. Окна задребезжали, и раскрытые настежь рамы с грохотом ударились о переплет окна.

В избе уже не было никого, кроме находившегося под наркозом раненого, операционной сестры и хирурга, стоявшего на коленях над ним. В раскрытую дверь кто-то вошел, тяжело и поспешно ступая.

— Доктор! А вы чего здесь, почему не в укрытии? — услышал хирург несколько удивленный и раздосадованный голос замполита.— Сейчас же все в щели!

Хирург поднял голову и, глядя снизу вверх на замполита, негромко сказал:

— Нельзя. Здесь раненый под наркозом, да и поздно! Потом пойдем.

— Оставьте сестру при раненом, товарищ майор, и

сейчас же ступайте в укрытие. Жизнь опытного хирурга нам нужна,— уже сердясь, сказал Кандыба.

— Кому это нам? — снова нагибаясь над раненым, сказал хирург.— Сестра, еще наркоз! — поспешно проговорил он и, обращаясь снова к замполиту, продолжал:— Уверяю вас, что этому самому «опытному хирургу» его жизнь еще больше нужна, чем вам... и, насколько я понимаю его, он давно уже сидел бы в укрытии, но... Сестра, укол сюда,— перебивая себя, приказал он.— Но обстоятельства таковы, что ему обязательно надо быть здесь, с больным...

Один за другим рванули воздух два сильных взрыва, затем, протяжно свистя, пронеслась где-то рядом авиабомба, и стекла со звоном вылетели из рамы и брызнули по всему полу.

— Сестрица, милая, накройте больного еще одним одеялом, а мне дайте йоду и бинт,— ощупывая порезанную стеклышком щеку, сказал хирург.

Замполит молча с восхищением смотрел на маленького, тщедушного человечка, возившегося на полу.

— Да вы, батенька, если не уходите, то сядьте. На полу безопасней,— прислушиваясь к пальбе и свисту падающих бомб, проговорил хирург.

Сильный удар в стену оборвал его слова. Выбитая рама со звоном покатилась по полу, угол окна неожиданно выпал и развалился. От стоявшей в стороне русской печи отлетели куски отбитого кирпича. Пыль взлетела к потолку. Вдоль обмазанной мелом печи, оставляя глубокий рваный след, пронеслась бомба. Прокатившись по комнате, она перевернула операционный стол, разбила бутыли с физиораствором, опрокинула тумбочку с инструментарием и, пробив фанерный ящик, остановилась у двери.

Все это было так внезапно и стремительно, что и хирург, и сестра, и замполит еще не успели даже понять, что же произошло, и только когда побелевшая от ужаса женщина истерически вскрикнула: «А-ай!», хирург понял, чтó случилось в эту минуту.

Черное продолговатое тело авиабомбы, ощеренное перьями стабилизатора, лежало у выхода.

Хирург хотел подняться с колен и броситься к открытому окошку, но что-то более сильное, чем страх смерти,

чем чувство самосохранения, остановило его. Он неловко попятился назад и, не сводя глаз с блестевшей, отлакированной поверхности бомбы, тихо, но настойчиво сказал:

— Товарищи, если не взорвемся, давайте скорее вынесем отсюда раненого.

И этот негромкий, но очень четкий голос врача успокоил сестру. Она вскочила на ноги и неверными, трясущимися руками взялась за поручни носилок, на которых, посапывая, равнодушный ко всему, спал раненый капитан.

Замполит, в первую секунду растерявшийся от сильного удара и грохота бомбы, уже овладел собой. Смерть, которую он десятки раз видел рядом с собой, опять догоняла его и лежала вот тут, у самых его ног, готовая выскочить, вырваться из этой огромной чугунной чушки. Холодок пробежал по его спине. Он глядел на бомбу, на ее белый ударник, на полированное обведенное желтой каймой брюхо. Бомба молчала. Молчала и смерть, сидевшая в ней.

«Не торопится, стерва!» — подумал замполит и, помогая сестре и хирургу, поднимавшим носилки, заковылял вперед к выходу.

Это была самая тревожная и страшная минута.

Когда вынесли во двор носилки, в воздухе уже было тихо. За селом догорал сбитый «юнкерс», а над двумя хатами, стоявшими у моста, бесновалось пламя.

— Все вон, подальше от операционной!.. Там бомба!..— прокричал хирург вылезавшим ему навстречу из щелей людям и, не закончив фразы, повернулся и побежал обратно в избу.

У двери его встретил спешивший из хаты замполит.

— Настоящий ты казак, друг Паша! — обнимая хирурга, взволнованно сказал Кандыба.

Так началась их дружба.

Вывезенная за околицу бомба вскоре взорвалась на болоте.

Через несколько дней их вызвали в фронтовой эвакопункт. Такие вызовы были довольно часты, и хирург захватил с собой на всякий случай двухнедельный отчет

по госпиталю, но тихо и странно посмеивавшийся в усы замполит несколько удивлял его.

— Чему ты улыбаешься? — раза два спросил он Кандыбу, но подполковник только хитро поглядывал на него.

В ФЭП они приехали с небольшим опозданием, и их направили в густой вишневый сад, где уже выстраивалось человек пятнадцать врачей, сестер и санитаров.

— Сюда, сюда, становитесь, товарищи, на фланге! — пробегая мимо них, крикнул им адъютант и поспешил к калитке, в которой в окружении старших офицеров показался генерал Ибрагимов, начальник медслужбы фронта.

Едва только друзья успели пристроиться к шеренге, как звонкая команда «смирно» и рапорт дежурного офицера раздались в воздухе.

Приняв рапорт, генерал поздоровался с людьми, прошелся вдоль строя и сказал:

— Товарищи! Времени у нас мало, буду краток. От лица службы благодарю вас за прекрасную работу и поздравляю с высокой наградой!

Он сделал знак, и адъютант стал громко вычитывать фамилии.

— Младший лейтенант медслужбы Львова!

— Ефрейтор Сашин!

— Старший лейтенант Петров!

Из шеренги выходили вызываемые люди, и генерал, пожимая им руку, передавал маленькие коробочки.

— Служу Советскому Союзу! — громко и торжественно отвечали они и отходили обратно в строй.

— Майор Степанов! — вдруг отчетливо произнес адъютант.

И хирург, вытолкнутый из шеренги, неуверенно, совсем по-штатски пошел к генералу.

Генерал не без удовольствия оглядел маленького, растерянно остановившегося перед ним хирурга.

— За отличную работу и мужественное выполнение долга Военный совет армии награждает вас орденом Красной Звезды,— пожимая Степанову руку и передавая ему коробочку с орденом, произнес генерал.

Хирург смущенно улыбнулся, переступил с ноги на ногу и тихо сказал:

— Благодарю от всей души, товарищ генерал, но, честное слово, я не заслужил такой почетной награды!

Все вокруг засмеялись, и Кандыба с удовольствием заметил, как добродушная улыбка засветилась на суровом лице генерала.

— Заслужили, товарищ майор! Вы спасли и сохранили армии много сотен наших храбрых офицеров и солдат. И именно за это вас награждает Военный совет. Затем — начальство лучше знает, за что. Ведь оно никогда не ошибается, — добавил генерал, и опять все весело засмеялись его шутке. — Кроме того, рад сообщить, товарищ доктор, что разрешаю вам отпуск к семье на сорок пять дней. Желаю счастливого пути! — И генерал еще раз крепко пожал руку совершенно ошеломленному хирургу.— Вы что, кажется, недовольны? — спросил генерал.

— Напротив... я рад... я счастлив, но ведь я не просил, не подавал рапорта об этом, — еще не веря своему счастью, сказал хирург.

— А об этом постарался ваш замполит, подполковник Кандыба. Это он просил меня предоставить вам законный отпуск. А что, может, он не прав и вы не хотите отпуска?— пряча улыбку в усы, поинтересовался генерал.

— Хо-чу, очень хочу! Спасибо! — просияв от неожиданной радости, выкрикнул хирург, поклонился и одновременно отдал честь генералу.

— Товарищ военврач! — остановил его Ибрагимов.— Знаете что, давайте уговоримся; уж так и быть, вы лучше совсем не отдавайте мне приветствия, чем вот этакий реверанс. На военной службе они не разрешаются.

Раздался еще более дружный смех присутствовавших, а стоявший в строю Кандыба еле удержался от желания сесть на землю от душившего его хохота. Даже сам генерал вдруг не выдержал и, махнув рукой, отвернулся в сторону, не в силах сдержаться от смеха.

А маленький хирург, несколько смущенный, но с ясными глазами и просветленным лицом, ломая шеренгу, неловко и неуклюже вставал на свое место в строю.

Сидели два медведя
На елке голубой...—

полунапевая, бормотал себе под нос хирург, разбирая вещи и укладывая в чемодан все то, что ему понадобится

в дороге. Простыня, чистое белье, новые погоны, в которых ему хотелось появиться дома.

«Дома! До-ма!» Он с удовольствием повторял это слово, представляя себе восторг и радость детей, вызванные его неожиданным приездом. Жена всплеснет руками и тихо вскрикнет: «Ах!» Он представлял свое появление в далеком среднеазиатском ауле, в котором никогда не был, но о котором так хорошо знал из писем родных.

— Отпуск на целых сорок пять дней,— прерывая свое пение, проговорил хирург.

Ах, как хорошо звучало это замечательное слово, не произносившееся им в течение двух с половиной лет войны. «Нет, приехать без телеграммы, свалиться так, прямо как снег на голову, было бы жестоко и бесчеловечно, — вдруг решил он и задумался. — Не лучше ли будет подготовить их, сообщив о своем приезде? Да, конечно, это правильнее, он так и сделает. Но какой чуткий и отзывчивый человек этот Кандыба, какое удивительное сердце!»

Си-де-ли два мед-ве-дя...—

снова удовлетворенно запел хирург.

Дверь раскрылась. В комнату вошел замполит.

— Укладываешься? — окидывая быстрым, несколько озабоченным взглядом чемодан и вещи хирурга, спросил он.

И по этому короткому беспокойному взгляду хирург понял, что что-то произошло. Он поднял голову:

— Что случилось?

Замполит отвернулся к окну, взял с подоконника несколько книг и, вглядываясь в них, перелистал одну за другой.

— Интересные, — неопределенно сказал он.

Удивленный хирург заметил, что Кандыба все три книги держал вверх ногами.

— В чем дело, Иван Акимович? — поднимаясь с коленей, сказал он, и на его, сразу ставшем серьезном, лице показалось беспокойство.

— Немцы прорвались! Танковая колонна недалеко!— кладя обратно книги и поворачиваясь к хирургу, сказал

замполит. — Телефонограмма есть: свертываться и быть наготове к отходу.

— Да как же так, ведь мы по всему фронту наступаем... Гоним и жмем их... Как же они могли здесь прорваться? — спросил хирург.

— Очень просто! Попытка от отчаяния: местная операция с целью отвлечь, приостановить наше движение. На войне такое всегда бывает. Завтра все уже будет улажено. Однако надо быть готовыми ко всему. Я и зашел с тем, чтобы предупредить тебя. Ты когда едешь в отпуск?

— Приказ подписан вчера, думал уехать сегодня, — тихо ответил хирург.

— Так ты, Павел Степанович, поторопись и выезжай отсюда с первой группой. Она сейчас грузится на машины.

— А как же тяжелые, нетранспортабельные? Ведь у меня таких, с черепами и открытым пневмотораксом, человек двадцать будет.

— Пока останутся тут, а если станет уж очень туго, то отправим и их... Ну, до возвращения, друг, желаю повидать своих в добром здоровье и счастье!

— Я никуда не поеду! — закрывая чемодан, сказал хирург.

— Почему это? Приказ о тебе отдан, заместитель отлично справится с эвакуацией, а положение таково, что...

— ...а положение таково, что с тяжелыми, где бы они ни были, останусь я, — перебил Кандыбу хирург. — И не уговаривай меня. Кончится вся эта история, ликвидируется прорыв, и я отправлюсь в отпуск.

— Да, чудак человек, езжай себе домой с богом, и без тебя ликвидируют немцев. Справимся...— заговорил было Кандыба, но вдруг смолк и крепко обнял друга.

Через минуту они уже были возле госпиталя, где суетились санитары, пыхтели автомашины, в которые погружали раненых.

Вокруг стояли озабоченные больные и сестры, встревоженные слухами и все нараставшей орудийиой пальбой.

...Первая группа уже скрылась из виду, когда торопившийся в село, усталый, весь в поту и пыли, мотоциклист привез срочное приказание эвакуировать весь госпиталь на станцию С.

«Немецкая танковая группа идет в ваше расположение. Для ее ликвидации брошена наша бомбардировочная и штурмовая авиация, но не исключена возможность появления отдельных разрозненных частей противника в районе. Приказываю всему госпиталю немедленно сняться и перейти на станцию С. Об исполнении донести по рации.

Начальник тыла генерал-майор *Блинов*».

Орудийная стрельба то смолкала, то снова заполняла воздух. Над селом прошло восемь «юнкерсов», перехваченных невдалеке нашими «ястребками», и люди, спешно погружавшиеся на машины, видели, как в синем небе вспыхивали, дымились подбитые самолеты и, уходя в облака, сходились и расходились дерущиеся машины.

Поднимая пыль по улице, прошла пехота. Откуда-то притащили и установили у околицы одинокое 45-миллиметровое орудие, возле которого ходили артиллеристы.

— Павел Семеныч, товарищ Степанов! Что же вы, садитесь сюда,— подвигаясь в сторону и давая место хирургу, прокричала с грузовика медсестра Казанцева.

— Нет, нет! Павел Семеныч, с нами! — кричала с другой машины его ассистентка, капитан медслужбы Вишневецкая.

Хирург улыбнулся и махнул рукой обеим женщинам.

— Я потом, когда погрузят тяжелых, после,— сказал он.

Машины одна за другой прошли мимо, обдавая его клубами серой пыли. Он молча и бездумно смотрел вслед отъезжавшим людям. Ни на секунду раскаяние или сомнение в совершенном поступке не коснулись его, он даже ни разу не подумал о том, что лучше, если бы и он поехал с ними.

И только когда последняя машина первой группы

поравнялась с ним и из нее глянуло на него дружеское лицо начмеда Смирнова, хирург встрепенулся, замахал руками и остановил машину.

— Минуточку, минуточку — закричал он и, достав из кармана записную книжку, быстро набросал несколько слов.

Он сложил вчетверо бумагу, поискал в кармане конверт, но, не найдя его, протянул Смирнову сложенное квадратиком письмо.

— Держите при себе, отошлете моим только в том случае, если... — Он не смог договорить последнего слова и только тихо улыбнулся.

Машина помчалась дальше, догоняя ушедшую вперед колонну.

Вторая группа, составленная из легкораненых и хозяйственного взвода госпиталя, уже потянулась к выезду, когда из помещения вышел замполит. Он остановил растянувшуюся колонну.

— А ну, товарищи, — крикнул он, — легкораненые, хозяйственники и все, кто способен держать оружие, слезай! Нужно организовать оборону, пока все тяжелые не будут погружены в санитарки.

С подвод сходили люди.

— Живей, живей! Время не ждет... нечего раздумывать. А ты, Сухоруков, чего ждешь? Ты думаешь, что повар, так не годишься? Годишься, еще как. Слезай в общую кучу, — обходя колонну, говорил Кандыба.

Человек тридцать собралось возле него, выжидательно глядя на замполита.

— Ты женатый? — спросил подполковник подошедшего к группе молодого красноармейца с автоматом в руках.

— Никак нет, товарищ подполковник, холостой.

— Откуда родом? — продолжал Кандыба, любуясь молодцеватым видом солдата.

— Из-под Краснодара, станицы Лабинской.

— А-а! Земляк, значит, мой, я ведь сам кубанский. Одних, выходит, кровей с тобой! Ну, тогда после войны не забудь позвать на свадьбу, — пошутил замполит.

— Милости просим, товарищ подполковник, у меня уж и невеста имеется, — засмеялся боец.

— А ты, товарищ, чего в строй становишься? Тебе с больными ехать нужно,— глядя на пожилого, лет под пятьдесят, красноармейца, сказал Кандыба.

— Нельзя мне в тыл, товарищ комиссар. У меня с фашистами свои счеты. Они сына моего под Москвой убили. Второй год пошел,— тихо ответил красноармеец.

— На, бери винтовку! — коротко сказал Кандыба.

Пожилой боец осмотрел трехлинейку, проверил затвор и, наполнив подсумок патронами, отошел назад.

— Товарищ замполит, разрешите и мне остаться,— попросил капитан Кошелев, слабогрудый, с чахоточным лицом человек, работавший пропагандистом при госпитале.

— Нельзя, товарищ Кошелев! Ты поедешь со всеми, будешь начальником колонны.

— Товарищ замполит, очень вас прошу, разрешите... пригожусь... Ведь я до ранения в полку сапером был. А колонну поведет военврач майор Праскухин.

Замполит посмотрел на впалые щеки капитана, на его умные, спокойные глаза, потом на большую серебряную медаль, блестевшую на груди капитана.

— «За отвагу»,— негромко, словно в раздумье, прочел он.— Хорошая солдатская награда, и правильно тебе ее дали, дорогой товарищ.

Он помолчал и, уже отходя, добавил:

— Оставайся! Скажи Праскухину— пускай возглавит колонну.

— Становись! На первый-второй рассчитайсь! — скомандовал Кандыба построившимся в шеренгу людям и, повернувшись, сказал: — Остальные походной колонной марш к станции С., да осторожнее в дороге.

Спустя пять минут за околицей тянулись уходившие к станции колонны, а замполит, построив своих бойцов, повел их к дороге, где уже окапывался, готовясь к обороне, подошедший на помощь комендантский взвод.

— Ну, Павел Семеныч, как дела, как твои тяжелые?— расставив красноармейцев и вернувшись в палату, спросил замполит.

— Неважно. Есть такие, которых везти нельзя. Преступление! Умрут в пути.

— А если придут немцы, то они все умрут здесь, — задумчиво ответил замполит. — Эвакуировать надо.

— Но положение, быть может, не так опасно и танки не дойдут до нас. Тогда совсем нелепо будет срывать с места людей, имеющих некоторые шансы на спасение.

— Не знаю! Кроме того, что сказал тебе, ничего не знаю, но приказ есть приказ, и его надо выполнять. Начинай погрузку тяжелых, а я пойду к обороне. Когда все будет готово, сообщи мне.

— Сколько у тебя бойцов? — спросил хирург.

— Шестьдесят четыре тридцать восьмого комендантского взвода, остальные — хозяйственной команды и выздоравливающие больные.

— Оружие есть?

— Двадцать автоматов, два ящика гранат, один «максимка» и штук сорок винтовок разной системы. Все!

— Не густо, — неуверенно сказал хирург.

— Конечно, не богато. Но ребята хорошие, все фронтовики, бывшие в боях, — это раз. А второе: отходить ведь нам нельзя. Значит, будем биться до последнего...

— Патрона? — спросил хирург.

— Немца, а не патрона! — ответил замполит и, дружески подмигнув врачу, сказал: — Ну, доктор, валяй не задерживай! Теперь все зависит от твоей быстроты и умения.

Но хирург не успел еще отойти и на сорок шагов, как в село через всю длинную улицу, словно большой черный гудящий шмель, взлетел полуторатонный грузовик. Не обращая внимания на махавших ему людей, шофер, управляя одной рукой рулем, другой размахивал, полувысунувшись из кабины. У поворота к госпиталю он чуть придержал свою машину и прокричал:

— Танки немецкие сзади!

Он хотел было завернуть за хату, но, увидев направленный прямо в лицо автомат Кандыбы, заморгал глазами.

— Останови машину, а то всю очередь запущу в морду, — тихо, но очень четко сказал замполит.

И побелевший шофер понял, что этот спокойный подполковник не задумываясь выполнит свое обещание.

— А ну, слезай, — продолжал замполит. — Говори — где танки? Если соврал, сейчас тебе каюк на месте.

— Не соврал... вот те крест, не соврал. Вон за тем леском штук пятнадцать, а за ними еще пехота на транспортерах, — забормотал шофер, пятясь назад от наведенного на него автомата.

— Проверим! Машина чья? Какой части?

— Сорок второй полевой армейской хлебопекарни. Она километрах в шести от вас стоит.

— Хоро-ош воин, хлебопек собачий! Раньше всех драпу дал! А ну, давай свою машину к тому дому, раненых погрузим, отвезешь на станцию. Да смотри, не вздумай драпануть, а то всю обойму сразу проглотишь, — красноречиво похлопав по автомату, пообещал замполит.

— Что вы, товарищ подполковник, разве возможно! — опасливо глядя на Кандыбу, сказал шофер.

Село опустело. Там, где еще недавно приветливо дымились кухни пищеблока, теперь было пусто. В палатах лежали брошенные матрацы, скомканные одеяла, смятое белье. Возле опустевшей операционной стояли ящики с медикаментами. Одиноко и сиротливо ходил встревоженный часовой, озабоченно поглядывая на запад.

Замполит подошел к бойцам, приводившим в порядок старые, оставшиеся от прежних боев окопы и блиндажи. Впереди, в яблоневом саду, находился пост, еще дальше залегли дозоры.

— Товарищ подполковник! Две бронебойки и семь человек красноармейцев прибыли в ваше распоряжение, — доложил лейтенант.

— Значит, гарнизон усилился! — пошутил замполит и пошел вдоль дороги, разглядывая линию обороны. Красноармейцы рыли землю, не переставая вслушиваться в шумы, возникшие за леском.

— Никак танки? — оставляя лопату, неуверенно сказал один.

— Ты знай копай себе, копай... там видно будет, —

нахмурившись, ответил другой, и оба с дружным ожесточением принялись за работу.

— Товарищи! Стоять будем насмерть... пока не подойдет помощь, — останавливаясь возле работавших, сказал замполит. — Помните, что отступать нам некуда. Здесь наша страна, наша отчизна, и мы защитим ее. У меня сердце обливается кровью, когда вижу, как фашистская сволочь ходит по нашей земле!

— Недолго осталось ходить-то, а насчет отступления — будьте спокойны. Вот тут, в этом окопе, мой дом, другого не осталось, враги спалили, — спокойно ответил высокий красноармеец.

— А у меня и семью загубили. Душа расчета просит, — коротко вставил другой.

— Не бойсь, товарищ подполковник. Где это видано: вся армия, весь фронт наступает, а мы от кучки танков побежим! Да ввек этого не будет! — раздались голоса.

— Орлы, братишки! Я уже пятую войну воюю, а таких молодцов не встречал! — похвалил Кандыба, оглядывая спокойные лица бойцов.

В стороне раздалась пулеметная дробь. Тяжелая, густая пыль поднялась вдали. Она нарастала, качаясь и приближаясь.

— По местам! — крикнул замполит.

Люди быстро попрятались в блиндажах и окопах. На дороге из-за поворота показался красноармеец, на бегу оглядывающийся назад.

Замполит присел на край окопчика, из которого глядел короткий тупой ствол пулемета. Двое бронебойщиков проползли мимо и спрятались у дороги.

— У кого бутылки со смесью? — спросил подполковник.

— У меня. У нас, — отозвалось несколько красноармейцев.

— Пять человек с горючим и гранатами — к оврагу! Остальные — в окопы, осмотреть оружие и приготовиться к бою! Две бутылки и связку гранат дайте мне. А теперь сидеть так, чтобы и носа не было видно!

Из кустов показался медленно подходивший хирург. Замполит оборвал фразу и выжидательно покосился на него.

— Все готово, товарищ подполковник! Тяжелые погружены на машины, а также и весь обслуживающий персонал. Можно отправлять! — поднося ладонь к козырьку, доложил хирург.

Этим официальным обращением он хотел подчеркнуть, что отлично понимает всю сложность создавшейся обстановки.

Кандыба не без удовольствия оглядел несколько комическую фигуру маленького доктора, одетого в высокие сапоги, в светлые погоны, с огромной немецкой кобурой на ремне.

— Валяй вези своих тяжелых, Павел Семеныч, — любовно глядя на него, как смотрят взрослые на дорогих им детей, сказал Кандыба.

За лесом сильнее загудели моторы. Гулко грохнул выстрел, за ним другой. Хирург поднял голову.

— Что это?

— А то доктор, что сейчас же увози больных. Через двадцать минут будет поздно. Немцы подходят, — глядя в глаза хирургу, сказал подполковник. Лицо его стало строгим.

— А... а ты? — отступая на шаг, спросил хирург.

— Мы будем прикрывать вас и держать село, пока не подойдут наши. А теперь — спеши, друг, к машине.

И замполит крепко пожал руку оторопело глядевшему на него хирургу.

Врач молча повернулся и пошел назад. Несколько раз он останавливался, но сейчас же, словно его толкала неведомая сила, продолжал шагать дальше. Подбежавший красноармеец громко и торопливо докладывал Кандыбе:

— Немецкие танки... семнадцать штук с пехотой подошли к мосту, сейчас покажутся...

На дороге все гуще и тяжелее раскачивалось желтое пыльное облако, поднятое гусеницами машин.

Замполит приник к пулемету, тщательно вглядываясь в даль. Немецкие танки уже были видны простым глазом, напоминая собою больших темных быков, остановившихся на водопой. Немцы не двигались. Замершее

село, с пустыми, безмолвными улицами, было опасно. Здесь могла быть засада.

— Боятся, черти! Эх, если бы сюда одну батарейку! — пробормотал Кандыба и, чувствуя, что кто-то влезает к нему в окопчик, оглянулся.

Рядом с ним, запыхавшись от бега, раскладываясь поудобнее, садился хирург.

— Ты чего здесь? Неужели перерезана дорога? — холодея от одной мысли, крикнул замполит.

— Нет, все в порядке! Машины с ранеными ушли, и дорога к станции свободна. А это что, немцы? — вглядываясь с любопытством вперед, спросил хирург.

— Немцы, немцы, черт тебя возьми! — обозлившись, закричал замполит. — Ты чего остался, чего ты сюда пришел? Ну, скажи ты мне на милость! Ведь через пять минут здесь бой будет. Что я с тобой тогда делать буду, а? Подумал ты об этом, шалая башка? — срывающимся от досады голосом сказал Кандыба.

— Да ничего делать не надо. Вы деритесь, а я буду раненых перевязывать.

— Какие там раненые! — махнул рукой замполит. — Разве не видишь, сколько там танков стоит? Мы умирать здесь остались.

— Ну тогда, значит, и я с вами, — перебивая его, просто сказал хирург, и его голос прозвучал так безмятежно, что в горле подполковника что-то защекотало.

Сердце его дрогнуло, нежная теплота разлилась по всему существу, а глаза, сухие, мужественные глаза солдата, заморгали.

— Дружок ты мой Паша! — пересиливая волнение, сказал Кандыба, смахивая соленые, непривычные слезы. — Спасибо, браток! Но уходи лучше отсюда, пока можно.

— А ты, а остальные? — коротко спросил хирург.

— А я погибну здесь. Здесь будет могила старого конармейца, казака Кандыбы, — сказал замполит и лег за пулемет.

По бледным щекам хирурга потекли слезы. Он опустился возле друга и трепетным, срывающимся голосом сказал:

— Товарищ Кандыба, дорогой ты мой товарищ, первый раз в жизни жалею о том, что я не партийный.

— Уезжай, Паша,— вместо ответа сказал Кандыба.

Хирург молча, словно не слыша, смотрел на него.

— Пусть и моя могила будет тут же,— сказал он, раскладывая медицинскую сумку и доставая из нее перевязочный материал.

Замполит только вздохнул и, продолжая наблюдать за танками, левой рукой сжал ладонь хирурга.

От неподвижно стоявших немецких машин отделились три танка и несколько мотоциклов. Набирая скорость, они с треском и ревом пошли по дороге.

— Товарищ подполковник, влево из-за леса, в обход, движутся четыре танка,— сообщил наблюдавший за флангом лейтенант.

— Там не пройдут. У переезда заложены фугасы,— шепотом, словно боясь, чтоб его не услышали подходившие танки, ответил подполковник.

Мотоциклисты были уже возле заставы. Они на ходу стреляли из привинченных к рулям пулеметов, и их вразброд летевшие пули щелкали по ветвям, сбивая зеленую листву и поднимая пыльцу с сухой, сожженной солнцем, земли.

Вдруг один из мотоциклистов покачнулся и, взмахнув руками, упал на дорогу. Пытаясь остановить машину, другой завихлял и вместе с нею свалился в кювет. Резкий стук наших трехлинеек влился в частую дробь автоматов, и горячий свинец защелкал по броне машин, сшибая с ног солдат.

— Огонь!— закричал замполит, и его единственное орудие сделало один за другим четыре выстрела.

Передняя машина остановилась. Под нею рванулось пламя, и буро-багровый дым охватил танк. Из длинных стволов других танков полыхнули желтые огни. Над окопом пронеслись снаряды, и хата, мимо которой полчаса назад проходил хирург, вздрогнула и завалилась.

Хирург хотел приподняться, но новый, еще более сильный грохот заставил его прижаться к окопу. Совсем близко от него рванулась земля, и сухие, тяжелые комья, выброшенные к небу, посыпались в окоп.

«По нам стреляют»,— догадался хирург. Пулемет-

ная струя, обдавая его свистящим ветерком, пронеслась возле щеки.

— Не вылезай, без нужды не суйся,— услышал он голос Кандыбы.— Сиди, Паша, в покое. Надо будет, позовем,— крикнул замполит, припадая к загрохотавшему, затрясшемуся пулемету.

Через поле, кусты и вдоль дороги бежали немецкие солдаты. Они что-то кричали, размахивая руками, стреляя на бегу.

Из-за кустов, ломая молодой, не окрепший березняк, появились танки. Были отчетливо видны лица бегущих за ними солдат.

— Чего там бронебойщики спят! Огонь по танкам!— отрываясь от пулемета, крикнул замполит, но его голос потонул в тяжелом, грохочущем взрыве, от силы которого рванулись и заходили кусты.

Шедший впереди танк с желтым крестом на броне налетел с размаху на тяжелый фугас, полчаса назад заложенный капитаном Кошелевым. Зеленая броня танка окуталась розоватым дымом. Мотор заглох, танк медленно сполз в канаву и затих.

— Молодец капитан... пригодился...— вспоминая слова Кошелева, взревел от восторга замполит.

Его душа пылала боевым азартом. Он снова чувствовал себя прежним, полноценным казаком Кандыбой.

— Не-е-ет! Врешь! — Он снова был бойцом, командиром, конармейцем.— Так, так! Бей их, сучьих сынов, крой чаще, не жалей свинца! — кричал замполит, кося фланговым огнем бегущих немцев.— Не уйдешь, не спасешься! — кричал он, глядя, как под его очередями падали, метались и залегали фашистские солдаты.

Упоение боем охватило его. Он уже не видел, как рвалась шрапнель, как то тут, то там падали гранаты, обдавая осколками бойцов. Он не видел и того, как хирург уже давно вылез из окопа и, лежа в канаве, перевязывал красноармейцев. Бой, тот самый бой, в котором он мечтал полностью рассчитаться с «германом», наконец пришел. Фашистские солдаты, та самая сволочь, которая посмела топтать своими копытами русскую землю, были вот тут, возле него. И накалившийся от яростного огня пулемет стучал, трясся в боевой, злобной, стремительной дрожи.

— Товарищ подполковник, товарищ подполковник!— услышал он голос высунувшегося из блиндажа радиста.

— Чего тебе?— отрываясь от «максима», спросил замполит.

— Штаб корпуса сообщает... просят продержаться полчаса... танки наши сюда выходят... и авиация тоже. Приказывают задержать немцев еще на тридцать минут.

— Передай: «Есть продержаться тридцать минут». Только добавь, что, если нужно, задержим и на час! — ответил подполковник.

Из одиннадцати ринувшихся в атаку танков пять пылали, охваченные огнем. Выскочивший из люка немец упал возле дороги и медленно пополз к канаве, но был добит одиночным выстрелом пожилого красноармейца, которого Кандыба отправлял вместе с другими в тыл.

— Четвертый! — сказал он, перезаряжая винтовку.

Потом тщательно приложился и выпустил одну за другой две пули.

— Пятый! — поднимая от ружейного ложа голову и вглядываясь в сбитого им немца, сказал он.

— Хорошо стреляешь, папаша! — похвалил его лежавший рядом хирург.— Во-он еще один за кустом виднеется... сюда целится. Да во-о-н... вон,— торопясь и указывая бойцу на немца, крикнул хирург, но красноармеец молчал.

Хирург глянул на него и отвернулся. Над левым глазом красноармейца темнело отверстие, из которого медленно текла кровь.

Слева кто-то застонал, и хирург пополз туда. В воздухе, словно зерна из огромного лукошка, сыпанула и разлетелась по кустам шрапнель.

Хирург подвалился к стонавшему бойцу и быстрыми, привычными движениями стал разрезать намокшую от крови гимнастерку.

Неожиданно тяжелый грохот и железный лязг оглушили его. Он зашпилил бинт и приподнялся. Впереди, метрах в тридцати от него, выставив длинное орудие, несся танк. Его темные гусеницы легко бежали по серой земле. Крутая пыль курилась позади. Оглушающий металлический грохот рос и заполнял воздух, забивая уши,

мозг и сознание хирурга. Страшная, неумолимая смерть была возле.

— В окоп! В окоп скорее! — услышал хирург срывающийся крик замполита.

Но растерявшийся врач, первый раз в жизни видевший танк так близко от себя, замер на месте, глядя остановившимися глазами на набегавшие гусеницы стального чудовища.

— В око-оп, да в окоп же!! Э-эх, Павел Семенович! — снова услышал он отчаянный вопль замполита.

Чья-то сильная рука рванула его к окопу, и хирург тяжело, словно мешок, упал в узкую, глубокую щель.

«А как же раненый?» — мелькнуло в его сознании.

В эту же секунду на глазах у всех подполковник неловко приподнялся и, опираясь левой рукой о землю и свой пулемет, размахнулся и швырнул изо всех сил связку гранат прямо под брюхо немецкой машины.

Три противотанковые гранаты сделали свое дело. Танк остановился. Сбитая гусеница, в двух местах разорванная взрывом, сползла на землю. Пушка замолчала. Из башни заструился легкий дымок, и внутри стали глухо рваться снаряды.

— Ур-ра! — закричал замполит и бросил в остановившийся танк обе бутылки со смесью.

Танк вспыхнул.

Кандыба слегка приподнялся, как вдруг автоматная пуля легко и резко рванула его плечо. Из пробитого предплечья заструилась кровь. Плечо ныло, и боль быстро разбегалась по руке.

«Эх, стрелять не смогу!» — оглядываясь по сторонам, подумал подполковник.

Он вытащил из кармана кусок ваты и, скомкав ее, заткнул входное отверстие раны.

«Теперь бы водки с перцем...— припомнил он старое казацкое лекарство.— А где же Паша?» — морщась от все усиливающейся боли, подумал он. Вата намокла, тупая боль уже охватила всю начинавшую неметь руку.

— Вре-ешь! — сжимая зубы, прошептал замполит.— Ты мне еще пригодишься... казака не так просто убить...

Пересиливая боль, он вытянул вперед раненую руку и напряжением воли заставил себя обхватить обеими руками пулеметный рычаг.

— Меняй ленту,— тихо, через силу, сказал он второму номеру.

— Товарищ подполковник, рану надо перевязать, кровь хлещет. Разрешите, я...

— Меняй ленту, говорю! — поднимая на него побелевшее лицо, закричал замполит.— Делай свое дело! А перевязками потом займешься!

— Не волнуйся, дорогой Иван Акимыч,— вдруг услышал он возле себя знакомый голос и увидел запыленного, в грязи, забрызганного кровью хирурга.— Чуть меня танк не раздавил. Если б не красноармейцы, одно пятно краснело бы,— устало сказал хирург, очищая рану и заливая ее йодом.

— Ло-о-жись! — прерывая хирурга, закричал Кандыба.

У дороги стали рваться мины.

Хирург и замполит лежали рядом. Немцы, просочившиеся к их флангу, молчали, и эта странная, так внезапно наступившая тишина была подозрительной.

— Дай-ка папироску, Паша,— не поворачиваясь и наблюдая за немцами, сказал подполковник.

Хирург, вынув из кармана смятую коробку с полуизломанными папиросами, закурил одну из них и вставил ее в рот замполиту.

Тот с наслаждением затянулся и молча кивнул головой. Сквозь повязку медленно пробивалось красное пятно.

Хирург удивленно прислушался. Замполит что-то тихонечко пел, и Степанов не столько по словам, сколько по мотиву понял, что Кандыба напевал свою любимую казачью песню:

...что женился на другой,
на пулечке свинцовой...

И хирургу впервые за все это время стало как-то не по себе. Он вдруг вспомнил жену, детей, свой прерванный отпуск. Сердце его заныло поздней грустью.

«Не напрасно ли я остался?» — находясь все еще под властью переживаемых им чувств, с волнением подумал он.

— А знаешь, Паша, ежели мы с тобой останемся целы,— не спеша заговорил Кандыба, словно угадывая мысли хирурга,— я обязательно поеду с тобою, к твоим в отпуск. Ведь примут они меня, не прогонят? — полушутливо, полусерьезно спросил он.

— Танки пошли! — перебил его наблюдавший из окопчика часовой.

— Приготовить горючее и гранаты! Держись, ребята! Это их последняя атака. Скоро подойдут наши! — закричал замполит и, приваливаясь на здоровое плечо, сел за пулемет.— Ну, Паша, давай поцелуемся по русскому обычаю,— тихо сказал Кандыба.

Степанов поспешно поцеловал подполковника. Все его сомнения исчезли.

«Нет, хорошо, отлично я сделал, что остался с ними»,— подумал он, с нежностью глядя на подполковника и на людей, спокойно, без спешки исполнявших его приказания.

— Товарищ подполковник, штаб корпуса сообщает: наша авиация вышла на бомбежку! — высовывая голову, прокричал радист.

Огневой вал уже хлестнул по окопам. Из кустов выбежали восемь немецких солдат, за ними, ломая плетень и подминая под себя молодую яблоневую поросль, шел танк. Радист оглянулся. Замполит расстреливал перебегавших уличку автоматчиков врага, трое красноармейцев продольным огнем били из винтовок по канаве, в которой залегли немцы. Хирург, откинув назад руку, неумело и очень старательно швырнул через бруствер гранату, но она не разорвалась.

— Запал, запал вставить надо, товарищ доктор! — хватая вторую гранату, крикнул радист и, быстро зарядив гранату, кинул ее под ноги бежавших солдат.— Давай еще, доктор! — весело скомандовал он хирургу.

С танка полыхнул огонь.

— Врешь, шалишь, сволочь! — целясь гранатой под танк, закричал радист.

В воздухе раздался могучий гул. По земле пронеслись быстрые, стремительные тени. Одна, другая, третья... И девятка наших штурмовиков на низком, почти бреющем полете прошла над местом боя.

— Ур-ра! Наши, наши идут! — захлебываясь от радости, закричал радист.

— Наши! Бей подлецов фашистов! — в возбуждении крикнул хирург, глядя, как заметались вражеские цепи.

Тяжело и гулко рванули землю бомбы. Рыжий столб огня встал между окопом и танком. Туча пыли застлала, залепила глаза. Стремительный «Петляков» пронесся над домами, и его бомба расколола танк.

Удар был так силен, что оглушенный радист, все еще сжимая гранату, упал в окоп, подминая под себя сбитого волною хирурга.

— Ур-ра! — как сквозь сон услышал хирург, потом он потерял сознание.

Он уже не видел, как штурмовики, носясь над полем, расстреливали бросившихся врассыпную немцев, он не слышал, как рвались фашистские танки и как последние четыре уцелевшие машины, выкинув белые флаги, сдались.

Он лежал ничком на дне окопа с измазанным кровью лицом. На его лбу багровела, быть может, рана от пули, а может быть, ссадина от падения.

Бой затихал. Только кое-где еще трещали отдельные выстрелы или вспыхивала автоматная дробь. Красноармейцы сгоняли в кучу сдававшихся немцев. Девятка штурмовиков неторопливо кружила над селом, напоминая собою сытых, спокойных, величественных орлов.

— А где доктор? Где Степанов? Он только что тут был,— обеспокоенно оглядываясь по сторонам, спросил Кандыба, поднимаясь навстречу подходившим танкистам.

— Убит... товарищ подполковник. Их убило, когда еще танк по нам стрелял... Да вон он, вместе с радистом лежит,— раздались голоса бойцов.

Замполит тяжело опустился на землю.

— У-убит? — дрогнувшим голосом переспросил он.

Его лицо сразу как-то осунулось и постарело. Он медленно встал с места и, опираясь о плечо ближайшего красноармейца, пошел к окопу.

Внизу возились санитары, вытаскивая раненых и убирая тела бойцов.

Опустив голову и сжав зубы, замполит молча потух-

шими глазами смотрел, как красноармейцы осторожно вынимали из окопа скорченное тело маленького врача.

— Друг... Паша! — стискивая зубы, простонал Кандыба.

Ему припомнилось и их первое, такое нелепое, знакомство, и встреча в столовой, и трагические минуты с бомбою в операционной.

— Ах, друг, друг! Павел Семеныч! — еще тише прошептал подполковник.

Жена и дети хирурга, которых он никогда не видел, но о которых так много и так часто говорил ему Степанов, встали перед ним.

Не в силах сдержаться, подполковник отвернулся в сторону. По его дергающемуся лицу проползла тяжелая слеза.

На землю положили радиста и рядом с ним хирурга, измазанного землей и кровью, в изорванной гимнастерке. В судорожно сведенной руке радиста виднелась зажатая граната.

— Осторожно клади, ребята. Вынь у него кто-нибудь гранату, как бы не взорвалась,— послышались голоса красноармейцев.

Один из бойцов нагнулся над радистом. В эту минуту радист приподнялся и, обводя всех взглядом, сказал:

— Не бойсь! Не взорвется. Она без запала. Это мне такую доктор дал, когда нас волной смахнуло.— И, видя изумленные лица окружающих, радист добавил: — Да он тоже живой, только, конечно, без сознания... когда нас волной об окоп ударило... я же чувствовал, что он живой.

— А ну, санинструктора сюда... жив-во! — зажигаясь неожиданной надеждой, громовым голосом закричал опомнившийся Кандыба, и, расталкивая окружающих хирурга людей, он бросился к нему.

— Жив, только в сильном обмороке,— растирая спиртом обнаженную грудь и виски хирурга, сказал фельдшер.

Замполит тяжело сел рядом с ним и неожиданно расхохотался. Его счастливое, сияющее лицо было так забавно, что все окружающие заулыбались.

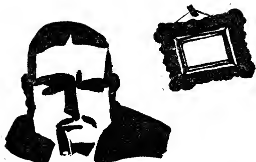
— Так, значит, это он забыл вставить запал в гранату? — заливаясь смехом и хлопая по плечу радиста, сказал замполит.— Молодец, Паша, что забыл, а то б она

вас обоих на куски порвала, когда вы в окоп вверх ногами полетели,— хохоча и сияя от восторга, продолжал замполит.

Это был первый случай в жизни бравого и исполнительного казака Кандыбы, когда он одобрил промах, происшедший на военной службе.

— Ур-ра, Паша! Ох, и добре же я сегодня выпью водочки за твое здоровье! — закричал он, глядя как хирург открыл глаза и, узнавая друга, улыбнулся ему.

Недели две спустя они мчались в поезде в далекую Фирузу, куда им был дан отпуск для восстановления здоровья.



В ТИХОМ ГОРОДКЕ

Повесть

Возвращаясь после ранения из госпиталя в свою часть и разыскивая Н-скую гвардейскую дивизию, наступавшую на Бранденбург, я прибыл в небольшой городок Шагарт, но дивизии в нем не нашел. Недели две назад она выбила из него гитлеровцев и теперь ушла вперед, преследуя отступавшего врага. В городе находился небольшой гарнизон, оставленный одним из полков нашей дивизии. Я явился к начальнику гарнизона, моему старому знакомому, полковнику Андрею Ильичу Матросову, чтобы узнать у него, где находится моя часть. Я не встречался с Матросовым месяца полтора и, признаюсь, был поражен, когда увидел этого еще не старого человека сильно осунувшимся, изможденным, с болезненным и утомленным лицом.

— Что, дорогой мой, удивлены? — слабо улыбнулся Матросов.— Оставили меня здоровяком, а встречаете развалиной. Зато вы выглядите прекрасно. Как плечо? Прошло?

— Все в порядке. Рана была пустяковая, затянулась, рука действует. Теперь надо ехать в дивизию. Где она, Андрей Ильич? Гоняюсь за ней уже третьи сутки, а догнать даже ее тылы не могу.

— Километрах в ста тридцати западнее Шагарта,—

ответил полковник, потом, словно что-то надумав, внимательно поглядел на меня и вдруг сказал:—Знаете что, Сергей Петрович, я понимаю, что вам хочется поскорее в дивизию, но если вы попадете туда и через некоторое время, ничего особенного не случится, а вот мне сейчас позарез нужен на эти дни в этом городишке офицер и особенно в вашем звании.

— Зачем же?

— Дело в том, что я должен завтра, в крайнем случае послезавтра, выехать в Познань на операцию моего застарелого аппендицита.

Полковник болезненно улыбнулся.

— Я крепился, пока было возможно. Когда шли бои и я командовал частью, я откладывал до лучших дней. Здесь, где меня оставили комендантом, я думал на покое дождаться передвижного госпиталя с хорошим врачом, но болезнь не ждет, и наш врач предупредил меня, что если я в течение ближайших дней не лягу на операцию, то возможно опасное осложнение в виде прободения и перитонита.

— Сочувствую вам, Андрей Ильич, но скажите: как же я могу сделать это, даже если б и хотел помочь вам?

— Очень просто. У меня есть предписание штаба армии найти себе замену на эти несколько дней. Для этого можно использовать любого из свободных от строевой службы офицеров. А ведь вы еще не вступили в строй. Официальный приказ вы получите к вечеру. А пока располагайтесь здесь. Лучшей замены, по правде говоря, мне и не надо, тем более что вы неплохо говорите по-немецки.

Видя мои колебания, он добавил:

— Не раздумывайте, недели через две сможете выехать на фронт.

Признаюсь, предложение смутило меня. Хотя за время войны кем только не приходилось бывать нам, офицерам, приезжавшим на фронт! В сорок первом мне пришлось вместе с другими рыть противотанковый ров и вколачивать наклонные надолбы в районе Вязьмы, таскать взрывчатку саперам, работавшим на минном поле у шоссе под Москвой. Около Трубчевска, возвращаясь из партизанского района, я чинил вместе с пилотом на

какой-то лесной просеке наш искалеченный «У-2». В Сталинграде был даже водоносом, выползая среди ночи из землянки за драгоценной влагой. До воды было рукой подать, но эти сорок — шестьдесят метров проползти днем было невозможно, и мы, четыре человека, хотя и прикомандированных, но не имевших прямого отношения к штабу, каждую ночь, обвешанные фляжками, с ведрами через плечо, пускались в короткий, но опасный путь...

— Не смущайтесь! Это продлится недолго, но вы очень, очень поможете мне,— уговаривал меня полковник.

— А что же мне придется делать?

— Быть комендантом, замещать меня до тех пор, пока я не вернусь из госпиталя,— сказал полковник и тихо добавил:— Согласитесь, дорогой мой.

И я понял, как устал и как нуждается в операции этот больной человек, на лице которого явственно проступала землистая бледность.

Переводчица, молодая девушка, стоявшая позади полковника, подняла глаза и посмотрела на меня. По-видимому, и ей, прекрасно видевшей смертельную усталость полковника, хотелось, чтобы я хоть ненадолго заменил его.

— Хорошо. Во всяком случае, я задержусь здесь до вечера. Только прошу срочно оформить назначение в штабе.

Полковник ободряюще потрепал меня по плечу.

Я вышел во двор комендатуры. Это был обычный немецкий двор, асфальтированный, с несколькими деревьями и густым плющом, весело и буйно охватившим первые этажи дома. По двору сновали солдаты комендатуры с повязками на рукавах. У черного крыльца четыре немки в белых передничках и кружевных наколках возились над грудой грязной посуды.

Я медленно вышел на улицу. У ворот стояли немцы, записавшиеся на прием к коменданту. Улица еще носила на себе следы недавних боев. Крыша соседнего пятиэтажного дома была разворочена снарядом, и перебитые балки свисали с чердака. Стены прижавшихся вплотную друг к другу зданий были выщерблены и исцарапаны шрапнелью и осколками снарядов. Угловой дом, наполовину снесенный авиабомбой, угрожал рухнуть. Возле не-

го, копаясь в развалинах, работали пожарники-немцы. Исковерканные огнем, свернувшиеся листы кровельного железа валялись на тротуаре, щебень и битый кирпич засыпали улицу. Около сотни женщин, стоя в аккуратной цепи, убирали мусор и обломки, расчищая дорогу, а над всем этим неожиданно возвышалась половина второго этажа. Было странно видеть стол, покрытый кружевной скатертью, буфет с чудом уцелевшей посудой, детскую куклу и большие портреты, симметрично развешанные на покосившейся стене.

Завидя меня, очередь зашевелилась. Какой-то немец угодливо снял шляпу, за ним другой. Полная немка, умильно улыбаясь, присела в книксене. Красивая блондинка, чуть поведя в мою сторону большими подрисованными глазами, вежливо и с достоинством полукивнула. Я приложил руку к козырьку и быстро прошел в приемную. Часовой открыл дверь, и я вошел в кабинет коменданта.

— Вот и отлично! Попрошу вас пока принять этих людей, а затем, не ожидая меня, обедайте. Я же сейчас поеду на телеграф,— поднимаясь с кресла, сказал полковник.— Вообще, заменяйте меня полностью, будьте хозяином города и помните, что надеяться не на кого, решать надо все самому. Я приеду поздно, часам к восьми. Думаю, что к тому времени уже будет о вас приказ. Всего хорошего! — И, крепко пожав мне руку, полковник вышел.

Спустя минуту на улице раздался гудок его автомобиля, и я остался «хозяином» немецкого городка.

Справа от меня сидела переводчица Надя, та самая, которая полчаса назад с таким напряженным вниманием ожидала моего ответа коменданту. Это была полная смуглая украинка, четыре года назад угнанная откуда-то из-под Полтавы в эти края, как сообщил мне Матросов. У дверей стоял часовой-автоматчик, у камина расположился телефонист.

Над столом висела бронзовая люстра с амурами. На стенах было много картин в великолепных рамах. Одна из них — «Выезд Фридриха II из Сан-Суси» привлекла мое внимание. Художник изобразил короля, сходящим по ступеням китайской пагоды. За Фридрихом виднелись фигуры Вольтера, трех придворных дам и широкоплечего

вельможи в треуголке, в камзоле, расшитом золотом. Не знаю почему, но лицо этого вельможи заинтересовало меня. Я подошел ближе. Несомненно, я где-то уже видел его... Эта мысль мне самому показалась смешной. Восемнадцатый век. Сан-Суси, Фридрих и его свита... Как мог я видеть это широкое, холеное, розовое лицо с деланной, остановившейся улыбкой? И все же я твердо знал, что где-то встречал если не этого человека, то, во всяком случае, его портрет. Я внимательно оглядел картину, пытаясь отыскать подпись художника, но ее не было.

Картина заинтриговала меня. Придвинув стул, я встал на него и стал вплотную разглядывать картину. Только теперь я с трудом различил буквы, неясно темневшие в углу: «В... ер». Дальше шла какая-то еле заметная, неясная закорючка. Отойдя назад, я снова всмотрелся в группу людей, очень экспрессивно написанных художником. Но где, где же я видел эти брезгливо опущенные толстые щеки, эти маленькие надменные глаза и самодовольное, тупое лицо? Я задумался, и в эту минуту почувствовал на себе чей-то взгляд. Я оглянулся. Переводчица отвела глаза и, неловко улыбаясь, сказала:

— Извините меня, но товарищ подполковник, наверно, забыл про посетителей.

— Заинтересовала меня эта штука,— ответил я и, оглядев еще раз картину, сел в кресло, решив после окончания приема снова вернуться к ней.

— Впускайте посетителей,— приказал я часовому.

И в комнату, учтиво улыбаясь, вошли две женщины. Я указал им на стулья. За ними вошли еще четверо посетителей, усевшихся в ожидании своей очереди у стены.

Перегнувшись через край стола и умильно заглядывая мне в глаза, одна из женщин быстро заговорила, перенося время от времени взгляд то на свою спутницу, то на Надю, уверенно переводившую ее слова.

— Это беженка, вдова офицера, убитого в сорок втором году в Африке, на итальянском фронте. Она просит разрешить ей и ее дочери вернуться обратно в Ханцау, откуда они родом.

— Скажите им, что разрешать выезды из города начнем позже, пока же все беженцы остаются на местах.

Надя перевела мои слова. Посетительницы поднялись и пошли к выходу. Худой высокий немец с торчащим ка-

дыком пересел к нам. Остальные передвинулись со стула на стул.

— Господин спрашивает, может ли он вступить в брак, и просит для этого разрешения русских властей.

— Его личное дело. Это не касается русских.

Немец со вниманием выслушал мой ответ, удовлетворенно кивнул, отвесил низкий поклон и, осторожно ступая по ковру, вышел из комнаты. Его место заняли две девушки и юноша с длинными белокурыми волосами. Юноша склонил набок голову и крайне благопристойно, не тихо и не громко, не очень медленно, но и не спеша, заговорил.

— Господин и эти девушки — актеры. Они просят разрешения выступать в кабаре. Часть денег пойдет на русские госпитали,— сказала Надя.

— Пусть обратятся непосредственно к бургомистру, в ведении которого находятся театры, кабаре и кино, а насчет отчислений денег в пользу госпиталей — это лишнее, не нужно. Советский Союз вполне обеспечивает всем необходимым своих раненых и больных воинов.

Двое румын и один болгарин просили выяснить, когда им можно будет вернуться на родину. Пожилой усатый человек с энергичным квадратным лицом пересел поближе к столу. У двери сидела полная, крупная дама с благородными чертами лица и красивыми, несколько грустными глазами. Одета она была в строгое черное кружевное платье. Я два раза внимательно взглянул на нее; таким одухотворенным и выразительным показалось мне ее лицо, когда-то очень красивое. Я увидел печальные, спокойные глаза, холеные руки, выделявшиеся на черном фоне платья. Кружевная наколка, приколотая пряжкой из мелких бриллиантов, покрывала ее седеющие волосы.

«Кто она? По-видимому, мать без вести пропавшего офицера или жена генерала»,— подумал я.

Дама заметила мое внимание и тихо, как-то устало улыбнулась; лицо ее посветлело.

— Не трудитесь, пожалуйста, переводить, я русский,— вдруг сказал усатый человек, садясь в освободившееся кресло.— Я русский,— повторил он,— окончил гимназию в Тамбове в 1909 году, затем Тверское кавалерийское училище, воевал с немцами в девятьсот че-

тырнадцатом, а в двадцатом эмигрировал из России...— Он почесал затылок, погладил усы и продолжал: — Вернее сказать, от Буденного бежал — сначала в Турцию, затем в Сербию, а потом занесло меня и сюда...

— Вы белогвардеец? — спросил я.

— Так точно! Поганое это слово — белогвардеец, однако так оно и есть.

— Что вам угодно?

— Видите ли, господин подполковник,— снова погладив усы, сказал посетитель,— строго говоря, ничего. Ни просить, ни желать чего-либо я не смею, да и не имею на это права. А вот, поверьте, пришел просто так, на вас, на своих, на русских, поглядеть, родную речь послушать, за Россию порадоваться да хоть на одну секунду себя не эмигрантом, а русским почувствовать. Вот и все, господин подполковник. А теперь я уйду.

Не без удивления я глядел на этого человека.

— Вы служили в немецкой армии?

— Нет... Никогда! — воскликнул он.— Довольно того, что в девятнадцатом дрался со своими, но то — по глупости, а в сорок первом можно было только по подлости. Да! — убежденно сказал он, глядя мне в глаза.— Подлецом и фашистом Тулубьев не был никогда.

— Как вас зовут?

— Тулубьев Александр Аркадьевич, бывший ротмистр пятого Александрийского гусарского полка.

— Я хотел бы, Александр Аркадьевич, чтобы вы зашли ко мне не в эти приемные часы, а, скажем, завтра вечером часов в семь или восемь. Можете?

Тулубьев поднялся. Секунду он смотрел мне в глаза, потом лицо его дрогнуло, и он срывающимся голосом сказал:

— Покорнейше благодарю, господин подполковник.— И, повернувшись по-солдатски, Тулубьев вышел из комнаты.

— Сурьезный дядя. Видать, в полковой школе его гоняли как надо,— одобрительно сказал телефонист, глядя вслед бывшему гусару.

Представительная дама поднялась со стула. Я показал ей на кресло. Она мягко опустилась в него. Края кружевного воротника слегка разошлись, и я увидел на ее холеной шее золотую цепочку нательного креста.

«Вот еще деталь для психолога. Католичка, вероятно, из Баварии»,— подумал я.

— Чем могу служить?

— Я буду кратка, так как боюсь отнять у господина коменданта драгоценное время,— приятным грудным голосом проговорила дама.— Дело в следующем. До этой несчастной войны, а затем и в последние годы у меня здесь было свое интересное и выгодное предприятие. Я держала заведение — сначала с восемью, а затем с одиннадцатью девочками в возрасте до двадцати лет. Сейчас, когда, слава богу, война здесь кончилась, мои девочки хотят опять работать, и я желаю вновь открыть заведение, но уже с двадцатью девицами.

— Как? — переспросил я.— Заведение?

— Ну да! Фрау имела дом свиданий и теперь хочет расширить его,— бесстрастно подтвердила Надя.

Немка мило улыбнулась и что-то нежно заворковала.

— Она надеется, что господин комендант посетит ее салон и выпьет там рюмку коньяку,— продолжала Надя.

— Скажите ей, что подобные дела не входят в компетенцию русского коменданта. Пусть обращается в бургомистрат. Там ей дадут ответ по поводу ее заведения.

Дама выслушала переводчицу и, подарив мне прощальную улыбку, поплыла к выходу.

Я еще не совсем пришел в себя от фиаско, которое потерпел мой психологический анализ, когда круглолицый, уже немолодой немец стал что-то говорить переводчице.

— Этот господин — хозяин нашей квартиры. Он только вчера возвратился в город из Каульсдорфа, куда уезжал, когда русские подошли к Шагарту.

— Как его зовут?

— Фон Гецке, доктор юриспруденции.

— Скажите ему, что дом, так же как и его квартира, занят целиком под комендатуру и чтобы он искал себе пристанище в другом месте.

— Он это знает и не предъявляет никаких претензий. Он уже живет у своей сестры.

— Так чего же он хочет?

— Господин Гецке просит только об одном. Он хочет забрать с собой вот эту картину,— и Надя указала пальцем на «Выезд Фридриха II из Сан-Суси».— Он говорит,

что это фамильная картина, переходящая из рода в род. Доктор надеется, что господин комендант разрешит ему взять их семейную реликвию.

При этих словах Гецке (по-видимому, немного понимавший по-русски) усиленно закивал головой и, молитвенно сложив руки, перегнулся ко мне через стол.

— Вы понимаете по-русски? — спросил я.

— О-о, зер шлехт... этвас... малё, очень малё,— расплываясь в улыбке, сказал Гецке.

— Так вот, скажите ему Надя: все, что мы нашли в его квартире цело, вплоть до последнего гвоздя, и будет возвращено владельцу в тот день, когда отсюда будет уходить комендатура, но не раньше.

— Я думаю, товарищ подполковник, что картину эту можно было бы возвратить ее владельцу, тем более что таких картин здесь найдется десяток,— неожиданно сказала переводчица.

Я удивленно посмотрел на нее. Сознаюсь, не совсем хорошая мысль промелькнула в моей голове. Может быть, фон Гецке пообещал переводчице кое-что за ее содействие?

— Я уже объяснил, что пока мы находимся в этой квартире, все вещи остаются здесь. Пусть потерпит,— сухо ответил я.

Надя спокойно кивнула головой.

— Абер, я хотель один только бильдинг... картин... мой старый домашний фамильбильдинг,— взволнованно зашептал фон Гецке.— Два сто лет этот картин биль в унзер фатерхаус... родительски дом.

— Она и вернется туда, только спустя некоторое время. Нам совершенно не нужна ваша фамильная реликвия. Да, кстати, какой художник рисовал ее? И кто такой вот этот важный господин, стоящий позади Вольтера?— Я кончиком карандаша показал на надменное лицо вельможи в парчовом кафтане и длинном французском парике.

Мне показалось, что при этих словах в глазах фон Гецке промелькнуло не то удовлетворение, не то беспокойная тень. Я внимательно взглянул на него, но нет, Гецке почтительно слушал Надю, переводившую мои слова. Когда она кончила, он, низко поклонившись, сказал:

— Очень спасибо, хорошо.— И по-немецки добавил: — И я и моя семья совершенно спокойны за судьбу этой картины. Передайте господину коменданту, что ее рисовал известный художник Вебер, а вельможа, стоящий позади Вольтера,— друг короля и хранитель его печати, барон Эрих Мария фон Гецке, наш прапрадед, в священную память которого мы бережем эту картину.— И, отступая спиной к двери, Гецке направился к выходу.

Было уже около часа. Скоро начинался обед. Я приказал дежурному предупредить стоявших на улице, что до обеда приму только тех, кто уже в стенах комендатуры.

Когда я поднялся, чтобы идти в столовую обедать, со двора донеслись громкие голоса.

— Что там такое? Выясните, дежурный,— приказал я сержанту.

Через минуту сержант вернулся.

— Фриц какой-то хочет вас видеть. Дело к вам имеет, нахальный такой... по-русски чисто чешет.

— Прием закончен. Пусть приходит после трех часов,— сказал я.

Но в эту секунду в кабинет вошла Надя и молча подала мне небольшой голубой конверт с короной в углу.

— От кого?

— От барона Фогеля фон Гогенштейна. Здешний крупный фабрикант и бывший обер-бургомистр. Это он так шумел внизу.

Я вскрыл конверт. Красивым почерком по-русски было написано:

«Глубокоуважаемый господин подполковник! Прошу вас извинить мою настойчивость, но дело, по которому я решаюсь беспокоить вас, срочное и не терпит отлагательств. Прошу принять меня только на 3—4 минуты. С глубоким почтением, ваш покорный слуга барон Гуго Фогель фон Гогенштейн».

В раздумье я повертел в руках письмо, вопросительно взглянув на ожидавшую ответа Надю.

— Это очень почетное лицо в городе,— сказала переводчица.

— Просите.

В комнату вошел высокий, представительный, пре-

красно одетый человек с седыми висками и гладко зачесанными на пробор волосами. Он остановился в дверях и, чуть наклонив голову, сказал:

— Барон Гогенштейн.

— Садитесь,— указал я ему на стул.

Барон сел. Его серые, со стальным отливом глаза были любезно устремлены на меня, а бритое, несколько энглизированное лицо выражало полное достоинства внимание.

— Прошу извинить, господин подполковник, но обстоятельства вынудили меня потревожить вас в неурочное время. Дело в том, что позавчера ночью умер мой родной брат, барон Эрих. Он довольно долго болел грудной жабой, болезнью, как вы знаете, тяжелой и неизлечимой. Сейчас тело моего покойного брата лежит у нас в доме и ждет погребения...

— Чем же я могу помочь?

— Увы! — барон вздохнул.— К сожалению, брату моему уже помочь нельзя, но нам, его родным, вы можете оказать большую услугу.

— А именно?

— В семи километрах от города, на кладбище Ангелюс, находится наш фамильный склеп, в котором на протяжении уже сотни лет покоятся все усопшие члены фамилии Гогенштейн. Вдова покойного, его дети и я просим вас, господин подполковник, разрешить нам похоронить моего бедного брата в нашем фамильном склепе.

— Пожалуйста, хороните. Я не совсем понимаю, при чем тут я.

— Ах, господин подполковник, эта проклятая война запутала и нарушила все обычные представления об естественном ходе вещей. Ведь для того, чтобы похоронить брата вне черты города и чтобы мы могли проводить его на кладбище, нам необходимо ваше разрешение, нечто вроде пропуска. Ах, эти ужасные, трагические времена! — И барон грустно вздохнул. В его серых глазах была печаль.

— Кто намеревается проводить покойного до могилы?

— Вдова, двое детей, я, наш старый слуга Иоганн и затем двое рабочих, которые откроют склеп и произведут погребение. Всего семь человек.

Я внимательно посмотрел на скорбное лицо барона. Он спокойно выдержал мой взгляд.

— Где лежит покойный?

— У нас в доме. Улица Альберты-Луизы, сорок один.

— Ваш брат был старше вас?

— О да! Мне пятьдесят пять, а ему шел шестьдесят второй год.

— Вы отлично говорите по-русски. Где вы научились нашему языку?

— О, во-первых, в тысяча девятьсот восьмом году я закончил в Кенигсберге гимназию, в которой русский язык был обязателен, а во-вторых, в тысяча девятьсот пятнадцатом году попал в плен к русским и до тысяча девятьсот восемнадцатого года жил в Сибири, в Красноярске, где и усовершенствовал свои познания в вашем языке. Так как же, господин подполковник, могу я воспользоваться вашей любезностью и похоронить моего бедного брата? — Он секунду помолчал и тихо добавил: — Это надо сделать сегодня же, ибо труп уже начинает разлагаться.

— У вас есть свидетельство о смерти?

— Да, конечно. Простите, что я второпях забыл о нем.— И он вынул из портфеля аккуратно сложенный листок с красным крестом и штемпелем в углу бумаги.— Вот оно! Если желаете, то пошлите со мной вашего врача осмотреть тело умершего.

— Зачем же. Совершенно достаточно этой бумаги.

Я вырвал из блокнота листок, написал разрешение на выезд за городскую заставу группе в семь человек для погребения на кладбище Ангелюс барона Эриха Фогеля фон Гогенштейна. Мой собеседник встал и, поклонившись, сказал растроганным голосом:

— Благодарю вас, господин подполковник, благодарю от имени жены и детей покойного.

И только тут, в первый раз за это время, голос у него дрогнул, и он, поднеся платок к глазам, быстро вышел из кабинета.

После обеда я поднялся на третий этаж, в свою комнату, и прилег вздремнуть. В таких случаях я беру обычно что-либо почитать. Первые десять минут читаешь с

увлечением, затем несколько секунд усталость и дрема борются с желанием дочитать книгу, и вдруг случается как-то само собой, что книга оказывается на полу, а ты словно проваливаешься в мягкую, убаюкивающую пустоту. Я стал было читать книгу, но сон одолевал меня. Уже сквозь дрему я услышал какую-то возню и стук ниже этажом.

— Что там такое? — спросил я вестового.

Он что-то неразборчиво ответил и стремглав побежал вниз.

Стук прекратился, и я крепко, безмятежно заснул. Когда я проснулся, было около пяти часов. Солнце, горячее и весеннее, ярко светило в раскрытые окна, и его лучи четко осветили книгу, лежавшую на ковре. Это был рассказ Куприна «Штабс-капитан Рыбников».

«Повесть о шпионе»,— подумал я и улыбнулся. Будь я чуточку суеверней, я счел бы это фатальным предостережением. Во всяком случае, это было чем-то вроде напоминания.

— Бдительность! Бдительность! — повторил я, спускаясь в приемную.

Внизу уже дожидался бургомистр, недавно назначенный на эту должность. Это был один из местных жителей, освобожденный из тюрьмы при приходе советских войск. Рядом с ним я увидел небольшого худощавого человека, непринужденно поклонившегося мне. За столом сидела переводчица, о чем-то беседовавшая вполголоса с бургомистром.

— Господин бургомистр просит разрешения открыть в городе кафе-кабаре на Бергенцер-штрассе. Он также просит, чтобы ему дали еще восемь грузовиков для развозки хлеба по районам. Хлеб есть в главной пекарне, но из-за отсутствия транспорта он не попадает в магазины.

— Сколько сейчас у него машин?

— Двадцать. Но для всего города их не хватает. Затем господин бургомистр просит, чтобы комендант выдал шоферам новые пропуска, так как срок старых истекает.

— Кто до сих пор занимался этим?

— Товарищ полковник. Он лично выдавал такие удостоверения,— сказала Надя.

— Пусть подождет возвращения коменданта. Он

вернется в восемь часов. Если же полковник запоздает, то я сам вечером выдам эти разрешения.

Бургомистр поклонился.

— А что нужно этому господину? — спросил я, глядя на второго немца.

— Это господин Отто Насс. Политический заключенный, сидевший вместе со мной в местной тюрьме,— ответил бургомистр.

— Чего же хочет господин Насс? — спросил я Надю.

— Это мой друг, социал-демократ и бывший спартаковец. Я пришел к вам, чтобы рекомендовать его для работы у нас в бургомистрате,— сказал бургомистр.

— На какой должности? — осведомился я, разглядывая спокойное, симпатичное лицо Насса.

— Пока просто в помощь мне, так как людей мало, а надежных тем меньше, ну, а потом мы найдем господину Нассу более определенную работу,

— А чем вы занимались, господин Насс, до тюрьмы? — поинтересовался я.

— Моя специальность — искусствоведение: старинный фарфор, бронза, живопись, главным образом восемнадцатый век.

— Век напудренных маркиз, изящных кавалеров, наивно-трогательных пасторалей,— улыбнулся я.

Странным показалось мне, что этот суровый человек, мужественно боровшийся в подполье с нацистами мог увлекаться столь легкомысленными вещами. Но когда Надя перевела Нассу мои слова, он удивленно поднял брови.

— Простите, но это заблуждение,— мягко возразил он.— Восемнадцатый век прежде всего замечательный этап в истории искусства, эпоха краха придворно-аристократической эстетики и триумфа буржуазно-демократической идеологии во всех проявлениях художественной жизни. Революция в живописи на тридцать лет опередила падение абсолютизма во Франции. Гениальная критика знаменитых «Салонов» Дидро в прах развенчала «первого художника короля» Буше. Неподражаемо грациозный и изысканный Фрагонар не осмелился после этого выставлять свои картины. Век, начавшийся с утверждения гедонизма — права на наслаждения в «Галантных

праздниках» Ватто,— становится веком проповеди пуританской морали третьего сословия в картинах Грёза и завершается предвещающим революционную бурю сверканием мечей в «Клятве Горациев» и «Смертью Марата» Давида. А жанровый реализм Депорта, Удри, Шардэна, а скульптура Гудона...

Насс говорил горячо и увлекательно. Мое недостаточное знание немецкого языка не позволяло мне понять в точности его объяснения. Тем более меня поразило, когда Надя, простая украинская девушка, окончившая, по ее словам, всего пять классов, легко и свободно перевела слова Насса, не спотыкаясь даже на трудных терминах и именах художников. Про себя я тут же решил поподробнее ознакомиться с ее прошлым.

— О, вы действительно знаток искусства! Это как раз кстати. Вон висит картина, изображающая выезд Фридриха Второго из Сан-Суси. Не можете ли сказать мне, кто, помимо короля и Вольтера, фигурирует на этой картине и какой художник писал ее?

Насс подошел к картине, взглянул на нее и повернул ко мне удивленное лицо.

— Но это совсем не Сан-Суси, а королевский дворец, каким его представляет себе жалкий мазилка, воображающий себя художником. Да и никакого Вольтера тут нет. То, о чем вы говорите, вероятно, картина нашего известного художника Вебера. Но это даже не копия с нее.

— Как нет Вольтера? — воскликнул я, забыв, что желая знать все, что говорят немцы, я даже переводчице сказал, что вовсе незнаком с немецким языком.— А это кто же? — и я шагнул к стене.

Передо мной в золоченой, точно такой же, как и раньше, раме висела совсем другая картина. Правда, и здесь на центральном месте находился Фридрих, но ни Вольтера, ни толстяка с холеным и чопорным лицом не было. За спиной короля виднелись две дамы, а за ними здоровенный гайдук в позументах и галунах. Это была вовсе не та картина, которая три часа назад висела здесь и так заинтересовала меня.

— Вот и подпись. Мазилка не постеснялся начертать в уголке свое имя: «Ганс Кмох»,— сказал господин Насс.

— Черт возьми! Здесь происходят какие-то чудеса! —

вырвалось у меня. Стараясь не показать своего изумления, я подошел ближе к картине.

— Товарищ подполковник, пока вы спали, явился господин фон Гецке с письменным разрешением коменданта удовлетворить срочно его просьбу. Дежурный офицер распорядился выдать картину фон Гецке, а эту, принесенную взамен, повесить на месте снятой. Вот приказ коменданта,— показала мне Надя четвертушку бумаги на которой было написано: «Господину фон Гецке выдать картину с изображением короля Фридриха, а взамен внести в опись имущества другую, принесенную хозяином квартиры. Комендант г. Шагарта гвардии полковник Матросов».

Вы, кажется, тогда еще не спали,— продолжала Надя,— так как ваш вестовой прибежал и просил снимать картину без шума.

— А-а... да, да, помню,— делая равнодушное лицо, ответил я.— Итак, Надя, скажите бургомистру, что господин Насс может работать в бургомистрате. А бумажку коменданта дайте мне,— добавил я, заметив, что переводчица кладет ее в стол.

Немцы ушли, а я медленным шагом пошел по коридору, раздумывая о странном инциденте с исчезнувшей картиной. Внешне я был спокоен, но мозг лихорадочно работал. «Штабс-капитан Рыбников», кажется, не случайно попался мне в руки.

Полковник вернулся только в полночь. Он привез приказ штаба армии, назначавший меня временно исполняющим обязанности коменданта Шагарта. Я доложил Матросову о проведенном мною дне.

— А ей-богу, отлично. Лучше и не сделаешь,— смеясь, сказал Матросов,— прямо образцовый комендант. Советую вам переменить вашу специальность и остаться здесь, дорогой Сергей Петрович.

Когда я рассказал ему о посещении бургомистра и Насса, он добавил:

— А этого Насса я знаю. Очень дельный, проверенный нами человек, действительно сидевший в тюрьме при нацистах. Его рекомендуют и немецкие товарищи.

— Скажите, пожалуйста, Андрей Ильич: когда к вам являлся фон Гецке за разрешением о выдаче ему картины? — спросил я коменданта.

— Кто? — повернулся ко мне Матросов.

— Владелец этого дома фон Гецке, которому вы разрешили забрать висевшую в приемной картину.

— Разрешение я никому не давал, а владельцем этого дома является вовсе не Гецке, а благополучно отсюда сбежавший барон Фогель фон Гогенштейн.

При последних словах я привскочил.

— Как Фогель фон Гогенштейн? Да ведь Эрих Гогенштейн умер, а его семья и брат Гуго находятся здесь, на улице Альберты-Луизы.

— Ничего не понимаю,— поднимаясь с места, сказал комендант.— Барон Гуго фон Гогенштейн, активный фашист и крупнейший помещик этого района, бежал вместе со своей семьей в Берлин дней двадцать пять назад. Никакого брата у него, по моим сведениям, нет и не было. Да вы расскажите толком — что тут произошло за эти часы без меня?

Я молча протянул полковнику подписанную им бумагу о немедленной выдаче картины господину фон Гецке и о замене ее другой.

— Недурная фальшивка. Очень здорово сделана моя подпись, прямо-таки артистическая подделка, только вот тут, над буквой «т», я обязательно ставлю черточку, так же как и под «ш».

— Как рассказывает в своих мемуарах английский разведчик Ландау, один видный германский шпион провалился только потому, что на его прекрасно сделанном фальшивом американском паспорте у орла не хватало одного когтя. Может быть, и тут такая мелкая деталь, как отсутствие черточки над «т», поможет понять, чьих это рук работа. А теперь, дорогой Андрей Ильич, поговорим серьезно. Мне кажется, что мы попали в самую гущу развернувшегося вокруг нас шпионажа,— сказал я и, заперев двери, подробно рассказал коменданту обо всем, что произошло в этот день.

Когда я сообщил о выданном мной пропуске на вывоз за черту города гроба с «покойным» бароном и о сопровождавшей «умершего» группе немцев в семь человек, комендант слегка присвистнул и покачал головой.

— Да-а! Мы здорово здесь прошляпили с вами, Сергей Петрович! Несомненно, что за мной и вами неотступно следили находящиеся возле нас члены какой-то

шпионской организации. Пользуясь моим отсутствием и вашим незнакомством с обстановкой, они вывезли из города что-то очень ценное для них.

Матросов помолчал, постучал пальцем по столу и затем позвонил.

В комнату вошел дежурный.

— Немедленно вызвать ко мне начальника заставы номер четыре со всеми сведениями за сегодняшний день и начальника поста, стоящего у загородного кладбища! Утром, к десяти часам,— бургомистра!

— А сейчас следовало бы срочно допросить переводчицу Надю. Это она передала мне вашу записку, полученную ею от фон Гецке,— добавил я.

— Вызвать переводчицу! Все! — приказал комендант.

Дежурный вышел. Занятые своими мыслями, мы молчали, прихлебывая чай. Со двора, нарушая тишину, доносились голоса солдат, да с улицы слышался мерный шаг часового.

— Дела-а! Война-то, оказывается, не только впереди, а и тут, рядом с нами,— сказал комендант и крикнул:— Ну, где там Надя, пусть поторапливается!

— Не найдут, товарищ гвардии полковник, никак не найдут,— доложил дежурный.

— Как так не найдут? А в ее комнате были?

— Так точно. Только оттуда. И там нету, даже постель не раскрыта. Вот Прохорчук из комендантского взвода говорит, что часов в семь она с небольшим баульчиком ушла куда-то в город.

— Вот тебе раз! — сказал Матросов.— Вызвать ко мне дежурного по городу офицера! — И негромко добавил: — Становится интересно.

Мы пошли в комнату переводчицы, находившуюся в этом же доме, этажом ниже. Нади не было. Ее платья оставались в шкафу, на стене висел халатик, вещи в полном порядке были разложены на туалетном столе.

— Ну, что вы скажете? — сказал комендант.

— Только то, что теперь я в дивизию не поеду до тех пор, пока не распутаю этот проклятый узел.

И мы обменялись крепким рукопожатием.

— Вот и отлично! Оставайтесь, сколько найдете нужным. К сожалению, я уже не могу задерживаться здесь. Завтра на санитарном самолете я улетаю в Познань.

Вернусь в Шагарт, как только встану после операции. Штаб армии узаконил ваше пребывание здесь, и, значит, дорогой Сергей Петрович, все трудности этого дела пока целиком ложатся на вас. Думаю, что ехать на улицу Альберты-Луизы, проверять квартиру, которую якобы занимал этот барон, бесполезно, как не стоит искать на кладбище Ангелюс и фамильного склепа Гогенштейнов,— сказал Матросов.

— Конечно! Напрасная трата времени, ясно, что там ничего такого нет и никогда не бывало,— махнул я рукой.

— Утром бургомистр будет здесь, и мы подробно узнаем об этой милой семейке, а с поста, расположенного у кладбища, дадут нам больше данных, нежели ночной осмотр. Это все мы легко выясним. Но вот кто такая Надя, что она делала здесь и куда сбежала — это гораздо важнее для дела. И вам, дорогой Сергей Петрович, в первую очередь придется заняться выяснением этого,— сказал комендант и прошелся по комнате.— Она была прислана сюда после проверки из тыла, прибыла вместе с проходившим эшелоном. Бумаги и фотокарточки ее в порядке. Хотя... чего стоят они, эти бумаги, если мою собственную руку так ловко подделали эти господа!

Вынув из кармана фальшивку, он стал внимательно разглядывать ее.

— Интересно знать, какую роль играет эта картина и какую ценность она представляет для врагов? — сказал я.

— Совершенно ясно, что ценна она не как предмет искусства, а совсем по другой, неизвестной нам причине.

В комнату вошел молодцеватый старшина.

— Разрешите доложить, товарищ гвардии полковник, начальник заставы номер четыре старшина Глебов явился по вашему приказанию,— доложил он.

Это был бравый, подтянутый человек лет тридцати с орденом Славы и двумя медалями на груди.

— Здравствуйте, старшина! — поздоровался комендант.— А теперь вольно, садитесь и не торопясь отвечайте на мои вопросы. Много сегодня немцев прошло через вашу заставу?

— Двадцать семь человек. Из них девять женщин и двое детей. С ними было четыре детские коляски, три по-

возочки и одни дрожки с гробом, который провожали восемь человек.

— Та-ак. В котором часу прошли дрожки?

— Часов около восьми,— ответил старшина.

— Их было семеро, а не восемь, старшина,— поправил я.— Пропуск был выдан на семь человек.

— Так точно, товарищ гвардии подполковник, но немцев сопровождала переводчица комендатуры, которую вы прислали с этой группой.

— Надя! — в один голос вскрикнули мы.

— Так точно! Она сказала, что прислана вами для того, чтобы немцам не чинили препятствий на кладбище. А что, товарищ гвардии полковник, разве это не так? — обеспокоенно спросил он.

— Так, да не так,— почесывая голову неопределенно ответил Андрей Ильич и с сердцем воскликнул:— Вот значит, куда девалась эта мерзавка!

— Не помните ли вы внешнего вида людей, сопровождавших дрожки? — спросил я старшину.

— Две женщины. Одна — молодая красивая блондинка, лет двадцати, с маленькой родинкой под глазом.

— Левым или правым?

— Не могу знать, в точности не припомню. А вторая — фрау лет сорока с чем-нибудь, худая, с темными глазами. Эта все молчала, отворачивалась от нас и вроде как бы плакала, прикрывая платком лицо, так что хорошо рассмотреть нельзя было.

— Большого или маленького роста? — продолжал я.

— Она сидела на дрожках рядом с гробом, не разобрал роста,— ответил старшина.

— А молодая?

— Эта шла вместе с мужчинами, не плакала, только очень спешила. Хотя спешили они все, а переводчица объяснила, что они торопятся скорее похоронить и засветло вернуться в город.

— Назад, конечно, никто не возвратился?

— Никто! Я в двадцать два часа тридцать минут послал на пост к кладбищу двух бойцов выяснить, почему не вернулась эта группа, и поторопить ее.

— Молодец! Вы сообразительны, старшина. Ну и что же?

— Они еще не вернулись на заставу, когда меня вызвали сюда.

— Что было на подводе, кроме гроба?

— Один чемодан и небольшой баульчик.

Мне понравилась наблюдательность Глебова.

— Как держалась переводчица с вами?

— Спокойно. Немного поговорила о том о сем. Сказала, что спешит.

По глазам и ответам старшины было видно, что он уже прекрасно разобрался в случившемся.

— Теперь опишите мужчин, их внешность, приметы.

— Лица у всех были тревожные, озабоченные. Ясное дело, хоронить своего родного собрались. Я так это и понял. Один из них хорошо говорил по-русски, у него как раз на руках и был пропуск комендатуры. Остальные молчали. Лица, скажу я, обыкновенные, кроме одного. Лет так сорока немец, с густыми бровями и чуточку хромой на одну...— старшина задумался и сейчас же добавил: — левую ногу. Тут уж верно могу доложить — на левую ногу припадает.

— Почему вы уверены, что именно на левую?

— Когда они двинулись дальше от заставы, я им вслед смотрел, ну и точно помню, что на левую ногу хромал.

Наблюдательность Глебова положительно восхищала меня.

— Больше вопросов не имею,— сказал я коменданту.

— Что скажете о старшине? Прямо Шерлок Холмс,— улыбнулся Матросов.

— Все, старшина. Возвращайтесь обратно на заставу и следите внимательно за людьми и дорогой.

— Слушаюсь, товарищ гвардии полковник! — поднимаясь со стула, сказал Глебов.

— И вот что, старшина. Из города, как вы уже догадались, сбежала группа весьма опасных немецких шпионов. Вы один из немногих знаете об этом. Не проговоритесь никому, это первое, а второе — помните, что, возможно, сегодня ночью будут еще попытки вырваться отсюда. Будьте начеку, завтра увидимся снова.

Глебов ушел. С минуту мы помолчали. Потом я сказал:

— Андрей Ильич, я думаю взять в свое распоряжение на несколько дней этого старшину.

— Сделайте одолжение. Он пригодится вам.

В комнату вошел сержант и четко доложил:

— Товарищ гвардии полковник, начальник поста сержант Потапов прибыл по вашему приказанию.

Как и можно было предположить, опрошенный нами начальник поста, расположенного невдалеке от кладбища Ангелюс, не добавил ничего нового к тому, что мы уже знали. Единственно, что было ценно в его рассказе, это то, что группа немцев с гробом и переводчицей вошла в южные ворота кладбища и назад не возвратилась. Этот простоватый сержант явно был не чета ушедшему старшине. Его даже не удивило то, что до наступления ночи никто из немцев не вернулся обратно.

— Я думаю, что они или заночевали там, в доме смотрителя, или же вернулись в город через северный проход.

Из беседы с ним выяснилось, что кладбище имеет три выхода — на север, запад и юг.

— Поставьте на всякий случай часовых у всех трех ворот. Утром мы приедем к вам,— сказал комендант.

— Уже сделано, товарищ гвардии полковник. Начальник заставы старшина Глебов приказал об этом.

Мы молча переглянулись с комендантом. Сержант удалился.

— Итак, какой у нас план действий? — спросил полковник.

— Думаю, что нам обоим сейчас следует лечь спать, хорошенько выспаться и завтра утром со свежими силами заняться этим делом. Ночью, куда бы мы с вами ни кинулись, мы никого и ничего не найдем,— сказал я.

— Правильно, спать так спать. Утро вечера мудренее,— согласился комендант, и мы разошлись по своим комнатам.

Однако я был уверен, что он, как и я, еще долго ворочался в своей постели.

Утром я вызвал к себе Насса.

— У меня к вам небольшое дело. Будьте добры через бургомистра выяснить точно, что за личность русский эмигрант Александр Тулубьев, сколько времени он нахо-

дится в Шагарте, чем занимался при фашистах, насколько тесно был связан с ними — и вообще все, что только можно узнать о нем.

— Это тот русский, что приходил вчера к вам? — осведомился Насс.

— Да. Когда сможете дать о нем точные данные?

— Сегодня к двенадцати часам дня. Это не будет поздно?

— Нет, как раз вовремя. А вы убеждены, что данные будут верны? Мне необходимы только точные сведения.

— Разумеется! Все, что я вам доложу, будет основано на проверенных данных. Все русские эмигранты, как и другие иностранцы, зарегистрированы в бургомистрате, о каждом из них собрано подробное досье.

Через час я приехал на кладбище Ангелюс. У входа меня встретили старшина Глебов и смотритель кладбища Крафт, предупрежденный старшиной. Обеспокоенный немец был крайне предупредителен, заглядывал нам в лицо, забегая вперед и подробно рассказывая о кладбище.

— Да, вчера сюда прибыли семь человек с одной русской женщиной, которая от имени коменданта приказала мне приготовить к половине десятого утра могилу у западных ворот. В ней должен быть погребен русский офицер, умерший в госпитале от ран. Она распорядилась рассадить вокруг кипарисовые деревья и кусты роз. Господин комендант может не сомневаться, будет все сделано аккуратно, на совесть, место выбрано лучшее на всем кладбище, и уже заготовлены цветы...

— Где эти люди и русская женщина? — перебил его я.

Смотритель озадаченно посмотрел на меня.

— Они еще засветло выехали обратно в город.

— А гроб?

— Здесь, в сторожке. Русская дама просила никого из немцев не подпускать к нему; она настоятельно подчеркнула, что таково приказание коменданта,— удивленно сказал немец и в беспокойстве спросил: — Извините, но разве я поступил не точно по ее указанию?

— Нет, все верно,— успокоил я смотрителя и, переведя его слова Глебову, сказал: — Пойдем, старшина, поглядим на этот гроб.

Но Глебов не склонен был спешить.

— Здесь какой-то подвох, товарищ гвардии подполковник,— сказал он.— Эта стерва недаром предупредила смотрителя никого из немцев не подпускать к гробу. Вы понимаете, в чем дело?

— Отлично понимаю, старшина, и поэтому не тороплюсь. Нужно сейчас же вызвать сюда саперов и посмотреть, что оставили нам фашисты в этом гробу.

— А зачем нам саперы? Ведь я по образованию радист и электрик, а за войну несколько воинских профессий узнал. Саперное дело, особенно по минной линии, изрядно освоил. А ну, Коврижкин, быстро на заставу! Пусть сюда приедут Пантюхов со щупом и Гриць с миноискателем. Вы разрешите, товарищ гвардии подполковник, ему туда и обратно на вашем мотоцикле слетать?

— Разрешаю,— сказал я и, повернувшись к ничего не понимавшему, обеспокоенному смотрителю, спросил его: — Где тут находится фамильный склеп баронов Фогель фон Гогенштейн?

— Прошу прощения, господин офицер, но семья баронов Фогель фон Гогенштейн своего склепа здесь не имеет и, насколько я знаю, хоронит своих усопших только в Берлине, на кладбище Вест-Крейце, где у них действительно имеется фамильный склеп.

— Я так и думал,— сказал я и перевел Глебову слова смотрителя.

Мне было несказанно обидно, что сбежавшие фашисты так легко и просто обманули меня. Ведь что мне стоило, прежде чем выдать это проклятое разрешение, навести справки у бургомистра или даже вызвать в комендатуру кладбищенского смотрителя и вот так же поговорить с ним!

На дороге послышался треск мотоцикла. С заставы приехали Пантюхов и рядовой Гриць, «наиболее прославленный в части минер», как отрекомендовал его старшина.

Мы двинулись к сторожке, в которой стоял оставленный немцами гроб. Смотритель Крафт, ничего, видимо, не подозревавший, открыв двери сторожки, хотел было взяться за гроб, чтобы помочь вынести его наружу, но я удержал его:

— Не надо. Стойте в стороне, а еще лучше, если не хотите взлететь на воздух, отойдите отсюда подальше.

Крафт побледнел, схватился за сердце и испуганно поспешил вон из сторожки. Глебов и Гриць обошли гроб вокруг, внимательно присматриваясь к нему.

— А ну, раскройте пошире двери,— вдруг сказал Гриць,— и окна тоже, а то свету мало...

Солдаты распахнули двери. Яркий свет ворвался в помещение. Нарядный гроб с золотыми цветами и серебряными позументами заиграл в лучах солнца.

— Вишь, дьяволы, сколько цветов да ленточек навезли с собой! — сказал минер, указывая на букеты и венок, лежавшие на дубовой крышке гроба.

Глебов взял в руки миноискатель и, повернувшись ко мне, негромко проговорил:

— Товарищ гвардии подполковник, прошу вас и всех остальных удалиться.

Отойдя в сторону, мы прилегли за каменный памятник и оттуда стали наблюдать за работой Глебова и его друга, знаменитого минера Гриця. Они осторожно походили вокруг гроба, отойдя в сторону, посовещались и снова подошли к нему. На этот раз Глебов, жестикулируя, стал в чем-то убеждать минера, на что тот коротко и энергично покачал головой. Наконец старшина сердито махнул рукой и, подняв свой миноискатель, уже собирался обследовать им гроб, но Гриць с не свойственной для него быстротой схватил за руку и оттащил в сторону старшину. В свою очередь он стал что-то говорить Глебову, размахивая рукой. Потом оба замолчали, отошли к сарайчику и, присев на корточки, закурили. Было ясно, что минер сумел в чем-то убедить старшину. Сделав несколько затяжек и швырнув на пол папиросу, Глебов повернулся и пошел к нам. Минер не спеша вернулся к гробу и в раздумье остановился перед ним.

— Прогнал меня оттуда. Зачем, говорит, погибать вдвоем,— сказал старшина и присел рядом со мной.— Эти проклятые фрицы заложили там мину с двойным, а может, и тройным сюрпризом. Уж ежели Гриць сказал, так это верно.

Минер все в той же позе стоял над гробом. Затем, не спеша и не отводя глаз от крышки, свернул козью ножку и, закурив ее, снова обошел гроб. Подолгу затягиваясь,

он все разглядывал что-то, нагибаясь и как бы прислушиваясь к чему-то.

Вдруг минер опустился на колени и достал из кармана пилку и буравчик. Что он делал с ними, нам не было видно, но раза три он останавливался, поворачивая к нам свое вспотевшее лицо и молча покачивая головой. Наконец он осторожно просунул руку в проделанное им отверстие и нескончаемо долго шарил внутри рукой. Тут я вспомнил афоризм одного майора контрразведки: «У знаменитого картежного игрока, талантливого скрипача и настоящего минера должно быть до болезненности тонкое осязание, так сказать интеллигентность в пальцах, иначе им надо бросать свое дело». Видимо, Гриць, долго шаривший в гробу, призывал себе на помощь всю чуткость своего осязания. Наконец он осторожно вытащил руку и, повернувшись к нам, кинул к дверям какую-то круглую свинцовую гайку.

— Капсюль,— тихо сказал Глебов, подбирая ее.— Теперь пойдет дело. Золотые руки у парня.

Но минер опять зашагал вокруг гроба, потом присел возле него, подумал, прислушался, вновь поднялся и минут пять неподвижно простоял на месте, напряженно вглядываясь в гроб.

— Да что, он там до ночи, что ли, копаться будет! — с досадой сказал один из солдат.

— Молчи! Ежели Гриць задумался, значит, дело серьезное. Минеру торопиться некуда — кругом смерть,— наставительно сказал старшина и, сложив рупором руки, крикнул: — Сеня, идти, что ли, на помощь?

Но минер не ответил, простоял еще с полминуты, повернулся и решительно пошел к нам.

— Ничего не выйдет, товарищ гвардии подполковник, надо рвать! У них там мина-недотрога двойного действия заложена, да, кажется, еще с камуфлетом. Никак не разберусь в системе,— сердито сказал он.

— Ну что же, рвать так рвать. Что нужно для этого?

— Можно расстрелять, но лучше всего подорвать веревкой. Прикажите вашему немцу принести веревку метров на пятьдесят. Мы сейчас здесь такой салют устроим, аж все покойнички из могил повыскакивают.

Я объяснил смотрителю, что нам требуется, и немец принес из дому два круга веревок. Связав их вместе, ми-

нер пошел в сарай и, привязав один конец за ручку гроба, вернулся обратно.

— А теперь, товарищ гвардии подполковник, и вы, ребята, за тот памятник, а то как бы осколками не зашибло.

Мы залезли за большой гранитный, обложенный черным мрамором памятник. Странное дело, здесь были все люди обстрелянные, не раз видавшие смерть, но сейчас все нервничали. Глебов, этот мужественный человек, быстро чиркал спичку за спичкой, закуривая папиросу. Автоматчик, сидевший возле меня, вынул из кармана сухарь и медленно грыз его, устремив напряженно раскрытые глаза на сарай. Себя я поймал на том, что читал и перечитывал золотые, слегка выцветшие буквы, выбитые на мраморе памятника: «Полковник Иоганн фон Мюллер, погиб за родину и кайзера в бою с русскими под Варшавой 9 мая 1915 года. Мир дорогому праху. Верная жена Гретта фон Мюллер».

— Все готово, товарищ гвардии подполковник, разрешите потревожить покойников? — раздался возле меня голос Грица.

— Давай,— сказал я.

Гриць дернул за веревку. Раздался тяжелый, двойной удар, и туча сизого дыма взлетела над сараем. Обломки бревен, доски, комья земли со свистом и воем разлетелись во все стороны, рикошетируя по крестам и каменным строениям кладбища. Потом все стихло, но дым не расходился, медленно оседая на землю.

— Готово. Сеанс окончен. На следующий — билеты не действительны,— сказал старшина, поднимаясь с коленки и хлопая по плечу лежавшего ничком, посеревшего от страха смотрителя.

На месте сарая осталась куча щебня. Встревоженные птицы носились над кладбищем.

Полковник, ожидавший меня к завтраку, поделился со мной новостями.

Конечно, бароны фон Гогенштейны никогда не жили на улице Альберты-Лунзы. Бургомистр, посетивший в мое отсутствие коменданта, сообщил, что члены семьи Гогенштейнов вообще редко бывали в Шагарте; лишь

иногда кто-нибудь из них приезжал сюда по делам поместья, расположенного в десяти километрах от города.

— Кстати, выяснилась любопытная вещь! Документы и бумаги переводчицы Нади правильные, но сама она — фальшивка,— сказал комендант.

— Как это? — не понял я.

— На срочный запрос в отдел репатриации мне ответили, что Надежда Потаповна Корниенко была освобождена нашими войсками в имении прусского юнкера фон Пилау, где работала на свиноферме, но накануне отправки с эшелоном на родину, в Полтавскую область, внезапно заболела и скоропостижно скончалась. При вскрытии установлено отравление. Выданные ей репатриационные документы исчезли, и по этому поводу органами госбезопасности ведется расследование. Понятно? — закончил полковник и жестом пригласил меня к столу.

После завтрака полковник на санитарном самолете улетел в Познань.

Я остался комендантом города.

Спустя час я вызвал в свое распоряжение старшину Глебова и, оставив его при себе, посвятил во все детали сложной и загадочной истории. Старшина, не перебивая, выслушал меня, потом коротко сказал:

— Располагайте мной, товарищ гвардии подполковник.

По моему приказу все дороги были оцеплены постами, лес и рощица в окрестностях Шагарта прочесаны патрулями, но сбежавших из города фашистов и след простыл. В одной деревушке были задержаны трое скрывавшихся в ней немецких солдат, отставших при отступлении разгромленной германской армии. В самом городке задержали двух подозрительных женщин, пытавшихся выйти за запретную линию заставы, но тех, кого искали, не было. Так как далеко уйти они не могли, приходилось предположить, что сбежавшие были вывезены на специально прилетевшем за ними самолете или же где-то надежно укрыты своими соумышленниками.

Ровно в полдень в дверь постучал Насс.

— Садитесь. Принесли материал? — спросил я.

— Принес,— вынимая из портфеля бумаги, сказал Насс и положил их передо мной.

Я стал читать:

«Тулубьев Александр, царский кавалерийский офицер, эмигрант из Советской России, 55 лет. Без определенных занятий. Служил на конюшне у помещика фон Манштейна. Беспартийный. К нацистам не примыкал, был далек от политической жизни и гитлеровского режима, хотя был арестован в 1943 году и просидел в местном гестапо 36 дней. Освобожден по просьбе приятеля — владельца конюшни фон Трахтенберга».

— Почему сидел и почему освобожден, вы не знаете? — спросил я Насса.

— Отказался после Сталинграда носить траурную повязку и вступить в фольксштурм, мотивируя свой отказ тем, что он не немец, а русский. А освободили потому, что Трахтенберг, который знал его раньше, убедил гестаповцев, что Тулубьев почти сумасшедший. Вообще же он безобидный и славный старик.

— Благодарю вас,— сказал я, пряча бумаги в стол.

В восемь часов пришел Тулубьев. Я был очень занят, и, признаюсь, мне было совсем не до него. Бывший ротмистр заметил это. Посидев минут десять, он стал прощаться.

— У вас есть дела? — спросил я.

— Какие у меня дела! — махнул рукой Тулубьев.— Последнее мое дело — конюхом работал при одной конюшне, да и та работа теперь кончилась, а ухожу потому, что вижу — не вовремя пришел, мешаю.

Мне стало жаль его.

— Дела всегда много, Александр Аркадьевич, и потому я с удовольствием воспользуюсь вашим приходом и отдохну. Пойдемте в столовую, посидим и отужинаем вместе. Согласны?

— Неужели вы мне окажете такую честь? — поднимаясь с места, дрогнувшим голосом спросил Тулубьев.

— Почему бы нет? — в свою очередь переспросил я.

Бывший гусар посмотрел на меня, потом тяжело вздохнул и сказал:

— А как нам здесь врали про вас!.. На что я стреляный воробей, и то поначалу струхнул. А как увидел первого русского — остолбенел, как жена Лота...

— Это почему?

— Растерялся. Погоны увидел, наши, российские погоны! Раскрыл рот, стою и ничего не понимаю, а потом

подошел к одному офицеру и говорю: «Можно потрогать немного?» А он: «Пожалуйста, говорит, трогайте хоть до вечера». Я тронул — и вдруг как расплачусь... А офицер отодвинулся в сторону и говорит: «Вот так насвистался, папаша». А я с самого утра в тот день ни капельки в рот не брал.

— А вы пьете? — спросил я.

— Пью,— серьезно ответил бывший ротмистр.

— Ну, так и идемте в столовую, пропустим перед ужином по рюмочке,— сказал я.

Не знаю чем, но мне очень понравился этот своеобразный человек, один из немногих в этом городе не заглядывавший мне в глаза раболепно и ни о чем не просивший.

— Накройте на двоих, принесите ужин и бутылку хорошего вина,— приказал я вестовому.

Вино было разлито по бокалам, и мы чокнулись.

— За русскую армию, за Россию! — сказал Тулубьев и медленно выпил.— Мне, конечно, трудно говорить о том восторге, какой я испытал, когда увидел, как удирали отсюда немцы. Я сам бежал от Буденного и хорошо помню кошмарную эвакуацию из Новороссийска. Но разве это можно сравнить с тем, что творилось в Германии? Страх, паника, рев, сумасшествие... поголовный драп, когда в одну ночь пустели города, а хваленые фашистские генералы бежали быстрее своих солдат. На дорогах тысячи брошенных машин, десятки застрявших поездов, нескончаемые вереницы пешеходов. А я смотрю, и в душе гордость растет! Ведь это же наши, русские, гонят фашистов! И радость охватывает, и плакать хочется... Наши, да не твои, ведь ты — эмигрант, а не русский.

— А где вы работали конюхом, Александр Аркадьевич?

— Здесь же, в скаковой конюшне одного местного богача. Однополчанин мой фон Трахтенберг меня туда пристроил,— сказал Тулубьев.

— Как однополчанин? Разве вы служили в германской армии?

— Наоборот. Это он, Трахтенберг, служил в русской армии. Сейчас поясню, как это вышло. Ваше здоровье! — поднимая бокал, сказал бывший ротмистр.— А произо-

шло это так. Отец этого фон Трахтенберга был генерал-лейтенантом старой русской службы и командиром третьего корпуса, расквартированного в районе Киева, а сын его Володька начал служить в нашем, пятом Александрийском гусарском полку корнетом. Так себе парень. Но была у него одна особенность. Своеобразный талант был: любую подпись мог подделать, но как — артистически!..

Я насторожился.

— Командира ли полка, кого-либо из офицеров, даже целые письма под чужую руку писал. Этим и отличался, ну, а офицер был плохой... Одно время у меня в эскадроне субалтерном служил, вот оттуда у нас и знакомство повелось. Дрянцо он был порядочное. И оба они, и отец и сын, такие верноподданные были, такие ревностные русофилы и монархисты, что дальше некуда. Из лютеранства в православные перешли. В тысяча девятьсот четырнадцатом году рапорт на высочайшее имя подали с просьбой свою немецкую фамилию на русскую переделать. Из Трахтенбергов Боголюбовыми сделались, не захотели немцами быть, и говорить только по-русски стали.

А пришла революция — Боголюбовы наши опять Трахтенбергами стали и к Скоропадскому сбежали, а оттуда в Германию. Этот самый корнетишка (папаша-то его скоро умер) и рекомендовал меня своему приятелю на конюшню. И любопытнейшая деталь — никогда он со мной не разговаривал, а если случалось иногда отдать приказание, то сквозь зубы, да и то по-французски. О том, что он у меня в эскадроне служил, ел и пил за моим столом,— ни слова... Я, конечно, не обижался. На кой это мне черт нужно? Спасибо хоть за то, что пристроил. Коней я люблю, в свое время трех строевых и одну скаковую держал. И в экстерьере, и во внутренних свойствах коня разбираюсь. В полку по этой части авторитетом слыл, и тут мне около лошадей легко и спокойно было. И вдобавок, спасибо ему, один раз в минуту жизни трудную выручил меня этот самый Володька.

— Каким образом?

— Да посадили меня гестаповцы в тюрьму. А он все же похлопотал, позвонил кому следовало, наговорил им, будто я вроде юродивого. Ну и выпустили.

— А за что же вас посадили? — спросил я.

— Ни за что, из-за пустяков. Их, голубчиков, в Сталинграде разгромили, и тут по приказу Гитлера был объявлен всеобщий трехдневный траур. Я, конечно, носить его отказался. Почему я должен оплакивать немцев? Донесли на меня. Сейчас же на цугундер, раз пять на допрос водили, расстрелом пугали. Потом на фронт послать хотели. Но Трахтенбергу не очень-то улыбалось, чтобы раздули это дело дальше. Как-никак, он же меня тут устроил, и на него могла пасть некоторая тень... а здесь, в Шагарте, у него было огромное влияние. Нажал где нужно — признали юродивым и отпустили на волю. Я вернулся к своим коням.

— А где теперь ваш хозяин?

— Недель пять назад сбежал отсюда и коней своих породистых увел в Ольденбург, поближе к голландской границе.

— А Трахтенберг-Боголюбов?

— А этот здесь. Да, позвольте, всего лишь два дня назад я встретил его у вас в комендатуре. Разряженный, расфранченный и, представьте себе, опять говорит по-русски; носа передо мной уже не задирает и даже за руку поздоровался, по имени-отчеству назвал.

— Был здесь? — переспросил я.— А каков на вид этот господин?

— Высокий, несколько энглизированного вида, с прекрасным пробором, вежлив, даже вкрадчив, но держится с достоинством и апломбом. А что такое? — заинтересовался Тулубьев.

— Так, между прочим. А вы не знаете адреса Трахтенберга?

— Знаю. Площадь Людендорфа, четыре, второй этаж.

— Не оказали бы вы мне любезность зайти к господину Трахтенбергу и пригласить его ко мне завтра, к десяти часам утра?

— Охотно. Если надо, я с удовольствием приволоку его сюда,— сказал бывший гусар.

Ужин подходил к концу.

— По стаканчику чаю? — предложил я.

— Никак нет, не имею дурной привычки мешать бабское питье с благородным французским напитком. Вот, если разрешите, выпью еще рюмочку на дорогу,— отве-

тил мой собеседиик и медленно выпнл рюмку «Мадам Дюбаррн».

Мы попрощались, н старый гусар удалнлся...

Утром он ко мие явился встревожениым.

— Трахтенберга нет! Оказывается, вторые сутки как исчез. Скажнте — эта сволочь ие напакостила вам?

Не отвечая на его вопрос, я сказал:

— Александр Аркадьевич, зайдите ко мие завтра после полудня. Может быть, вы мне будете очеиь иужиы.

Бывшнй гусар вскииул голову, вытянул по швам рукн н по-солдатски ответнл:

— Слушаюсь, господии подполковинк!

Обычный прнем посетнтелей иачался. У меня уже не было переводчицы, и мие самому приходилось вестн беседы с немцами, которых деиь ото дня прнбывало все больше и больше. Это, разумеется, зиачнтельно осложняло мою работу. Утром дважды прнходнл бургомистр, сопровождаемый Нассом. Еще две пекарин были пущеиы в ход. Грузовые машииы завезли на склад свыше трехсот тоии картофеля. Кероснн, иайдеиный энергнчиым Нассом в полуразрушенных подвалах какого-то фашнстского учреждеиия, был перевезен на склад. Сейчас Насс проснл разрешения собрать совещанне местиых врачей и владельцев аптекарскнх магазннов, чтобы наладить организоваиное медициское обслужнвание населеиня.

Уже уходя, Насс сказал:

— Кстати, если вам хотя бы временно нужиа переводчица, то, с вашего позволеиия, я пришлю одиу даму, прекрасио говорящую по-немецкн, по-английски и по-русски.— Ои помолчал и медлеиио добавнл: — Рекомеидовать ее могу, ио ручаться ие смею, хотя товарищн, работавшне здесь при Гнтлере в подполье, отзываются о ией как о человеке надежном, проверенном, оказавшем нм немало цеиных услуг.

Теперь, когда волей судеб я попал в самую гущу секретиой войны, монм осиовным чувством стало недоверне. Меня окружалн подвохи, ложь и предательство. Среди всех этнх вежливых и любезных людей я был одинок, а потому и насторожен, но вместе с тем отлично понимал, что только через ннх найду ключ к тайне,

заключавшейся в украденной картине и в истории с гробом.

— Рекомендации совершенно достаточно,— ответил я Нассу.

Передо мной вновь потянулись благообразные немки в выглаженных платьях и немцы в вытюженных костюмах. Руководствуясь в основном интуицией, я разрешал их несложные, однообразные вопросы.

В приемную вошла хорошо одетая молодая женщина с белокурыми волосами, завязанными узлом, высоким лбом и упрямым, резко очерченным подбородком. Голубые с зеленоватым оттенком глаза были особенно привлекательны и выделялись на ее загорелом лице. Старшина посторонился и проводил ее долгим взглядом.

— Садитесь. Чем могу служить? — спросил я по-немецки, но дама приятным и сильным контральто ответила по-русски:

— Я пришла, чтобы служить вам.— И, слегка улыбнувшись, пояснила: — Я та самая переводчица, о которой вам говорил господин Насс.

Я с настороженным вниманием смотрел на нее. На вид ей можно было дать не больше двадцати пяти лет.

— Вы немка?

— Нет. Я латышка, из Риги. В Германии нахожусь уже восемь лет. Я была замужем за немцем. Мой муж умер в начале этой войны,— и она протянула мне документы, удостоверяющие ее слова.

«Эльфрида Вебер»,— прочел я. После документов, предъявленных сбежавшей переводчицей Надей, я не был склонен доверять паспорту этой дамы, тем более что, если верить классическим шпионским романам и мемуарам, противник обычно всегда подсылает именно обаятельных красавиц. Но делать нечего. Одного моего знания немецкого языка было недостаточно, переводчица была нам нужна, и если все ее рекомендации правильны, она бы очень пригодилась мне. Во всяком случае, чем ближе находятся ко мне враги, тем легче будет обнаружить и ликвидировать их. Я еще раз внимательно оглядел женщину.

— Очень хорошо. С завтрашнего дня прошу вас начать работу,— сказал я.

— Благодарю вас. Только зачем откладывать на

завтра? Я готова уже сейчас. И зовите меня Эльфридой Яновной. Так в Риге звали меня мои русские друзья.

— Пожалуйста.

Переводчица села сбоку в кресло. Глебов, все еще с восхищенным видом разглядывавший ее, впустил в приемную очередного посетителя. Прием продолжался.

Неожиданно меня вызвал дежурный.

— Я сейчас вернусь,— сказал я, уходя.

На третьем этаже у дверей моей комнаты стоял младший лейтенант с красной комендантской повязкой на рукаве. Увидев меня, он подтянулся, одернув края гимнастерки.

— Товарищ гвардии подполковник, начальник караула младший лейтенант Рябцев явился с донесением.

Я только хотел спросить его, почему он так спешно и таинственно вызвал меня сюда, как лейтенант, пригнувшись ко мне, быстрым шепотом сказал:

— Происшествие случилось, чепе произошло...

— В чем дело?

— Немца одного возле города выследили... старика. Наши ребята заметили, где вчера ночью самолет кружил над лесочком... у озера...

— Войдемте ко мне в комнату, там покажете мне на карте это место и доложите обо всем.

Плотно закрыв дверь, я подвел лейтенанта к карте и стал расспрашивать его.

— Этот самолет кружил больше часа над лесочком. Ребята решили, что свой, на том и успокоились. А сегодня недалеко от того места ефрейтор Ильин в кустах немца обнаружил.

— Что делал немец?

— Стоял в кустах, прислушивался. Должно быть, почуял, что кто-то идет...

— Дальше.

— Ну конечно, Ильин навстречу к нему пошел и стал кричать: «Хальт!» Немец остановился. Ильин к нему ближе. Вдруг старик как даст в него из пистолета, так Ильин на землю и свалился...

— Убил?! — вскричал я.

— Никак нет, вроде военная хитрость. А немец обратно в кусты — и ходу. Ну, тут его рядовой Шарафутдинов и срезал.

— Насмерть?
— Наповал. В одио ухо вошло, в другое вышло,— обстоятельно доложнл лейтеиант.
— А где же был Шарафутдннов?
— В дозоре, в кустах лежал. У нас такое правнло: одии ходнт, другой в кустах ползет. В случае чего — ошибок не будет.
— Я и внжу, что без ошнбкн. От одиого уха до другого,— засмеялся я.— Ну, н что же дальше?
— А дальше следует такая картина. Походнлн наши ребята — к ним еще трое на выстрел подоспели,— пошарили по кустам н нашлн сиачала сапериую лопатку, потом ямку свежевырытую, а в ней — фрицевскнй парашют...
— Где он? — спросил я.
— Пока там. Я возле ямкн караул поставнл и сейчас же сюда явнлся. Также и фрнца приказал пока не трогать.
— Молодец, лейтенант! Правнльио поступнлн. Что иашли у убитого?
— Карманный фонарик, запнсную кннжку н вложеииую в нее исписаииую бумагу. Письмо вроде,— протягнвая мие аккуратно связанный сверток, ответнл лейтенант.
— Сейчас мы поедем туда. Кто-инбудь из немцев знает об этой нсторнн?
— Ннкак нет. Место глухое, кругом лес, н только посредн небольшая поляика. Дорога в стороне, иемцев поблизостн не бывает.
— И отлнчно. Надо, чтобы бойцы иавесилн на рты крепкий замок. Поиятно?
— Так точио, понятио, товарнщ гварднн подполковнинк!
— Вы какое окончнлн военное учнлнще? — поитересовался я.
— Никакого, товарнщ гвардии подполковннк. За отличне в боях пронзведен в офнцеры.— Он помолчал и, хнтро улыбнувшись, добавнл: — Уже пятнадцать дней.
Я пожал ему руку и пошутнл:
— Ну, еслн так пойдет дело, товарнщ Рябцев, быть вам вскоре генералом.

И мы, смеясь, вышли из комнаты и спустились вниз, к поджидавшей машине.

Уже сидя в автомобиле, я вызвал из приемной старшину и предупредил его, что выезжаю ненадолго по срочному делу.

— Прекратите прием посетителей до моего возвращения. Смотрите, старшина, в оба!

— Есть смотреть в оба! — гаркнул Глебов, вытягиваясь во фронт.

Немец лежал, подобрав под себя левую ногу и раскинув руки. Я наклонился над ним. Несмотря на седые виски, он вовсе не был стариком, как назвал его лейтенант. Это был мужчина лет сорока с холеным, интеллигентным лицом, так не гармонировавшим с его грубой, рабочей одеждой.

— Раздеть его! — приказал я.

Под костюмом рабочего мы обнаружили тонкое шерстяное белье. На кальсонах стояло клеймо «Рим. Карачиола-Экстра». Странный рабочий в дорогом заграничном белье. Пальцы этого «труженика лопаты» были белыми, пухлыми, с хорошо отполированными ногтями. Я снова вспомнил «Штабс-капитана Рыбникова». Там японский шпион также носил шелковое белье под грубым капитанским мундиром.

Парашют был обычный, немецкий. В карманах убитого, кроме перечисленных выше предметов, не нашли ничего — ни денег, ни еды. Это было странно. Ясно, что в городе у кого-то он рассчитывал найти приют.

— Тут еще нашли на фрице шоколаду три плитки, флягу с коньяком да банку консервов,— как бы угадывая мои мысли, сказал лейтенант.— Шоколад ребята второпях съели, банку закинули в кусты...

— А коньяк? — сдерживая улыбку, спросил я.

— А коньяк пролили... опрокинулась фляжка,— сказал Рябцев.

Итак, шпион все же захватил с собой провизию. Но этот ограниченный, однодневный паек отнюдь не опровергал моих догадок.

— Зарыть убитого в канаве. Остальным оставить лесок и вернуться к своим местам. За воздухом и этим

местом вести секретное наблюдение, вечером приеду снова,— сказал я лейтенанту и, поблагодарив бойцов за примерную службу, забрал парашют убитого и поехал обратно в город.

После обеда, запершись в своей комнате и положив на стол фонарик парашютиста, я занялся письмом и книжкой, найденными на убитом. Я просмотрел письмо на свет, пытаясь найти какую-нибудь светопись или буквы, наколотые иглой, но ничего подозрительного не оказалось. Бумага была основательно заполнена жалобами какого-то Иоганна на своего зятя Швабе, обижавшего всю родню Иоганна. Я осмотрел письмо и, отложив его, принялся за записную книжку парашютиста. Она была в потрепанном кожаном переплете. В ней было заполнено всего две странички, но это оказалась запись расходов, по-видимому, весьма мелочного человека, привыкшего с педантичной пунктуальностью заносить сюда каждый истраченный на кружку пива или на почтовую марку пфенниг.

Я дважды перечел эти записи и задумался. «Может быть, каждая цифра здесь что-нибудь означает. Но как разобраться в этом?» Голова была тяжела, мысли путались, и мне захотелось спать. Я кликнул вестового.

— Принеси-ка, пожалуйста, с кухни горячего крепкого чая, да поживее,— сказал я, думая этим средством прогнать охватившую меня дремоту. «Вот сейчас выпью стаканчик-другой настоящего байхового чая и снова возьмусь за эти проклятые записки»,— подумал я и прилег на диван.

Сколько времени я спал — не знаю, может быть, полчаса, может, и больше. И так же внезапно поднялся с дивана, как внезапно и заснул на нем. «Работничек!» — издеваясь над самим собой, подумал я, протянув руку к стакану, и вдруг остановился. Стакан с чаем был прикрыт тем самым письмом Иоганна, которое было найдено на парашютисте. Но теперь между уже прочитанными, знакомыми мне строками, написанными широким, размашистым почерком, местами проступали зеленоватые буквы. Я взял листок в руки и прочел: «...вам совершенно необходимо следить за передвижением русских войск. На

той же волне, в те же самые часы, что и раньше, после подачи позывных, регулярно передавайте все, что обнаружите, особенно дислокацию, передвижение и нумерацию советских частей...» Здесь текст прерывался.

— Харченко! — так неистово закричал я, что мой вестовой, по-видимому тоже прикорнувший в соседней комнате, вскочил с затрещавшего под ним дивана и пулей влетел ко мне.— Это ты покрыл стакан письмом!

— А як же ж, звичайно я... чтобы, пока вы спите, мухи в чай не налетели.

— Мухи! В чай! — закричал я, вскакивая с места.

Испуганный Харченко попятился к дверям.

— Так это, значит, ты, Трофим Корнеич? Ну, молодец, ну, спасибо! Знатную услугу ты мне оказал. А теперь беги, красавец, на кухню и неси сюда побольше крутого кипятку да утюг, утюг электрический раздобудь. Ну, живо, маг и чародей Харченко! — весело кричал я, выталкивая из комнаты ошалевшего, ничего не понимающего вестового.

— Есть утюг и кипятку покруче! — крикнул он и выскочил из комнаты.

Его величество случай вмешался в игру — и на этот раз на нашей стороне. Симпатические чернила... Как я, дурень и ротозей, не сообразил сразу, что у шпиона, заброшенного в тыл, не могло ни с того ни с сего быть в кармане невинное, обывательское письмо! Вестовой со своей трогательной заботой о моем стакане чаю совершенно неожиданно помог мне. Горячий пар проявил симпатические чернила, и зеленоватые строки инструкции выступили на бумаге. Пока это лишь маленький отрывок, но сейчас мы прочтем весь текст — и, несомненно, узнаем важные вещи.

Харченко внес полуведерный, пышущий жаром, облупленный чайник. Я поставил его прямо посреди нарядного перламутрового столика и стал водить над паром письмом. Поглощенный своим делом, я в эту минуту забыл обо всем. Устремив напряженный взор на листок, я ждал появления зеленоватых строк. Прошла минута, вторая — бумага чуть вздулась, слегка покоробилась от пара, и на ней, словно наплывом, стали сначала бледно, потом все яснее и резче появляться ожидаемые мной строчки. Новый участок листка покрылся буквами.

— Вы просили электрический утюг. Вот он, прошу вас,— раздался сзади меня голос.

Я вздрогнул от неожиданности. В дверях стояла переводчица, спокойно глядя на меня.

— Ваш вестовой сказал мне, что вам срочно требуется,— протягивая утюг, добавила она.

Бумага уже вся покрылась ровными зелеными линиями строк. Прятать ее теперь было бы совсем глупо, переводчица, конечно, видела, как я проявлял над кипятком бумагу.

— Спасибо... Только в другой раз, когда входите ко мне, прошу стучать,— сердито буркнул я, беря из ее рук утюг.

— Извините, но я стучала дважды, вы, наверно, не слышали этого. Ваш вестовой направил меня сюда,— сказала она и очень спокойно продолжала: — Это, несомненно, написано разведенным порошком антипирина.

— Чем?

— Антипирином, средством против головной боли. Для него как раз характерен этот зеленый цвет под действием влажного тепла.

— А вы... откуда вы знаете такие премудрости? — разглядывая Эльфриду Яновну, спросил я.

— Я училась в Мюнхенской художественной академии. Мой покойный муж тоже был художником, и незаурядным.

— Ну и что же?

— А то, что у нас еще на подготовительном курсе изучали рецепты всех красок, в том числе и тех, которые обнаруживаются под влиянием различных реактивов. Если хотите, я в три-четыре урока преподам вам всю эту премудрость.

— Вот как? — протянул я и убрал в сторону листок.

Молодая женщина улыбнулась и спросила:

— А вы, вероятно, решили, что я изучила это в каком-нибудь ином месте? Не-ет, господин подполковник, я обыкновенная женщина, далекая от всего, что не касается непосредственно меня. Но если вам не очень неприятны мои советы, то я должна вам сказать кое-что. Можно?

— Говорите,— сказал я, глядя в ее большие зеленоватые глаза.

— Обратите особое внимание на фонарь, который вы, вероятно, приобрели здесь. Мне знакомы фонарики этой конструкции, и я и господин Насс, если это будет необходимо, расскажем вам о них...

Она выжидающе смотрела на меня. Я промолчал.

— Мне можно идти? — не дождавшись ответа, спросила она.

— Пожалуйста,— сухо ответил я.

Когда она вышла, я позвал вестового.

— Стучалась переводчица ко мне?

— Так точно, раза два стукнула. Тильки вы, товарищ начальник, ничого не чули, так я и казав ей, щоб вона ишла в горницу,— ответил Харченко.

— В другой раз входи сам и никого не впускай в комнату,— приказал я и, заперев дверь, принялся нагревать листки.

Теперь уже можно было прочесть весь текст. Он содержал подробно изложенное шпионское задание. Что же удивительного? Хотя гитлеровцы и доживают свои последние дни, они все еще пытаются остановить наше наступление. Я стал переписывать проявленный текст, чтобы отослать его в штаб армии. Некоторые буквы расплылись, и я боялся напутать, приняв одно немецкое слово за другое. Чтобы лучше разглядеть зеленые строчки, плохо видные в полумраке комнаты, я машинально схватил лежавший рядом фонарик, нажал кнопку и направил свет на бумагу. К моему удивлению, свет оказался синим, но буквы действительно значительно выиграли в отчетливости и резкости. Под светом фонаря на бумаге обнаружились мельчайшие неровности и царапины, о которых нельзя было и подозревать.

«Пожалуй, переводчица права,— подумал я,— фонарик, оказывается, с секретом». Опустив занавески и устроив в комнате полную темноту, я стал с лихорадочной поспешностью водить лучом по письму. Но все было напрасно. Больше на бумаге ничего не появлялось.

Тут я вспомнил о записной книжке. «Попробуем допросить ее с помощью фонаря»,— решил я и принялся за дело.

Первые странички, где владелец записывал количество выпитых в разных пивных кружек пива и цены на сосиски, не содержали никакой тайнописи. Но когда я

перешел к следующим — чистым, дело прияяло иной оборот. На первой же из них слабым фосфорическим блеском вспыхнули строчки. Я прочел:

Пароль — Страус.
Волиа — 19,73.
Час передачи — 9. 30 ежедиевио.
Час приема — 13. 45 ежедневно.
Позывные — четыре длииных и один короткий, за ним замедленное «а».

Далее следовало:

«С-41 после передачи инструкций должен иемедленно вернуться обратио. Вместо него в помощь вам прибудет иа одни сутки С-50. Этот агент должен находиться иа положеиин С-С-5. Торопитесь с присылкой искомого. С каждым часом оно становится ценией и необходимей. Генрих».

Очевидно, все это было иаписано каким-то люминесцентным составом, светящимся под действием ультрафиолетовых лучей, пропускаемых кварцевым стеклом электрической лампочки.

Я взгляиул иа часы. Скоро семь часов. В девять я решил быть у лейтенаита Рябцева. Самолет с агеитом С-50 мог уже сегодня синзиться на лесиой площадке.

Вошел Харчеико и, соино глядя иа меня, доложил:

— Товарищ гвардин подполковник, до вас пришли.

— Кто?

— Та той, шо вчора вннцо з вами пив та все про Россию балакав.

— Тулубьев?

— Так точно, вроде как вин.

Было уже восемь минут восьмого. Надобио спешить. Черт побери! Опять как-то иекстати пришел этот человек. Впрочем, я же сам вчера сказал, чтобы он зашел.

— Зови его,— приказал я Харченко.

Дверь отворилась, и бывший гусар вошел в комнату.

— Привет, Александр Аркадьевич! — сказал я, глядя в его открытое квадратиое лицо и бесхитростные глаза.

Коиечио, с точки зреиия настоящего контрразведчика я поступал безрассудио, даже глупо, ио тем не меиее я задержал в своей руке его крепкую, шершавую ладонь и спросил:

— Какая ваша самая заветная, великая мечта?

Тулубьев пожал руку и тихо произнес:

— Умереть на своей земле.

— Едем, Александр Аркадьевич, едем,— беря его под руку, сказал я.— У вас, может быть, появится шанс к этому.

Мне сейчас мог очень пригодиться еще один русский человек.

Тулубьев поднял голову и ни о чем не расспрашивая, пошел за мной.

Я сел в машину, посадив Глебова рядом с собой, а гусара с шофером. Машина быстро понеслась вперед.

— Ну, что нового, старшина? — спросил я.

— Пока ничего. После вашего отъезда беседовал с Эльфридой, насчет фрицев интересовался,— сказал Глебов.

— С кем, с кем? — переспросил я.

— С новой переводчицей. Ее Эльфридой зовут, ничего, хорошая особа,— одобрительно отозвался старшина.

— Да, красивая женщина. Только за ней, старшина, приглядывать надо.

— А я и так глаз с нее не спускаю,— сказал Глебов.

— Я и вижу, что глаз не спускаете, а это уж последнее дело. Понимаете?

— Понятное дело,— согласился старшина.— Не беспокойтесь, товарищ гвардии подполковник.

Машина, делая крутые повороты мимо разрушенных домов, наконец выбралась за город. Спустя некоторое время мы подъехали к заставе. У самого здания нас встретил младший лейтенант Рябцев. Мы зашли в сторожку, уселись возле пылавшей печурки и стали ждать ночи.

К вечеру засвежело, стал моросить мелкий дождь, затем он перешел в ливень. Холодные порывы ветра качали деревья, тяжелые струи дождя шуршали о стекла окон и глухо барабанили в крышу. Время от времени грохотали в небе раскаты ранней весенней грозы и острые, ломаные зигзаги молний прорезали ночь. На секунду черная поляна и мокрые деревья озарялись резким, мгновенным светом, и потом все снова окутывала черная грохочущая темнота.

Я взглянул на часы. Было уже около десяти часов.

— Пора. Надо идти заиимать поляну,— сказал я лейтенаиту, ио ему, разогревшемуся крепким сладким чаем, видимо, ие очеиь-то хотелось идти в эту холодную, мокрую ночь.

— Я так думаю, товарищ гвардии подполковиик: иавряд в такую погоду фрицы самолет сюда иаправят. Разве ему сесть в эту темеиь? Во-ои как ветер гудит! — прислушавшись к вою ветра, сказал младший лейтенант.

— А вот мы это и проверим,— ответил я.— Работа диверсаитов и шпиоиов тем и отличается от работы остальиых людей, что такая погода очеиь удобиа для их дел. Итак, лейтеиаит, берите плащ-палатки — и на поляиу. Время не ждет.

— Алексаидр Аркадьевич,— обратился я к Тулубьеву,— вы иамиого старше всех иас. Мие кажется, вам лучше было бы переждать здесь, в тепле, чем болтаться с нами без сиа в непогоду.

— Вы мие оказали доверие и честь, привезя сюда. Я, коиечио, догадываюсь о целях иочиой экспедиции. Нет меры моей благодариости,— волиуясь, заговорил Тулубьев.— Но если вы продолжаете верить мие, то ие гоиите. Куда вы, туда и я! Всю свою кровь, всю жизнь, весь остаток моей жизии я с радостью готов отдать за ту секуиду, когда вы позвали за собой Алексаидра Тулубьева, хоть и иелепого, ио русского, до последией своей кровиики русского человека. И — видит бог, в которого верю,— ие лгу.

Голос его сорвался. Я молча взял его за руку и повел к дверям. Спустя мииуту я, Глебов, Тулубьев, лейтеиаит и трое сопровождавших иас солдат цепочкой, следуя друг за другом, шлепая по грязи и лужам, медлеиио побрели к лесу, озаряемые вспышками бесиующихся молиий. Накоиец мы добрались до каиавы, вышли по ией к перелеску и очутились иа поляие.

— Не зажигать огия! — приказал я.

Лейтеиаит развел бойцов по местам и затем вериулся к иам. Мы расположились под большим деревом, хотя оио вовсе ие защищало нас от потоков дождя. Дождь лил не переставая, ио молиии уже реже озаряли темиоту. Раскаты грома стали затихать. Было без двадцати двенадцать. Скоро полиочь, ио ожидаемого иами гула

мотора ие было слышио. Моиотоиный шум дождя и шелест листьев иавевали дрему. Слипались глаза, и сильио хотелось спать. Возле себя я услышал сочный, продолжительиый зевок Глебова. Старшииу, прикрытого плащпалаткой, по-видимому, тоже одолевал сои. Еще одиа запоздалая молиия прострочила темиоту, громыхиул гром, и сиова стало темио и тихо. Я полуоткииулся назад, чувствуя, что касаюсь широкой теплой спииы гусара. Вдруг вдалеке послышалось какое-то жужжаиие. Оио ослаблялось, пропадало и сиова усиливалось, пробиваясь сквозь мериый шум дождя.

— Самолет,— сказал Тулубьев.

Задремавший было старшииа вскочил иа иоги, и мы, сжимая автоматы, притаились под деревом, словио боясь, что с кружившего где-то иад иами самолета смогут иас увидеть.

Я взгляиул иа фосфоресцирующий циферблат своих часов. Было ровио двадцать четыре часа. Далеко в стороие слабо блесиула молиия, отдалеиио прогремел гром, и в ием иа мгиовеиие потоиул рокот кружившего иад поляиой самолета. Я терпеливо ждал. Так сиова и сиова в чериой высоте пролетал иад иами иевидимый самолет, ио ои даже ии разу и ие сиизился иад поляиой. Быть может, ои ждал условиого сигиала с земли, ио, ие зиая ии цвета, ии количества сигиалов, я ие пускал в ход электрический фоиарь. Самолет, пройдя еще один круг иа большой высоте, пошел обратио иа запад, и вскоре рокот его моторов слился с шумом затихавшего дождя.

— Ушел, гад! Наверио, побоялся сесть,— иедовольно сказал старшииа.

— Надо идти до дому. Я же говорил, что в такую погоду ему ие сесть иа поляику,— пробурчал лейтеиаит.

Я сиова взгляиул иа часы. Сорок две миииуты первого. Вражеский самолет покружил над иами свыше сорока мииут. Ясио, что ои ие случайио залетел сюда. По-видимому, это был иебольшой, типа иашего «По-2», связиой самолет. Что же помешало ему приземлиться? Вероятиее всего отсутствие условиых сигиалов с земли иапугало пилота, и ои повериул обратио. Во всяком случае иадо было дождаться утра, тем более что дождь уже затих и только мокрые ветви стряхивали иа иас тяжелые капли.

— Будем караулить здесь до утра. Сейчас час иочи,

до рассвета не так уж долго, будем сидеть и ждать. Можно курить, но только под плащами,— разрешил я и снова присел на старое место.

Но теперь уже не было сна. Мой мозг лихорадочно работал. Что бы ни помешало высадке С-50, это была наша неудача. Она сокращала наши шансы на раскрытие шпионской банды.

Покурив, мои спутники прилегли и мгновенно захрапели. Я же еще долго сидел возле них, обескураженный безрезультатностью нашей экспедиции. Рядом, также ни на секунду не сомкнув глаз, сидел Тулубьев.

Восток между тем постепенно светлел. Сначала он посерел, потом по нему прошли быстрые дрожащие тени, небо сразу потемнело и усеялось тысячами ярких мерцающих звезд. По деревьям пробежал короткий, но резкий ветерок. Стало еще холоднее, и я поглубже влез в свою плащ-палатку. Прошло еще полчаса. Вдруг край горизонта словно пронизала алая кайма, она быстро росла и светлела, затем снова поблекла, и ночь уступила место серому, быстро поднимающемуся рассвету. Над верхушками деревьев зазвенели робкие одиночные голоса птиц. И вот сразу выкатилось солнце, брызнув лучами по лесу, поляне и еще не просохшей земле. Туман таял, его разорванные клочья кое-где цеплялись за низкие кусты.

Я поднялся и разбудил своих заспавшихся товарищей. Выйдя из леска, мы очутились на полянке, в самом конце которой виднелись фигуры наших солдат. Двое из них копошились, склонившись над какой-то бесформенной кучей, а третий, размахивая пилоткой, бежал нам навстречу. Подбежав к ним, мы увидели смятый, нераскрывшийся парашют и под ним мертвого человека. Когда бойцы перевернули его лицом вверх, я чуть не вскрикнул от изумления. Передо мной лежал барон Фогель фон Гогенштейн. В эту минуту к нам, запыхавшись, подбежал Тулубьев.

— Вот тебе и ра-аз, Володька Трахтенберг! — изумленно проговорил он.

Потом старый гусар повернулся ко мне и, почесывая затылок, разочарованно сказал:

— Кажется, я упустил свой единственный шанс, господин подполковник.

— Ничего, Александр Аркадьевич. У вас впереди могут быть еще несколько подобных,— утешил я его и принялся обыскивать разбившегося немца.

...Едва я вернулся в комендатуру, как меня потребовали к аппарату. Вызывал из штаба армии генерал, начальник тыла, которому перед своим отъездом обстоятельно доложил обо всем Матросов.

Я рассказал ему о происшествиях.

Во время нашей беседы генерал неожиданно заговорил в очень благожелательном тоне о моей новой переводчице.

— Так вы уже знаете о ней? А я только что собирался доложить вам,— сильно удивившись, сказал я.

Но генерал перебил меня:

— И мы знаем ее, знают ее и особые органы армии. Это хороший работник, с очень солидными рекомендациями.

Проговорив это, он вновь вернулся к основной теме нашей беседы.

— Действуйте, товарищ гвардии подполковник, по вашей интуициии и инициативе. Я вижу, что хотя обстановка у вас сложна и запутанна, но вы на верном пути. Информируйте меня о ходе дела. Если надо, вызывайте меня в любое время дня и ночи. А теперь идите спать, вам надо отдохнуть, а мне возвращаться в Военный совет.

Итак, у нас в руках был специальный пароль, позывные и длина волны шпионской радиостанции. Теперь следовало выяснить, где она находится. Особого труда для нас эта задача уже не представляла, так как тайные радиостанции обычно обнаруживаются с помощью простых пеленгаторных установок, и Глебову, радиотехнику и отличному специалисту, не стоило бы большого труда обнаружить ее местопребывание.

— Принцип таких поисков очень прост,— рассказывал мне Глебов,— и заключается в том, что радиоприем производится не на обычную антенну, которая висит над крышей, а на специальную рамочную антенну. Максимальная слышимость передачи получается тогда, когда плоскость рамки направлена на передающую станцию.

Стоит только отклоннть рамку, как слышнмость ослабляется. С помощью рамочной антеины мы легко определим направленне шпиоиской радноволиы, а устаиовив две таких рамкн в разных местах, мы иайдем и точку пересечения нх направления. Это н будет место, где находится вражеская стаицня,— иачертив две сходящиеся лиинии, закончил старшииа.

Приготовив два приемника с рамкамн, мы с нетерпением сталн дожидаться работы тайной радностанцин. Глебов н спецнально вызванный лейтенант нз радноузла армии, вооружеииые наушиикамн, уже занялн свои места. Вдруг они иасторожнлись н начали прнем фашнстских позывных.

Им удалось очень быстро уточнить координаты вражеской радиостаицнн, а через полчаса мы уже окружали нарядный двухэтажный коттедж с черепнчной кровлей, стоявшнй среди густого, но еще по-весеинему обнажеиного сада. С высокой стены свисал белый флаг — знак полиой капнтуляцнн н мирных отношений с намн. Держа в руках автоматы, мы осторожно перелезли через иевысокую железную ограду с бронзовыми львамн н орлами, вцепнвшимнся лапамн в прутья. С южной стороиы, там, где блестел пруд, заходнл со свонми людьми лейтеиант. Мы пробрались во двор особияка н, прячась среди аккуратно подстрижеиных кустов сиреии, подошли к дому. Старшниа схватил меня за плечо н кнвком показал иаверх. Над крышей вндиелась мачта, иа которой была натянута антеиия. Провод от нее спускался в крайнее окио второго этажа. Я подошел к подъезду. Охранявший меия автоматчик поднял руку с зажатой гранатой. Старшина загляиул в окно. Все было тихо. Я взялся за ручку дверн и осторожио повернул ее влево. В ту же секунду раздался сильный, иепрекращающнйся звоиок, н во втором этаже показалась н нсчезла чья-то голова. Глебов, ие ожндая результатов моей возии с дверью, со всего размаху выбнл прнкладом раму, брызги стекла со звоном разлетелнсь по полу, н старшнна, прнкрывая шиелью голову, бросился внутрь сквозь разбитое окио. Я открыл с помощью отмычкн дверь, н мы побежалн гурьбой по лестнице наверх, куда уже устремился Глебов.

— ...раскрыт. Дом окружен русскимн... спасаюсь...—

довольно ясно послышалось за дверью, в которую ломился старшина.

Мы нажали на нее, она не поддавалась. Голос смолк. На этот раз моя отмычка действовала лучше, и я быстро справился с дверью. В комнате царил полумрак. По-видимому, шпион, убегая, позабыл выключить передатчик: выпрямительная лампа светилась в полутьме таинственным, мерцающим светом. Накалившиеся аноды генераторных ламп излучали яркое оранжевое сияние.

Лейтенант-радист наклонился, разглядывая шкалу настройки.

— Так и есть. Волна 19,73, та самая, о которой говорилось в записной книжке.

— А кстати, где же он? — спросил Глебов, открывая ставни.

Яркий солнечный свет брызнул снаружи. В комнате никого не было. Мы побежали во вторую. Там тоже было пусто. Мы пробежали еще одну комнату — дальше была стена.

— Куда же он мог деваться? — воскликнул Глебов.

— Рассыпаться по комнатам! Он где-то здесь, никуда уйти он не может, дом оцеплен! — крикнул я.

Распахивая шифоньерки, заглядывая под диваны, столы и кушетки, мы стали «прочесывать» комнату за комнатой. Солдаты торопливо срывали занавески и портьеры, валили шкафы, переворачивали диваны, отодвинули трюмо, заглянули в ванную — шпиона не было. Я распахнул настежь створки огромного гардероба, набитого мужскими и дамскими платьями. Их было много, и они мешали мне. Я поспешно сорвал с вешалок и выкинул под ноги солдат несколько костюмов, стало свободнее. Моя рука наткнулась внутри шкафа на выключатель, я повернул его. Вспыхнул свет, и одновременно с ним половина стенки повернулась и отошла назад, образовав проход. Свет сейчас же потух, и стенка снова стала на свое место. Так вот оно в чем дело, потайная дверь! Я своими собственными глазами видел ее, и не только я, но и ошеломленные лейтенант, Глебов и автоматчики. Я снова повернул выключатель и бросился в открывшийся проход. Со двора раздались крики, выстрелы, шум. Сбегая по узкой лесенке вниз, я очутился в густых кустах акации, затенившей этот уголок сада.

— Стой! Стрелять буду! — раздалось за кустами, и, тыча мне автоматами в лицо, выбежало несколько наших солдат.

Узнав меня, они остановились.

— Что вы, очумели, что ли! — закричал появившийся за моей спиной Глебов.— А это кто, немец?

Тут только я увидел, что под кустами, запрокинув назад голову, сидел человек. Из его простреленной ноги сочилась кровь.

Старшина стал обыскивать немца.

С улицы привлеченные выстрелами, заглядывали сквозь ограду перепуганные горожане.

Солдаты осторожно положили раненого в машину. Глебов сел за руль, и автомобиль понесся к комендатуре.

Захваченный фашист молчал. Сжав побледневшие губы, он угрюмо глядел в сторону. Было уже около 13 часов. В 13.45 мы должны были связаться с германским центром, как говорилось в инструкции.

— Ну ничего. Пока обойдемся и без вас. Пароль — «страус»,— глядя в упор на немца, медленно сказал я,— волна 19,73, час передачи 9.30 утра, час приема 13.45, позывные...

Фашист повернул голову и злобно посмотрел на меня.

— ...четыре длинных и один короткий, за ними замедленное «а». Как видите, все в порядке.

— Сомневаюсь,— тяжело дыша, проговорил немец.

Это были его первые слова. Несмотря на боль от раны, лицо его скривилось в наглой и самодовольной усмешке.

— Почему?

— Я уверен в этом. Мой центр предупрежден о вашем налете. Я успел вовремя это сделать.

— И притом не прибегая к шифру. Мы слышали, как вы оповещали весь мир о своем провале. Вы только не учли, что и мы приняли свои предосторожности.

— Что вы хотите этим сказать?

— Просто то, что, когда мы врывались в ваш дом, наша станция помех уже заглушала передачи на волне 19,73. Могу вам даже продемонстрировать, как это звучало.

Я позвоннл по телефону на армейскую радиопередаточную станцню и, попроснв возобновнть на несколько мннут помехн, включил иаходнвшийся в комнате радиоприемник, настронв его иа соответствующую волну. Тотчас же в комиату ворвался оглушнтельный барабаний бой, перемешаиный с хором Пятиицкого и лнхой пляской Красноармейского аисамбля. Все вместе это составляло целый водопад невообразнмо дикнх звуков. Подмигув немцу, Глебов заткнул ушн. Шпион ошалело смотрел на нас. Я выключил радиопрнемннк.

— Теперь вы самн убедилнсь, что зря вопилн в эфир. Могу еще добавнть вам, что ваши друзья С-41 н С-50 уже арестованы н оказалнсь более словоохотлнвымн, чем вы. Мы отложнм покамест допрос. Побудьте наедине с самнм собой и хорошеиько подумайте над тем, что вас ожндает. Вы поймаиы на месте преступлеиия и должиы поиимать, как поступают в военное время с темн, кто занимается раднопередачамн в тылу армни протнвннка. Только чнстосердечное прнзнанне и выдача всех вашнх сообщннков могут дать вам шаис иа смягчеиие вашей участн.

При этих словах по лицу немца прошла теиь.

— Отведите его вниз, старшниа, поставьте уснлеиный караул, и чтобы ии одна посторонняя душа не знала, что он здесь иаходится.

— Есть, товарищ гвардии подполковник! А ну, фриц, давай поехали,— сказал Глебов н вместе с автоматчикамн вынес нз комиаты раненого немца.

Ровио в 13.45 лейтеиаит, закончив последине приготовлення для выхода в эфир, повернул ручку раднопередатчнка. Я положил перед иим лист бумаги с записью позывных. Лейтеиаит иадел телефоииые иаушнники н, взявшись за головку телеграфного ключа, иачал выстукнвать вызов фашистской радиостанцин. Он трижды повторил его и замолчал.

— Жду подтверждения, что меня услышалн, а затем перейду иа прнем,— пояснил он.

Я с удовольствием смотрел иа иего. Несколько иеуклюжнй н мешковатый в те мииуты, когда мы ломнлись в дом, где скрывалась радиостанция, теперь, иаходясь в своей стихни, он был совершеиио ииым. Смелым, спокойиым, решительиым. Я наблюдал, как ои осторожио

вращал ручку настройки приемиика. Вдруг лицо его расплылось в улыбку.

— Услыхалн! — И, щелкиув переключателем, ои перешел иа прнем.

Я терпеливо ожидал окончання прнема. Накоиец лейтенаит откинулся иазад, вытер лоб и весело улыбиулся.

— Вам шифровка. Не ииаче как от самого фюрера, кол ему в... брюхо.

Ои выключил передатчик и пошел к двери.

— Как вас зовут? — спроснл я.

— Иваи Иваиович. А вы зовнте просто Ваией, — засмеялся он.

— Вот что, Ваия, ие уходи далеко, скоро еще пригодишься.

— Я только вииз, товарнщ подполковиик, покурнть пойду, — сказал лейтенант, закрывая за собой дверь.

Повознвшись с полчаса, я расшнфровал с помощью ключа, иайдеиного у арестованного фашиста, радиограмму. В ией говорилось:

«Ваша утреииая передача приията, за исключеиием конца, забитого русской радиостанцней. Сообщите, где С-41. Почему не было сигналов для посадкн самолета? Из-за этого пришлось опустнть С-50 на парашюте. Подтвердите его благополучное приземление. Требую иемедленного выполнеиия данного вам задания. Присланное вами — лишь часть целого, прнчем меиее важная. Осиовное, что имеет велнчайшую ценность для Германии, все еще остается в Шагарте. Если ие сможете вывезтн, уиичтожьте во что бы то ин стало. Нн в коем случае ие допускайте, чтобы им завладели русские. Не только вы, ио и все ваши близкне ответнте жнзнью за такую оплошность. К уиичтожеиию приступайте только в крайием случае. Строжайше запрещаю заииматься воеиной разведкой. Посвятите все силы делу, ради которого вы посланы. Прииимаем все меры для облегчеиия вашей работы. Получите помощь ие только с запада, но и с востока. Учнтывая утреииие помехи в эфире, переиосим вашу передачу иа 18.25. Приготовьте точиые ответы. Генрих».

До 18.25 оставалось миого времеии. Я иаписал подробиую записку геиералу и отослал ее в штаб армии с

дежурным мотоциклистом. Сам же решил пройтись по улице, чтобы сосредоточиться и дать голове немного отдохнуть от сегодняшних событий.

Черт знает, что все-таки означали эти разноречивые призывы неведомого Генриха? То «нужны сведения о советских воинских частях», то они не нужны и даже «запрещаю заниматься военной разведкой», и вдруг какое-то «искомое», являющееся «главным», да еще с каждым часом становится «необходимее» кому-то в Берлине. Но что же могло находиться столь ценного в этом маленьком, находящемся в стороне от главных дорог Шагарте? Картина? Нет, конечно, она не представляла собой особой ценности. Дело не в ней, а в другом. Но что это могло быть? Золото, брильянты, деньги? Тоже нет. Из-за денег не поднялась бы такая опасная возня с присылкой самолетов. Нет, тут было что-то другое. Если Берлин шлет в маленький Шагарт агента за агентом, это значит, что здесь осталось действительно что-то очень важное. Но что и где?

Дойдя до этого вывода, дальше я уже терял логическую нить. В раздумье я ломал голову, строил догадки и делал самые различные предположения, но все было тщетно... Загадка оставалась нераскрытой. Раздосадованный, я запер комнату и, положив ключ в карман, вышел в переднюю, в которой сидели Глебов и Харченко, азартно сражавшиеся в шашки.

— Никого не пускай ко мне,— сказал я, уходя.

— Есть не пускать! — вскочив со стула, но не сводя глаз с шашек, крикнул Харченко.

Я вышел из дому. На бульваре было много народу. Иногда торопливо проносился велосипедист или велосипедистка с навьюченными на багажник вещами. Встречались целые немецкие семьи с грудами всякого скарба на ручных тележках. Это были беженцы, возвращавшиеся из окрестных сел в свои дома, или горожане, перевозившие обратно запрятанные где-либо домашние вещи. На углах были открыты киоски с пивом, лавчонки торговали, чувствовалось, что жизнь в тихом городке входила в норму.

Я открыл дверь скромного магазинчика. Мелодично зазвенел звонок. Из-за прилавка мне навстречу поспешно вышел пожилой немец. Из-за его спины выглядывала

жена. Пепельницы, лезвия, бритвы, одеколон, зубная паста, пудра, французские духи, мышеловки, детские игрушки, пакеты с цветочными семенами и прочая мелочь были аккуратно расставлены на полках.

Я поздоровался с хозяевами, купил десяток лезвий и пошел дальше, провожаемый приседаниями и поклонами четы. В парикмахерских брились и стриглись немцы, возле бара толпились мужчины и женщины. Полный, типично немецкий бюргер сосредоточенно отбирал и складывал в рюкзак выданную ему из овощной лавки по талону бургомистрата картошку. Все жило спокойной, патриархальной, захолустной жизнью заштатного городка, и если бы не изредка встречавшиеся разбитые здания, то и в голову не могла бы прийти мысль о том, что этот город взят с бою русскими войсками и что здесь всего четыре недели назад хозяйничали фашисты.

«Так зачем же именно сюда залетают фашистские самолеты, сбрасывая свою агентуру? Зачем?» — снова и снова сверлила мой мозг одна и та же мысль. Походив с полчаса и немного успокоившись, я вернулся назад и сейчас же сошел вниз, к арестованному. Его вторично перевязывал вызванный к нему фельдшер.

— Как он?

— Легкое, касательное ранение колена. Через неделю сможет танцевать,— ответил фельдшер.

— Через неделю он будет гнить, если не захочет спасти себя,— сказал я.

Немец побледнел.

— По-русски говорите? — усаживаясь против него, спросил я.

— Слабо. Понимаю лучше,— тихо, словно выдавливая из себя слова, ответил по-немецки фашист.

— Ваше имя?

— Иозеф.

— Фамилия?

— Миллер.

— Откуда родом?

— Из Бреслау, но живу здесь второй год.

— Возраст?

— Двадцать восемь лет.

— Член нацистской партии?

— Нет. Я был в гитлерюгенде, недолго, год-два, не больше.

— Где ваши шифры и остальные документы?

— Кроме тех, что взяты вами, не имеется.

— Где находится городской центр и кто входит в него?

— Клянусь вам, я этого не знаю, господин офицер. Ведь я маленький человек, всего-навсего радист. Откуда я могу знать?

— Очень хорошо. А какое задание не выполнено вашей группой?

Немец, пожимая плечами, проговорил:

— Не имею представления. Вы сами видите, господин офицер, что я хочу сохранить свою жизнь и ничего не скрываю, но этого, к сожалению, не знаю.

Дверь открылась, и в комнату быстрыми, крупными шагами вошла переводчица.

— Прошу извинить меня...— начала было она, но вдруг смолкла, изумленно глядя на нас.

Не успел я остановить ее, как немец, сидевший напротив меня, несмотря на раненую ногу, подскочил с места, глядя на нее округлившимися глазами.

— О-о! Какая встреча! Разрешите мне остаться, господин подполковник, я пригожусь вам,— твердо сказала переводчица.— Да, да, это я, герр Циммерман. Вы не ошиблись! Позже я расскажу вам причину моего внезапного прихода,— обратилась она ко мне.— Значит, можно мне остаться?

Я утвердительно кивнул головой.

— Вы можете говорить с этим господином и по-русски. Ведь он из прибалтийского края, бывший русский подданный и...— она закурила и медленно произнесла: — родной племянник рейхсмаршала Геринга.

— Вот как! — сказал я.— Оказывается, «маленький и ничтожный радист» Иозеф Миллер не кто иной, как...

— Я соврал,— перебивая меня, быстро сказал немец.— Все, что я говорил до сих пор, неправда. Но теперь, когда появилась эта... эта... дама...

— Можете, по старой памяти, называть меня фрау Вебер или даже Фридой, как вам угодно, от этого ничего не изменится. Только говорите подполковнику правду, а я буду сидеть, курить и слушать ваши показания,—

очень вежливо сказала переводчица и поудобнее уселась на диван.

— Я буду говорить правду. Но только прошу, господин офицер, помнить ваше обещание и сохранить мне жизнь. Да, я — Конрад фон Циммерман, родной племянник рейхсмаршала, член национал-социалистской партии с тысяча девятьсот тридцать шестого года. Мне тридцать лет.

Переводчица не вмешивалась в разговор, лишь время от времени испытующе поглядывая на немца. Он указал мне адрес местной подпольной организации.

«Улица Хорста Весселя, 172» — дважды повторил он.

Слушая его, я наблюдал за переводчицей. Мне казалось, что она вся настороже, не то не доверяя рассказам немца, не то не одобряя его болтливости. Одновременно с этим я по лихорадочно блестевшим глазам Циммермана замечал, что какая-то мысль занимала его. Но что же? Не страх ли за себя, особенно теперь, когда он выдал всю местную организацию фашистов? Нет, здесь было другое. Но что?

— Скажите — какая тайна заключается в похищенной из комендатуры картине? — спросил я.

— Какой картине? Кем похищенной? — переспросил он, и впервые за все это время голос его прозвучал с неподдельной естественностью.

— Разве вы не знаете картину «Выезд короля Фридриха Второго из Сан-Суси»? — сказал я, глядя в упор на немца.— На переднем плане — король, сзади Вольтер и придворные дамы и возле них какой-то вельможа.

— Не только не знаю тайны, связанной с ней, но и вовсе не знаю такой картины.

И опять по тону его голоса я понял, что он не врет.

— А я знаю эту картину! — откладывая папиросу, сказала переводчица.— Ее по заказу Геринга писал мой покойный муж Макс Вебер в тысяча девятьсот сороковом году. Вскоре он был убит. В левом углу картины имеется его подпись. Но я не понимаю, какое имеет отношение ко всему этому делу картина.

Я посмотрел на нее, потом перевел глаза на немца. Арестованный сидел с тупым, неподвижным лицом.

— Хорошо, Эльфрида Яновна, об этом мы поговорим с вами позже.— И, обращаясь к нему, я спросил: — А те-

перь еще один, последний вопрос: в чем же все-таки заключается особое заданне, данное вам н вашей группе «Генрихом»?

— Военный шпионаж. Главным образом дислокацня н передвнжение русских частей,— сказал Циммерман.

— Нет, это не так! Как раз берлинский центр напомннает вам о том, что военный шпнонаж вовсе не ваше дело и что интересы велнкой Германнн заключаются в другом. В чем в другом?

— Ах да, действительно, в драгоценностях и золоте, которые находятся где-то здесь.

— Где именно?

— В сейфах городского банка на Гогенцоллернштрассе.

— Господнн подполковник, герр Цнммерман для чего-то затягивает время и, грубо говоря, врет. На протяженин всего этого времени, несмотря на свое обещанне, он говорил сплошную ложь,— сказала переводчица.— В этом городе нет улицы, а есть лишь площадь Весселя, и ясно, что на ней не может быть номера сто семьдесят два. Нн-каких сейфов на улнце Гогенцоллернов не имеется, хотя бы уже потому, что н банк н самая улнца уже больше года как совершенно снесены тяжелыми фугасками амернканцев.

— Что это значнт? — спросил я Цнммермана.

— А то, что эта особа права. Я не хочу говорить правды. Вы очень нанвны, господнн офицер, думая страхом или лаской воздействовать на меня. Да, я племянннк Геринга, н это все! Больше вы ничего не узнаете от меня.

Он отвернулся, но потом с нескрываемой злобой сказал переводчице:

— Вы знаете, о чем я сожалею? О том, что вас тогда не расстрелялн эсэсовцы вместе с вашим очаровательным мужем.

— На что вы надеетесь, Циммерман? — холодно спросил я.— Разве вы не понимаете, что все потеряно н для вас, и для фашистской Германин? Вы у нас в руках, н ваша жнзнь не стоит ни гроша.

— Перестаньте! Не запугивайте меня, это напрасно. Да, я погиб, но что касается Германии — ошнбаетесь. Америка ннкогда не позволит вам уничтожить Германию.

— А мы и не думаем уничтожать Германию. Вы знаете, что сказал Сталин: «...гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское — остается».

— Я не верю вам... Можете что угодно делать со мной, ио я ие скажу больше ни слова.

— Увести его! Посадить в подвал комеидатуры, поставить караул! — приказал я Глебову.

Циммермана увели.

— Господин подполковник, из штаба звонили, просили передать вам, что к нам завтра приезжают гости,— сказала переводчица.

— Гости? Какие?

— Корреспонденты московских и американских газет. Кроме того, вы, кажется, хотели о чем-то переговорить со мной. Когда вы сможете это сделать?

— Да, я хотел бы продолжить начатый разговор,

— Это о картине?

— Да, о картине и о... вас.

— Хорошо, я зайду к вам вечером.

— Лучше завтра, так как сегодня я буду занят целый вечер.

— Хорошо,— просто сказала переводчица.

Когда она сходила по лестнице, я невольно залюбовался ею, так хороша была ее стройная фигура.

«Кажется, и я не свожу глаз»,— подумал я и придвинул к себе записи допроса.

В 18.25 мы с лейтенантом Ваней долго вызывали фашистский центр. Но напрасио лейтеиант иастойчиво выстукивал позывные. Никто не отвечал.

— Молчат,— говорил он, снова и сиова принимаясь за свой ключ.

Но эфир безмолвствовал. Я был удивлен, так как знал, что станция помехи надежно заглушила истерический крик Циммермана, когда мы врывались к иему. Но почему же они не отвечают?

— Так как, товарищ гвардии подполковник, продолжать вызывать или не надо? — поворачиваясь ко мне, спросил Ваня.

— Попробуем еще несколько минут.

Бесплодно просидев до 19 часов, мы поднялись с мест, Лейтеиаит остался дежурить у аппарата.

Корреспондентов было трое — Миронов, Запольский, Рудин. Их сопровождал фотокор Володя. Все четверо были сотрудниками двух московских газет. Это были молодые, жизнерадостные люди, начавшие войну в июне сорок первого года и с тех пор бродившие по фронтам и побывавшие решительно всюду, от подмосковного фронта до наших передовых позиций на Одере. Только фотокор Володя был еще новичком, всего год назад начавшим свою фронтовую работу.

Вместе с ними прилетел и корреспондент влиятельной американской газеты Першинг. Американец с первой же минуты произвел на всех благоприятное впечатление. Это был человек лет сорока, с молодцеватой выправкой, веселый, подвижной и общительный. Он прекрасно говорил по-русски, в Москве был дважды, бывал во Франции, на Кубе и Яве, хорошо знал персидский и турецкий языки, проведя в Иране и Стамбуле около трех лет.

Особенно он понравился Глебову, с которым уже успел где-то выпить по кружке пива и сыграть две партии в шашки.

— Здорово играет. Оба раза мою дамку запер,— похвалил его старшина.

К немцам Першинг питал какую-то исключительную антипатию и говорил о них с презрением и злостью.

— Я достаточно навидался этих «сверхчеловеков», когда бродил по свету, особенно же имел удовольствие видеть их в Турции незадолго до подлого нападения на Россию. Немцы — это убийцы, это сборище негодяев, почему-то именующееся народом.

— Зачем же так несправедливо? — возразил я.— Есть ведь разные немцы, не все же они фашисты, не все убийцы. В Германии был и остается рабочий класс, крестьянство, коммунисты.

— Не знаю,— вздохнул Першинг,— может быть, но пока они не переменятся, я ненавижу их всех. Пока не кончится война, пока не будет уничтожен Гитлер и фашизм, я не могу питать иных чувств к этой проклятой стране.

Я поместил гостей в четвертом этаже комендантского дома, отведя им три комнаты. Американец попросил отдельную комнату, предупредив, что будет работать и, может быть, запоздает к обеду.

Миронов и Запольский, забрав с собой с моего разрешения старшину, пошли побродить по городу. Рудин и фотокор Володя, заперев ванную и задрапировав все окна, стали проявлять свои снимки, американец стучал на машинке.

У меня сидел Насс, принесший списки иностранцев, проживавших здесь при гитлеровском режиме и так или иначе связанных с нацистами. Я внимательно просматривал списки, делая отметки в своей записной книжке. Мне надо было прощупать все подозрительные места, всех людей, которые в первую очередь могли быть связаны с так неожиданно появившейся в городке оперативной шпионской группой. В списке были и болгарские студенты, и австрийские дельцы, и сербские комитаджи, и французские молодые дворянчики из «королевских молодчиков», обучавшихся в фашистских школах какому-то «новогерманскому праву». Список был невелик. Шестьдесят девять человек значилось в нем, но очень могло быть, что именно тут и находился кто-либо из верных помощников С-41 и С-50.

В дверь постучали. Я прикрыл список книгой и сказал:

— Войдите.

В комнату вошел американский гость. Он приветливо улыбнулся мне, кивнув головой Нассу.

— Это помощник бургомистра нашего города, познакомьтесь. Социалист, просидевший в тюрьмах при Гитлере около пяти лет,— представил я Насса.

— А-а... опора, актив, как говорите вы, русские. Что ж, это нужные люди. На них лучше всего опираться в этой стране,— по-русски ответил Першинг.

Насс поднялся и вежливо поклонился корреспонденту. Першинг тряхнул его руку и по-немецки заговорил с ним.

— Вы знаете и немецкий? — спросил я.

— О-о! Я знаю и португальский, и даже баскский язык. Ведь мы, газетчики, передовой народ, и чем больше мы знаем, тем дороже нас ценят наши издатели,— засмеялся Першинг и, открывая портсигар, протянул его Нассу.

— Благодарю вас, сэр, я не курю,— сказал Насс.

— А я курю с девятилетнего возраста,— закуривая свою сигару, сказал Першинг.— Какого только зелья не

перепробовал за свою бродячую жизнь! И опиум, и гашиш, и табаки — от виргинского и до черного крутого африканского «потами». Жевал и бетель, пил пряный сок негритянского «тура-кива» — и здоров как бык. А вы, господин помощник бургомистра, местный житель или только приехали сюда? — неожиданно, без всякой связи с ранее сказанным, спросил американец.

— Я до войны довольно долго жил в Шагарте,— ответил Насс.

— Любопытно. Значит, вы позволите мне, скажем, вечером или завтра порасспросить вас о городке? Он очень любопытен, такой, я бы сказал, игрушечный, тихий, как бы забытый и людьми и богом городишко. В таком хорошо отдохнуть, хотя бы неделю-другую после всех треволнений войны, не правда ли? — обращаясь ко мне, закончил Першинг.

— Да, конечно. Здесь тихо, фронт далеко, самолеты противника здесь не появляются. Главные коммуникации в стороне.

— И правильно, кому нужен этот заброшенный городок! Разве только нам, корреспондентам, отдохнуть денек-другой, обмыться, отоспаться и написать здесь хорошую, обстоятельную корреспонденцию. Ба-а! — вдруг щелкнув себя по лбу, расхохотался Першинг.— А ведь это идея! Честное слово, это гениальная мысль!.. Вместо того чтобы писать друг на друга похожие, стереотипные батальные очерки о том, как наши союзники, храбрые русские солдаты, без удержу гонят фашистские орды, взять да и написать на контрастах фронта и тыла однудве статьи о тихом городке, чудом уцелевшем от войны и в течение недели ставшем под строгим, но справедливым контролем русских образцом будущей, истинно демократической Германии.

Насс пожал плечами и вежливо улыбнулся.

— До этого еще, господин...

— Першинг,— подсказал американец.

— ...господин Першинг, еще очень и очень далеко.

— Ничего. Мы и наши друзья русские поможем вам стать настоящими людьми,— успокоил его корреспондент.— Так как? Одобряете мою мысль, не прогоните, если я через неделю-другую после фронта вернусь к вам сюда на денек, чтобы написать такую статью?

— Пожалуйста, будем рады, а господин Насс поможет вам познакомиться со всеми достопримечательностями города.

Насс молча поклонился.

— Может быть, вы задержитесь и теперь начнете писать эти статьи? — спросил я.

Американец задумался.

— Нет, сейчас не могу. Я не хочу отрываться от моих друзей корреспондентов. Мы вместе посетим передовые части ваших храбрых войск, я сделаю одну-две заметки, а уж затем обязательно вернусь к вам.

— Олл райт! — улыбаясь, ответил я.

Першинг встал.

— А теперь я пойду, прогуляюсь по городу, погляжу на людей, наберусь впечатлений.

— Может быть, дать вам провожатого? — предложил я.

— Нет, спасибо. С моим знанием немецкого языка этого не нужно, а затем — я люблю бродить один. Никто не мешает сосредоточиться, да и население относится иначе. И говорит правдивей, и держится проще, когда тебя не сопровождает официальное лицо.

Американец ушел, и мы снова принялись за списки. Когда все иностранцы были занесены в отдельные графы и их характеристики, связи, знакомства с местными жителями были уточнены, я спросил Насса:

— Что делала фрау Вебер в дни гитлеровского режима для подполья?

— Немало. Она была надежным звеном для связи между заключенными и их семьями и находившимися в подполье борцами против нацистов. Кроме того, она, как химик и художница, не раз была использована нами для разных секретных работ, начиная от писания листовок и вплоть до тайного слушания по радио русских военных сводок.

— Очень рад, что ваши слова рассеивают мои последние сомнения.

— А вы в ней сомневались, господин комендант?

— Вы же сами сказали мне вначале, что рекомендовать ее можете, а ручаться за нее воздерживаетесь, хотя вы и лучше знаете ее, чем я. Кстати, вот посмотрите эту

штуку,— я протянул ему карманный фонарик, найденный на С-41.— Говорит ли вам что-нибудь это?

Насс внимательно осмотрел фонарик и тотчас же обратил внимание на марку фирмы, выгравированную на передней никелевой пластинке, а затем показал мне на синее стекло лампочки.

— Так и есть! Это кварцевая лампа.

— Скажите, а откуда могла знать об этом фрау Вебер? Она даже сослалась на вас, что вам также знакомы подобные фонарики.

— Весьма естественно. Мы пользовались этими фонариками для чтения посланий заключенных, писавших люминесцентными составами на всевозможных вещах, возвращаемых ими близким. Эти составы мы им передавали. Так продолжалось до тех пор, пока гестапо не разгадало трюка. А фонарик был у госпожи Вебер, которая и читала письма. Надо добавить, что именно она первая подала идею этой корреспонденции.

— Теперь все понятно. Спасибо за разъяснение, товарищ Насс,— сказал я, крепко пожимая ему руку.

Я впервые за всю нашу совместную работу назвал его товарищем. Немец поднялся, взглянул мне в глаза прямым, честным взглядом и, сжав кулак, поднял его над головой.

— Рот фронт, товарищ подполковник! — взволнованно сказал он, и лицо его осветилось теплой и ласковой улыбкой.

Насс ушел. Я вышел вслед за ним на улицу.

На углу Венштрассе ко мне подошел Глебов, вынырнувший из какого-то переулка.

— А где же ваши корреспонденты, старшина? — спросил я.

— А они, товарищ гвардии подполковник, поехали осматривать здешнюю тюрьму, их Эльфрида Яновна туда повезла. Она хочет показать им камеры, в которых сидели при Гитлере немецкие коммунисты.

— А вы почему не поехали?

— Да я это видел уже. Каменные норы, без света, повернуться нельзя, прямо как в гробу, и вдобавок аршина на четыре под землей. Вот бы в такую дыру самого Гитлера загнать... Весь их фашизм надо в мешок загнать, да и покончить со всеми разом, чтобы он, проклятый,

никогда и нигде не возродился,— продолжал Глебов.— А то ведь, поди, тихие они тут все, смирненькие. Американец сегодня верно мне сказал. «Вы им не верьте. Они только для вида, говорит, смирились. А, наверно, есть и такие, что притаились где-нибудь по норам да гадят, шпионы разные или диверсанты. Вы, спрашивает, ничего об этом не слышали?» Здорово он их не терпит, фрицев, говорит о них, а сам чуть не трясется от злости. Немало, видно, напакостили ему. Ну, я, понятно, молчу. Человек он хороший, но посторонний, а посторонним наших служебных дел знать не надо. «Нет, говорю, откуда в таком городишке шпионы, здесь все тихо. Кому тут гадить? Здешним обывателям сейчас не до того, лишь бы их самих не трогали». Засмеялся он и говорит: «А ведь это верно!» — и угостил меня сигарой. Веселый он человек. Полчаса всего пробыл, а со всеми за руку поздоровался, обо всем порасспросил, сигар штук пятнадцать ребятам роздал. Меня уже по имени-отчеству величает.

— Да, общительный, разговорчивый человек,— ответил я.— Но вы хорошо сделали, что ничего не сказали ему. И дальше поступайте так же, товарищ старшина.

— Как же можно, товарищ гвардии подполковник! Я же человек военный, присягу помню и дисциплину знаю. Раз приказано не говорить,— значит, умри, а молчи! Мало ли, что он союзник и человек веселый. Дело это его не касается.

— Правильно, товарищ старшина.

Мы пошли дальше, прогуливаясь по Шагарту. На Александерштрассе, самой большой и почти не задетой войной улице, нам навстречу показались два автомобиля. Они остановились, и из них вышли корреспонденты, переводчица и один из солдат комендантского взвода.

— Ну-с, где были, что видели? — спросил я.

— Тюрьму! Настоящий фашистский застенок,— сказал Миронов.— Я израсходовал половину катушки, снимая эту проклятую преисподнюю.

— Каменные мешки в два метра глубины. Сырые, мрачные, без света и воздуха. Я покрылся холодным потом, пока обошел эти ужасные норы,— сказал фотокор Володя.

— А наш общий знакомый Насс провел в такой дыре почти восемнадцать месяцев.

Газетчики переглянулись.

— И нужно еще добавить, что тюрьма Шагарта — это не самая страшная, не самая ужасная из всех фашистских застенков. Мой муж, художник Макс Вебер, просидел в знаменитой берлинской «двадцать второй камере» крепостного подземелья одиннадцать дней, но когда мне разрешили увидеться с ним перед казнью...

— Перед казнью? — в один голос спросили все.

— Да! На двенадцатый день после ареста он был убит в гестапо. Я видела его за несколько часов до казни. Он был совершенно сед, избит до того, что почти не мог говорить.

— Зачем же эти изверги решили показать вам в таком виде вашего мужа?

— Это была прихоть Геринга, желавшего еще больше поиздеваться над ним. Но хватит этих воспоминаний...

— Еще вчера мы бродили по столице, а сегодня мы уже в вашем тихом городке,— меняя тему, сказал Володя.

При этих словах я взглянул на переводчицу.

— Да, наш Шагарт — сонное царство,— без тени улыбки произнесла она.— Такой покой, словно на курорте.

Отпустив машины, мы пешком направились домой. Москвичи рассказывали о далекой столице:

— По ночам зажигаются огни. Садовое кольцо снова окаймлено электрическим светом. Троллейбусы и автомобили мчатся без светомаскировки, улицы полны народу.

— Зато здесь ночью ни одного огонька,— заметил Володя.

— Хватит! Повеселились в свое время фрицы, пусть теперь поплачут,— вставил Миронов.

— Театры и кино ломятся от зрителей. Поверите ли, даже нам, газетчикам, имеющим всюду приятелей и своих людей, стало невозможно попасть в театры,— пожаловался Володя.

— Зато у нас можете пойти в театр без всякой очереди,— сказал я.

— Как, серьезно? У вас здесь есть театр? — оживились гости.

— Ну, театр, не театр, а нечто вроде кабаре имеется,— сказал я.

— И давно?

— Третий день.

— Что же там ставят?

— Что попало. Там певцы, и танцоры, и акробаты, и жонглеры. Каждый вечер с шести до половины десятого.

— Значит, мы бы могли сегодня попасть на представление? — спросили гости, как по команде, одновременно бросая взгляд на часы.

— Вполне,— ответил я.— Да вы не торопитесь, успеете, можете это сделать и завтра. Сегодня отдохнете, посидим вместе, побеседуем о Москве, ведь мы очень соскучились по ней. За ужином найдется о чем поговорить, а завтра вечером пойдемте все вместе в здешний театр.

За разговором мы не заметили, как подошли к комендатуре. У самого входа нас встретил Першинг с неизменной сигарой во рту.

— А я уже минут пять как вернулся и скучаю без вас! — крикнул он, завидя нас и шагая навстречу.

— Вот и отлично. Все в сборе. Сейчас сядем за стол,— сказал я.

— С удовольствием,— хором ответили корреспонденты.

Спустя несколько минут мои гости вышли из своих комнат и спустились в столовую, где нас уже ждал хорошо сервированный стол. Я не приглашал Эльфриду Яновну к обеду, и, когда мы собрались все вместе, ее уже не было с нами.

Когда по бокалам было разлито вино, гости поднялись, и мы стоя выпили за армию, за победу, за родину.

— А впереди — Берлин! — сказал Рудин, глядя поверх нас в открытое окно.

И мы, проследив его взгляд, словно различили в темноте громады немецкой столицы.

— Только вам следует спешить, а не то наши американские парни могут раньше вас занять Берлин,— неожиданно добавил Першинг.

— Ну что ж, мы будем рады, если они как следует вцепятся в глотку врага,— ответил Рудин.— Фашистский зверь должен быть зажат в клещи с двух сторон, но то-

ропиться все-таки надо вам, американцам, а то встреча с союзниками может произойти не в Берлине, а где-нибудь на Рейне.

Першинг молча выпил, вытер салфеткой губы и засмеялся.

— Да, темпы нашего Айка не очень уж велики, но, между нами говоря, во всем этом виноваты англичане с их постоянной оглядкой назад.— Он налил себе вина.— Но не все ли равно, где встретятся русские и американские друзья? Главное — победить Гитлера и уничтожить его кровавый режим.

Беседа за столом затянулась. Американец был оживлен, непосредствен в своих излияниях, и это очень располагало к нему. Под патефонную музыку он проплясал негритянский танец «буги-вуги», рассказал несколько забавных случаев из своей кочевой жизни и очень похоже изобразил Черчилля, с которым встречался дважды в Лондоне и которого провожал на корабле «Миссури» от Бостона до Саутгемптона.

— Замечательный старик! Внешность типично бульдожья, такая же хватка, злой язык, пристрастие к хорошей сигаре, стакану шотландского виски. А наш Рузвельт совсем в другом роде. Мягкий, снисходительный, вежливый. Типичный американец из старопуританской семьи. Я много раз имел возможность наблюдать за ним...— потягивая вино, рассказывал Першинг.

Посидев еще с полчаса и побеседовав о Москве и о будущих перспективах мира, мои гости стали расходиться.

— Я бы предложил заключительный тост за то, чтобы это была последняя на земле война и чтобы мир никогда больше не узнал ужасов проклятой человеческой бойни. Мы с вами, друзья, навидались страданий и крови так много, что вправе желать этого,— сказал Першинг, глядя на нас открытым, ясным взглядом.

Его голос прозвучал так искренне, в нем была такая грусть и боль, что я с удовольствием первым же чокнулся с ним.

— А теперь, друзья, по своим комнатам! Не знаю, что будете делать вы, а я засяду за свою машинку и набросаю статью, которую готовлю для «Геральда»,— сказал он, уходя.

Рудин и Володя вышли вместе с ним, а Запольский и Миронов задержались еще, знакомясь по карте с кварталами Шагарта и его достопримечательностями, которые были перечислены в книжке «Город Шагарт и его значение для экономики Германии».

— Хоть и фашистская продукция,— сказал Запольский,— однако очень полно и толково написанный справочник.

Он выписал несколько сведений из книги, просмотрел план города, отметил для себя статистические данные и цифры.

— После войны намереваюсь писать повесть о последних днях фашистской Германии, и кое-что из этого может пригодиться для книги.

— А я, вероятно, так и умру газетчиком,— вздохнув, сказал Миронов.— Сколько раз хотел взяться за большую литературную работу, но сомнение и страх останавливали меня.

— А может, лень? — улыбнулся Запольский.

— И она, матушка, тоже,— согласился Миронов.— Но все же я напишу, непременно напишу книгу о людях, дошедших от Москвы до этих немецких городов.

— Что ж, собственно говоря, вы этим выполните свой долг,— сказал я.

Корреспонденты поднялись и ушли к себе. Я остался один за неприбранным столом.

Снова и снова пытался найти ключ к таинственной истории с картиной, гробом, парашютистами и непонятными, противоречивыми директивами Генриха.

Что значат слова «получите помощь не только с запада, но и с востока»? С запада — это понятно. Два «помощника» уже лежат закопанные в канавах окрестного леса. Но с востока? Означает ли это, что в нашем тылу орудует хорошо законспирированный крупный шпионский центр? Или же неведомый Генрих просто желает подбодрить своих недостаточно смелых агентов? А сущность самого задания? Шпионы вывезли что-то в так неосмотрительно выпущенном мной за черту города гробу. Но «самое главное» еще осталось здесь. Что же именно? Понятно, не золото и не деньги, как уверял Циммерман. И тем более не данные разведки. Генрих категорически запрещал своим агентам заниматься военным

шпионажем. В довершение ко всему — какую роль играет здесь похищенная картина? Может быть, это просто камуфляж, чтобы сбить нас с правильного следа? По всей вероятности, это именно так. Значит, надо сосредоточить все внимание на том «главном», что еще не вывезено из города.

На следующий день гости собрались ехать в замок Шварцвальде, в котором, по преданию, когда-то ночевал Фридрих Барбаросса. Замок до 1918 года принадлежал одной из саксонских династий. В 1923 году он был передан в пожизненное владение фельдмаршалу Гинденбургу. Фашисты, отступая, успели кое-что вывезти из замка, но основные ценности, вроде мебели, ковров, дорогих картин, утвари и старинного оружия, сохранились, и все это находилось под охраной взвода наших солдат и двенадцати назначенных бургомистром полицейских.

Я еще ни разу не был в замке — мешали дела — и потому очень сожалел, что не мог сопутствовать корреспондентам. К моему удивлению, Першинг категорически отказался от этой поездки.

— Зачем? — пожал он плечами.— Я достаточно навидался старой рухляди в моих скитаниях по свету. Этот королевский замок ничуть не лучше сотни тысяч таких же серых и обветшалых зданий, которые мне попадались в Азии и Европе. Я лучше поработаю над статьей, а потом поброжу по городу.

Корреспонденты уехали. Я сидел с Эльфридой Яновной в приемной комендатуры, слушая очередные просьбы и заявления горожан. Глебов, которому было дано задание вместе с Нассом объехать четыре расположенные возле Шагарта деревеньки, где надо было взять на учет имущество, оставленное бежавшими фашистами в крестьянских домах, отсутствовал с самого утра.

— Там много различных ценностей, которые пригодятся и для будущих пионерских дворцов, и для школ, и для яслей. Ведь мы очень скоро откроем их,— говорил мне Насс, докладывая об этом имуществе.

Сидя рядом с переводчицей, я раза два против своей воли задержал на ней свой взгляд.

Я давно заметил, что настоящую, подлинную красоту никогда не оценишь и не поймешь сразу, будь то красота природы, произведение искусства, обаятельное женское

лицо или прекрасное сердце человека. Только встречаясь чаще, больше находясь вблизи подлинной красоты, начинаешь глубже и сильнее постигать ее.

Занятая беседой с немцами, переводчица, кажется, не замечала моего восхищенного взгляда, но мне самому вдруг стало как-то не по себе. И не потому, что я любовался Эльфридой Яновной, а потому, что не смог заставить себя не делать этого.

Я нахмурился и довольно сердито спросил ее:

— Что он там просит? Я не совсем понял его слова.

Эльфрида Яновна внимательно взглянула на меня и тихо сказала:

— Он не просит, господин подполковник. Дело в другом. Этот посетитель жалуется на какого-то иностранца, явившегося к нему сегодня утром и требовавшего устроить ему встречу с кем-то...

— Встречу с кем? — спросил я.

— Да он и сам не знает толком. Дело в том, что этот гражданин, Карл Майер...

При этих словах посетитель привстал с места и, закивав головой, подтвердил:

— Яволь! Яволь! Их бин Карл Майер.

— Садитесь,— остановил его я и по-немецки спросил: — Растолкуйте яснее, кто и зачем приходил к вам сегодня.

Немец сел и торопливо заговорил:

— Я рабочий, антифашист. Просидел при Гитлере около года в концлагере близ Бреслау. Сам я из Шагарта, и, когда вернулся обратно, меня и мою семью, как пострадавших и не имеющих своего крова, господин Отто Насс, с разрешения русской власти, вселил в квартиру бежавшего отсюда фашиста...

— Как его фамилия? — спросил я.

— Тоже Майер и тоже Карл,— засмеялась переводчица.— Ведь здесь, в Германии, Майеров миллионы!

— Дальше!

— Сегодня утром ко мне постучался какой-то штатский, не немец, но, думаю, что и не русский, и на очень хорошем немецком языке попросил воды. Я ему принес стакан. Тогда он спросил: «Вы Карл Майер?» Я ответил: «Правильно. Я Карл Майер». Тогда он засмеялся, вынул

из кармана сигару, протянул мне и проговорил: «Восток — Запад. Вам привет от старухи». Когда же я не взял сигары и сказал, что не понимаю, о чем он толкует, человек этот рассердился, обозвал меня дураком и трусом и снова повторил про «Восток — Запад» и какую-то старуху.

Тут уж обозлился я и сказал ему: «Вы сами дурак или, наверно, сошли с ума... Какой Восток? Какая старуха? И какого черта вам тут нужно?» — и стал закрывать перед ним дверь. Он несколько опешил и спрашивает: «Да вы-то кто, Майер?» — «Майер, говорю, Карл, да не тот, которого вы ищете. Ваш приятель уже две недели как удрал отсюда, чего и вам желаю, пока вы целы»,— и захлопнул перед ним калитку. Слежу за ним сквозь щель, а он в лице переменился, но вдруг засмеялся и кричит мне: «А ведь я, брат, пошутил, хотел разыграть тебя, дружище!» Я ничего не ответил, тогда он повернулся и быстро пошел обратно. Рассказал я об этом своей жене, а она мне говорит: «Карл! А ведь это недобрый человек приходил. Иди сейчас же к господину Нассу и расскажи ему об этом». Я и сам так думал. Ведь я же рабочий, кое-что понял и кое-чему научился за эти годы. Переждал немного, пока этот негодяй не скрылся, а потом задним двором и побежал в бургомистрат, к господину Нассу. Но его не застал, говорят — уехал куда-то с русским офицером. Ну, тогда я и решил к вам направиться.

— Кому-нибудь рассказывали в бургомистрате об этом?

— Нет. Как можно! О такой вещи, кроме господина Насса, и сказать никому нельзя.

— Опишите — каков был с виду этот человек? — спросил я.

— Господин подполковник, уведите его во вторую комнату,— сказала тихо переводчица, делая мне знаки глазами.— Сюда может войти кто-нибудь и увидеть господина Майера. Идите с ним, а я посижу и постерегу, чтобы вам никто не помешал.

Я пригласил Майера в другую комнату.

— Опишите этого человека.

— Лет сорока. Хорошо одет, выглядит здоровяком и по-немецки говорит вполне прилично, но акцент все-таки

заметен... Я думаю, что он или англичанин, или американец,— подумав, сказал Майер.

— Вы узнали бы его голос?

— Конечно.

— Спасибо, господин Майер. Вы поступили правильно, и я попрошу только об одном: никому ничего не рассказывайте о нашем разговоре, а вечером вас повидает господин Насс. Возможно, что через день-два вы понадобитесь, чтобы опознать этого человека. А пока работайте себе спокойно, поступайте как обычно, не подавайте и виду, что вам что-либо пришло в голову. И — молчание!

— Понимаю... Все понимаю, господин оберст. Этих ядовитых змей надо уничтожать без пощады,— вставая с места, сказал Майер.

Я пожал ему руку и через черный ход выпустил наружу.

Теперь мне становился ясен смысл загадочных слов «Восток — Запад».

Когда приехали Насс и Глебов, я рассказал им о визите Майера.

— Да, я хорошо знаю Майера. Это честный рабочий и честный человек, немало пострадавший от нацистов. Мы предоставили ему квартиру его однофамильца Майера и тоже Карла, бежавшего недавно вместе с фон Трахтенбергом. Мы тогда даже посмеялись над этим совпадением. А оказывается, это вышло очень кстати,— сказал Насс.

— Это, наверно, один из тех фрицев, что шел тогда за гробом с этой самой Надькой,— предположил Глебов.

— Да! Это, несомненно, из той же группы,— подтвердил я.— Итак, товарищи, дело осложняется. И нам надо подумать над тем, как действовать дальше.

Просидев около часа и обсудив разные планы, мы наконец нашли нужное решение.

Осмотр замка затянулся, а различные охотничьи домики, пристройки, парк, озеро, летняя ротонда и подземные ходы к реке оказались настолько интересными, что мои гости возвратились только к семи часам вечера, очень довольные своей экскурсией.

— Напрасно вы не поехали с нами, мистер Пер-

шинг,— сказал Миронов.— Там не только гроты и подземелья, а дух, веяние минувших эпох... Так сказать, история феодальной Германии.

— Неинтересно. Я равнодушен ко всему тому, что не является делом. Это — развлечение, а газета — дело.

— Ну нет,— заспорил Володя.— Каждая такая поездка обогащает человека, увеличивает его знания. Нет, я не могу согласиться с вами.

— Нужная поездка! — решительно сказал Рудин.— Да и для работы дает обилие любопытного материала.

Они пошли помыться и переодеться с дороги, я же с американцем стал дожидаться их к ужину.

— Ну, как статья? Уже написали? — поинтересовался я.

— Идет... не очень, правда, легко, но основной набросок уже есть. Теперь похожу еще по городу, наберусь внешних, так сказать, иллюстративных впечатлений для общего тона и верного рисунка статьи,— сказал он.

— Желаю успеха! С удовольствием почитал бы ее,— сказал я.

— О-о! Я покажу ее вам перед тем, как отсылать в газету,— пообещал Першинг.

Гости собрались к столу. Ужин затянулся, и только часов в девять Володя вспомнил о театре.

— Вот здорово! А ведь мы уже упустили театр,— сказал он.

— Ничего. Пойдете завтра, тем более что я сегодня буду занят и не смогу быть с вами.

— А ведь завтра мы уже хотели уезжать,— сказал Миронов.

— Задержимся еще на сутки, друзья,— предложил американец.— Если мы, конечно, не в тягость хозяину.— Он вопросительно взглянул на меня.

— Наоборот. Мне приятно ваше общество. Оставайтесь еще на денек-другой, а уже потом, побывав в театре, направитесь дальше.

Корреспонденты вопросительно глядели на Миронова.

— Хорошо, товарищи. Останемся еще на один день, но послезавтра в путь. Решено?

— Решено! — в один голос ответили Рудин, Володя и Запольский. Американец молча кивнул головой.

После ужина, когда все разошлись по своим комиатам, я задержал Эльфриду Яновну.

— Сегодня я ие смогу побеседовать с вами. Буду очеиь заият.

Оиа поиимающе кивиула головой.

— Давайте завтра вечером. Хорошо? — сказал я.

Оиа посмотрела мие в глаза и тихо ответила:

— Я приду.

И быстро вышла из комиаты.

Ночью я долго работал иад внеочередным доиесением в штаб. Подробио и точно рассказав о приезде и поведеиии америкаиского корреспондеита, я сообщил и о визите рабочего Майера, и о том, что намереваюсь делать дальше. Закаичивая рапорт, я просил иемедлеиио выяснить, кто такой Першииг и как ои очутился в Шагарте.

Закоичив доклад, я запечатал и прошил его, и дежурный мотоциклист умчался с иим в штаб.

Раио утром меия вызвали к прямому проводу. Говорил геиерал. В осторожиых, завуалироваииых фразах он выразил удовлетворение по поводу моего донесения:

— Ваша поэма интересиа, срочио иаправляем вам комметарии к ней. Возможио, что кое-какие стихи будут переложеиы на музыку и ее станут петь не только наши, но даже и иностраииые артисты. Не бросайте поэзии, вам удаются стихи. Убежден, что из вас со временем выйдет крупный поэт. Сообщите поподробиее о здоровье нашего друга. Как он себя чувствует, прошла ли иога? Передайте ему привет и помиите, что его иадо беречь и лечить, ои очень дорог мие по прошлой работе.

Я ответил, что «друг» поправляется, что мы «оберегаем» его и что когда ои будет вполие здоров, то заедет к генералу иа денек-другой в гости.

— В свою очередь могу сообщить,— сказал геиерал,— что полковиик Матросов уже поправляется; скоро ои будет с вами, ио вы до иашего приказа оставайтесь в Шагарте, иа том же деле.

— Счастлив узнать, что операция прошла хорошо. Быстро выздоровел Аидрей Ильич,— порадовался я.

— Не так-то быстро. Сегодия уже десятый деиь как вы хозяйиичаете в Шагарте,— засмеялся генерал.

Было еще очень рано, но сон, прерванный переговорами, уже не возвращался, и я решил пройти в соседний дом, где располагались караульная рота и административно-хозяйственный отдел нашего маленького гарнизона. Часовой, стоявший у ворот, еще издали заметил меня и позвонил начальнику караула. Командир роты, молодой, с несколько заспанным лицом лейтенант, выбежал из караулки и встретил меня у самого входа.

Я не дал ему докончить рапорта:

— Все в порядке?

— Так точно! Никаких происшествий за ночь не случилось. Патрули возвратились.

— Отлично. Как люди?

— Дежурный взвод в боевой готовности, остальные еще спят. Кухня готовит завтрак. Скоро побудка,— глядя на ручные часы, доложил лейтенант.

— Что на завтрак?

— Пшенная каша с маслом и мясом. Хлеб, масла по семьдесят пять граммов и по куску сыра.

— Что же, завтрак хороший.

— А вы, товарищ гвардии подполковник, позавтракайте с нами. Бойцы будут довольны,— предложил лейтенант.

— С радостью бы, но дел много, в другой раз, а сейчас надо с начальником хозчасти повидаться.

Сопровождаемый лейтенантом, я пошел в интендантскую часть, откуда, пристегивая на ходу портупею, уже спешил предупрежденный дневальными начальник административно-хозяйственной части.

Пришел я сюда в такой ранний час не случайно, а намеренно. Дело в том, что, как мне сказал вчера Насс, наши солдаты прикармливали от своего сытного пайка многих неимущих, разоренных войной беженцев-горожан с их детьми. Само по себе это было хорошо и правильно, но таило и некоторую опасность. Среди десятков женщин, старух и стариков всегда могли затесаться и вражеские агенты. Они легко могли просочиться в эту голодную толпу, сблизиться и войти в доверие к нашим солдатам. Так уж устроен русский человек, что вид чужих страданий делает его мягким и отзывчивым. А сейчас не до жалости, не до всепрощения... Вокруг еще много притаившихся врагов.

— Много народу прикармливаете от солдатского котла, лейтенант?

Не зная, доволен ли я этим или ему предстоит взбучка, начальник АХЧ смущенно пробормотал:

— Главным образом детишек подкармливаем, товарищ гвардии подполковник. Жалко все-таки, они же ни в чем не виноваты. Только если нельзя, так я распоряжусь...

— Кормите и впредь. Наоборот, если есть возможность, то давайте больше, разумеется, из остатков и не во вред солдатскому питанию.

— Конечно, я понимаю.

— Но вы все-таки не назвали количество людей.

— Точно сказать не могу, но детей, наверно, с семьдесят будет, а стариков и старух тоже около того наберется.

— А молодых?

Лейтенант помялся и неуверенно ответил:

— Бывают и молодые фрау, только редко, да и все разные.

— Вот именно — все разные. С сегодняшнего дня чтобы ни один человек, даже дети, не проникал во двор. Пищу выдавать только на улице. Понятно?

— Так точно!

— Если хоть кто-нибудь из немцев будет замечен в помещении или во дворе, вы, товарищ лейтенант, пойдете под суд. Я лично на вас возлагаю эту ответственность.

— Понятно, товарищ гвардии подполковник,— становясь «смирно», ответил начальник административно-хозяйственной части.

— Гуманность — гуманностью, доброе дело — добрым делом, но помните, что мы находимся на немецкой территории, окружены тысячами немцев, у которых мужья, сыновья и братья отступили и сражаются против нас на Одере.

— Понятно, товарищ гвардии подполковник!

— И самое главное. Фашисты — опасные и непримиримые наши враги. Ясно, что, уходя, они оставили здесь своих людей, и самое маленькое ротозейство может стоить нам больших жертв. Постарайтесь то же самое растолковать солдатам.

— Слушаюсь! Все, что приказали, будет исполнено! — отчеканил лейтенант.

— А кормить голодных — кормите! — уходя, закончил я.

Подходя к комендатуре, я увидел забавную картину. Около дома, от угла и до угла, не быстро, очень размеренно, прижав к груди кулаки, бегал американец. Он был одет в фуфайку без рукавов, с вырезом на шее и в короткие спортивные брюки, на ногах его были кожаные тапочки.

— Привет... Утренняя зарядка. Не могу без бега и гантелей... привычка...— улыбаясь, сказал он, остановившись возле меня.

— Что же, это здорово,— ответил я.

— И вам советую то же. А теперь извините,— взглядывая на часы, сказал он,— побегаю еще десять минут.

— И ко мне завтракать! — пригласил я.

— Благодарю! — уже на бегу крикнул корреспондент и рванулся вперед, сопровождаемый восхищенными немецкими мальчишками...

За завтраком собрались мои гости. Пришел и американец, уже переменивший свою фуфайку и короткие брючки на серый клетчатый костюм фасона «гольф» и высокие цветные шерстяные чулки. На ногах Першинга были ярко-желтые туфли на толстой каучуковой подошве.

К концу завтрака пришел Насс. Я пригласил его выпить с нами чашку кофе. Першинг дружелюбно оглядывал Насса, что, однако, не помешало ему удивленно произнести:

— Странный вы народ, русские... Я бы никогда не посадил вместе с собой за стол побежденного врага. У вас же, по-видимому, вместе с окончанием боя проходит и злость к противнику.

Насс, не понимавший русского языка, молча пил кофе. Я промолчал, но Запольский ответил американцу:

— Нет, ненависть к фашизму и к классовому врагу у нас, у советских людей, не пропадает никогда. Мы ни на минуту не забываем о причиненном зле и не прощаем фашистам крови, зверств и истребления наших людей, но вообще к немцам у нас такой ненависти нет. Немцы были и есть разные, разное к ним и отношение.

— Тем более что сидящий с нами господин Насс —

коммуиист, антифашист, спартаковец и наш настоящий товарищ,— вставил я.

Услышав свою фамилию, Насс перестал пить кофе и вопросительио посмотрел иа всех. При словах «коммуиист» и «товарищ» ои закивал головой, улыбнулся и, указывая иа себя, сказал:

— Яволь, то-варич, коммунист!

Першииг пожал плечами.

— А для меия все оии — враги.

Вошедший Глебов помешал продолжению беседы.

— Товарищ гвардии подполковник, разрешите доложить,— сказал ои, остаиавливаясь в дверях.

— Докладывайте.

— Там, на улице... вииоват, позабыл, как оиа изывается, сейчас скажу,— выиимая из кармаиа бумажку, сказал старшииа и медлеиио прочел: — «На штрассе Грю... ие... вальд в разбитом доме иаши саперы в стене кое-что обиаружили». Прикажете произвести раскопки или сами пожелаете присутствовать?

— В стене? Это итересио,— сказал Рудии.

— Наверио, какой-иибудь фриц, убегая, золото замуровал,— предположил Володя.

Я взгляиул в зеркало, стоявшее напротив, и увидел иастороженное лицо американца. Не успел я вглядеться в иего, как Першииг воскликиул:

— Воображаю, что там... Вероятио, всякий хлам добродетельиого немецкого буржуа. А все-таки итересно было бы, с вашего разрешеиия, присутствовать и иам при работах ваших саперов.

— Да, да! Разрешите, Сергей Петрович,— в один голос запросили корреспондеиты,— любопытио!

— Читатели американских газет очеиь любят подобиые сообщения,— вставил Першииг.

— А вдруг там миia или какая-иибудь бомба замедленного действия? — предположил я.

— Это пустяки,— махиул рукой Володя.— Мы иа них уже иасмотрелись.

— Вряд ли,— подумав, сказал Рудин,— хотя от фашистов можио ожидать всего.

Американец ждал решения молча, ковыряя во рту зубочисткой.

— Ну что ж! Если дадите слово, что не будете мешать саперам, разрешаю.
— Спасибо! — сказал Запольский.
— Оцепите это место,— приказал я.
— Уже все сделано, товарищ гвардии подполковник,— сказал Глебов.
— Ну, в таком случае отправляйтесь, товарищи, только прошу не мешать старшине в его работе.
— А вы? — спросил Першинг.
— О нет! Это мало меня интересует. Я останусь с господином Нассом. Тут еще сотни незаконченных дел по бургомистрату.
Гости мои шумно удалились, обрадовавшись случаю, так разнообразившему их пребывание здесь.
— А вечером в театр? — уже в дверях спросил Рудин.
— Конечно,— кивнул ему я.
— Чудесно! — засмеялся Володя.
Мы с Нассом остались одни. Я принялся за бумаги, принесенные им. За окном прогудели машины с отъезжающими корреспондентами. Я сделал несколько резолюций и пометок на бумагах бургомистрата.
— Ну-с, что вы скажете, товарищ Насс? — откладывая в сторону карандаш, спросил я.
Насс улыбнулся и негромко сказал:
— Мне кажется, что ошибки не произошло. Мистер Першинг проявил интерес к обнаруженному кладу. Я заметил это.
— Я тоже! Отлично. Теперь подождем событий, подтверждающих это, а сами займемся текущими делами. Вы вчера навестили Майера?
— Да, я провел у него около часа. Он рассказал все то, что и вам. Больше его не беспокоил никто.
— Вы передали ему, чтобы он сидел дома и не показывался на улице?
— Да. Он понимает, что это необходимо.
Затем Насс доложил мне еще о трех домах, в которых также обнаружено скрытое имущество, брошенное или запрятанное бежавшими из города нацистами.
— Где находится это имущество?
— В разных концах города, в развалинах домов.
— Возьмите на учет и охраняйте до моего приказа,— сказал я.

Мы не спешили с выемкой брошенных хозяевами кладов, в своем большинстве состоявших из мелких ценностей, вроде материи, фарфоровой посуды, серебряных вещей, сервизов, белья и т. п. Все это постепенно и по списку изымалось из потайных мест. Очень хорошо, что умница Глебов так правдиво и так ловко разыграл сегодня сцену с «обнаруженным» кладом.

Закончив дела бургомистрата, я сказал Нассу:

— Прошу установить наблюдение, с кем и где будет встречаться Першинг. Вам это сделать легче, чем мне.

— После вчерашнего разговора я уже делаю это, товарищ подполковник. Сегодня утром, например, он, занимаясь спортивным бегом и прогулкой, встретился с фрау Хальдер, проживающей,— он заглянул в свою книжку,— возле Старого рынка в доме номер сто сорок четыре, с господином Эрихом Кнорре и парикмахером Таутбаумом, у которого он стригся.

— Вы гений, товарищ Насс,— смеясь, сказал я.

— Нет. Я коммунист, я не верю буржуазии, к какой бы она нации ни принадлежала.

— Перечисленные вами лица подозрительны?

— Двое — нет, третий, Кнорре, вообще говоря, лоялен и пока вне подозрений, но его дочь работала массажисткой у баронессы Манштейн, бежавшей вместе со своим мужем, известным богачом и фашистом, в Ольденбург.

— Ну, это, конечно, еще не большой криминал. Мало ли кого массируют массажистки, бреют парикмахеры и омолаживают институты красоты! Продолжайте следить за американцем, но только так, чтобы он не заметил этого.

— Этого не случится.

Поговорив еще немного о делах, Насс ушел, а я спустился вниз, где уже слышался сдержанный гул голосов ожидающих приема.

Корреспонденты приехали к двум часам. Оживленно беседуя, они вошли ко мне, рассказывая о том, как участвовали в раскопках на улице Грюневальде.

— Ну что, каково впечатление? — спросил я.

Рудин развел руками.

— Да так... просто любопытно.

Запольский же пояснил:

— Вместо мины — сундуки с бельем, тюки с шелком и домашние вещи, несколько ящиков с ликерами и рейнским вином.

Першинг добавил:

— Ожиданий было много, а результат плачевный. Имущество и скрытые запасы мануфактуры какого-то сбежавшего купца. Ничего путного, кроме белого вина, в этом кладе нет.

— Опись найденного произведена? — спросил я старшину.

— Так точно! Вот подлинник, а копия передана в бургомистрат. Имущество свезено на склад,— доложил Глебов.— Сдано все, кроме пакета с бумагами, который я привез сюда.

— Какого пакета? — спросил я.

— Не могу знать, товарищ гвардии подполковник, написано все не по-русски. Вот господин корреспондент читал и может вам об этом доложить,— указывая на Першинга, сказал старшина.

— Да... я мельком взглянул на них. По-моему, пустяки. Так, незначительная торговая, родственная и деловая переписка между хозяином имущества и его знакомыми,— небрежно ответил Першинг.

Я взял у Глебова вскрытый по краям объемистый пакет. Он был перевязан бечевой.

— Ничего не выронили при вскрытии? — спросил я.

— Нет. Только неумело разорвал конверт и еще хуже завязал,— засмеялся Першинг.— Когда мы нашли его, он был запакован и завязан куда искуснее, чем сейчас.

— Не беда! — сказал я.— Передам переводчице, она почитает и покопается в нем. А теперь, друзья, садитесь обедать, а меня прошу извинить, я уже ел, да и дела не позволяют мне оставаться с вами. Увидимся через час.— И я вышел, сопровождаемый старшиной.

У подъезда стоял блиставший лаком «Адлер». Это был трофейный автомобиль, переданный вместе с другими машинами коменданту.

Глебов сел за руль, я примостился рядом. «Адлер» рванулся с места.

— Ну, как? — спросил я.

— Точка в точку, товарищ гвардии подполковник.

Прошло как по писаиому. Когда мы приехали к оцепленному месту, корреспоиденты н этот американец бросилнсь к стене, возле которой стоял часовой. Ну, я сделал внд, будто даже и ие зиаю, в каком месте этот самый «клад». Корреспоиденты, конечио, засуетнлнсь, кто фотоаппарат иаводить стал, кто ручку выиул...

— А америкаиец?

— Спокойно себя держит, даже глазом не поведет, только все спнчку за спичкой достает, сигару нникак ие закурит. Ну, тут я понял: волнуется... Пошуровалн саперы своимн щупами, повозились и докладывают: «Безопасио, можете действовать». Стали мы стену разбнрать...

— Так, так. А дальше?

— Дальше... вынули мы ряд кнрпичей, иу, там прокладка, ниша, а в ней это самое барахло...

— Как держал себя амернканец?

— Рядом со миой был, даже про сигару свою забыл. Как только показались свертки и тюки, он даже на иоски привстал, все через спнны солдат разглядеть старался, а как убедился, что, кроме барахла, иичего в стеие иет, успокоился, присел в сторонке, перестал интересоваться. Снднт, сигару свою покуривает да позевывает.

— Так, так! А не заметнли — не отлучался лн он от вас куда-либо?

— Никуда, все время возле был. Как же все-такн это получается, товарищ начальинк? — в волиеиии позабыв даже назвать меия как следует, сказал Глебов.— Как же это возможио?.. Я ие могу понять этого. Ведь ои же ие фрнц, а амернкаиец, поддаиный страиы, воюющей с Гитлером... Ведь ои же иаш союзиик, н солдаты его страны сражаются с фашистами и в Италии, и во Фраиции. Почему же он нам, мерзавец проклятый, из-за угла нож в спииу готовит?.. Что ему иадо?

— Очень просто, старшииа. Ты же коммуиист н должен зиать, что дело ие в иациональиостн, а в классе. Насс, например, иемец, ио он коммуиист, сын рабочего класса и друг советского иарода. Понятно?

— Поиятно. Насс — твердый и иадежиый товарнщ,— согласился Глебов.

— Ну, а америкаиец этот — слуга тех, кто, несмотря на то, что америкаиские солдаты дерутся с фашнстами, поддерживает Гитлера протнв иас. Понятно?

— Но ведь это же измена своему народу,— ошеломленный, сказал Глебов.

— Правильно. Но международному капиталу наплевать на народ. Народ для него лишь средство для получения сверхприбылей.

— Так точно, понятно!

— Ну, а этот самый корреспондент явился сюда по приказу своего хозяина, чтобы изъять что-то такое, что, вероятно, может скомпрометировать американских заправил и раскрыть их карты... И это понятно?

— И это понятно, товарищ гвардии подполковник. Что ж теперь будете делать? Посадите этого гада в подвал рядом с фрицевским радистом или отошлете его в штаб?

— Ни то, ни другое,— ответил я.

— А как же? — опешил старшина.

— Очень просто. Он — официальный представитель газет союзной нам державы, и никаких явных улик у нас против него нет. Если мы арестуем его, то дело, из-за которого он залетел в Шагарт, станет для нас гораздо сложнее, чем при нем. За ним следят, он ничего не подозревает, в то время как мы многое знаем о нем. Плюсы на нашей стороне.

— Точно! Все правильно, товарищ гвардии подполковник,— обрадовался Глебов.

— Теперь надо одно: чтобы американец ничего не заметил. Для этого держитесь с ним так же, как раньше, пейте с ним пиво, курите его сигары, болтайте о чем угодно, кроме, конечно, этого дела...

— Противно... но раз надо, так надо... будем продолжать дружбу,— сказал Глебов.

— Надо, надо, старшина. Пусть он считает нас дураками, а себя умницей. Посмотрим, как он под конец запоет. А теперь сверните, товарищ Глебов, на главную дорогу, ведите помедленней машину и, сделав за озером круг, возвращайтесь обратно.

Итак, Першинг был прислан сюда в помощь немецким агентам С-41, С-50 и другим. Он должен был помочь им в овладении невывезенным «главным». Если Першинг не сумел сдержать себя при сообщении Глебова о найденном в развалинах «кладе» и, что еще важнее, обнаружил нетерпение увидеть найденное, это значит, что

он еще не успел встретиться в Шагарте с агентами Генриха и что сам он не знает, где находится «главное». «Главное» — это бумаги, документы, имеющие огромную, поистине «мировую» ценность и значение не только для гитлеровцев, но и для американцев. Иначе они никогда не решились бы в такое сложное и исключительное время направить сюда своего агента.

Все это было очевидно. Было ясно и то, что близится финал. К сожалению, я не был бдителен, сглупил, и комедия с гробом удалась фашистам. Но... цыплят по осени считают... Поглядим же, господа Першинг, Генрих и остальные, кто из нас посмеется последним!

Под вечер гости вместе с переводчицей отправились в кабаре. Американец вспомнил, что не закончил начатой статьи, и поднялся к себе. Я заперся в своей комнате и почти час работал в одиночестве. Неожиданно меня вызвали вниз. У входа в комендатуру стоял Тулубьев. По взволнованному лицу старика я понял, что случилось что-то неладное.

— В чем дело, Александр Аркадьевич? — пропуская его вперед и закрывая за ним двери, спросил я.

— Да, знаете ли, странное дело, какая-то фантасмагория,— разводя руками, сказал Тулубьев.— Прямо чудеса какие-то. Двадцать минут назад я нос к носу встретил своего бывшего хозяина, барона Манштейна.

— Как вы назвали его? — спросил я, вспоминая, что уже слышал эту фамилию.

— Манштейна. Разве я не говорил вам о нем? Приятеля Володьки Трахтенберга, большого барина и богача. Уехал он отсюда со всей своей семьей еще задолго до вашего прихода и должен быть где-то далеко, в Ольденбурге. Как же он очутился здесь? Одет он был крайне просто — в дешевой, потертой паре, в рабочей кепке на голове. Это он, Манштейн! Когда я остолбенел и остановился перед ним, он, даже не замедлив шага, прошел мимо так, словно и вовсе меня не было. Ничего! Ни удивления, ни беспокойства, ни, наконец, смущения от внезапной встречи. Ничего! Я окликнул было его, но трое или четверо горожан, неожиданно появившихся из-за угла, затеяли тут же какую-то ссору и задержали ме-

ня, а когда я наконец отбился от них, на улице уже не было моего бывшего хозяина. Но и это еще не все. Этот самый Манштейн был не один. С ним шел какой-то незнакомый мне господин, в сером клетчатом костюме «гольф», в серой кепке, с сигарой во рту. А Манштейн, этот белоручка, сноб и богач, нес на плече какой-то чемоданишко, что ли.

Я пристально посмотрел на Тулубьева.

— И разговаривали они, Сергей Петрович, я это ясно слышал, по-английски. Я хотя и не знаю этого языка, но легко, конечно, мог понять, что говорили они по-английски.

— Та-ак! — сказал я. — Опишите, пожалуйста, Александр Аркадьевич, еще раз человека, шедшего с Манштейном.

— Среднего роста, довольно плотный мужчина, с быстрыми, проницательными глазами.

— Он вас видел?

— Да. Когда я окликнул Манштейна, этот господин оглянулся и очень внимательно посмотрел на меня, продолжая разговаривать на ходу с Манштейном.

— Напрасно вы это сделали, но что уж сделано, того не воротишь. А где произошло это?

— На Гогенлоэштрассе, около дома, где сейчас находится бар. Я как раз выпил там чуточку.

— А вы не ошиблись, Александр Аркадьевич? Может быть, это был человек, просто похожий на вашего барона, или вино затуманило вам глаза?

— О, нет! Манштейна я узнал бы и за версту. У него такое характерное лицо рафинированного денди, усталая, хромающая походка... а насчет вина — я выпил очень мало.

— В таком случае извините. Итак, вы говорите, он хром?

— Да, несколько припадает на левую ногу — результат испанской войны.

На левую ногу... Я задумался. Мне припомнились обстоятельные ответы старшины Глебова, когда комендант расспрашивал его, о группе немцев, ехавших на кладбище Ангелюс.

— Да он это, он! Не стоит даже сомневаться, господин подполковник, это был барон Манштейн. Как мне

не узнать его характерного лица с густыми черными, как бы наклеенными бровями!..

— Подождите, подождите, прошу вас, Александр Аркадьевич,— остановил я гусара и, вынув из шкафа дело о похищенной картине, стал искать запись опроса старшины. Так и есть. Глебов говорил нам о немце с густыми бровями, слегка хромающем на левую ногу.

— Вы уверены в том, что ваш хозяин месяц назад уехал отсюда, а не остался в Шагарте?

— Абсолютно. Но он уехал не месяц, недель семь назад, причем задолго до отъезда перевез и переслал в имение Геринга, находящееся где-то в Ольденбурге, на западе, у голландской границы, все свое наиболее ценное имущество.

— Геринга? А почему именно Геринга?

— А разве я не говорил вам, что барон — родственник первой жены рейхсмаршала?

— Не говорили.

— Странно! С этого бы мне и следовало начать весь рассказ; ведь и разбившийся Трахтенберг тоже один из своры, окружавшей Геринга.

— А-а, это интересно,— сказал я.— Александр Аркадьевич, видите ли, я был прав, когда говорил, что шансы на ваше возвращение в Россию не погибли со смертью Трахтенберга. Вот вам еще более верный шанс. Найдите вашего хозяина, и вы спустя полгода будете на родине. А теперь — закончил я,— попрошу вас пройти со мною в подвал, где сидит один арестованный фашист из той же геринговской компании. Возможно, что вы знаете его.

И мы спустились в подвал, сопровождаемые автоматчиком, несшим большой зажженный фонарь.

Это был чистенький, метров в восемь подвал с двумя оконцами, сквозь которые смутно проглядывал лунный свет. Железная кровать, покрытая серым солдатским одеялом, стол, два стула и маленькая лампочка в потолке. На столе — лист с правилами поведения арестованного и выдержками из Устава гарнизонной службы. Последнее было здесь только потому, что подвал служил для комендаита гауптвахтой, но сейчас, за неимением другого подходящего места, «губа» стала камерой для

арестованного фашиста. Циммерман молча взглянул на нас через плечо и отвернулся к стене.

— Встать! — скомандовал автоматчик, сопровождавший нас.

Но немец, словно не слыша, продолжал сидеть спиной к нам.

— Арестованный Циммерман, потрудитесь повернуться и отвечать на вопросы,— сказал я.

Фашист молчал. Я снова повторил свои слова.

— Я вам уже говорил, что отвечать не буду,— слегка поворачиваясь ко мне, сказал он.

Яркий свет фонаря осветил его.

— А-а, старый знакомый! — воскликнул Тулубьев, разглядывая освещенное лицо.

Циммерман, хмурясь, прикрыл ладонью глаза.

— Да что вы отворачиваетесь от меня, господин фон Циммерман, неужели не узнаете?..— продолжал бывший гусар.

Но арестованный перебил его:

— Я никогда не имел чести вас знать.

— Вот это здорово! «Не имел чести знать», а на конях, которые я вам подавал у барона Манштейна, имели честь кататься?

Циммерман опустил ладонь и, щурясь, стал вглядываться в гусара.

— Ну да, в то время вы, почтенный герр доктор, может быть, и не обращали особенного внимания на меня, ухаживавшего за лошадьми на конюшне, но я-то хорошо знал вас и ваших друзей — Манштейна и Трахтенберга. Эта тройка всегда все свои поездки и вечерние прогулки совершала вместе. Барон — на Диане, Володька Трахтенберг — на Цезаре, а этот господин — на Брамапутре.

— Господин офицер, он или пьяный, или сумасшедший. Я прошу удалить его отсюда!

— Да ведь это ж был первейший друг покойного Володьки,— рассердился Тулубьев.

Циммерман поднял голову и насторожился.

— Не волнуйтесь, не волнуйтесь, Александр Аркадьевич,— остановил я гусара, боясь, как бы он не проговорился еще.— Вы не знаете, где проживает этот человек?

— Где проживает — не знаю; но куда ездил вместе с

моим хозяином и Трахтенбергом — знаю, так как раза четыре вместе с грумом провожал их кавалькаду.

— Куда?

— На Гогенлоэштрассе, дом номер... Вот номера-то не припомню...

Я из темноты следил за Циммерманом. Все мускулы его напряглись, глаза остановились, губы дрожали. Волнение, которое он хотел скрыть, было сильнее его воли.

— Вот номера-то и не помню,— наморщив лоб, повторил Тулубьев,— но завтра же покажу вам дом... Да, позвольте, это как раз тот самый дом, рядом с которым я сегодня встретил Манштейна...

Старый гусар был, по-видимому, добрым человеком, лихим рубакой и приятным собутыльником, но искусством дипломата и тонкостями разведчика явно не обладал. Уже второй раз он проговаривался, давая шпиону прекрасные козыри.

— Хорошо, господин Тулубьев, мы завтра как следует прочешем этот дом,— сказал я, продолжая наблюдать за немцем.

Циммерман молчал, глаза его равнодушно, как бы в пустоту, смотрели на нас, по чуть дергавшейся губе и нервному постукиванию пальцами о кровать я понимал, что удар был нанесен в самое сердце врага.

— Скажете нам что-нибудь или предпочтете молчать? — спросил я Циммермана.

Все с той же равнодушной миной он молча покачал головой.

Мы вышли. Часовой запер на ключ и на засов двери и мерно заходил по коридору, время от времени заглядывая в глазок.

— Удивляюсь я вашему терпению,— покачивая головой, сказал Тулубьев.— Вот у нас всегда писали про ужасы ЧК. Я и вправду думал, что сейчас черт знает что будет, а вы так вежливы, спокойны...— Он помолчал и вдруг добавил: — А следовало этому Циммерману надавать по морде... ей-богу! — И он сердито сплюнул.

Тулубьев отправился домой, пообещав зайти ровно в десять часов. Домом на Гогенлоэштрассе, о котором уже дважды упоминал гусар, стоило заинтересоваться.

Я вызвал дежурного.

— Попросите сюда американского гостя, мистера Першинга,— приказал я.

— А его, товарищ гвардии подполковник, нету в комендатуре. Он давно, наверно, больше часа, как ушел прогуляться. Очень жаловался на головную боль, когда уходил... порошок какой-то даже принял...

Итак, Тулубьев был прав: Манштейн и Першинг встретились. Но почему так открыто? Вероятно, потому, что у американца уже не хватало времени для действий. Ведь завтра корреспонденты уезжали.

Побрившись и переменив гимнастерку, я пошел в театр, куда на моей машине уехали корреспонденты и переводчица.

Вечер был тихий и ясный. На улицах виднелись немногочисленные прохожие. У ворот и подъездов сидели немки, дети с шумом и криками бегали по асфальту. Команда наших солдат человек в шестьдесят, отстукивая шаг, проходила через площадь, и старая солдатская песня «Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать» победно разливалась над притихшими домами взятого с бою немецкого городка.

У подъезда театра стоял наш автомобиль. В дверях, в полосе фиолетового приглушенного света, виднелись шофер и комендантский патруль, позади которых, кланяясь и делая широкие, приглашающие жесты, суетился директор кабаре.

— Где гости? — спросил я шофера.

— Во втором ряду.

Из окошечка кассы приветливо улыбалась, вся в золотых завитках, кудрявая головка. На ступеньках с восторгом на лице стоял администратор, широко распахнувший передо мной дверь.

— До чего вежливые стали фрицы, не то что перед вами, а и передо мной кадриль пляшут,— сказал шофер.— У меня мотор забарахлил в дороге, сразу, откуда ни возьмись, человек пять набежало. Не успел я и с машины сойти, а они уже капот подняли, в одну минуту исправили.

— А вы, Корнеев, не очень доверяйте фашистам. Враги врагами и остаются.

— Да это я, товарищ гвардии подполковник, сам понимаю, только не все же они такие, то были цивильные,

рабочие немцы. Помогли, попросили закурить, взяли по сигаретке и ушли.

— Все равно, товарищ Корнеев, никого не подпускайте к машине, не только цивильных, но даже и детей.

— Есть, товарищ гвардии подполковник! — ответил шофер, и в его глазах и голосе я почувствовал явное неодобрение. «Трусит подполковник»,— можно было прочесть в его взгляде, которым он обменялся с патрулем.

В зале было светло и многолюдно. В партере виднелись гимнастерки нескольких наших офицеров и солдат. Бесшумно скользили кельнеры с подносами, на которых пенилось пиво, бокалы с лимонадом, белым и красным вином. На сцене разыгрывался веселый скетч. Зрители дружно хохотали.

Сопровождаемый до приторности любезным администратором, я дошел до второго ряда и сел около Эльфриды Яновны, быстрым шепотом переводившей корреспондентам диалоги актеров. Два весьма посредственных жонглера проделывали наивные и плохо отработанные номера; после них, под шумные возгласы и аплодисменты зрителей, выбежала артистка в коротком, детском платьице, в белых носочках, с широко открытыми, ясными глазами. Она мелодичным голоском ответила на приветствия зрителей и, гоняя взад и вперед по сцене большой обруч, стала напевать какую-то детскую песенку. Я в бинокль посмотрел на нее. Это была женщина не первой молодости, но еще не потерявшая обаяния, к тому же ее платьице, носочки, коротенькие косички производили со сцены впечатление невинности и детского простодушия. Зрители, любимицей которых, по-видимому, она была, встретили ее восторженным ревом. Артистка, напевая детскую песенку о двух котятах, вдруг проскочила сквозь обруч и, продолжая петь, стала, играя с обручем, делать такие телодвижения, что я невольно отвел в сторону глаза, а корреспондент Рудин открыл от удивления рот. Мы молча переглянулись, но зрители, словно вспрыснутые живой водой, в восторге бурно затопали ногами. Женщины, хохоча и деланно отворачиваясь, махали артистке платками. Несколько букетов полетели на сцену. Девушки, красные от смеха и возбуждения, что-то кричали актрисе, а она все с тем же невинным лицом девочки, потряхивая заплетенными косичка-

ми, мелькая носочками и панталончиками, выделывала крайне двусмысленные и откровенные па, продолжая напевать простодушную песенку о двух маленьких котятах.

— Не удивляйтесь, это здесь ценится выше всего. Ни один актер или актриса не найдут себе признания и ангажемента, если в их репертуаре нет хотя бы двух-трех подобных номеров,— спокойно объяснила переводчица.

Нам было неловко смотреть ей в глаза, но, к счастью, артистка закончила свой номер и, раскланиваясь под вой и гул аплодисментов, убежала за кулисы.

Последним номером было появление толстого, одетого в шелковый цилиндр и фрачную пару артиста с моноклем в глазу и дымящейся сигарой в уголке рта. Он галантно и свободно раскланялся с публикой. Видимо, это был комик, общий любимец и приятель по крайней мере половины этого зала. Комик выступил с глупейшим, пошлым номером, снова вызвавшим горячее сочувствие зрителей.

— Вот и все! — поднимаясь с места, сказала переводчица.

— Да-а, удовольствие ниже среднего, если не сказать сильнее,— криво улыбаясь, сказал Миронов.— И вульгарно, и пошло, и черт его знает что еще!

В моем «опеле» могли поместиться только три-четыре человека, нас же вместе с переводчицей было шестеро. Ночь подходила тихая, ясная, такая, какие у нас на юге бывают в сентябре. Большая луна поднималась над домами. Мне не хотелось сразу же возвращаться к работе и делам.

— Кто хочет вместе со мной пешком прогуляться до дому? — спросил я.

Рудин и Миронов охотно согласились, а Запольский, переводчица и фотокор Володя сели в машину.

— А вы подождите здесь, товарищ гвардии подполковник, я быстро слетаю до комендатуры и через десять минут вернусь за вами,— сказал шофер, заводя мотор.

— Не надо, мы с удовольствием прогуляемся по этой благодатной теплыни,— ответил за меня Миронов.

И мы пошли.

Спустя минуту нас обогнал «опель», из которого показался Володя, помахавший нам рукой.

Позади еще шумела расходившаяся по домам толпа. Наступал запретный час. В десять часов движение населения по городу прекращалось. Откуда-то издалека тепло, задушевно и тихо донеслась до нас песня:

Ревела буря, гром гремел,
Во мраке молнии блистали...

Немецкий город молчал. Стихли шаги спешивших по домам горожан, а русская песня все еще звучала. Когда мы подходили к Кайзерштрассе, в конце которой находилась наша комендатура, я услышал торопливый топот. Мы остановились под деревьями, рассаженными вдоль тротуаров. Несколько солдат выбежали из-за угла, комендантские повязки темнели на их рукавах. Они остановились, озираясь по сторонам и вглядываясь вдоль пустынной улицы. В стоявшем впереди человеке я узнал Глебова.

— Кого ищешь, старшина? — выходя из тени, спросил я.

— Вас, товарищ гвардии подполковник,— даже не удивившись моему появлению, коротко сказал Глебов.— У нас чепе произошло, несчастье,— негромко произнес он.

— Что именно?

— Автомобиль ваш потерпел аварию. На всем ходу перевернулся, мотор взорвало...

— А люди? — в один голос спросили мы.

— Один из товарищей,— показывая на корреспондентов, продолжал старшина,— убит. Шофер тоже, наверно, помрет, а переводчица лежит без памяти, то ли оглушена, то ли испугалась. Сейчас их всех в госпиталь переносят, а я за вами побежал.

— Вы не знаете, кто именно убит из корреспондентов? — дрогнувшим голосом спросил Миронов.

— Тот, что помоложе, который коменданта «лейкой» снимал,— сказал Глебов.

— Володя,— тихо произнес Рудин.

И я вспомнил смеющееся лицо фотокора, когда он всего полчаса назад, обгоняя нас на «опеле», помахал нам рукой.

— Чем вызвана авария? — спросил я, убыстряя шаг.

— Говорят, что-то с мотором случилось. Сейчас техническая комиссия приступает к осмотру машины,— стараясь не отстать от меня, ответил Глебов.

Патруль и корреспонденты шли сзади. Мы добежали до комендатуры, у дверей которой столпились встревоженные происшествием солдаты.

Фотокор был убит сразу. Бедный юноша лежал на больничной койке, прикрытый белой солдатской простыней, и на разбитом виске темнели сгустки крови. Второй корреспондент, Запольский, отделался ушибом плеча и сложным вывихом кисти. Переводчица, потерявшая сознание, уже пришла в себя, но еще не могла говорить и тихо стонала. Шофер Корнеев лежал в отдельной палате с белым, заострившимся лицом, с ясным, строгим и сосредоточенным взглядом. Врач, осматривавший раненых, предупредил меня, что шоферу осталось жить не более получаса.

— От сильного удара произошло внутреннее кровоизлияние,— шепотом сказал он.— Сделали переливание крови, но оно не дало результатов.

Когда я присел возле него, Корнеев только повел глазами и снова устремил их в потолок. Я сказал несколько обычных в таких случаях успокоительных слов, но он, кажется, даже и не слушал их. Он порывисто дышал, в груди у него что-то клокотало, и простыня быстро и неровно поднималась, сползая на пол. Я поправил ее.

— Вот и... помогли... фрицы,— вдруг четким, свистящим шепотом произнес Корнеев.— А я еще... по... посмеялся над вами... Думал... испу... испугал... ся... подпол...— Он закашлялся и смолк.

В палате снова стало тихо. По спокойному, неподвижному лицу шофера поползла слеза.

— Прощай, Корнеев...— прошептал я, глядя на бледнеющее лицо шофера.

Он долго молчал, потом с усилием кивнул головой и закрыл глаза. Не оборачиваясь, я вышел из палаты.

Техническая комиссия обнаружила, что мотор был взорван каким-то неизвестным предметом малой формы, но большой взрывчатой силы.

Я сидел задумавшись за столом, когда внизу прогудела и остановилась машина.

— Здравствуйте, Сергей Петрович! — услышал я и увидел входившего в комнату Матросова.

Хотя я и знал, что он должен со дня на день быть здесь, но в эту минуту особенно обрадовался ему. Я крепко пожал руку полковнику, усаживая его в кресло.

— Мы одни? — спросил он.

— Одни,— запирая двери, ответил я.

— Я в курсе всего того, что происходит здесь. Генерал рассказал мне все. Первые два-три дня я только нахожусь тут, вы же продолжайте все так, как и делали. В штабе довольны вами, довольны работой Насса и госпожи Вебер.

Я посмотрел в его посвежевшее лицо, в спокойные глаза, и мне стало жаль, что я должен сразу же огорошить его известием о только что совершенном здесь преступлении.

— Андрей Ильич! Вы, наверно, еще не знаете о том, что сейчас погибли двое людей — московский корреспондент и ваш шофер Корнеев.

Матросов вскочил с кресла.

— А госпожа Вебер и второй корреспондент ранены,— продолжал я и подробно доложил ему о происшествии.

— А ведь покушение-то было задумано против вас,— заметил Матросов.— Машина эта ваша, никто другой ею не пользуется. Это значит, что осиное гнездо, которое вы потревожили, переполошилось и перешло в наступление.

В дверь постучали. Я отпер ее, и в комнату вошел корреспондент Миронов, сумрачный, со скорбным, потемневшим лицом.

— Не помешал беседе? — осведомился он, поклонившись коменданту.

— Наоборот, мы с полковником Матросовым обсуждаем детали катастрофы. Присаживайтесь,— сказал я, указывая рукой на кресло.— А это товарищ Миронов, корреспондент московской газеты, друг погибшего фотокора Володи.

Миронов пожал руку коменданту и сел, покачав головой.

— Бедный Володя! Целый год провел на фронте, на

самых позициях, снимал под огнем и атаки, и танки, и «катюши». И погиб вот так, от глупой, нелепой случайности...— сказал он.

— Это диверсия, а не случайность. И ваш товарищ погиб не нелепо, а, как солдат, от руки врага на боевом посту. Пока это все, что мы можем сообщить вам, но позже вы узнаете подробности диверсии,— сказал я.

Полковник молча и утвердительно наклонил голову.

— Диверсия? — удивленно повторил Миронов и, поняв по нашим лицам, что это правда, задумался.— Вот тебе и тихий, мирный городок, где покойно, как на курорте,— сказал он.— Я старший в нашей литературной группе и от ее имени прошу вас... Нам очень не хочется, чтобы Володя был похоронен в чужой, немецкой земле...— Он помолчал.— Завтра утром «АНТ» улетает обратно. Разрешите отправить на нем тело погибшего товарища?

— Хотя летчики и не подчинены мне, но думаю, что смогу сделать это,— ответил я.— Только прошу вас: о том, что было сказано здесь, никому — ни Запольскому, ни Рудину, ни Першингу, решительно никому — ни слова! Случайная катастрофа — не больше. Это поможет раскрытию виновных.

— Понимаю. Будьте спокойны,— сказал Миронов, уходя.

— Не расскажете ли мне подробнее о переводчице?— попросил я коменданта.— Сегодня вечером я предполагал поговорить с ней, но эта авария помешала беседе.

— Она художница, латышка, вышедшая в тысяча девятьсот тридцать девятом году замуж за довольно известного немецкого художника Вебера. Их связала общность профессий и любовь. Макс Вебер был веселый, жизнерадостный человек, больше похожий на парижских художников, нежели на прилизанных, ходивших по струнке гитлеровских маляров. Может, потому, что он был австрийцем, да и молодость свою провел в Париже. Это был человек, насыщенный кипучей энергией, очень смелый, остроумный и несдержанный на язык. Это и погубило его. Макс Вебер был убит гестаповцами в сороковом году. Обстоятельств его смерти я не знаю, о них вам расскажет сама Эльфрида Яновна, когда несколько придет в себя, но знаю, что труп мужа ей не был выдан для погребения, а она сама была выслана сюда, в Ша-

гарт, где и жила на положении поднадзорной. Здесь она сблизилась с семьями других ссыльных и немало помогла нашим пленным, работавшим у здешних богачей. Во всяком случае, в штабе армии отзываются о ней как о надежном, нашем человеке.

— Такое же впечатление создалось и у меня,— подтвердил я.

— Смерть мужа сделала ее антифашисткой, хотя сам Вебер был больше человеком богемы, фрондером, зло издевавшимся не столько над самим фашизмом, сколько над его вождями. Кстати, есть такие книги: «Гитлер в мировой карикатуре» и «Четыре Г», то есть «Геринг, Гиммлер, Геббельс и Гесс». Так вот, в этих книгах часть карикатур, очень злых и остроумных, принадлежит Веберу.

— Это и погубило его?

— Да, хотя свои рисунки он подписывал другим именем. И это вам тоже расскажет его вдова.

Затем я стал рассказывать полковнику о встрече Тулубьева с его бывшим хозяином — Манштейном и американцем.

— Об американце поговорим позднее. Пока скажу, что господин Джордж Першинг, он же Уолтер Бейли,— капитан американской разведки. Он и Трахтенберг — звенья одной и той же цепи. Завтра пощупайте дом на Гогенлоэштрассе, но только так, чтобы никто из живущих в нем даже и не почувствовал этого. Вызовите Насса и возьмите от него точные данные о жильцах и посетителях этого дома. Вы очень доверяете Тулубьеву? — вдруг спросил комендант.

— Очень, после истории с гробом, переводчицей и американцем я не доверяю никому, но тут все-таки доверяю. Пока что он оказал мне немало услуг, и я уверен, что он вскоре еще пригодится для дела.

— Конечно,— согласился полковник.— В нашем деле каждый полезный человек нам нужен, и мы не вправе отказываться от таких людей.

В коридоре послышались торопливые шаги. Вошел взволнованный Глебов, растерянно озираясь по сторонам.

— Товарищ гвардии подполковник,— забывая просить разрешение у коменданта, нервно заговорил стар-

шина,— еще чепе! Вашего знакомого... как его... Тулубьева нашли убитым.

— Убитым? — поднимаясь с места, спросил комендант.

— Так точно! Задушенный ремнем в развалинах валялся. Патруль на него набрел. Жалко человека! — с искренним сожалением сказал Глебов.— Хоть и из прежних, а хороший, чистый человек был папаша, убили... подлецы!

— Где убитый? — спросил я, подходя к Глебову.

— Сюда принесли.

— Несите его в приемную,— приказал комендант.— Вот вам еще одно доказательство...— задумчиво продолжал он.

Мы спустились в приемную. На диване лицом кверху, со свисшими к полу руками лежал бывший гусар Тулубьев. Я подошел к нему. Непонятное волнение охватило меня, видевшего смерть десятков более близких мне людей. Ведь все же это был бывший белогвардеец, случайный и мало знакомый мне человек. Так почему же я не отрываясь глядел в его начинавшее синеть квадратное лицо? Не потому ли, что несмотря ни на что, он был и остался русским человеком, до самой своей смерти сохранившим любовь к своему народу, к своей России?..

Среди ночи меня разбудил телефонный звонок. Звонил радист лейтенант Ваня.

— Товарищ Пятьдесят четыре! (Это был мой позывной номер.) Только что Страус отозвался. Сейчас посылаю вам его карканье.

— Жду! Высылайте связного,— приказал я и, освежив лицо одеколоном, оделся и стал ждать.

На стуле лежал «Штабс-капитан Рыбников», дочитать которого мне так и не давали события. Я взял книгу и углубился в нее, но не успел прочесть и четырех страниц, как в полуоткрытых дверях показалась всклокоченная голова Харченко.

— Что тебе? — спросил я, забавляясь комическим видом вестового.

— Чаю нагреть? — позевывая, спросил он и вдруг, вспомнив, доложил: — Там требуют вас.

— Кто «требуют»?

— Не могу знать. Солдат один дожидается, а як вы приказалы в хату никого не пущать, я и не допущаю.

— Молодец! Так всегда и делай,— еле сдерживая улыбку, серьезно сказал я.— Ну, пускай сюда твоего солдата.

Это был посыльный мотоциклист, привезший шифровку от лейтенанта.

Придвинув лампу, я стал вчитываться в радиограмму и расшифровывать ее.

«Вот уже 12 дней, как не имел от вас сведений. Были подозрительные попытки связаться с нами на условленной волне, но мы не отвечали из осторожности. Делаем последнюю попытку радировать в неурочный ночной час. Где С-41 и С-50? Где главное? Связались ли с помощью? Нас беспокоит неизвестность. Повторяю приказ: во что бы то ни стало выполните задание. Этого требуют интересы и будущее Великой Германии. Если в утренней передаче не сообщите известный номер и текст расписки, прием и связь прекращаем. Генрих».

Опять многозначительно и веско прозвучало напоминание об интересах Германии.

Я уложил бумаги в шкаф и, не гася огня, одетым прилег на кровать. Спать уже больше не хотелось. Все, что произошло в эти дни, медленно, словно страница за страницей, проходило передо мной. Но теперь все эти радиограммы, «искомое» и «главное» не были для меня тайной. Я уже твердо знал, что искал «Генрих» и зачем на помощь фашистам так стремительно примчался сюда американский разведчик. Я уже нашел тот винтик, ту самую маленькую деталь, благодаря которой вещи становятся по своим местам.

Полковник сидел полураздетый возле стола и курил.

— Я слышал, что вам доставили радиограмму, и ждал вас. Текст вы мне покажете после. Теперь поговорим об американце. Это прожженный разведчик. Нужно сказать, что мистер Першинг, он же Бейли, получил разрешение посетить только штаб армии, а не Шагарт. Как он очутился тут и как примазался к группе наших корреспондентов, сейчас выясняется. Завтра отошлите его в штаб армии, откуда он немедленно будет выслан в Моск-

ву, а оттуда в двадцать четыре часа вылетит из наших пределов в Иран или Турцию. Вы сразу стали не доверять Першингу? — спросил комендант.

— Наоборот. В первое время он даже понравился мне.

— Почему же вы перестали доверять ему? Что заставило вас насторожиться?

— Тот самый «коготь с лапы орла», о котором писал Ландау. Одна фраза захваченного радиста Циммермана. При допросе он крикнул: «Америка никогда не допустит этого!» Так вот, значит, откуда ждали спасения фашисты. Америка!! И тут мне вспомнились слова Генриха, теперь уже ясные для меня: «Помощь с востока». Кто может помочь фашистам с востока? Никто, кроме американцев! Эта мысль подтвердилась неожиданным появлением Першинга. Зачем ему нужен был этот маленький Шагарт, без войны, без штабов, без сенсаций? Зачем он как бы ненароком пытался узнать у старшины, обнаружены ли тут шпионы? Зачем он, ненавидя немцев, тайком встречался с ними? Почему его встревожило сообщение Глебова о «кладе»? Зачем ему нужно было одному, без провожатых, бродить по чужому, незнакомому городу? Почему его, газетчика, корреспондента, не интересовал замок Гинденбурга? Настоящий газетчик поступил бы иначе. Потому, что он приехал не за этим. Потому, что ему нужно было выкроить время и встретиться с Майером, с Манштейном, получить у них «главное» и, пользуясь нашим доверием к нему, как к корреспонденту союзной державы, спокойно вывезти бумаги в Москву, а там уже господа дипломаты переправили бы их с дипломатической почтой в Америку. Всего этого было совершенно достаточно, чтобы заинтересоваться им. Поняв это, я сделал то, что и должен был сделать,— стал следить за американцем, а сам написал генералу о своих подозрениях с просьбой выяснить, кто такой Першинг. Вот и все! — закончил я.

— Именно так и расценили в штабе визит этого господина в Шагарт,— сказал Матросов.

Он докурил папиросу и стал одеваться. Я положил перед ним на стол расшифрованную радиограмму. Только тут вспомнил, что, занятый трагическими происшествиями, даже и не спросил полковника о его здоровье.

— А вы напрасно поторопились сюда, Андрей Ильич, вам, вероятно, следовало бы еще отдыхать после операции.

— Зачем? Аппендикс вырезан благополучно, рана затянулась, швы сняли. Если б не генерал, я уже два дня как был бы с вами. Сейчас, дорогой Сергей Петрович, мы оба очень нужны здесь. Ну, я готов. Пойдемте, покажите мне захваченного радиста.

Мы спустились вниз. Часовой открыл дверь в подвал.

При нашем появлении Циммерман чуть приподнялся со своей койки.

— Сидите,— сказал я.

Фашист отвернулся и стал глядеть в сторону.

— Ну-с, надумали что-нибудь, Циммерман? — спросил я.

Спрошенный молчал.

— Вы продолжаете разыгрывать героя-одиночку, убежденного в том, что его действия спасут других. Ошибаетесь, других уже ничто не может спасти. Дело о замурованном архиве Генриха, а точнее — Геринга...

Циммерман испуганно повернулся ко мне.

— ...можно считать законченным. Все лица, кроме убитого Трахтенберга, арестованы. Остался лишь последний шаг для полного раскрытия всего этого дела, и, логически действуя, мы сами не сегодня-завтра найдем к нему ключ; но, сделав самостоятельно этот шаг, мы лишаем вас последнего шанса спасти себя. Подумайте над этим. Трахтенберг, как вы знаете, погиб, Манштейн арестован, Майер в наших руках, а ваша последняя надежда — американец Бейли...

Циммерман вздрогнул и ошалело посмотрел на меня, губы его дрожали.

— Да-да! Американец, капитан разведки Уолтер Бейли, которого с «востока» направили ваши заокеанские друзья, чтобы вывезти остатки архива Геринга...

— Вы все знаете,— упавшим голосом прошептал Циммерман.

— Не все, но почти все... Завтра же мы будем знать и остальное, и тогда это будет ваша безусловная смерть, Циммерман,— сказал я.

— В таком случае... что же я могу сказать вам... если все уже известно.

— Немногое, но спасающее вас. Где, в каком месте находятся архивы Геринга и что вывез в гробу Трахтенберг?

— Дайте мне полчаса времени подумать, и тогда, может быть, я скажу вам все,— тихо сказал Циммерман.

— Хорошо! Устроить вам очную ставку с Манштейном?

— Нет! — глухо сказал он.— Не надо, но, прошу вас, пока ни о чем не спрашивайте его...

— Почему?

— Когда вы получите мои показания и убедитесь, что они точны, не забудьте ваших слов...— он опустил голову и еле слышно договорил,— о шансе на спасение.

— Я подтверждаю вам это! — сказал молчавший комендант.— Мы зайдем завтра. Ваше спасение в ваших же руках, Циммерман.

Мы вышли из подвала.

Полежав немного на диване, я встал, умылся, выпил наскоро чаю и стал ожидать корреспондентов, сегодня улетавших в Москву.

Спустя полчаса Миронов и Запольский, уже готовые к отлету, зашли ко мне. Лица их были сумрачны и сосредоточенны. Забинтованная рука Запольского висела на перевязи.

— А Першинг спит? — спросил я.

— Одевается. Сейчас сойдет сюда. Он, кажется, остается. Как он, бедняга, потрясен этой ужасной катастрофой,— сказал Запольский.— Когда я утром стал рассказывать ему о смерти Володи, он чуть не прослезился. Переменился в лице, не хотел этому верить.

— Еще бы,— вздохнул Миронов,— смерть юноши...— Голос его дрогнул, и он замолчал.

В комнату вошел старшина.

— Товарищ гвардии подполковник, старшина Глебов по вашему приказанию прибыл.

— Здравствуйте, товарищ Глебов. Отправили тело на аэродром?

— Так точно! Гроб на полуторке и взвод для салюта отбыли.

— Ну, тогда отправимся и мы,— сказал я.

— А Першинг? — спросил Миронов.

— Он подъедет за нами. Старшина Глебов дождется и подвезет его.

Мы поехали на аэродром, расположенный километрах в девяти от города.

Возле большого самолета суетились механики, в последний раз проверяя машину. Воздух гудел от рева моторов, и мощная волна от работавшего пропеллера взметала пыль по сторонам.

Я поднялся по лесенке и положил на простой сосновый гроб цветы, которые прислал Насс. Потом я спустился вниз. Было уже больше восьми часов, и машина должна была взлететь через несколько минут. Вдалеке прогудел гудок, блеснул на солнце лак автомобиля, и в ворота въехала машина. Из нее вышел Першинг, сопровождаемый старшиной. Американец, всплеснув руками, бросился ко мне.

— Какой ужас! Неужели это правда? Бедный мальчик!

— Да! Война — суровая штука,— ответил я, глядя на часы.

До отлета оставалось еще минут пять, а коменданта все не было.

— Значит, обратно в Москву? — обращаясь к корреспондентам, спросил Першинг и тяжело вздохнул.— Бедный юноша... какая нелепая смерть. Я надеюсь, вы разрешите мне, господин полковник, пробыть здесь день-два, чтобы закончить очерки.

— Вам, мистер Бейли, придется ехать в штаб армии,— раздался позади меня голос.

Я оглянулся. Комендант стоял возле и холодным, спокойным взглядом смотрел на американца.

— Как вы сказали? — отступая назад, спросил Першинг.

— Я сказал — Бейли, могу добавить — капитан Уолтер Бейли.

Старшина и двое солдат шагнули из рядов и стали по бокам американца. Корреспонденты, раскрыв от изумления глаза, смотрели на нас.

— Я... арестован? Если это так, я протестую. Вы не имеете права...

— Зачем арестованы? Нет, просто вам следует ехать в штаб армии, где, собственно говоря, вы и должны быть. Зачем вам Шагарт? Тут скверный климат, господин Бейли, вам надо отправляться восвояси, туда, где для вас поздоровее воздух,— продолжал комендант.— Посадить его в полуторку! — приказал он.— Двух конвойных до штаба, чтобы в пути кто-нибудь не обидел дорогого гостя! Старшина Глебов, вам поручаю сдать этого господина лейтенанту Кравцову, который немедленно же отвезет его в штаб. Возьмите об этом расписку.

— Есть отвезти и взять расписку, товарищ гвардии полковник! — выкрикнул старшина.— А ну, прошу в карету! — сказал Глебов.

Двое солдат сели по бокам насупившегося Першинга.

Глебов снял шапку и быстро взбежал по лесенке в самолет. Через секунду он, все еще держа в руках ушанку, сошел вниз. Глаза его были строги, лицо грозно. Молча, ненавидящим взором он посмотрел на американца.

— Постарайтесь, старшина, проделать это поскорее. Вы будете мне нужны сегодня,— сказал я.

— Есть быть в готовности, товарищ гвардии подполковник! — сказал Глебов, усаживаясь рядом с шофером.

Полуторка ушла.

Корреспонденты вышли из оцепенения.

— Неужели... он? — переводя дух, спросил Миронов.

— Да. И еще некоторые!

Запольский провел здоровой рукой по лицу и сказал с горечью:

— А всего пять минут назад он с такой скорбью говорил о Володе... Лицемер! Убийца!

Полковник взглянул на часы. Зарокотали моторы, корреспонденты вошли в самолет. Взвод сделал три коротких залпа, и «АНТ», сорвавшись с места, побежал по дорожке, потом оторвался от земли, взмыл и, сделав прощальный круг над аэродромом, взял курс на Москву.

Вернувшись с аэродрома, я стал ожидать Насса. Вскоре он пришел. В коротких прочувствованных словах Насс выразил свою скорбь о постигшем моих гостей несчастье.

— Это и моя вина, господин подполковник. Я должен

был предвидеть возможность злодеяния и своевременно пресечь его.

— Что делать, дорогой Насс! Это наша общая вина. А наша общая обязанность — найти и покарать негодяев.

— И мы сделаем это! — коротко сказал Насс.

Домовая книга и справки из бургомистрата о доме по Гогенлоэштрассе, которые принес Насс, содержали лишь общие сведения. Дом № 28 населен разношерстной публикой — от мелкого служащего до вдовы генерала, владелицы бир-халле и дома свиданий. Два адвоката, семья полковника, модистки из ателье мод, директор местного индустриального училища. Черт знает, где и у кого мог спрятаться этот Манштейн. Я задумался. Насс выжидательно молчал.

— Что это за дом свиданий?

— Привилегированный публичный дом, в котором насчитывается около двадцати девушек. Заведение зарегистрировано в бургомистрате. Его хозяйка, вдова генерала фон Таубе, кажется, даже приходила к вам.

— К нам?

— Да, во всяком случае она сослалась на разрешение коменданта, данное ей в устной форме.

— Скажите — это не полная, представительная дама?

Насс улыбнулся.

— Это она. По-видимому, светские манеры нужны и в ее деле.

— Кто бывает у нее?

— В пивной — все. И горожане, и русские солдаты.

— А наверху?

— Разные люди. Проследить за ними трудно. Хотя пивная и находится в первом этаже, а заведение в четвертом, но они соединены друг с другом двумя ходами. Помимо черной лестницы, есть и еще один особый ход, ведущий через садовую беседку в ворота.

— А это зачем?

Насс снова улыбнулся.

— Ведь это заведение посещают и такие лица, которым неудобно, если их встретят там. Отцы семейств, деятели города, а также дамы и девицы, которые приходят туда со своими возлюбленными на короткий срок.

— Понятно! Кем был генерал Таубе, муж этой почтенной дамы?

— Не знаю. Она из Баварии и в Шагарте, кажется, сравнительно недавно.

— Откуда у вас такие подробные сведения обо всем этом?

— По долгу службы. Ведь я занимаю должность начальника отдела внутреннего порядка при бургомистре. Таким образом, функции полиции лежат на мне.

— Вы женаты, товарищ Насс?

— Да, вернее, был... После моего ареста в сорок втором году семья была выслана в район Юлиха, и с тех пор я ничего не знаю о ней.

— Я хочу, чтобы вы помогли мне. Надо проникнуть в это заведение. Мне лично нельзя. Мое появление вызовет там переполох и подозрение.

— И мое тоже,— сказал Насс.— Горожане Шагарта слишком хорошо знают меня, чтобы поверить такому поступку. Я понимаю вас. Возникла необходимость детально познакомиться с заведением госпожи фон Таубе, и это надо сделать без шума?

— Дайте мне подробные сведения о генеральше и о Манштейне.

Насс посмотрел на часы и сказал:

— Я принесу их вам через два часа.

Он ушел. Было уже половина десятого. Наступал срок, назначенный фашистским радиоцентром, но я ничего не мог ответить на их вопрос, по-прежнему не зная тех тайных условных знаков, отсутствие которых вызвало подозрение фашистского центра. Вошедший Глебов оторвал меня от невеселых дум:

— Товарищ гвардии подполковник, вам письмо от Эльфриды Яновны.

Я вскрыл конверт. В нем было только три строчки: «Чувствую себя хорошо. Если можете, приходите сегодня, и мы поговорим обо всем, чему помешала эта ужасная катастрофа. Э. Вебер».

— Кто принес записку?

— Я принес. Пока вы были на аэродроме, я заходил справиться о здоровье переводчицы. Доктора говорят — завтра выпишется,— ответил Глебов.

— Слушайте, старшина! Вы, случаем, не бывали в здешней пивной на Гогенлоэштрассе? — осененный внезапной мыслью, спросил я.

— Как не бывал, не раз в патруле при обходе бывал, да и так случалось. А что?

— А наверху, повыше, не бывали?

Глебов удивленно взглянул на меня.

— Никак нет, по службе не приходилось, а так, из баловства, не заходил.

— Ну что ж, это похвально, но на этот раз придется, старшина, побывать, и это уже не только по службе, но и по приказу.

И я рассказал ему мой проект.

— Вас знают в пивной?

— Так точно . И хозяйка знает и девушка, там такая есть, подавальщица Марианна.

— А не встречали ли вы там человека с густыми бровями, хромающего на левую ногу?

Старшина отрицательно покачал головой, задумался и спросил:

— Это не того, что на кладбище ехал?

— Того самого.

— Нет. А разве он там?

— Не знаю, но есть предположения, что там. А эта Марианна — ваша симпатия?

— Нет, просто так, глазки строит да ухмыляется.

— А как же Эльфрида Яновна на это посмотрит?

Глебов вздохнул.

— Хороша Маша, да не наша. Эти разные Марианны — барахло: вежливо улыбаются да глазки строят, а сами нож за пазухой держат,— а Эльфрида Яновна — другое...

— Что же другое?

— Настоящий человек. И ее ничем — ни страхом, ни лаской — не купишь.

— Ну что ж, по-моему, вы не ошибаетесь,— ответил я.— Передайте Эльфриде Яновне, что зайду к ней после обеда, а вы загляните ко мне вечером. Может быть, вам сегодня же придется по службе подняться и повыше пивного зала.

Насс пришел ровно через два часа. Не торопясь он достал из портфеля блокнот и прочел мне сведения, полученные им за это время.

— «Барон Карл фон Манштейн, сводный брат баронессы фон Фокк, первой жены Геринга, уехал из Шагар-

та в провинцию Ольденбург в начале декабря 1944 года. Барон — владелец четырех домов в городе, отличной скаковой конюшни, хозяин, участник и акционер ряда предприятий города и его районов. Активный фашист и доверенное лицо Геринга по Южной Силезии. В 1938 году ездил на полгода в Англию, останавливался у герцогини Астор, встречался там неоднократно с Мосли. Крепко связан экономическими и дружественными связями с американскими фирмами Рокфеллер и Дюпон. В июле 1944 года Геринг посетил Шагарт и провел у фон Манштейна полтора дня.

Анна-Мария Таубе, вдова генерала, умершего в 1938 году. Хозяйка бир-халле и дома свиданий на Гогенлоэштрассе. Была тесно связана с бежавшей администрацией и офицерами гарнизона. «Дело» поставлено широко. Посещается разнообразной публикой. Пивная закрывается в восемь сорок пять, а заведение в восемь часов вечера, хотя предполагается, что в комнатах четвертого этажа остаются посетители на ночь.

Девушек — девятнадцать. Все зарегистрированы у бургомистра. Есть предположение, что девушек больше, но официальных данных об этом нет.

Дом номер тридцать шесть принадлежит некоему Циммерману, фашисту, покинувшему город больше трех месяцев назад...»

— Как зовут Циммермана?

— Конрад. Он родной...

— ...племянник рейхсмаршала Геринга,— закончил я.

— Вы знаете это? — удивился Насс.

— Да, и мне кажется очень странным, что все эти господа, связанные родством и делами с Герингом, не уехали, не бежали отсюда еще задолго до нашего прихода, а наоборот, слетелись сюда.

— Разве Конрад фон Циммерман здесь?

— Да! Он находится недалеко отсюда — сидит внизу, в подвале.

Насс не без уважения взглянул на меня.

— Как вы думаете, зачем сошлись сюда эти люди, вместо того чтобы как можно дальше бежать от нас? Что может интересовать их настолько сильно, что они не боялись рискнуть головой?

Насс молча и внимательно слушал.

— Золото, деньги и богатства, впопыхах оставленные здесь и спрятанные где-нибудь в Шагарте?

Насс отрицательно покачал головой.

— Эти люди очень богаты. У них и на западе Германии имеются поместья и дома, и к тому же они успели своевременно вывезти свои ценности.

— Может быть, организация диверсий и шпионаж?

— Тоже нет. Разве эти светские, богатые люди сумеют быть хорошими шпионами?

— Тогда зачем же они здесь?

Насс задумался, потом сказал:

— Я думаю, что они прибыли сюда по приказу их родственника и главаря Геринга и что в деле, из-за которого они рискуют головой, помимо всего прочего, лично заинтересован Майер.

— Кто? — переспросил я.

— Майер,— повторил Насс и улыбнулся.— Да, ведь вы не знаете, что у нас в Германии уже четыре года как народ называет Геринга Майером.

— Почему?

— А потому, что, когда нацисты двинули свои полчища завоевывать мир, Геринг, выступая по радио, торжественно заявил немецкому народу: «Мы сильнее всех в воздухе. Если хоть одна вражеская бомба упадет на территорию Германии, зовите меня не Герингом, а Майером».

— А что значит «Майер»?

— Да просто самая распространенная, рядовая фамилия, так, как у вас...

— Иванов,— подсказал я.

— Вот именно. Ведь и этот сбежавший фашист, к которому наведывался американец, был Майер. Ну, а когда бомбы посыпались на наши города, народ потихоньку стал называть Геринга Майером.

Я засмеялся и посмотрел в окно на унылые развалины, высившиеся в разных концах Шагарта.

— А какое отношение имеет исчезнувшая картина Вебера к этому делу?

— Не знаю. По-моему, никакого, хотя об этом вам следовало бы поговорить с фрау Вебер. Я лично, как искусствовед, изумлен, что вокруг талантливой, но и только талантливой, картины создан какой-то ажиотаж.

— Так зачем же фашисты похитили ее?

— Не понимаю. Мне кажется, она им не нужна,— сказал Насс.

Я с большим удовлетворением слушал его слова. Вывод, который я давно сделал сам, теперь подтверждался в беседе с этим умным и рассудительным человеком. Конечно, зачем нужна была фашистам эта, в конце концов, посредственная картина? Да будь она даже великим произведением искусства, принадлежи кисти Леонардо, Гойи или Тициана, никто не послал бы почти на верную смерть стольких видных людей из-за картины. Но тем не менее картина была украдена ими. Насс не знал всех подробностей дела, но ведь я-то знал, что за картиной дважды приходил некий Гецке, что была подделана подпись коменданта и что переводчица помогла украсть картину...

— Вы знали Вебера? — перебивая ход своих мыслей, спросил я.

— Нет. Только его работы. Знаю, что он был талантливый, независимый, но вместе с тем, и неуравновешенный человек. Это был художник, которого интересовал не столько самый объект, сколько его внешние формы. Таким же он был и в жизни, и нас не удивило ни то, что его убили в гестапо, ни то, что он писал с натуры Геринга.

— Геринга?

— Да. Разве вы не заметили, что этот тучный, холеный вельможа, стоящий рядом с Фридрихом и Вольтером,— Геринг?

— То есть как Геринг? Восемнадцатый и двадцатый век? — ничего не понимая, сказал я.

Насс рассмеялся и развел руками.

— О-о, для нацистских господ подобные пустяки не имеют никакого значения. Дело в том, что худородный и мало кому известный капитан Геринг, сын незначительного колониального губернатора, сделав возле Гитлера свою умопомрачительную карьеру, не захотел остаться просто Герингом, и по его приказу ученые геральдисты не только состряпали ему стародворянское происхождение, но и нашли доказательства, что Геринги якобы некогда были владетельными баронами, о мощную руку которых еще во времена феодальных княжеств и рыцарских орденов опирались папы и короли. Доктор исторической геральдии и магистр германского права Фукс даже дока-

зал, что Геринги по женской линии происходят от самого Генриха-Льва... Ну, после этого открытия остальным уже ничего, собственно, не стоило окружить Фридриха, Фридриха-Вильгельма и остальных германских императоров воображаемыми предками нашего Майера...

— Так, значит, вот для чего была написана эта картина!

— Да. И Макс Вебер, по-видимому, прельстившись солидным гонораром, легко и очень быстро написал этот самый «Выезд Фридриха Второго из Сан-Суси». Но, человек смелый, острый на язык и неосторожный, он одновременно с этим зло издевался над Герингом и высмеивал его в своих шутках и остротах. Мало того, по рукам стали ходить остроумные карикатуры Вебера о первобытной обезьяне, от которой якобы и начали свой род Геринги. Немало издевался он и над страстью рейхсмаршала к орденам и лентам. Словом, летом тысяча девятьсот сорокового года художник был взят в гестапо, а его жена выслана сюда.

Так вот почему мне показалось таким знакомым это пухлое, выхоленное лицо с брезгливо опущенной губой. Ведь я сотни раз видел на карикатурах Ефимова, Моора, Кукрыниксов и Дени эти круглые, заплывшие жиром черты. Как же мне сразу не пришло это в голову?

— Как видите, господин подполковник, картина эта, судя уже по тому, что она находилась здесь, а не в замках Геринга, не представляла собой ценности, иначе она не висела бы в вашей приемной.

Это я понимал и сам, но тем не менее это еще ничего не объясняло.

— Где находятся дома Манштейна?

Насс снова заглянул в свой блокнот.

— Один — на Ксантинерштрассе, другой, снесенный английской бомбой, был около вокзала, третий — на улице Гинденбурга и четвертый, наполовину разбитый,— недалеко отсюда.

Он встал и, подойдя к окну, показал на стены разрушенного дома.

— Это там, где обнаженные этажи с портретами на стенах?

— Да.

— Не знаете ли, в каком из домов Манштейна останавливался Геринг?

— Как раз в этом. Он занимал весь второй этаж.

— Когда был разбит этот дом?

— В декабре тысяча девятьсот сорок четвертого года,— снова посмотрев в книжку, ответил Насс.

— А вы предусмотрительны! — засмеялся я.

— Что делать! Я искусствовед и привык к точным и ясным определениям, сейчас работаю начальником полиции, это уже само говорит за себя, к тому же тюрьма научила меня быть предусмотрительным и заранее знать, о чем со мной будут говорить. Она отшлифовала во мне искусствоведа.

— И долго вы сидели?

— В общей сложности четыре с половиной года.

— Не знаете ли вы, производились ли раскопки этого дома?

— Кажется, нет. У нас слишком мало рабочих рук, и бургомистрат еле справляется с расчисткой улиц, чтобы восстановить движение... Хотя, позвольте...— вдруг, что-то вспоминая, сказал Насс,— только день назад ко мне обратилась группа живущих в этом районе граждан с просьбой свалить и убрать нависшие над тротуаром разрушенные стены. Они даже выразили желание, если у нас сейчас нет такой возможности, самим сделать это.

— Чем мотивировали они столь похвальное желание?

— Тем, что их дети, играя и бегая внизу, подвергаются опасности. Родители боятся обвала.

— Вы не помните, кто именно приходил к вам с такой просьбой?

— Нет, но их фамилии записаны мной. Разрешите, я через час сообщу вам список.

— Вы понимаете меня с полуслова, дорогой Насс, но боюсь, что адреса и фамилии этих образцовых и чадолюбивых родителей ничего не скажут нам...

— Вы думаете?

— Я уверен в этом.

— Но, господин подполковник, ведь они же явятся ко мне за разрешением.

— Те, кто явятся, будут наивными, ничего не подозревающими немцами, и они начнут работать, но за их спиной будут те, которых беспокоят не дети, играющие на

асфальте, а нечто другое. Прошу вас задержать выдачу разрешения на день-два, пока я не извещу вас. Само собой разумеется, никто не должен догадаться об этом. Вечером, около шести часов, зайдите ко мне и принесите список.

— Будет исполнено.

— И последнее, что вы сделали с домом номер тридцать шесть на Гогенлоэштрассе?

— Уже повел наблюдение за ним.

— Благодарю вас. Пока это все, что нужно. До вечера, товарищ Насс!

— А теперь, товарищ подполковник, один вопрос. Американец изолирован?

— Да. Выслан отсюда.

— Очень хорошо. Одним меньше.

Я остался один. Было тихо. Через открытое окно слабо доносились голоса. Я закрыл окно, запер дверь и пошел в госпиталь к переводчице.

Побледневшая, в строгом больничном халате, с выбивающимися из-под косынки волосами, она показалась мне еще привлекательнее, чем раньше.

— Я так рада, что вы пришли. Мне уже казалось, что вы меня позабыли,— сказала она.

— Ну как ваше самочувствие? — совсем по-докторски спросил я.

— Хорошо. У меня был сильный ушиб головы и, конечно, немалый испуг,— улыбнулась она.— Но сейчас все кончилось, и завтра я возвращаюсь к работе.

— Что так быстро? Здесь скучно?

— Нет, вовсе не скучно. Меня навещают и знакомые и друзья. Просто пора выходить отсюда.

Мы прошлись по аллее густого, довольно запущенного сада и, подойдя к одинокой скамейке, сели на нее.

— Теперь я к вашим услугам, господин подполковник. Вы хотели поговорить со мной о моем муже, обо мне и о картине.

— Не надо, Эльфрида Яновна, я все уже знаю, и комендант и товарищ Насс полностью информировали меня. Мне только нужно уточнить несколько неясных для меня деталей дела.

— Пожалуйста!

— Откуда вы знаете Циммермана?

— По Риге. Он учился в немецкой школе, а я в гимназии святой Луизы. Мы встречались и даже танцевали на гимназических балах. Затем я потеряла его из виду, и, когда мой муж начал писать эту картину, я, бывая с ним на вилле Геринга возле Потсдама, встречала там Циммермана, уже ставшего доктором прав и важным господином.

— За что убили вашего мужа?

— По приказу Геринга. Геринг, став вельможей и вторым после Гитлера лицом в Германии, пожелал убедить мир в своем аристократическом происхождении. В тысяча девятьсот тридцать девятом году в Ней-Бабельсберге был даже выпущен фильм «Кровь предков», который доказывал, что Геринг происходит от Карла Великого. Мой муж был вызван к Герингу, и рейхсмаршал предложил ему написать картину. Муж согласился. Была найдена тема. Сначала Макс охотно писал картину, но потом бесконечное бахвальство, кичливость и самовлюбленность рейхсмаршала вывели мужа из себя. «Я не могу больше писать этого кровавого шута, этого нацистского Нерона»,— как-то вырвалось у него. Картина была закончена, художнику был предложен второй заказ, но он отказался. Это удивило Геринга, он вызвал Вебера к себе, но мой муж, сказавшись больным, не поехал к нему. Геринг рассвирепел, а когда он узнал, что автором многочисленных карикатур был Макс, его участь была решена. Его убили, а меня после ряда угроз и издевательств выслали сюда под надзор политической полиции.

— Очень ценил Геринг картину вашего мужа?

— Нет. Настолько мало, что после ареста Вебера эта картина была отдана кому-то из его близких.

— Благодарю вас, Эльфрида Яновна, пока все. Желаю скорейшего выздоровления и жду вашего возвращения.

Переводчица опустила глаза и сказала:

— Думаю, что завтра буду на работе.

Она проводила меня до калитки.

— Итак, наши выводы подтверждаются с самых различных сторон.

— Вот, а еще говорят, что Шерлоки Холмсы переве-

лись на свете,— засмеялся комендант.— Вы, дорогой Сергей Петрович, как-нибудь опишите всю эту историю с пропавшей картиной и трагической кончиной Володи и Тулубьева.

— Непременно, но сначала мы дадим этой истории соответствующий конец, как у Конан-Дойля, когда порок наказан, преступники пойманы и добродетель торжествует.

— И когда вы думаете создать этот конец? — с любопытством спросил полковник.

— Может быть, через день-два, но никак не позже трех суток,— сказал я, вставая.

— Куда вы? Скоро обед,— остановил меня Матросов.

— В подвал. У Циммермана было достаточно времени для размышлений. Надеюсь, что сейчас мне удастся проверить мои выводы о заданиях шпионской группы, хотя я совершенно убежден, что не ошибся. Не хотите ли со мной?

— Нет. Беседуйте,— улыбнулся Матросов.

— Ну, уважаемый фон Циммерман, я пришел за ответом.

Арестованный молча взглянул на меня.

— Но, прежде чем получить ответ от вас, скажу, что сегодня под утро мы произвели обыск квартиры номер двадцать восемь, где живет генеральша Таубе.

Циммерман весь посерел.

— Да-да! В вашем доме по Гогенлоэштрассе и захватили...

— Не надо... — с трудом выдавил арестованный.

— Как видите, шансы ваши все уменьшаются.

Немец опустил глаза.

— Помните, что мне лично наплевать на судьбу фон Циммермана, фашиста и диверсанта, но я обещал вам спасти вас, если будет ваше полное признание, и об этом же просила Эльфрида Вебер, с которой вы когда-то танцевали на гимназических балах. Если бы не она, я, возможно, и не пришел бы сейчас к вам, герр Циммерман, так как все, что нам нужно, уже почти известно.

Арестованный не отвечал. Он сидел все в той же позе, с поникшей головой.

Я решил дать ему некоторое время для раздумья.

— Это мой последний приход сюда, если только вы сами не поможете себе, Циммерман,— уходя, сказал я.

После обеда я пошел прогуляться по Шагарту. Мелкие лавочки, парикмахерские, галантерейные магазины бойко торговали, и озабоченные немки, стуча каблуками, ходили по улицам. Я наугад зашел в один из магазинчиков, просто для того, чтобы посмотреть чем там торгуют. Почтенная фрау, сухая и суетливая, без слов выложила передо мной бритвенные лезвия, пудру, расчески, какую-то мазь для ращения волос и, торжественно подмигивая, показала из-под полы запечатанную бутылку коньяку. Я рассмеялся и объяснил озадаченной немке, что зашел только за пудрой. Так я прошел несколько улиц. Везде было одно и то же. Возле бир-халле прохаживался по тротуару комендантский патруль. Пройдя еще несколько улиц, я направился к себе. Вот и дом, вернее, половина дома Манштейна, в котором некогда гостил Геринг. Английская бомба словно отгрызла всю переднюю часть здания. Расколовшиеся стены, обломки крыши, засыпанные землей и известкой, свернувшееся железо балконов. Над этим хаосом свисали погнувшиеся балки, еле удерживавшие уцелевшую половину дома. В обнаженных этажах разорванного пополам здания стояла мебель, на стенах висели портреты. Большая, писанная красками голова сатира, столик с кружевной свисавшей скатертью, рояль, силой взрыва отброшенный в угол.

Я не спеша свернул к комендатуре.

Вечером пришел Насс. Я посмотрел список. Все это были обыкновенные, ничего не значащие фамилии.

— Зайдите ко мне сегодня около двенадцати часов, возможно, мы с вами проведем бессонную ночь.

Насс улыбнулся. Мне все больше и больше нравился этот скупой на слова, деловой и очень точный человек. Я сказал ему об этом. Насс коротко ответил:

— Мы люди будущей Германии. Рот-фронт! — поднимая по-спартаковски кулак, попрощался он.

В седьмом часу Глебов пошел к фрейлейн Марианне.

— Надо, чтобы вы остались на ночь в этом вертепе. Поговорите с вашей знакомой, притворитесь пьяным, этаким развязиым, простым и глупым парнем.

— Это нетрудно,— засмеялся старшина.

Однако не прошло и часа, как старшина вернулся обратно с обескураженным, смущенным видом.

— Осечка, товарищ гвардии подполковник,— сказал он.— Эта самая подавальщица, Марианна... не хочет она,— старшина помотал головой,— то есть оиа иичего, согласна, но в этом доме оставаться не согласна...

— Ничего ие поиимаю! Согласна, не согласна... Разъясните толком, старшина.

— Ну, ко мне или к себе она идти согласна, а вот иаверх, иа четвертый этаж,— даже побелела вся... никак ие хочет.

— Может, вы ее ие поияли?

— Поиял, товарищ гвардии подполковиик. Такие дела и без длииных слов понятиы: «Ферботеи»,— говорит,— не велеио, и точка!

— Кем ие велено?

— А кто ее зиает, тут я уж действительио ие разобрался.

— Н-да... Интересио!

— А что, товарищ гвардии подполковиик, если взять да просто облаву сделать, так как этого радиста ловили? Окружить, да и ворваться виутрь, а во дворе и иа улице караулы поставить. Никто ие уйдет.

— Это последиее средство, старшиие. Если уж иичего не остается, тогда за это возьмемся. Вот что, старшина,— сказал я, подумав,— идите сейчас же к своей фрау и приведите ее сюда, ио так, чтобы она даже и ие знала, куда ведете. Найдите там разиые слова и способы... Словом, ие мие вас учить, как ухаживать за девушками.

— Есть! — уже из-за дверей весело рявкнул Глебов.

В ожидании событий я прилег и вновь прииялся за книгу, ио, по-видимому, эту повесть мне не суждено было дочитать до конца.

— Товарищ гвардии подполковиик! Арестоваииый...— раздался за дверью голос.

Я вскочил, уронив книгу.

— ...просит вас к себе. Очеиь, говорит, надо,— приоткрывая дверь, доложил начальник караула.

— Напугал, черт тебя возьми, я уж думал, что он бежал или повесился.

Сержант улыбнулся.

— Где ему бежать, за ним такое наблюдение устроено, чихнуть и то невозможно. Как вы ушли, он с тех пор все сидел губы кусал да раскачивался, потом ка-а-к упадет на койку — и головой о подушку... Минут десять бился, потом затих. Я даже войти хотел, думал — сомлел немец, но потом он встал, стал быстро так по камере бегать, с собой разговаривать, а сам руками машет. Походил-походил, присел к столу, долго чего-то думал, потом постучал в двери и чисто так по-русски сказал: «Попросите господина подполковника сюда. Скажите — очень прошу прийти».

— Ну, раз очень, надо идти,— застегивая пояс, сказал я.

— Господин подполковник, вы имеете право не верить мне, я дал вам к этому все основания,— сказал Циммерман,— но теперь я ничего не скрою, только, прежде чем я начну свои показания, вызовите сюда Фриду...— он поправился,— фрау Эльфриду Вебер.

— Зачем это? — сухо спросил я.

Циммерман тихо сказал:

— Если она повторит ваши слова о том, что она просила за меня, я ничего не скрою.

Я внимательно посмотрел на него и понял, что он не врет.

— Хорошо. Только вам придется подождать госпожу Вебер, пока ее не привезут сюда из больницы.

— Из больницы? — переспросил Циммерман.— Почему из больницы?

— Потому, что ваши друзья устроили покушение на меня. Я уцелел, но госпожа Вебер, ехавшая вместе со мной в автомобиле, получила сильные ушибы.

— И она все же просила обо мне? — в волнении спросил Циммерман.

— Да.

— Господин подполковник, снимайте допрос,— глухо сказал арестованный, опускаясь на табуретку.

Я не перебивал Циммермана, успевая лишь набрасы-

вать стенограмму. Теперь я видел, что он не утаивал ничего.

— Да, нам было приказано рейхсмаршалом вернуться сюда и во что бы то ни стало увезти архив и его переписку, которую мы бросили второпях. Это было нашей обязанностью, но мы не выполнили ее.

— Почему?

— Потому, что наступление русских было стремительным и внезапным, и еще потому, что нас, близких к Герингу людей, здесь было несколько и каждый понадеялся на другого. Я лично был уверен, что барон Манштейн увезет бумаги, но барон в последние минуты эвакуации не смог сделать этого.

— Что вы тогда переправили в гробу из Шагарта?

— Дневники рейхсмаршала, его личные письма и часть переписки с фюрером и Гессом, касающуюся нападения на вашу страну. Но всего отправить мы не смогли. Самое главное — это документы о тайных переговорах в Швейцарии между князем Гогенлоэ, фигурировавшим под вымышленной фамилией Паульс, и Алленом Даллесом, братом Фостера Даллеса, скрывавшимся под псевдонимом Балла, затем материалы о переговорах, происходивших в Анкаре, Стокгольме и Лиссабоне...

— А вы не лжете?

— Нет, я говорю правду,— упрямо сказал Циммерман.— Как видно, вы даже и не представляете себе, какой огромной ценности документы попадают вам в руки. В оставшейся папке, кроме того, основная переписка рейхсмаршала с американскими финансистами Рокфеллером, Морганом и Дюпоном... — Фашист замолчал и потом сдавленным голосом добавил: — Стенограммы секретных совещаний о подготовке сепаратного мира.

— С кем велись эти совещания? — не веря своим ушам, спросил я.

— С Америкой и Англией. Вернее, с частью американского правительства и сенаторами, врагами СССР. В частности, и о беспрепятственном вступлении американских войск в Берлин.

— Зачем?

— Чтобы помешать занятию его вашими войсками.

— Слушайте, Циммерман! Вы же понимаете, что вы говорите о наших союзниках...—не сдерживаясь сказал я.

— Я прекрасно отдаю себе в этом отчет, господин подполковник. Но все, что я говорю, правда. Там имеется соглашение об этом, подписанное, с одной стороны Алленом Даллесом, с другой — Геббельсом и Кребсом. Поэтому прошу учесть всю важность и ценность моего признания, прошу вас спасти мою жизнь.

— Все будет учтено. Продолжайте дальше.

— Есть там и переписка Гесса с англичанами — с леди Астор, Мосли и другими видными, влиятельными людьми. Часть ее увезена, но кое-что еще осталось в городе.

— Кто сопровождал архивы до Берлина?

— Фон Трахтенберг.

— Очень был рассержен Геринг, узнав о брошенных архивах?

— Да. Настолько, что приказал всем тем, кто должен был эвакуировать их, немедленно вернуться обратно в Шагарт и увезти или уничтожить их. Ведь он же понимает исключительную важность для вас этих архивов.

— Сообщите мне текст и номер расписки радиограмм.

— «Сельдь» и «тысяча восемьсот девяносто». Сельдь по-немецки — «Херинг», а тысяча восемьсот девяносто — год рождения рейхсмаршала.

— Кто такая «переводчица Надя», служившая в комендатуре?

— Ирма Леве из Союза гитлеровской молодежи, прибывшая сюда из Польши.

— Генеральша Таубе?

— Она выполняет роль «почтового ящика», у нее же и конспиративная квартира организации.

— Кто возглавлял вашу группу?

— Фон Трахтенберг, а в его отсутствие — Манштейн.

— Как не пришло в голову Герингу, что посылать обратно в Шагарт Манштейна, Трахтенберга и вас, которых здесь знают все, равносильно смерти?

— Вначале Геринг хотел просто расстрелять всех, но потом передумал и послал нас сюда обратно.

— Кто такой агент С-41?

— Это доктор фон Гредих, один из тех, кто вместе

с Трахтенбергом перевез в Берлин документы, которые были сложены в гробу.

— Увезенные документы были там же, где и остальные бумаги Геринга?

Циммерман посмотрел на меня и спокойно сказал:

— Я вижу, что вы не знаете, где находились те и где сейчас находятся остальные бумаги рейхсмаршала, но я начал говорить правду и скажу все. Увезенные на самолете дневники и переписка находились в доме Трахтенберга, в той самой вилле, где вы захватили меня, в тайнике стены за шкафом. Все же остальные документы, личные архивы, договоры с американцами и переписка с ними были оставлены Герингом у Манштейна и хранились в сейфе, вделанном в стены второго этажа. Дом этот разрушен английской бомбой, но стена, где находится сейф, уцелела.

— Я знаю этот дом, он рядом с нами,— сказал я.— Теперь я вижу, что вы действительно сказали правду.

Циммерман сидел, опустив голову.

— Я не знаю, что с вами будет дальше, но, во всяком случае, признание облегчит вашу вину, и я буду просить о смягчении вашей участи,— сказал я.

Фрейлейн Марианна с беспокойством озиралась по сторонам. На глазах ее блестели слезы.

— Чего она плакала?

— А кто ее знает, товарищ гвардии подполковник,— засмеялся Глебов.— Я довел ее до комендатуры, стал звать к себе чайку попить, а она вдруг кинулась бежать. Ну, я ее, конечно, за руки и в ворота. Так и привел.

Немка, дрожа, смотрела на нас, испуганно переводя глаза с одного на другого.

— Напугал девушку, ухажер. Разве так можно? Ну, а чего она все-таки испугалась?

— Думает, что арестована, товарищ гвардии подполковник.

— Значит, есть чего пугаться,— сказал я и по-немецки спросил Марианну: — Вы знаете, где находитесь?

— О да! В русской комендатуре! — вздрогнув, ответила она.

— А почему вас привели сюда, знаете?

— Н-н-нет!

— Неправда, знаете! — сердито сказал я, глядя на обмершую немку.

— Ничего не знаю, — заголосила она. — Госпожа генеральша может подтвердить, что я честная женщина...

— Но, скажите, ведь вы же встречаетесь иногда с молодыми людьми? — спросил серьезно я.

Немка покраснела.

— Мне трудно одной, господин офицер, — тихо сказала она, — и потом — это все делают... а я служу в таком месте, где невозможно уберечься.

— Тогда отчего же вы не захотели подняться наверх с моим солдатом? — указывая на Глебова, спросил я.

— Наверх я не могу. Это нам запрещено генеральшей, но я совсем не против вашего солдата.

— А почему запрещено?

— Потому, что туда ходят разные важные лица и они не хотят, чтобы их видели там.

— А-а, это резонно. А кто же эти важные лица?

— Я не знаю, я их не видала, тем более что эти господа ходят не через пивную, а со двора соседнего дома.

— А девушек знаете?

— Знаю тех, которые иногда спускаются в пивную.

— А остальных?

— Остальных — нет, потому что они боятся, чтобы о них не узнали родные.

Я поговорил с немкой еще минут десять. Было ясно, что она ничего не знает и даже не догадывается о том, что происходит на четвертом этаже. Я успокоил ее, сказав, что ей придется переночевать в комнате старшины, тем более что Глебов ночью выедет со мной по делам.

— А утром я смогу уйти отсюда?

— Конечно, я бы и сейчас отпустил вас, но уже поздно, и первый же патруль заберет вас, — объяснил я Марианне.

В полночь пришел Насс. До половины второго мы рассматривали план дома № 36. Когда все было изучено, я вызвал усиленный патруль и, назначив командиром Глебова, разъяснил бойцам их задачу. Потом пошел в комнату, где спала Марианна.

— Кто это? — сонным голосом спросила разбуженная немка.

— Это я, не бойтесь,— негромко сказал я.

— Сюда нельзя, я не одета. Какие, однако, вы все мужчины шалуны! — игриво сказала Марианна, открывая дверь.

Я вошел в комнату. Ее горячие, полуобнаженные руки встретили меня в темноте.

— Я не за этим, дорогая фрейлейн,— отстранил я ее, зажигая свет.— Одевайтесь, сейчас вы поедете с нами.

— Куда? — надевая на себя платье, пугливо спросила Марианна.

— В бир-халле. Нам нужно подняться наверх. Вы будете с нами, и если нас окликнут, вы назовете себя... Понимаете? Но так, чтобы никто не догадался, что вы не одна.

— Но госпожа генеральша завтра же уволит меня с работы.

— Не беда! Я вам предоставлю место и лучше и спокойнее, чем в ее пивной. Словом, вы понимаете, в чем дело? Там, наверху, прячется пара любовников, которых мы должны накрыть на месте...

— Я... понимаю,— застегивая дрожащими руками пуговицы и кнопки, пробормотала немка.

Увидя Насса и наряд солдат, она что-то сообразила и сразу успокоилась.

— О-о, теперь я не боюсь, господин офицер,— уже кокетливо сказала она.— Я не знаю, какую вы хотите поймать там пару, но я все равно помогу вам.

Луна зашла за облака. Стало темно и прохладно.

Мы вышли из комендатуры и без шума прошли по Гогенлоэштрассе. Вот и дом № 36. Насс и Глебов развели по местам солдат. Открыв дверь, мы тихо стали подниматься по лестнице. Второй, третий, четвертый... Я осветил фонариком черную дубовую дверь с медной дощечкой: «Фон Таубе». Насс и солдаты стояли за мной. Одну за другой старшина попробовал четыре отмычки — дверь не отворялась. Тогда он взял плоскую, с вращающейся бородкой — дверь немного подалась, но не открывалась. Помогая ему, я просунул руку и перекусил цепочку стальными щипцами. Отодвинув приставленные изнутри диваны, мы проникли в приемную. Надо было действовать быстро. Я осветил фонариком коридор и шагнул в первые же двери.

— Кто там? — раздался женский голос.

Я закивал головой Марианне.

— Это я, Марианна, к вашей милости, госпожа генеральша,— быстрым и почтительным шепотом произнесла немка.

— Спальня госпожи генеральши не здесь, ее комнаты дальше,— полуотворяя дверь, сказала девушка в ночной рубашке и в накинутом поверх халате.

Увидя нас, она взвизгнула и завопила таким голосом, что таиться уже не было необходимости.

В коридоре раздались шаги. В одной из комнат что-то зазвенело. Послышались женские крики. Зажегся свет, и в одну секунду все заведение госпожи Таубе превратилось в потревоженный муравейник.

Мы заполнили весь этаж. Вой и крики немок переполошили дом. В этажах стали вспыхивать огни. Кто-то кричал в пролете лестницы. Во дворе показались мечущиеся люди.

— Что такое? Что случилось? — появляясь откуда-то из глубины коридора, бросилась мне навстречу представительная женщина в голубом халате и кружевном чепце.

Это была та самая «великосветская дама», которая так недавно была у меня на приеме.

— Господин комендант! — делая скорбные, недоумевающие глаза, воскликнула она.— Что это значит? Врываться ко мне, среди ночи...

— Где ваша комната, сударыня?

— Вот она, к вашим услугам, господин офицер, но я все же не понимаю...— несколько театрально, но вместе с тем очень спокойно сказала хозяйка.

Я вошел в комнату. Большой орехового дерева трельяж. Изящный туалетный столик с массой благоухающих флаконов, дорогих безделушек, фарфоровых пудрениц и пуховок стоял возле кровати. Две расписные японские вазы с цветами виднелись на окне. Розовое стеганое одеяло, все в кружевах и лентах, было небрежно наброшено на взбитые белоснежные подушки. Один край одеяла низко свисал с кровати, касаясь своими лентами пола. Зеркала отражали большой портрет какой-то дамы и ковры, разостланные по комнате. Возле изголовья стоял шестиугольный перламутровый столик, на котором

еще дымилась чашка горячего кофе и стояла тарелочка с бисквитом.

— Как видите, обыкновенный дамский будуар, вполне мирный и не таящий никаких сюрпризов,— с любезной улыбкой сказала генеральша.

— Сюрприз все-таки есть! Достаньте, пожалуйста, из-под вашей кровати вот эту картину... вы второпях плохо прикрыли ее,— указал я на краешек рамы, видневшийся из-под одеяла, и, видя, что хозяйка не трогается с места, вынул из-под одеяла картину.

«Выезд короля Фридриха II из Сан-Суси» всеми красками заиграл перед нами, отражаясь в многочисленных зеркалах генеральши. Толстый Геринг равнодушно и тупо смотрел на провал своих компаньонов, на только теперь потерявшую светское спокойствие генеральшу.

— Это недоразумение... Наверно, кто-нибудь из посетителей забыл здесь картину,— пожимая плечами, заговорила она.

— Помолчите, мадам, вы поговорите после,— сказал я и кивнул головой автоматчикам.

Генеральшу повели в гостиную.

— Не забудьте картину, старшина,— сказал я Глебову.

В одной из комнат мы нашли спрятавшегося под кроватью мужчину. Комната для прислуги была заперта. Глебов постучал в нее. Никто не отзывался. Старшина с силой ударил ногой — дверь распахнулась. Комната была пуста, но смятая кровать была еще тепла, окно полураскрыто; мы кинулись к нему и увидели, как по узкому карнизу, держась за выступы руками, осторожно двигалась к водосточной трубе белая фигура, освещенная луной.

— Стой! Хальт! — яростно закричал старшина, но в эту минуту фигура сорвалась и камнем полетела вниз.

— Готов! — перегнувшись через подоконник, сказал старшина и крикнул солдатам, подбежавшим к неподвижно лежавшему телу: — Не трогать! Пусть лежит как есть до нашего прихода.

Еще двое мужчин было извлечено из ванной комнаты.

— Сколько всего народу? — спросил я старшину, отводившего захваченных в одну общую комнату.

— Трое мужчин, одиннадцать женщин да хозяйка,— ответил он.

Мы снова прошлись по комнатам, тщательно заглядывая в шкафы, под кровати, в чуланы.

— А вот еще помещение,— отбрасывая тяжелую штору и выходя на небольшой балкон, сказал Глебов.

Там, прижавшись вплотную друг к другу, стояли три женщины в наспех накинутых платьях и халатах. Бойцы обыскали их и повели в гостиную. Вдруг я заметил, что женщина, шедшая последней, несколько хромала.

— Стоп! — крикнул я.— Барон Манштейн останется с нами, остальных — в общую комнату!

Женщина обернулась, и я увидел густые черные брови, ярко выделявшиеся на бледном, несколько дегенеративном лице.

— Маскарад не удался, барон. Переоденьтесь лучше в ваше платье,— сказал я хмуро смотревшему на меня Манштейну.

Когда мы сошли вниз, было уже совсем светло. Сбежавшиеся из квартир жители, что-то вполголоса судача, толпились во дворе.

Возле лежавшего на асфальте тела стояли солдаты. Я остановился как вкопанный. Это была «переводчица Надя».

— Как веревочку ни вей, а конец все равно будет,— сказал один из солдат, переворачивая на спину мертвую фашистку.

На следующий день посты оцепили кругом полуразрушенный дом Манштейна. Глебов и саперы обвалили наиболее угрожавшие падением стены, построили мостики и поставили нечто вроде лесов, какие покрывают строящиеся дома. Около трех часов дня я и Циммерман поднялись во второй этаж. С пробитых и развороченных потолков сыпалась известка. Для того чтобы перейти в другую комнату, приходилось перебираться по перекинутым мосткам.

— Здесь,— сказал наконец Циммерман, останавливаясь около стены, на которой во множестве висели кабаньи головы, чучела фазанов, глухарей, перепелок, тетеревов и ветвистые оленьи рога.

— Охотничий кабинет барона,— пояснил Циммерман и снял со стены картину, изображавшую попойку егерей.

Я увидел два круга и посреди них маленький рычажок. Мы потянули, он не выдвигался, тогда я подозвал саперов.

— Только осторожно, ребята, не повредите сейфа да не опрокиньте на нас потолок,— сказал я, недоверчиво глядя на свисавшие над нами доски.

Саперы покопались в броне, повертели несколько раз коловоротом, чем-то смазали оба круга и затем легко, словно ножом по маслу, прорезали автогенным пламенем металл. Вынув вырезанные куски стали, они вытащили из образовавшейся ниши чемодан, запечатанный пломбами и сургучом. Две зеленые и две красные печати на шнурках висели по его углам. Он был аккуратно обвязан шпагатом, на конце которого болталась большая серебряная пломба с орлом, державшим в лапах золотую свастику, вокруг шла золотая надпись: «Герман Геринг».

Архив рейхсмаршала был в наших руках.

Прошло два дня. «Дело об украденной картине» было закончено. Теперь уже можно было спокойно дочитать до конца «Штабс-капитана Рыбникова», которого не удавалось мне прочесть в эти дни. Я удобно разлегся на софе и только взял книгу в руки, как в дверь постучали.

— Войдите!

В комнату вошла переводчица. Я поднялся.

— Не беспокойтесь, пожалуйста,— мягко сказала она.— Я пришла попрощаться с вами.

— Как попрощаться?.. Разве вы уезжаете? — спросил я.

— Да, сегодня. Ровно через двадцать минут. Я получила пропуск и вызов с родины, из Риги. Я опять стану латышкой, советской латышкой.— В ее голосе звучала гордость.

Я молчал, не зная, что сказать, не зная, что сделать, обескураженный ее внезапным отъездом.

— Мне вернули картину моего мужа, и я хочу передать вам ее на память. Ведь она так неожиданно и так...— она остановилась, подыскивая слово,— сильно сблизила нас.— Она отвела взор и тихо продолжала:—

Если когда-нибудь вам придется быть у нас в Риге, навестите меня. Я буду очень рада этому. Я и моя старушка мама живем на улице Лембет, двенадцать. Хорошо?

— Мне очень, очень грустно, что вы уезжаете отсюда, Эльфрида Яновна.

— И мне тоже,— тихо произнесла она.

— Но и я на этих днях еду дальше. Спасибо за картину, но я не возьму ее.

Переводчица отступила на шаг, глаза ее потемнели.

— Сейчас не возьму, но обязательно заеду за ней на улицу Лембет, двенадцать, как только кончится война. И в залог моего посещения возьмите вот эту книгу. Видите, она раскрыта на шестьдесят второй странице уже целых две недели... Возьмите ее, и когда я приеду в Ригу, я у вас дочитаю ее...

— Мы вместе дочитаем ее, Сергей Петрович,— сказала Эльфрида Яновна и посмотрела мне в глаза открытым, ясным и таким теплым взглядом, что я наклонился и молча поцеловал ее руку.

— До свидания в Риге!

— До свидания в Риге! — словно эхо, повторил я.

Она быстро спустилась с лестницы, перешла двор и вышла на улицу. Я подошел к окну, провожая ее взглядом, и чем дальше она уходила от меня, тем сильнее стучало мое сердце и тем уверенней я знал, что после войны буду в Риге, на улице Лембет, 12.

СОДЕРЖАНИЕ

Мугуев Хаджи-Мурат Магометович

ГОСПОДИН ИЗ СТАМБУЛА

М., «Советский писатель», 1972, 512 стр. План выпуска 1973 г. № 93. Редактор *Г. А. Блистанова*. Худож. редактор *Е. Ф. Капустин*. Техн. редактор *А. И. Мордовина*. Корректоры *В. Е. Бораненкова*, *М. Ф. Покровская* и *И. Ф. Сологуб*. Сдано в набор 4/VII 1972 г. Подписано к печати 2/X 1972 г. А 09061. Бумага $84\times108^{1}/_{32}$. № 2. Печ. л. 16 (26,88). Уч.-изд. 26,82. Тираж 100 000 экз. Заказ 234. Цена 89 коп. Издательство «Советский писатель», Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10. Тульская типография Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109.

89 коп.

